Сочиненія Ѳ. М. Достоевскаго

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00008782 5

Presented to the
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO
by
ESTATE OF THE LATE
JOHN B. C. WATKINS

Ѳ. М. Достоевскій

Собраніе сочиненій

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія собранія сочиненій:

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подъ наблюденіемъ *автора;*
Л. Н. Андреева, со вступительной статьей проф. *М. А. Рейснера;*
Ѳ. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
Г. А. Мачтета, подъ редакціей *Д. П. Сильчевскаго;*
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ *автора;*
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ *автора.*

II серія.

Д. Я. Айзмана, подъ наблюденіемъ *автора;*
С. А. Ан-скаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
Б. А. Лазаревскаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
А. И. Левитова, со вступ. статьей *А. А. Измайлова;*
В. В. Муйжеля, подъ наблюденіемъ *автора;*
Вас. И. Немировичъ-Данченко, подъ наблюденіемъ *автора;*
Н. Н. Олигера, подъ наблюденіемъ *автора;*
Н. М. Осиповича, подъ наблюденіемъ *автора.*

III серія.

А. С. Пушкина, подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша;*
М. Ю. Лермонтова, подъ ред. *Арс. И. Введенскаго;*
Н. В. Гоголя, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
И. А. Крылова, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
А. В. Кольцова, подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго;*
С. Т. Аксакова, подъ редакціей *А. Г. Горнфельда:*
А. Н. Островскаго, подъ ред. *М. И. Писарева;*
Н. Г. Помяловскаго, съ биограф. очерк. *Н. А. Благовѣщенскаго;*
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ *автора;*
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ *автора;*
С. В. Максимова, со вступ. статьей *П. В. Быкова;*
И. С. Никитина, подъ ред. *А. Г. Ѳомина* и *Ю. И. Эйхенвальда;*
Н. А. Добролюбова, подъ редакціей *В. П. Кранихфельда;*
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ *автора.*

IV серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей *Д. П. Сильчевскаго;*
Элизы Оржешко, подъ ред. *С. С. Зелинскаго;*
Г. де Мопасана, съ критико-біографич. очеркомъ *З. А. Венгеровой;*
Эдгара По, съ критико-біографич. очеркомъ *М. А. Энгельгардта;*
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями *Ѳ. Д. Батюшкова* и *Е. В. Аничкова;*
Георга Брандеса, съ предисловіемъ *М. В. Лучицкой.*

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе",
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

Полное собраніе сочиненій

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО

Съ многочисленными приложеніями

Томъ восемнадцатый

Братья Карамазовы

Романъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ.

Часть IV.

С.-Петербургъ.
Типо-литографія Акц. О-ва „Самообразованіе",
Забалканскій пр., д. № 75.

Бумага безъ примѣси древесной массы.

PG
3325
A1
1911
t.18
1028807

LIBRARY
DEC 8 1965
UNIVERSITY OF TORONTO

Оглавленіе.

Часть четвертая (окончаніе).

Книга десятая. Мальчики.

Стр.

I. Коля Красоткинъ 5
II. Дѣтвора. 13
III. Школьникъ 22
IV. Жучка 34
V. У Илюшиной постельки 45
VI. Раннее развитіе 71
VII. Илюша 81

Книга одиннадцатая. Братъ Иванъ Ѳедоровичъ.

I. У Грушеньки 88
II Больная ножка 102
III. Бѣсенокъ 117
IV. Гимнъ и секретъ 126
V. Не ты, не ты! 146
VI. Первое свиданіе со Смердяковымъ 156
VII. Второй визитъ къ Смердякову 171
VIII. Третье и послѣднее свиданіе со Смердяковымъ 185
IX. Чертъ. Кошмаръ Ивана Ѳедоровича 209

Книга двѣнадцатая. Судебная ошибка.

I Роковой день. 247
II. Опасные свидѣтели 257
III. Медицинская экспертиза и одинъ фунтъ орѣховъ. 272
IV. Счастье улыбается Митѣ 280
V. Внезапная катастрофа 295

VI. Рѣчь прокурора. Характеристика 309
VII. Обзоръ историческій 325
VIII. Трактатъ о Смердяковѣ 333
IX. Психологія на всѣхъ парахъ. Скачущая тройка. Финалъ рѣчи прокурора 349
X. Рѣчь защитника. Палка о двухъ концахъ . . 366
XI. Денегъ не было. Грабежа не было 373
XII. Да и убійства не было 382
XIII. Прелюбодѣй мысли 395
XIV. Мужички за себя постояли 406

Эпилогъ.

I. Проекты спасти Митю 416
II. На минутку ложь стала правдой 424
III. Похороны Илюшечки. Рѣчь у камня . . . 435

Братья Карамазовы.

(Окончаніе.)

Часть четвертая.

Книга десятая.

Мальчики.

I.

Коля Красоткинъ.

Ноябрь въ началѣ. У насъ сталъ морозъ градусовъ въ одиннадцать, а съ нимъ гололедица. На мерзлую землю упало въ ночь немного сухого снѣгу, и вѣтеръ «сухой и острый» подымаетъ его и мететъ по скучнымъ улицамъ нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снѣжокъ пересталъ. Недалеко отъ площади, поблизости отъ лавки Плотниковыхъ, стоитъ небольшой, очень чистенькій и снаружи и снутри, домикъ вдовы чиновника Красоткиной. Самъ губернскій секретарь Красоткинъ померъ уже очень давно, тому назадъ почти четырнадцать лѣтъ, но вдова его тридцатилѣтняя и до сихъ поръ еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живетъ въ своемъ чистенькомъ домикѣ «своимъ капиталомъ». Живетъ она честно и робко, характера нѣжнаго, но довольно веселаго. Осталась она послѣ мужа лѣтъ восемнадцати, проживъ съ нимъ всего лишь около году и только что родивъ ему сына. Съ тѣхъ поръ, съ самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанію этого своего нещечка мальчика Коли, и хоть любила его всѣ четырнадцать лѣтъ безъ памяти, но ужъ, конечно, перенесла съ нимъ несравненно больше страданій, чѣмъ выжила радостей, трепеща

и умирая отъ страха чуть не каждый день, что онъ заболѣетъ, простудится, нашалитъ, полѣзетъ на стулъ и свалится и проч., и проч. Когда же Коля сталъ ходить въ школу и потомъ въ нашу гимназію, то мать бросилась изучать вмѣстѣ съ нимъ всѣ науки, чтобы помогать ему и репетировать съ нимъ уроки, бросилась знакомиться съ учителями и съ ихъ женами, ласкала даже товарищей Коли, школьниковъ, и лисила предъ ними, чтобы не трогали Колю, не насмѣхались надъ нимъ, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и въ самомъ дѣлѣ стали было чрезъ нее надъ нимъ насмѣхаться и начали дразнить его тѣмъ, что онъ маменькинъ сынокъ. Но мальчикъ сумѣлъ отстоять себя. Былъ онъ смѣлый мальчишка, «ужасно сильный», какъ пронеслась и скоро утвердилась молва о немъ въ классѣ, былъ ловокъ, характера упорнаго, духа дерзскаго и предпріимчиваго. Учился онъ хорошо, и шла даже молва, что онъ и изъ ариѳметики и изъ всемірной исторіи собьетъ самого учителя Дарданелова. Но мальчикъ хоть и смотрѣлъ на всѣхъ свысока, вздернувъ носикъ, но товарищемъ былъ хорошимъ и не превозносился. Уваженіе школьниковъ принималъ, какъ должное, но держалъ себя дружелюбно. Главное, зналъ мѣру, умѣлъ при случаѣ сдержать себя самого, а въ отношеніяхъ къ начальству никогда не переступалъ нѣкоторой послѣдней и завѣтной черты, за которою уже проступокъ не можетъ быть терпимъ, обращаясь въ безпорядокъ, бунтъ и въ беззаконіе. И, однако, онъ очень, очень не прочь былъ пошалить при всякомъ удобномъ случаѣ, пошалить, какъ самый послѣдній мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать «экстра-

феферу», шику, порисоваться. Главное, былъ очень самолюбивъ. Даже свою маму сумѣлъ поставить къ себѣ въ отношенія подчиненныя, дѣйствуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчикъ ее «мало любитъ». Ей безпрерывно казалось, что Коля къ ней «безчувственъ», и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его въ холодности. Мальчикъ этого не любилъ, и чѣмъ болѣе требовали отъ него сердечныхъ изліяній, тѣмъ какъ бы нарочно становился неподатливѣе. Но происходило это у него не нарочно, а невольно, — таковъ ужъ былъ характеръ. Мать ошиблась: маму свою онъ очень любилъ, а не любилъ только «телячьихъ нѣжностей», какъ выражался онъ на своемъ школьническомъ языкѣ. Послѣ отца остался шкафъ, въ которомъ хранилось нѣсколько книгъ; Коля любилъ читать и про себя прочелъ уже нѣкоторыя изъ нихъ. Мать этимъ не смущалась и только дивилась иногда, какъ это мальчикъ вмѣсто того, чтобъ идти играть, простаиваетъ у шкафа по цѣлымъ часамъ надъ какою-нибудь книжкой. И такимъ образомъ Коля прочелъ кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать въ его возрастѣ. Впрочемъ, въ послѣднее время, хоть мальчикъ и не любилъ переходить въ своихъ шалостяхъ извѣстной черты, но начались шалости, испугавшія мать не на шутку,— правда, не безнравственныя какія-нибудь, зато отчаяннныя, головорѣзныя. Какъ разъ въ это лѣто, въ іюлѣ мѣсяцѣ, во время вакацій, случилось такъ, что маменька съ сынкомъ отправились погостить на недѣльку въ другой уѣздъ, за семьдесятъ верстъ,

къ одной дальней родственницѣ, мужъ которой служилъ на станціи желѣзной дороги (той самой, ближайшей отъ нашего города станціи, съ которой Иванъ Ѳедоровичъ Карамазовъ, мѣсяцъ спустя, отправился въ Москву). Тамъ Коля началъ съ того, что оглядѣлъ желѣзную дорогу въ подробности, изучилъ распорядки, понимая, что новыми знаніями своими можетъ блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей прогимназіи. Но нашлись тамъ какъ разъ въ то время и еще нѣсколько мальчиковъ, съ которыми онъ и сошелся; одни изъ нихъ проживали на станціи, другіе по сосѣдству, — всего молодого народа, отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ, сошлось человѣкъ шесть или семь, а изъ нихъ двое случились и изъ нашего городка. Мальчики вмѣстѣ играли, шалили, и вотъ на четвертый или на пятый день гощенія на станціи состоялось между глупою молодежью одно преневозможное пари въ два рубля, именно: Коля, почти изо всѣхъ младшій, а потому нѣсколько презираемый старшими, изъ самолюбія или безпардонной отваги, предложилъ, что онъ, ночью, когда придетъ одиннадцатичасовой поѣздъ, ляжетъ между рельсами ничкомъ и пролежитъ недвижимо, пока поѣздъ пронесется надъ нимъ на всѣхъ парахъ. Правда, сдѣлано было предварительное изученіе, изъ котораго оказалось, что, дѣйствительно, можно такъ протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поѣздъ, конечно, пронесется и не задѣнетъ лежащаго, но, однакоже, каково пролежать! Коля стоялъ твердо, что пролежитъ. Надъ нимъ сначала смѣялись, звали лгунишкой, фанфарономъ, но тѣмъ пуще его подзадорили. Главное, эти пятнадцатилѣтніе слишкомъ ужъ задирали предъ

нимъ носъ и сперва даже не хотѣли считать его товарищемъ, какъ «маленькаго», что было уже нестерпимо обидно. И вотъ рѣшено было отправиться съ вечера за версту отъ станціи, чтобы поѣздъ, снявшись со станціи, успѣлъ уже совсѣмъ разбѣжаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. Въ надлежащій часъ Коля легъ между рельсами. Пятеро остальныхъ, державшихъ пари, съ замираніемъ сердца, а, наконецъ, въ страхѣ и съ раскаяніемъ, ждали внизу насыпи подлѣ дороги въ кустахъ. Наконецъ, загремѣлъ вдали поѣздъ, снявшійся со станціи. Засверкали изъ тьмы два красныхъ фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Бѣги, бѣги долой съ рельсовъ!» — закричали Колѣ изъ кустовъ умиравшіе отъ страха мальчишки, но было уже поздно: поѣздъ наскакалъ и промчался мимо. Мальчишки бросились къ Колѣ: онъ лежалъ недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Онъ вдругъ поднялся и молча сошелъ съ насыпи. Сойдя внизъ, онъ объявилъ, что нарочно лежалъ, какъ безъ чувствъ, чтобы ихъ испугать, но правда была въ томъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ лишился чувствъ, какъ и признался потомъ самъ, уже долго спустя, своей мамѣ. Такимъ образомъ, слава «отчаяннаго» за нимъ укрѣпилась навѣки. Воротился онъ домой на станцію блѣдный, какъ полотно. На другой день заболѣлъ слегка нервною лихоракой, но духомъ былъ ужасно веселъ, радъ и доволенъ. Происшествіе огласилось не сейчасъ, а уже въ нашемъ городѣ, проникло въ прогимназію и достигло до ея начальства. Но тутъ маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила

тѣмъ, что его отстоялъ и упросилъ за него уважаемый и вліятельный учитель Дарданеловъ, и дѣло оставили втунѣ, какъ не бывшее вовсе. Этотъ Дарданеловъ, человѣкъ холостой и не старый, былъ странно и уже многолѣтне влюбленъ въ госпожу Красоткину, и уже разъ, назадъ тому съ годъ, почтительнѣйше и замирая отъ страха и деликатности, рискнулъ было предложить ей свою руку; но она наотрѣзъ отказала, считая согласіе измѣной своему мальчику, хотя Дарданеловъ, по нѣкоторымъ таинственнымъ признакамъ, даже, можетъ быть, имѣлъ бы нѣкоторое право мечтать, что онъ не совсѣмъ противенъ прелестной, но уже слишкомъ цѣломудренной и нѣжной вдовицѣ. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила ледъ, и Дарданелову, за его заступничество, сдѣланъ былъ намекъ о надеждѣ, правда, отдаленный, но и самъ Дарданеловъ былъ феноменомъ чистоты и деликатности, а потому съ него и того было покамѣстъ довольно для полноты его счастія. Мальчика онъ любилъ, хотя считалъ бы унизительнымъ предъ нимъ заискивать, и относился къ нему въ классахъ строго и требовательно. Но Коля и самъ держалъ его на почтительномъ разстояніи, уроки готовилъ отлично, былъ въ классѣ вторымъ ученикомъ, обращался къ Дарданелову сухо, и весь классъ твердо вѣрилъ, что во всемірной исторіи Коля такъ силенъ, что «собьетъ» самого Дарданелова. И, дѣйствительно, Коля задалъ ему разъ вопросъ: кто основалъ Трою? на что Дарданеловъ отвѣчалъ лишь вообще про народы, ихъ движенія и переселенія, про глубину временъ, про баснословіе, но на то, кто именно основалъ Трою, то есть какія именно лица, отвѣтить не могъ, и даже вопросъ нашелъ

почему-то празднымъ и несостоятельнымъ. Но мальчики такъ и остались въ увѣренности, что Дарданеловъ не знаетъ, кто основалъ Трою. Коля же вычиталъ объ основателяхъ Трои у Смарагдова, хранившагося въ шкапѣ съ книгами, который остался послѣ родителя. Кончилось тѣмъ, что всѣхъ даже мальчиковъ стало, наконецъ, интересовать: кто жъ именно основалъ Трою, но Красоткинъ своего секрета не открывалъ, и слава знанія оставалась за нимъ незыблемо.

Послѣ случая на желѣзной дорогѣ, у Коли въ отношеніяхъ къ матери произошла нѣкоторая перемѣна. Когда Анна Ѳедоровна (вдова Красоткина) узнала о подвигѣ сына, то чуть не сошла съ ума отъ ужаса. Съ ней сдѣлались такіе страшные истерическіе припадки, продолжавшіеся съ перемежками нѣсколько дней, что испуганный уже серьезно Коля далъ ей честное и благородное слово, что подобныхъ шалостей уже никогда не повторится. Онъ поклялся на колѣняхъ предъ образомъ и поклялся памятью отца, какъ потребовала сама госпожа Красоткина, при чемъ «мужественный» Коля самъ расплакался, какъ шестилѣтній мальчикъ отъ «чувствъ», и мать и сынъ во весь тотъ день бросались другъ къ другу въ объятія и плакали сотрясаясь. На другой день Коля проснулся попрежнему «безчувственнымъ», однако, сталъ молчаливѣе, скромнѣе, строже, задумчивѣе. Правда, мѣсяца чрезъ полтора онъ опять было попался въ одной шалости, и имя его сдѣлалось даже извѣстнымъ нашему мировому судьѣ, но шалость была уже совсѣмъ въ другомъ родѣ, даже смѣшная и глупенькая, да и не самъ онъ, какъ оказалось, совершилъ ее, а только очутился въ нее замѣшаннымъ. Но

объ этомъ какъ-нибудь послѣ. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданеловъ по мѣрѣ тревогъ ея все болѣе и болѣе воспринималъ надежду. Надо замѣтить, что Коля понималъ и разгадывалъ съ этой стороны Дарданелова и ужъ, разумѣется, глубоко презиралъ его за его «чувства»; прежде даже имѣлъ неделикатность выказать это презрѣніе свое предъ матерью, отдаленно намекая ей, что понимаетъ, чего добивается Дарданеловъ. Но послѣ случая на желѣзной дорогѣ онъ и на этотъ счетъ измѣнилъ свое поведеніе: намековъ себѣ уже болѣе не позволялъ, даже самыхъ отдаленныхъ, а о Дарданеловѣ при матери сталъ отзываться почтительнѣе, что тотчасъ же съ безпредѣльною благодарностью въ сердцѣ своемъ поняла чуткая Анна Ѳедоровна, но зато при малѣйшемъ, самомъ нечаянномъ словѣ даже отъ посторонняго какого-нибудь гостя о Дарданеловѣ, если при этомъ находился Коля, вдругъ вся вспыхивала отъ стыда, какъ роза. Коля же въ эти мгновенія или смотрѣлъ нахмуренно въ окно, или разглядывалъ, не просятъ ли у него сапоги каши, или свирѣпо звалъ «Перезвона», лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую съ мѣсяцъ вдругъ откуда-то пріобрѣлъ, втащилъ въ домъ и держалъ почему-то въ секретѣ, въ комнатахъ, никому ее не показывая изъ товарищей. Тиранилъ же ужасно, обучая ее всякимъ штукамъ и наукамъ, и довелъ бѣдную собаку до того, что та выла безъ него, когда онъ отлучался въ классы, а когда приходилъ, визжала отъ восторга, скакала какъ полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и проч., словомъ, показывала всѣ штуки, которымъ ее обучали, уже не по требованію, а единственно отъ пыл-

кости своихъ восторженныхъ чувствъ и благодарнаго сердца.

Кстати я и забылъ упомянуть, что Коля Красоткинъ былъ тотъ самый мальчикъ, котораго знакомый уже читателю мальчикъ Илюша, сынъ отставного штабсъ-капитана Снѣгирева, пырнулъ перочиннымъ ножичкомъ въ бедро, заступаясь за отца, котораго школьники задразнили «мочалкой».

II.

Дѣтвора.

Итакъ, въ то морозное и сиверкое ноябрьское утро, мальчикъ Коля Красоткинъ сидѣлъ дома. Было воскресенье, и классовъ не было. Но пробило уже одиннадцать часовъ, а ему непремѣнно надо было идти со двора «по одному весьма важному дѣлу», а между тѣмъ онъ во всемъ домѣ оставался одинъ и рѣшительно какъ хранитель его, потому что такъ случилось, что всѣ его старшіе обитатели, по нѣкоторому экстренному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора. Въ домѣ вдовы Красоткиной, чрезъ сѣни отъ квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная въ домѣ квартирка изъ двухъ маленькихъ комнатъ внаймы, и занимала ее докторша съ двумя малолѣтними дѣтьми. Эта докторша была однѣхъ лѣтъ съ Анной Ѳедоровной и большая ея пріятельница, самъ же докторъ вотъ уже съ годъ заѣхалъ куда-то сперва въ Оренбургъ, а потомъ въ Ташкентъ, и уже съ полгода какъ отъ него не было ни слуху, ни духу, такъ что если бы не дружба съ г-жою Красоткиной, нѣсколько смягчавшая горе

оставленной докторши, то она рѣшительно бы истекла отъ этого горя слезами. И вотъ надобно же было такъ случиться къ довершенію всѣхъ угнетеній судьбы, что въ эту же самую ночь, съ субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдругъ и совсѣмъ неожиданно для своей барыни объявила ей, что намѣрена родить къ утру ребеночка. Какъ случилось, что никто этого не замѣтилъ заранѣе, было для всѣхъ почти чудомъ. Пораженная докторша разсудила, пока есть еще время, свезти Катерину въ одно приспособленное къ подобнымъ случаямъ въ нашемъ городкѣ заведеніе у повивальной бабушки. Такъ какъ служанкою этой она очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проектъ, отвезла ее и, сверхъ того, осталась тамъ при ней. Затѣмъ уже утромъ понадобилось почему-то все дружеское участіе и помощь самой г-жи Красоткиной, которая при этомъ случаѣ могла кого-то о чемъ-то попросить и оказать какое-то покровительство. Такимъ образомъ, обѣ дамы были въ отлучкѣ, служанка же самой г-жи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базаръ, и Коля очутился такимъ образомъ, на время, хранителемъ и караульщикомъ «пузырей», то есть мальчика и дѣвочки докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить домъ Коля не боялся, съ нимъ къ тому же былъ Перезвонъ, которому повелѣно было лежать ничкомъ въ передней подъ лавкой «безъ движеній», и который именно поэтому каждый разъ, какъ входилъ въ переднюю расхаживавшій по комнатамъ Коля, вздрагивалъ головой и давалъ два твердые и заискивающіе удара хвостомъ по полу, но, увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывалъ на несчаст-

наго пса, и тотъ опять замиралъ въ послушномъ оцѣпенѣніи. Но если что смущало Колю, то единственно «пузыри». На нечаянное приключеніе съ Катериной онъ, разумѣется, смотрѣлъ съ самымъ глубокимъ презрѣніемъ, но осиротѣвшихъ пузырей онъ очень любилъ и уже снесъ имъ какую-то дѣтскую книжку. Настя, старшая дѣвочка, восьми уже лѣтъ, умѣла читать, а младшій пузырь, семилѣтній мальчикъ, Костя, очень любилъ слушать, когда Настя ему читаетъ. Разумѣется, Красоткинъ могъ бы ихъ занять интереснѣе, то есть поставить обоихъ рядомъ и начать съ ними играть въ солдаты, или прятаться по всему дому. Это онъ не разъ уже дѣлалъ прежде и не брезгалъ дѣлать, такъ что даже въ классѣ у нихъ разнеслось было разъ, что Красоткинъ у себя дома играетъ съ маленькими жильцами своими въ лошадки, прыгаетъ за пристяжную и гнетъ голову, но Красоткинъ гордо отпарировалъ это обвиненіе, выставивъ на видъ, что со сверстниками, съ тринадцатилѣтними, дѣйствительно, было бы позорно играть «въ нашъ вѣкъ» въ лошадки, но что онъ дѣлаетъ это для «пузырей», потому что ихъ любитъ, а въ чувствахъ его никто не смѣетъ у него спрашивать отчета. Зато и обожали его «пузыря». Но на сей разъ было не до игрушекъ. Ему предстояло одно очень важное собственное дѣло, и на видъ какое-то почти даже таинственное, между тѣмъ время уходило, а Агаѳья, на которую можно бы было оставить дѣтей, все еще не хотѣла возвратиться съ базара. Онъ нѣсколько разъ уже переходилъ черезъ сѣни, отворялъ дверь къ докторшѣ и озабоченно оглядывалъ «пузырей», которые, по его приказанію, сидѣли за книжкой, и каждый разъ, какъ онъ отво-

рялъ дверь, молча улыбались ему во весь ротъ, ожидая, что вотъ онъ войдетъ и сдѣлаетъ что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля былъ въ душевной тревогѣ и не входилъ. Наконецъ, пробило одиннадцать, и онъ твердо и окончательно рѣшилъ, что если черезъ десять минутъ «проклятая» Агаѳья не воротится, то онъ уйдетъ со двора, ея не дождавшись, разумѣется, взявъ съ «пузырей» слово, что они безъ него не струсятъ, не нашалятъ и не будутъ отъ страха плакать. Въ этихъ мысляхъ онъ одѣлся въ свое ватное зимнее пальтишко съ мѣховымъ воротникомъ изъ какого-то котика, навѣсилъ черезъ плечо свою сумку и, несмотря на прежнія неоднократныя мольбы матери, чтобъ онъ по «такому холоду», выходя со двора, надѣвалъ калошки, только съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на нихъ, проходя черезъ переднюю, и вышелъ въ однихъ сапогахъ. Перезвонъ, завидя его одѣтымъ, началъ было усиленно стучать хвостомъ по полу, нервно подергивая всѣмъ тѣломъ, и даже испустилъ жалобный вой, но Коля, при видѣ такой страстной стремительности своего пса, заключилъ, что это вредитъ дисциплинѣ, и хоть минуту, а выдержалъ его еще подъ лавкой, и, уже отворивъ только дверь въ сѣни, вдругъ свистнулъ его. Песъ вскочилъ, какъ сумасшедшій, и бросился скакать предъ нимъ отъ восторга. Перейдя сѣни, Коля отворилъ дверь къ «пузырямъ». Оба попрежнему сидѣли за столикомъ, но уже не читали, а жарко о чемъ-то спорили. Эти дѣтки часто другъ съ другомъ спорили о разныхъ вызывающихъ житейскихъ предметахъ, при чемъ Настя, какъ старшая, всегда одерживала верхъ; Костя же, если не соглашался съ нею, то всегда почти шелъ апеллировать къ

Колѣ Красоткину, и ужъ какъ тотъ рѣшалъ, такъ оно и оставалось въ видѣ абсолютнаго приговора для всѣхъ сторонъ. На этотъ разъ споръ «пузырей» нѣсколько заинтересовалъ Красоткина, и онъ остановился въ дверяхъ послушать. Дѣтки видѣли, что онъ слушаетъ, и тѣмъ еще съ бо̀льшимъ азартомъ продолжали свое препираніе.

— Никогда, никогда я не повѣрю, — горячо лепетала Настя, — что маленькихъ дѣтокъ повивальныя бабушки находятъ въ огородѣ между грядками съ капустой. Теперь ужъ зима, и никакихъ грядокъ нѣтъ, и бабушка не могла принести Катеринѣ дочку.

— Фью! — присвистнулъ про себя Коля.

— Или вотъ какъ: онѣ приносятъ откуда-нибудь, но только тѣмъ, которыя замужъ выходятъ.

Костя пристально смотрѣлъ на Настю, глубокомысленно слушалъ и соображалъ.

— Настя, какая ты дура, — произнесъ онъ, наконецъ, твердо и не горячась, — какой же можетъ быть у Катерины ребеночекъ, когда она не замужемъ?

Настя ужасно загорячилась.

— Ты ничего не понимаешь, — раздражительно оборвала она, — можетъ, у нея мужъ былъ, но только въ тюрьмѣ сидитъ, а она вотъ и родила.

— Да развѣ у нея мужъ въ тюрьмѣ сидитъ? — важно освѣдомился положительный Костя.

— Или вотъ что, — стремительно перебила Настя, совершенно бросивъ и забывъ свою первую гипотезу, — у нея нѣтъ мужа, это ты правъ, но она хочетъ выйти замужъ, вотъ и стала думать, какъ выйдетъ замужъ, и все думала, все думала, и до

тѣхъ поръ думала, что вотъ онъ у ней и сталъ, не мужъ, а ребеночекъ.

— Ну, развѣ такъ? — согласился совершенно побѣжденный Костя, — а ты этого раньше не сказала, такъ какъ же я могъ знать.

— Ну, дѣтвора̀, — произнесъ Коля, шагнувъ къ нимъ въ комнату, — опасный вы, я вижу, народъ!

— И Перезвонъ съ вами? — осклабился Костя и началъ прищелкивать пальцами и звать Перезвона.

— Пузыри, я въ затрудненіи, — началъ важно Красоткинъ, — и вы должны мнѣ помочь: Агаѳья, конечно, ногу сломала, потому что до сихъ поръ не является, это рѣшено и подписано, мнѣ же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нѣтъ?

Дѣти озабоченно переглянулись другъ съ другомъ, осклабившіяся лица ихъ стали выражать безпокойство. Они, впрочемъ, еще не понимали вполнѣ, чего отъ нихъ добиваются.

— Шалить безъ меня не будете? Не полѣзете на шкафъ, не сломаете ногъ? Не заплачете отъ страха одни?

На лицахъ дѣтей выразилась страшная тоска.

— А я бы вамъ за то могъ вещицу одну показать, пушечку мѣдную, изъ которой можно стрѣлять настоящимъ порохомъ.

Лица дѣтокъ мгновенно прояснились.

— Покажите пушечку, — весь просіявшій проговорилъ Костя.

Красоткинъ запустилъ руку въ свою сумку и, вынувъ изъ нея маленькую бронзовую пушечку, поставилъ ее на столъ.

— То-то покажите! Смотри, на колескахъ, —

прокатилъ онъ игрушку по столу, — стрѣлять можно. Дробью зарядить и стрѣлять.

— И убьетъ?

— Всѣхъ убьетъ, только стоитъ навести, — и Красоткинъ растолковалъ, куда положить порохъ, куда вкатить дробинку, показалъ на дырочку въ видѣ затравки и разсказалъ, что бываетъ откатъ. Дѣти слушали со страшнымъ любопытствомъ. Особенно поразило ихъ воображеніе, что бываетъ откатъ.

— А у васъ есть порохъ? — освѣдомилась Настя.

— Есть.

— Покажите и порохъ, — протянула она съ просящею улыбкой.

Красоткинъ опять слазилъ въ сумку и вынулъ изъ нея маленькій пузырекъ, въ которомъ дѣйствительно было насыпано нѣсколько настоящаго пороха, а въ свернутой бумажкѣ оказалось нѣсколько крупинокъ дроби. Онъ даже откупорилъ пузырекъ и высыпалъ немножко пороху на ладонь.

— Вотъ, только не было бы гдѣ огня, а то такъ и взорветъ и насъ всѣхъ перебьетъ, — предупредилъ для эффекта Красоткинъ.

Дѣти разсматривали порохъ съ благоговѣйнымъ страхомъ, еще усилившимъ наслажденіе. Но Костѣ больше понравилась дробь.

— А дробь не горитъ? — освѣдомился онъ.

— Дробь не горитъ.

— Подарите мнѣ немножко дроби, — проговорилъ онъ умоляющимъ голоскомъ.

— Дроби немножко подарю, вотъ, бери, только мамѣ своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумаетъ, что это порохъ, и такъ и умретъ отъ страха, а васъ выпоретъ.

— Мама насъ никогда не сѣчетъ розгой, — тотчасъ же замѣтила Настя.

— Знаю, я только для красоты слога сказалъ. И маму вы никогда не обманывайте, но на этотъ разъ — пока я приду. Итакъ, пузыри, можно мнѣ идти или нѣтъ? Не заплачете безъ меня отъ страха.

— За-пла-чемъ, — протянулъ Костя, уже приготовляясь плакать.

— Заплачемъ, непремѣнно заплачемъ! — подхватила пугливою скороговоркой и Настя.

— Охъ, дѣти, дѣти, какъ опасны ваши лѣта. Нечего дѣлать, птенцы, придется съ вами просидѣть не знаю сколько. А время-то, время-то, ухъ!

— А прикажите Перезвону мертвымъ притвориться, — попросилъ Костя.

— Да ужъ нечего дѣлать, придется прибѣгнуть и къ Перезвону. Ісі, Перезвонъ! — И Коля началъ повелѣвать собакѣ, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной съ обыкновенную дворняжку, какой-то сѣро-лиловой шерсти. Правый глазъ ея былъ кривъ, а лѣвое ухо почему-то съ разрѣзомъ. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на заднихъ лапахъ, бросалась на спину всѣми четырьмя лапами вверхъ и лежала безъ движенія, какъ мертвая. Во время этой послѣдней штуки отворилась дверь, и Агаѳья, толстая служанка г-жи Красоткиной, рябая баба лѣтъ сорока, показалась на порогѣ, возвратясь съ базара съ кулькомъ накупленной провизіи въ рукѣ. Она стала и, держа въ лѣвой рукѣ на отвѣсѣ кулекъ, принялась глядѣть на собаку. Коля, какъ ни ждалъ Агаѳьи, представленія не прервалъ и, выдержавъ Перезвона опредѣленное время мертвымъ, наконецъ-то свистнулъ ему: собака вскочила и пусти-

лась прыгать отъ радости, что исполнила свой долгъ.

— Вишь, песъ! — проговорила назидательно Агаѳья.

— А ты чего, женскій полъ, опоздала? — спросилъ грозно Красоткинъ.

— Женскій полъ, ишь, пупырь!

— Пупырь?

— И пупырь. Что тебѣ, что я опоздала, значитъ, такъ надо, коли опоздала, — бормотала Агаѳья, принимаясь возиться около печки, но совсѣмъ не недовольнымъ и не сердитымъ голосомъ, а, напротивъ, очень довольнымъ, какъ будто радуясь случаю позубоскалить съ веселымъ барченкомъ.

— Слушай, легкомысленная старуха, — началъ, вставая съ дивана, Красоткинъ, — можешь ты мнѣ поклясться всѣмъ, что есть святого въ этомъ мірѣ, и сверхъ того чѣмъ-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями въ мое отсутствіе неустанно? Я ухожу со двора.

— А зачѣмъ я тебѣ клястись стану? — засмѣялась Агаѳья, — и такъ присмотрю.

— Нѣтъ, не иначе, какъ поклявшись вѣчнымъ спасеніемъ души твоей. Иначе не уйду.

— И не уходи. Мнѣ какое дѣло, на дворѣ морозъ, сиди дома.

— Пузыри, — обратился Коля къ дѣткамъ, — эта женщина останется съ вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверхъ того, дастъ вамъ позавтракать. Дашь чего-нибудь имъ, Агаѳья.

— Это возможно.

— До свиданья, птенцы, ухожу со спокойнымъ

сердцемъ. А ты, бабуся, — вполголоса и важно проговорилъ онъ, проходя мимо Агаѳьи, — надѣюсь, не станешь имъ врать обычныя ваши бабьи глупости про Катерину, пощадишь дѣтскій возрастъ. Ісі, Перезвонъ! —

— И ну тебя къ Богу, — огрызнулась уже съ сердцемъ Агаѳья. — Смѣшной! Выпороть самого-то, вотъ что, за такія слова.

III.

Школьникъ.

Но Коля уже не слушалъ. Наконецъ-то онъ могъ уйти. Выйдя за ворота, онъ оглядѣлся, передернулъ плечиками и, проговоривъ: «морозъ!» направился прямо по улицѣ и потомъ направо по переулку къ базарной площади. Не доходя одного дома до площади, онъ остановился у воротъ, вынулъ изъ кармашка свистульку и свистнулъ изо всей силы, какъ бы подавая условный знакъ. Ему пришлось ждать не болѣе минуты, изъ калитки вдругъ выскочилъ къ нему румяненькій мальчикъ, лѣтъ одиннадцати, тоже одѣтый въ теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это былъ мальчикъ Смуровъ, состоявшій въ приготовительномъ классѣ (тогда какъ Коля Красоткинъ былъ уже двумя классами выше), сынъ зажиточнаго чиновника и которому, кажется, не позволяли родители водиться съ Красоткинымъ, какъ съ извѣстнѣйшимъ отчаяннымъ шалуномъ, такъ что Смуровъ, очевидно, выскочилъ теперь украдкой. Этотъ Смуровъ, если не забылъ читатель, былъ одинъ изъ той групы мальчиковъ, которые два мѣсяца тому

назадъ кидали камнями черезъ канаву въ Илюшу, и который разсказывалъ тогда про Илюшу Алешѣ Карамазову.

— Я васъ уже цѣлый часъ жду, Красоткинъ, — съ рѣшительнымъ видомъ проговорилъ Смуровъ, и мальчики зашагали къ площади.

— Запоздалъ, — отвѣтилъ Красоткинъ.—Есть обстоятельства. Тебя не выпорютъ, что ты со мной?

— Ну, полноте, развѣ меня порютъ? И Перезвонъ съ вами?

— И Перезвонъ!

— Вы и его туда?

— И его туда.

— Ахъ, кабы Жучка!

— Нельзя Жучку. Жучка не существуетъ. Жучка исчезла во мракѣ неизвѣстности.

— Ахъ, нельзя ли бы такъ, — пріостановился вдругъ Смуровъ, — вѣдь Илюша говоритъ, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же сѣдая, дымчатая, какъ и Перезвонъ, — нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, онъ, можетъ быть, и повѣритъ?

— Школьникъ, гнушайся лжи, это разъ; даже для добраго дѣла, два. А главное, надѣюсь, ты тамъ не объявлялъ ничего о моемъ приходѣ.

— Боже сохрани, я вѣдь понимаю же. Но Перезвономъ его не утѣшишь, — вздохнулъ Смуровъ. — Знаешь что: отецъ этотъ, капитанъ, мочалка-то, говорилъ намъ, что сегодня щеночка ему принесетъ, настоящаго меделянскаго, съ чернымъ носомъ; онъ думаетъ, что этимъ утѣшитъ Илюшу, только врядъ ли?

— А каковъ онъ самъ, Илюша-то?

— Ахъ, плохъ, плохъ! Я думаю, у него чахотка. Онъ весь въ памяти, только такъ дышитъ — дышитъ, нехорошо онъ дышитъ. Намедни попросилъ, чтобъ его поводили, обули его въ сапожки, пошелъ было, да и валится. «Ахъ, говоритъ, я говорилъ тебѣ, папа, что это у меня дурные сапожки, прежніе, въ нихъ и прежде было неловко ходить». Это онъ думалъ, что онъ отъ сапожекъ съ ногъ валится, а онъ просто отъ слабости. Недѣли не проживетъ. Герценштубе ѣздитъ. Теперь они опять богаты, у нихъ много денегъ.

— Шельмы.

— Кто шельмы?

— Доктора, и вся медицинская сволочь, говоря вообще, и ужъ разумѣется, въ частности. Я отрицаю медицину. Безполезное учрежденіе. Я, впрочемъ, все это изслѣдую. Что это у васъ тамъ за сентиментальности, однако, завелись? Вы тамъ всѣмъ классомъ, кажется, пребываете?

— Не всѣмъ, а такъ человѣкъ десять нашихъ ходитъ туда, всегда, всякій день. Это ничего.

— Удивляетъ меня во всемъ этомъ роль Алексѣя Карамазова: брата его завтра или послѣ завтра судятъ за такое преступленіе, а у него столько времени на сентиментальничанье съ мальчиками!

— Совсѣмъ тутъ никакого нѣтъ сентиментальничанья. Самъ же вотъ идешь теперь съ Илюшей мириться.

— Мириться? Смѣшное выраженіе. Я, впрочемъ, никому не позволяю анализировать мои поступки.

— А какъ Илюша будетъ тебѣ радъ! Онъ и не воображаетъ, что ты придешь. Почему, почему ты

такъ долго не хотѣлъ идти? — воскликнулъ вдругъ съ жаромъ Смуровъ.

— Милый мальчикъ, это мое дѣло, а не твое. Я иду самъ по себѣ, потому что такова моя воля, а васъ всѣхъ притащилъ туда Алексѣй Карамазовъ, значитъ, разница. И почемъ ты знаешь, я, можетъ, вовсе не мириться иду? Глупое выраженіе.

— Вовсе не Карамазовъ, совсѣмъ не онъ. Просто наши сами туда стали ходить, конечно, сперва съ Карамазовымъ. И ничего такого не было, никакихъ глупостей. Сначала одинъ, потомъ другой. Отецъ былъ ужасно намъ радъ. Ты знаешь, онъ просто съ ума сойдетъ, коль умретъ Илюша. Онъ видитъ, что Илюша умретъ. А намъ-то какъ радъ, что мы съ Илюшей помирились. Илюша о тебѣ спрашивалъ, ничего больше не прибавилъ. Спроситъ и замолчитъ. А отецъ съ ума сойдетъ или повѣсится. Онъ вѣдь и прежде держалъ себя, какъ помѣшанный. Знаешь, онъ благородный человѣкъ, и тогда вышла ошибка. Все это отцеубійца виноватъ, что избилъ его тогда.

— А все-таки Карамазовъ для меня загадка. Я могъ бы и давно съ нимъ познакомиться, но я въ иныхъ случаяхъ люблю быть гордымъ. При томъ, я составилъ о немъ нѣкоторое мнѣніе, которое надо еще провѣрить и разъяснить.

Коля важно примолкъ; Смуровъ тоже. Смуромъ, разумѣется, благоговѣлъ предъ Колей Красоткинымъ и не смѣлъ и думать равняться съ нимъ. Теперь же былъ ужасно заинтересованъ, потому что Коля объяснилъ, что идетъ «самъ по себѣ», и была тутъ, стало быть, непремѣнно какая-то загадка въ томъ, что Коля вдругъ вздумалъ теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной пло-

щади, на которой на этотъ разъ стояло много пріѣзжихъ возовъ и было много пригнанной птицы. Городскія бабы торговали подъ своими навѣсами бубликами, нитками и проч. Такіе воскресные съѣзды наивно называются у насъ въ городкѣ ярмарками, и такихъ ярмарокъ бываетъ много въ году. Перезвонъ бѣжалъ въ веселѣйшемъ настроеніи духа, уклоняясь безпрестанно направо и налѣво гдѣ-нибудь что-нибудь понюхать. Встрѣчаясь съ другими собаченками, съ необыкновенной охотой съ ними обнюхивался по всѣмъ собачьимъ правиламъ.

— Я люблю наблюдать реализмъ, Смуровъ, — заговорилъ вдругъ Коля. — Замѣтилъ ты, какъ собаки встрѣчаются и обнюхиваются? Тутъ какой-то общій у нихъ законъ природы.

— Да, какой-то смѣшной.

— То есть не смѣшной, это ты неправильно. Въ природѣ ничего нѣтъ смѣшного, какъ бы тамъ ни казалось человѣку съ его предразсудками. Если бы собаки могли разсуждать и критиковать, то навѣрно бы нашли столько же для себя смѣшного, если не гораздо больше, въ соціальныхъ отношеніяхъ между собою людей, ихъ повелителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо увѣренъ, что глупостей у насъ гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замѣчательная. Я соціалистъ, Смуровъ.

— А что такое соціалистъ? — спросилъ Смуровъ.

— Это коли всѣ равны, у всѣхъ одно общее имѣніе, нѣтъ браковъ, а религія и всѣ законы какъ кому угодно, ну и тамъ все остальное. Ты еще не доросъ до этого, тебѣ рано. Холодно, однако.

— Да. Двѣнадцать градусовъ. Давеча отецъ смотрѣлъ на термометрѣ.

— И замѣтилъ ты, Смуровъ, что въ срединѣ зимы, если градусовъ пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не такъ холодно, какъ, напримѣръ, теперь, въ началѣ зимы, когда вдругъ нечаянно ударитъ морозъ, какъ теперь, въ двѣнадцать градусовъ, да еще когда снѣгу мало. Это значитъ люди еще не привыкли. У людей все привычка, во всемъ, даже въ государственныхъ и въ политическихъ отношеніяхъ. Привычка — главный двигатель. Какой смѣшной, однако, мужикъ.

Коля указалъ на рослаго мужика въ тулупѣ, съ добродушною физіономіей, который у своего воза похлопывалъ отъ холода ладонями въ рукавицахъ. Длинная русая борода его вся заиндевѣла отъ мороза.

— У мужика борода замерзла! — громко и задирчиво крикнулъ Коля, проходя мимо него.

— У многихъ замерзла, — спокойно и сентенціозно промолвилъ въ отвѣтъ мужикъ.

— Не задирай его, — замѣтилъ Смуровъ.

— Ничего, не осердится, онъ хорошій. Прощай, Матвѣй.

— Прощай.

— А ты развѣ Матвѣй?

— Матвѣй. А ты не зналъ?

— Не зналъ; я наугадъ сказалъ.

— Ишь вѣдь. Въ школьникахъ небось?

— Въ школьникахъ.

— Что жъ тебя, порютъ?

— Не то чтобы, а такъ.

— Больно?

— Не безъ того!

— Эхъ, жисть! — вздохнулъ мужикъ отъ всего сердца.

— Прощай, Матвѣй.

— Прощай. Парнишка ты милый, вотъ что.

Мальчики пошли дальше.

— Это хорошій мужикъ, — заговорилъ Коля Смурову. — Я люблю поговорить съ народомъ и всегда радъ отдать ему справедливость.

— Зачѣмъ ты ему совралъ, что у насъ сѣкутъ? — спросилъ Смуровъ.

— Надо же было его утѣшить!

— Чѣмъ это?

— Видишь, Смуровъ, не люблю я, когда переспрашиваютъ, если не понимаютъ съ перваго слова. Иного и растолковать нельзя. По идеѣ мужика, школьника порютъ и должны пороть: что, дескать, за школьникъ, если его не порютъ? И вдругъ я скажу ему, что у насъ не порютъ, вѣдь онъ этимъ огорчится. А, впрочемъ, ты этого не понимаешь. Съ народомъ надо умѣючи говорить.

— Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдетъ исторія, какъ тогда съ этимъ гусемъ.

— А ты боишься?

— Не смѣйся, Коля, ей Богу боюсь. Отецъ ужасно разсердится. Мнѣ строго запрещено ходить съ тобой.

— Не безпокойся, нынѣшній разъ ничего не произойдетъ. Здравствуй, Наташа, — крикнулъ онъ одной изъ торговокъ подъ навѣсомъ.

— Какая я тебѣ Наташа, я Марья, — крикливо отвѣтила торговка, далеко еще не старая женщина.

— Это хорошо, что Марья, прощай.

— Ахъ ты пострѣленокъ, отъ земли не видать, а туда же!

— Некогда, некогда мнѣ съ тобой, въ будущее воскресенье разскажешь, — замахалъ руками Коля, — точно она къ нему приставала, а не онъ къ ней.

— А что мнѣ тебѣ разсказывать въ воскресенье? Самъ привязался, а не я къ тебѣ, озорникъ, — раскричалась Марья, — выпороть тебя, вотъ что, обидчикъ ты извѣстный, вотъ что!

Между другими торговками, торговавшими на своихъ лоткахъ рядомъ съ Марьей, раздался смѣхъ, какъ вдругъ изъ-подъ аркады городскихъ лавокъ выскочилъ ни съ того, ни съ сего, одинъ раздраженный человѣкъ въ родѣ купеческаго приказчика, и не нашъ торговецъ, а изъ пріѣзжихъ, въ длиннополомъ синемъ кафтанѣ, въ фуражкѣ съ козырькомъ, еще молодой, въ темнорусыхъ кудряхъ и съ длиннымъ, блѣднымъ, рябоватымъ лицомъ. Онъ былъ въ какомъ-то глупомъ волненіи и тотчасъ принялся грозить Колѣ кулакомъ.

— Я тебя знаю, — восклицалъ онъ раздраженно, — я тебя знаю!

Коля пристально поглядѣлъ на него. Онъ что-то не могъ припомнить, когда онъ съ этимъ человѣкомъ могъ имѣть какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схватокъ на улицахъ, всѣхъ и припомнить было нельзя.

— Знаешь? — иронически спросилъ онъ его.

— Я тебя знаю! Я тебя знаю! — наладилъ, какъ дуракъ, мѣщанинъ.

— Тебѣ же лучше. Ну, некогда мнѣ, прощай!

— Чего озорничаешь? — закричалъ мѣщанинъ. — Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?

— Это, братъ, не твое теперь дѣло, что я озор-

ничаю, — произнесъ Коля, остановясь и продолжая его разглядывать.

— Какъ не мое?

— Такъ, не твое.

— А чье же? Чье же? Ну, чье же?

— Это, братъ, теперь Трифона Никитича дѣло, а не твое.

— Какого такого Трифона Никитича? — съ дурацкимъ удивленіемъ, хотя все такъ же горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмѣрилъ его взглядомъ.

— Къ Вознесенью ходилъ? — строго и настойчиво вдругъ спросилъ онъ его.

— Къ какому Вознесенью? Зачѣмъ? Нѣтъ, не ходилъ, — опѣшилъ немного парень.

— Сабанѣева знаешь, — еще настойчивѣе и еще строже продолжалъ Коля.

— Какого тѣ Сабанѣева? Нѣтъ, не знаю.

— Ну, и чертъ съ тобой послѣ этого! — отрѣзалъ вдругъ Коля и, круто повернувъ направо, быстро зашагалъ дорогой, какъ будто и говорить презирая съ такимъ олухомъ, который Сабанѣева даже не знаетъ.

— Стой ты, эй! Какого тѣ Сабанѣева? — опомнился парень, весь опять заволновавшись. — Это онъ чего такого говорилъ? — повернулся онъ вдругъ къ торговкамъ, глупо смотря на нихъ.

Бабы разсмѣялись.

— Мудреный мальчишка, — проговорила одна.

— Какого, какого это онъ Сабанѣева? — все неистово повторялъ парень, махая правою рукой.

— А это, надоть быть, Сабанѣева, который у Кузьмичевыхъ служилъ, вотъ какъ надоть быть, — догадалась вдругъ одна баба.

Парень дико на нее уставился.

— Кузь-ми-чева? — переговорила другая баба, — да какой онъ Трифонъ? Тотъ Кузьма, а не Трифонъ, а парнишка Трифономъ Никитичемъ называлъ, стало, не онъ.

— Это, вишь, не Трифонъ и не Сабанѣевъ, это Чижовъ, — похватила вдругъ третья баба, доселѣ молчавшая и серьезно слушавшая, — Алексѣй Иванычемъ звать его. Чижовъ, Алексѣй Ивановичъ.

— Это такъ и есть, что Чижовъ, — настойчиво подтвердила четвертая баба.

Ошеломленный парень глядѣлъ то на ту, то на другую.

— Да зачѣмъ онъ спрашивалъ, спрашивалъ-то онъ зачѣмъ, люди добрые? — восклицалъ онъ уже почти въ отчаяніи: — «Сабанѣева знаешь?» А чертъ его знаетъ, какой онъ есть таковъ Сабанѣевъ?

— Безтолковый ты человѣкъ, говорятъ тѣ не Сабанѣевъ, а Чижовъ, Алексѣй Ивановичъ Чижовъ, вотъ кто! — внушительно крикнула ему одна торговка.

— Какой Чижовъ? Ну, какой? Говори, коли знаешь.

— А длинный, возгривый, лѣтось на базарѣ сидѣлъ.

— А на кой лядъ мнѣ твово Чижова, люди добрые, а?

— А я почемъ знаю, на кой тѣ лядъ Чижова.

— А кто тебя знаетъ, на что онъ тебѣ, — подхватила другая, — самъ долженъ знать, на что его тебѣ надо, коли галдишь. Вѣдь онъ тебѣ говорилъ, а не намъ, глупый ты человѣкъ. Аль вправду не знаешь?

— Кого?

— Чижова.

— А чертъ его дери Чижова, съ тобой вмѣстѣ! Отколочу его, вотъ что! Смѣялся онъ надо мной!

— Чижова-то отколотишь? Либо онъ тебя! Дуракъ ты, вотъ что!

— Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчишку отколочу, вотъ что! Давайте его, давайте его сюда, — смѣялся онъ надо мной!

Бабы хохотали. А Коля шагалъ уже далеко съ побѣдоноснымъ выраженіемъ въ лицѣ. Смуровъ шелъ подлѣ, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя онъ все еще опасался какъ бы не попасть съ Колей въ исторію.

— Про какого ты его спросилъ Сабанѣева? — спросилъ онъ Колю, предчувствуя отвѣтъ.

— А почемъ я знаю, про какого? Теперь у нихъ до вечера крику будетъ. Я люблю расшевелить дураковъ во всѣхъ слояхъ общества. Вотъ и еще стоитъ олухъ, вотъ этотъ мужикъ. Замѣть себѣ, говорятъ: «ничего нѣтъ глупѣе глупаго француза», но и русская физіономія выдаетъ себя. Ну, не написано ль у этого на лицѣ, что онъ дуракъ, вотъ у этого мужика, а?

— Оставь его, Коля, пройдемъ мимо.

— Ни за что не оставлю, я теперь поѣхалъ. Эй! здравствуй, мужикъ!

Дюжій мужикъ, медленно проходившій мимо и уже, должно быть, выпившій, съ круглымъ простоватымъ лицомъ и съ бородой съ просѣдью, поднялъ голову и посмотрѣлъ на парнишку.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — неторопливо проговорилъ онъ въ отвѣтъ.

— А коль шучу? — засмѣялся Коля.

— А шутишь, такъ и шути, Богъ съ тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтобъ пошутить.

— Виноватъ, братъ, пошутилъ.

— Ну и Богъ тѣ прости.

— Ты-то прощаешь ли?

— Оченно прощаю. Ступай.

— Вишь вѣдь, да ты, пожалуй, мужикъ умный.

— Умнѣй тебя, — неожиданно и попрежнему важно отвѣтилъ мужикъ.

— Врядъ ли, — опѣшилъ нѣсколько Коля.

— Вѣрно говорю.

— А пожалуй, что и такъ.

— То-то, братъ.

— Прощай, мужикъ.

— Прощай.

— Мужики бываютъ разные, — замѣтилъ Коля Смурову послѣ нѣкотораго молчанія. — Почемъ же я зналъ, что нарвусь на умника. Я всегда готовъ признать умъ въ народѣ.

Вдали на соборныхъ часахъ пробило половину двѣнадцатаго. Мальчики заспѣшили, и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабсъ-капитана Снѣгирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двадцать шаговъ до дома Коля остановился и велѣлъ Смурову пойти впередъ и вызвать ему сюда Карамазова.

— Надо предварительно обнюхаться, — замѣтилъ онъ Смурову.

— Да зачѣмъ вызывать, — возразилъ было Смуровъ, — войди и такъ, тебѣ ужасно обрадуются. А то что же на морозѣ знакомиться?

— Это ужъ я знаю, зачѣмъ мнѣ его надо сюда

на морозъ, — деспотически отрѣзалъ Коля (что ужасно любилъ дѣлать съ этими маленькими), и Смуровъ побѣжалъ исполнять приказаніе.

IV.

Жучка.

Коля съ важною миной въ лицѣ прислонился къ забору и сталъ ожидать появленія Алеши. Да, съ нимъ ему давно уже хотѣлось встрѣтиться. Онъ много наслышался о немъ отъ мальчиковъ, но до сихъ поръ всегда наружно выказывалъ презрительно равнодушный видъ, когда ему о немъ говорили, даже «критиковалъ» Алешу, выслушивая то, что о немъ ему передавали. Но про себя очень, очень хотѣлъ познакомиться: что-то было во всѣхъ выслушанныхъ имъ разсказахъ объ Алешѣ симпатическое и влекущее. Такимъ образомъ теперешняя минута была важная; во-первыхъ, надо было себя въ грязь лицомъ не ударить, показать независимость: «а то подумаетъ, что мнѣ тринадцать лѣтъ, и приметъ меня за такого же мальчишку, какъ и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однакоже, что я такого маленькаго росту. Тузиковъ моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочемъ, умное; я не хорошъ, знаю, что я мерзокъ лицомъ, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то съ объятіями, онъ и подумаетъ . . . Тьфу, какая будетъ мерзость, если подумаетъ! . .»

Такъ волновался Коля, изо всѣхъ силъ стараясь принять самый независимый видъ. Главное, его мучилъ маленькій его ростъ, не столько «мерзкое»

лицо, сколько ростъ. У него дома, въ углу на стѣнѣ, еще съ прошлаго года была сдѣлана карандашемъ черточка, которою онъ отмѣтилъ свой ростъ, и съ тѣхъ поръ каждые два мѣсяца онъ съ волненіемъ подходилъ опять мѣриться: на сколько успѣлъ вырасти? Но увы! Выросталъ онъ ужасно мало, и это приводило его порой просто въ отчаяніе. Что же до лица, то было оно вовсе не «мерзкое», напротивъ, довольно миловидное, бѣленькое, блѣдненькое, съ веснушками. Сѣрые, небольшіе, но живые глазки смотрѣли смѣло и часто загорались чувствомъ. Скулы были нѣсколько широки, губы маленькія, не очень толстыя, но очень красныя; носъ маленькій и рѣшительно вздернутый: «совсѣмъ курносый, совсѣмъ курносый!» бормоталъ про себя Коля, когда смотрѣлся въ зеркало, и всегда отходилъ отъ зеркала съ негодованіемъ. «Да врядъ ли и лицо умное?» подумывалъ онъ иногда, даже сомнѣваясь и въ этомъ. Впрочемъ, не надо полагать, что забота о лицѣ и о ростѣ поглощали всю его душу. Напротивъ, какъ ни язвительны были минуты передъ зеркаломъ, но онъ быстро забывалъ о нихъ и даже надолго, «весь отдаваясь идеямъ и дѣйствительной жизни», какъ опредѣлялъ онъ самъ свою дѣятельность.

Алеша появился скоро и спѣша подошелъ къ Колѣ; за нѣсколько шаговъ еще тотъ разглядѣлъ, что у Алеши было какое-то совсѣмъ радостное лицо. «Неужели такъ радъ мнѣ?» съ удовольствіемъ подумалъ Коля. Здѣсь, кстати, замѣтимъ, что Алеша очень измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ мы его оставили: онъ сбросилъ подрясникъ и носилъ теперь прекрасно сшитый сюртукъ, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень

его скрасило, и смотрѣлъ онъ совсѣмъ красавчикомъ. Миловидное лицо его имѣло всегда веселый видъ, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. Къ удивленію Коли, Алеша вышелъ къ нему въ томъ, въ чемъ сидѣлъ въ комнатѣ, безъ пальто, видно, что поспѣшилъ. Онъ прямо протянулъ Колѣ руку.

— Вотъ и вы, наконецъ, какъ мы васъ всѣ ждали.

— Были причины, о которыхъ сейчасъ узнаете. Во всякомъ случаѣ радъ познакомиться. Давно ждалъ случая и много слышалъ, — пробормоталъ, немного задыхаясь, Коля.

— Да мы съ вами и безъ того бы познакомились, я самъ о васъ много слышалъ, но здѣсь-то, сюда-то вы запоздали.

— Скажите, какъ здѣсь?

— Илюша очень плохъ, онъ непремѣнно умретъ.

— Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карамазовъ, — съ жаромъ воскликнулъ Коля.

— Илюша часто, очень часто вспоминалъ о васъ, даже, знаете, во снѣ, въ бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде... до того случая... съ ножикомъ. Тутъ есть и еще причина... Скажите, это ваша собака?

— Моя. Перезвонъ.

— А не Жучка? — жалостно поглядѣлъ Алеша въ глаза Колѣ. — Та уже такъ и пропала?

— Знаю, что вамъ хотѣлось бы всѣмъ Жучку, слышалъ все-съ, — загадочно усмѣхнулся Коля. — Слушайте, Карамазовъ, я вамъ объясню все дѣло, я, главное, съ тѣмъ и пришелъ, для этого

васъ и вызвалъ, чтобы вамъ предварительно объяснить весь пассажъ, прежде чѣмъ мы войдемъ, — оживленно началъ онъ. — Видите, Карамазовъ, весной Илюша поступаетъ въ приготовительный классъ. Ну, извѣстно, нашъ приготовительный классъ: мальчишки, дѣтвора. Илюшу тотчасъ же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумѣется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчикъ маленькій, слабенькій, но не подчиняется, даже съ ними дерется, гордый, глазенки горятъ. Я люблю этакихъ. А они-то его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверхъ лѣзутъ, а сапоги каши просятъ. Они его и за это. Унижаютъ. Нѣтъ, этого ужъ я не люблю, тотчасъ же заступился и экстрафеферу задалъ. Я вѣдь ихъ бью, а они меня обожаютъ, вы знаете ли это, Карамазовъ? — экспансивно похвастался Коля. — Да и вообще люблю дѣтвору. У меня и теперь на шеѣ дома два птенца сидятъ, даже сегодня меня задержали. Такимъ образомъ Илюшу перестали бить, и я взялъ его подъ мою протекцію. Вижу, мальчикъ гордый, это я вамъ говорю, что гордый, но кончилъ тѣмъ, что предался мнѣ рабски, исполняетъ малѣйшія мои повелѣнія, слушаетъ меня, какъ Бога, лѣзетъ мнѣ подражать. Въ антрактахъ между классами сейчасъ ко мнѣ, и мы вмѣстѣ съ нимъ ходимъ. По воскресеньямъ тоже. У насъ въ гимназіи смѣются, когда старшій сходится на такую ногу съ маленькимъ, но это предразсудокъ. Такова моя фантазія, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю, — почему, скажите, я не могу его развивать, если онъ мнѣ нравится? Вѣдь вотъ вы же, Карамазовъ, сошлись со всѣми этими птенцами, значитъ, хотите дѣйствовать на молодое

поколѣніе, развивать, быть полезнымъ? И, признаюсь, эта черта въ вашемъ характерѣ, которую я узналъ по наслышкѣ, всего болѣе заинтересовала меня. Впрочемъ, къ дѣлу: примѣчаю, что въ мальчикѣ развивается какая-то чувствительность, сантиментальность, а я, знаете, рѣшительный врагъ всякихъ телячьихъ нѣжностей, съ самаго моего рожденія. И къ тому же противорѣчія: гордъ, а мнѣ преданъ рабски, — преданъ рабски, а вдругъ засверкаютъ глазенки и не хочетъ даже согласиться со мной, споритъ, на стѣну лѣзетъ. Я проводилъ иногда разныя идеи: онъ не то что съ идеями не согласенъ, а просто вижу, что онъ лично противъ меня бунтуетъ, потому что я на его нѣжности отвѣчаю хладнокровіемъ. И вотъ, чтобы его выдержать, я, чѣмъ онъ нѣжнѣе, тѣмъ становлюсь еще хладнокровнѣе, нарочно такъ поступаю, таково мое убѣжденіе. Я имѣлъ въ виду вышколить характеръ, выравнять, создать человѣка... ну и тамъ... вы, разумѣется, меня съ полслова понимаете. Вдругъ замѣчаю, онъ день, другой, третій смущенъ, скорбитъ, но ужъ не о нѣжностяхъ, а о чемъ-то другомъ, сильнѣйшемъ, высшемъ. Думаю, что за трагедія? Наступаю на него и узнаю штуку: какимъ-то онъ образомъ сошелся съ лакеемъ покойнаго отца вашего (который тогда еще былъ въ живыхъ) Смердяковымъ, а тотъ и научи его, дурачка, глупой шуткѣ, то есть звѣрской шуткѣ, подлой шуткѣ, — взять кусокъ хлѣба, мякишу, воткнуть въ него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собакѣ, изъ такихъ, которыя съ голодухи кусокъ не жуя глотаютъ, и посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ. Вотъ и смастерили они такой кусокъ и бросили вотъ этой самой лохматой

Жучкѣ, о которой теперь такая исторія, одной дворовой собакѣ изъ такого двора, гдѣ ее просто не кормили, а она-то весь день на вѣтеръ лаетъ. (Любите вы этотъ глупый лай, Карамазовъ? Я терпѣть не могу.) Такъ и бросилась, проглотила и завизжала, завертѣлась и пустилась бѣжать, бѣжитъ и все визжитъ, и исчезла, — такъ мнѣ описывалъ самъ Илюша. Признается мнѣ, а самъ плачетъ — плачетъ, обнимаетъ меня, сотрясается: «бѣжитъ и визжитъ, бѣжитъ и визжитъ» — только это и повторяетъ, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызенія совѣсти. Я принялъ серьезно. Мнѣ, главное, и за прежнее хотѣлось его прошколить, такъ что, признаюсь, я тутъ схитрилъ, притворился, что въ такомъ негодованіи, какого, можетъ, и не было у меня вовсе: «ты, говорю, сдѣлалъ низкій поступокъ, ты подлецъ, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю съ тобой сношенія. Дѣло это обдумаю, и дамъ тебѣ знать черезъ Смурова (вотъ этого самаго мальчика, который теперь со мной пришелъ и который всегда былъ мнѣ преданъ): буду ли продолжать съ тобою впредь отношенія или брошу тебя навѣки, какъ подлеца». Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовалъ, что, можетъ быть, слишкомъ строго отнесся, но что дѣлать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя, посылаю къ нему Смурова и чрезъ него передаю, что я съ нимъ больше «не говорю», то есть это такъ у насъ называется, когда два товарища прерываютъ между собой сношенія. Тайна въ томъ, что я хотѣлъ его выдержать на фернбантѣ всего только нѣсколько дней, а тамъ, видя раскаяніе, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намѣреніе. Но что же вы ду-

маете: выслушалъ онъ Смурова, и вдругъ у него засверкали глаза: «передай, закричалъ онъ, — отъ меня Красоткину, что я всѣмъ собакамъ буду теперь куски съ булавками кидать, всѣмъ, всѣмъ!» «А, думаю, вольный душокъ завелся, его надо выкурить», и сталъ ему выказывать полное презрѣніе, при всякой встрѣчѣ отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдругъ тутъ происходитъ этотъ случай съ его отцомъ, помните, мочалка-то? Поймите, что онъ такимъ образомъ уже предварительно приготовленъ былъ къ страшному раздраженію. Мальчики, видя, что я его оставилъ, накинулись на него, дразнятъ: «мочалка, мочалка». Вотъ тутъ-то у нихъ начались баталіи, о которыхъ я страшно сожалѣю, потому что его, кажется, очень больно тогда разъ избили. Вотъ разъ онъ бросается на всѣхъ на дворѣ, когда выходили изъ классовъ, а я какъ разъ стою въ десяти шагахъ и смотрю на него. И, клянусь, я не помню, чтобъ я тогда смѣялся, напротивъ, мнѣ тогда очень, очень стало жалко его, и еще мигъ, и я бы бросился его защищать. Но онъ вдругъ встрѣтилъ мой взглядъ: что ему показалось — не знаю, но онъ выхватилъ перочинный ножикъ, бросился на меня и ткнулъ мнѣ въ бедро, вотъ тутъ, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбръ, Карамазовъ, я только посмотрѣлъ съ презрѣніемъ, какъ бы говоря взглядомъ: «не хочешь ли, молъ, еще за всю мою дружбу, такъ я къ твоимъ услугамъ». Но онъ другой разъ не пырнулъ, онъ не выдержалъ, онъ самъ испугался, бросилъ ножикъ, заплакалъ въ голосъ и пустился бѣжать. Я, разумѣется, не фискалилъ и приказалъ всѣмъ молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказалъ, только когда все

зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потомъ слышу, что въ тотъ же день онъ бросался камнями и вамъ палецъ укусилъ, — но, понимаете, въ какомъ онъ былъ состояніи! Ну, что дѣлать, я сдѣлалъ глупо: когда онъ заболѣлъ, я не пошелъ его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тутъ ужъ у меня явились особыя цѣли. Ну, вотъ и вся исторія . . . только, кажется, я сдѣлалъ глупо . . .

— Ахъ, какъ это жаль, — воскликнулъ съ волненіемъ Алеша, — что я не зналъ вашихъ этихъ съ нимъ отношеній раньше, а то бы я самъ давно уже пришелъ къ вамъ васъ просить пойти къ нему со мной вмѣстѣ. Вѣрите ли, въ жару, въ болѣзни, онъ бредилъ вами. Я и не зналъ, какъ вы ему дороги! И неужели, неужели вы такъ и не отыскали эту Жучку? Отецъ и всѣ мальчики по всему городу разыскивали. Вѣрите ли, онъ, больной, въ слезахъ, три раза при мнѣ ужъ повторялъ отцу: «это оттого я боленъ, папа, что я Жучку тогда убилъ, это меня Богъ наказалъ»: не собьешь его съ этой мысли! И если бы только достали теперь Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, онъ бы воскресъ отъ радости. Всѣ мы на васъ надѣялись.

— Скажите, съ какой же стати надѣялись, что именно я отыщу? — съ чрезвычайнымъ любопытствомъ спросилъ Коля, — почему именно на меня расчитывали, а не на другого?

— Какой-то слухъ былъ, что вы ее отыскиваете, и что когда отыщете ее, то приведете. Смуровъ что-то говорилъ въ этомъ родѣ. Мы, главное, все стараемся увѣрить, что Жучка жива, что ее гдѣ-то видѣли. Мальчики ему живого зайчика откуда-то

достали, только онъ посмотрѣлъ, чуть-чуть улыбнулся и попросилъ, чтобы выпустили въ поле. Такъ мы и сдѣлали. Сію минуту отецъ воротился и ему щенка меделянскаго принесъ, тоже досталъ откуда-то, думалъ этимъ утѣшить, только хуже еще, кажется, вышло . . .

— Еще скажите, Карамазовъ: что такое этотъ отецъ? Я его знаю, но что онъ такое по вашему опредѣленію: шутъ, паяцъ?

— Ахъ, нѣтъ, есть люди глубоко чувствующіе, но какъ-то придавленные. Шутовство у нихъ въ родѣ злобной ироніи на тѣхъ, которымъ въ глаза они не смѣютъ сказать правды отъ долговременной унизительной робости предъ ними. Повѣрьте, Красоткинъ, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на землѣ совокупилось въ Илюшѣ, и умри Илюша, онъ или съ ума сойдетъ съ горя, или лишитъ себя жизни. Я почти убѣжденъ въ этомъ, когда теперь на него смотрю!

— Я васъ понимаю, Карамазовъ, я вижу, вы знаете человѣка, — прибавилъ проникновенно Коля.

— А я, какъ увидалъ васъ съ собакой, такъ и подумалъ, что вы это привели ту самую Жучку.

— Подождите, Карамазовъ, можетъ быть, мы ее и отыщемъ, а эта — это Перезвонъ. Я впущу ее теперь въ комнату и, можетъ быть, развеселю Илюшу побольше, чѣмъ меделянскимъ щенкомъ. Подождите, Карамазовъ, вы кой-что сейчасъ узнаете. Ахъ, Боже мой, что жъ я васъ держу! — вскричалъ вдругъ стремительно Коля. — Вы въ одномъ сюртучкѣ на такомъ холодѣ, а я васъ задерживаю, видите, видите, какой я эгоистъ! О, всѣ мы эгоисты, Карамазовъ!

— Не безпокойтесь, правда, холодно, но я не простудливъ. Пойдемте однакоже. Кстати: какъ ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?

— Николай, Николай Ивановъ Красоткинъ, или какъ говорятъ по-казенному: сынъ Красоткинъ, — чему-то засмѣялся Коля, но вдругъ прибавилъ:

— Я, разумѣется, ненавижу мое имя Николай.

— Почему же?

— Тривіально, казенно . . .

— Вамъ тринадцатый годъ? — спросилъ Алеша.

— То есть четырнадцатый, черезъ двѣ недѣли четырнадцать, весьма скоро. Признаюсь предъ вами заранѣе въ одной слабости, Карамазовъ, это ужъ такъ предъ вами, для перваго знакомства, чтобы вы сразу увидѣли всю мою натуру: ненавижу, когда меня спрашиваютъ про мои года, болѣе чѣмъ ненавижу . . . и, наконецъ . . . про меня, напримѣръ, есть клевета, что я на прошлой недѣлѣ съ приготовительными въ разбойники игралъ. То, что я игралъ — это дѣйствительность, но что я для себя игралъ, для доставленія себѣ самому удовольствія, то это рѣшительно клевета. Я имѣю основаніе думать, что до васъ это дошло, но я не для себя игралъ, а для дѣтворы игралъ, потому что они ничего безъ меня не умѣли выдумать. И вотъ у насъ всегда вздоръ распустятъ. Это городъ сплетенъ, увѣряю васъ.

— А хоть бы и для своего удовольствія играли, что жъ тутъ такого?

— Ну для себя . . . Не станете же вы въ лошадки играть?

— А вы разсуждайте такъ, — улыбнулся Алеша, — въ театръ, напримѣръ, ѣздятъ же взрослые, а въ театрѣ тоже представляютъ приключенія вся-

кихъ героевъ, иногда даже съ разбойниками и съ войной, — такъ развѣ это не то же самое, въ своемъ, разумѣется, родѣ? А игра въ войну у молодыхъ людей, въ рекреаціонное время, или тамъ въ разбойники, — это вѣдь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства въ юной душѣ, и эти игры иногда даже сочиняются складнѣе, чѣмъ представленія въ театрѣ, только въ томъ разница, что въ театръ ѣздятъ смотрѣть актеровъ, а тутъ молодежь сами актеры. Но это только естественно.

— Вы такъ думаете? Таково ваше убѣжденіе? — пристально смотрѣлъ на него Коля. — Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали; я теперь приду домой и шевельну мозгами на этотъ счетъ. Признаюсь, я такъ и ждалъ, что отъ васъ можно кой-чему поучиться. Я пришелъ у васъ учиться, Карамазовъ, — проникновеннымъ и экспансивнымъ голосомъ заключилъ Коля.

— А я у васъ, — улыбнулся Алеша, пожавъ ему руку.

Коля былъ чрезвычайно доволенъ Алешей. Его поразило то, что съ нимъ онъ въ высшей степени на равной ногѣ, и что тотъ говоритъ съ нимъ, какъ съ «самымъ большимъ».

— Я вамъ сейчасъ одинъ фортель покажу, Карамазовъ, тоже одно театральное представленіе, — нервно засмѣялся онъ, — я съ тѣмъ и пришелъ.

— Зайдемъ сначала налѣво къ хозяевамъ, тамъ всѣ ваши свои пальто оставляютъ, потому что въ комнатѣ тѣсно и жарко.

— О, вѣдь я на мгновеніе, я пойду и просижу въ пальто. Перезвонъ останется здѣсь въ сѣняхъ и умретъ: «иси, Перезвонъ, кушъ и умри!» — ви-

дите, онъ и умеръ. А я сначала войду, высмотрю обстановку, и потомъ, когда надо будетъ, свистну: «иси, Перезвонъ!» и вы увидите, онъ тотчасъ же влетитъ, какъ угорѣлый. Только надо, чтобы Смуровъ не забылъ отворить въ то мгновеніе дверь. Ужъ я распоряжусь, и вы увидите фортель . . .

V.

У Илюшиной постельки.

Въ знакомой уже намъ комнатѣ, въ которой обитало семейство извѣстнаго намъ отставного штабсъ-капитана Снѣгирева, было въ эту минуту и душно и тѣсно отъ многочисленной набравшейся публики. Нѣсколько мальчиковъ сидѣли въ этотъ разъ у Илюши, и хоть всѣ они готовы были, какъ и Смуровъ, отрицать, что помирилъ и свелъ ихъ съ Илюшей Алеша, но это было такъ. Все искусство его въ этомъ случаѣ состояло въ томъ, что свелъ онъ ихъ съ Илюшей, одного за другимъ, безъ «телячьихъ нѣжностей», а совсѣмъ какъ бы не нарочно и нечаянно. Илюшѣ же это принесло огромное облегченіе въ его страданіяхъ. Увидѣвъ почти нѣжную дружбу и участіе къ себѣ всѣхъ этихъ мальчиковъ, прежнихъ враговъ своихъ, онъ былъ очень тронутъ. Одного только Красоткина не доставало, и это лежало въ его сердцѣ страшнымъ гнетомъ. Если было въ горькихъ воспоминаніяхъ Илюшечки нѣчто самое горьчайшее, то это именно весь этотъ эпизодъ съ Красоткинымъ, бывшимъ единственнымъ другомъ его и защитникомъ, на котораго онъ бросился тогда съ ножикомъ. Такъ думалъ и умненькій мальчикъ Смуровъ (первый при-

шедшій помириться съ Илюшей). Но самъ Красоткинъ, когда Смуровъ отдаленно сообщилъ ему, что Алеша хочетъ къ нему придти «по одному дѣлу», тотчасъ же оборвалъ и отрѣзалъ подходъ, поручивъ Смурову немедленно сообщить «Карамазову», что онъ самъ знаетъ, какъ поступать, что совѣтовъ ни отъ кого не проситъ, и что, если пойдетъ къ больному, то самъ знаетъ, когда пойти, потому что у него «свой расчетъ». Это было еще недѣли за двѣ до этого воскресенья. Вотъ почему Алеша и не пошелъ къ нему самъ, какъ намѣревался. Впрочемъ, онъ хоть и подождалъ, но, однакоже, послалъ Смурова къ Красоткину еще разъ и еще разъ. Но въ оба эти раза Красоткинъ отвѣтилъ уже самымъ рѣшительнымъ и рѣзкимъ отказомъ, передавъ Алешѣ, что, если тотъ придетъ за нимъ самъ, то онъ за это никогда не пойдетъ къ Илюшѣ, и чтобъ ему больше не надоѣдали. Даже до самаго этого послѣдняго дня самъ Смуровъ не зналъ, что Коля рѣшилъ отправиться къ Илюшѣ въ это утро, и только наканунѣ вечеромъ, прощаясь со Смуровымъ, Коля вдругъ рѣзко объявилъ ему, чтобъ онъ ждалъ его завтра утромъ дома, потому что пойдетъ вмѣстѣ съ нимъ къ Снѣгиревымъ, но чтобы не смѣлъ, однакоже, никого увѣдомлять о его прибытіи, такъ какъ онъ хочетъ придти нечаянно. Смуровъ послушался. Мечта же о томъ, что онъ приведетъ пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основаніи разъ брошенныхъ мелькомъ словъ Красоткинымъ, что «ослы они всѣ, коли не могутъ отыскать собаку, если только она жива». Когда же Смуровъ робко, выждавъ время, намекнулъ о своей догадкѣ насчетъ собаки Красоткину, тотъ вдругъ ужасно озлился: «что̀ я за оселъ, чтобъ

искать чужихъ собакъ по всему городу, когда у меня свой Перезвонъ? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива! Телячьи нѣжности, больше ничего!»

Между тѣмъ Илюша уже недѣли двѣ какъ почти не сходилъ съ своей постельки, въ углу, у образовъ. Въ классы же не ходилъ съ самаго того случая, когда встрѣтился съ Алешей и укусилъ ему палецъ. Впрочемъ, онъ съ того же дня и захворалъ, хотя еще съ мѣсяцъ могъ кое-какъ ходить изрѣдка по комнатѣ и въ сѣняхъ, изрѣдка вставая съ постельки. Наконецъ, совсѣмъ обезсилѣлъ, такъ что безъ помощи отца не могъ двигаться. Отецъ трепеталъ надъ нимъ, пересталъ даже совсѣмъ пить, почти обезумѣлъ отъ страха, что умретъ его мальчикъ, и часто, особенно послѣ того, какъ проведетъ, бывало, его по комнатѣ подъ руку и уложитъ опять въ постельку, — вдругъ выбѣгалъ въ сѣни, въ темный уголъ, и, прислонившись лбомъ къ стѣнѣ, начиналъ рыдать какимъ-то заливчатымъ, сотрясающимся плачемъ, давя свой голосъ, чтобы рыданій его не было слышно у Илюшечки.

Возвращаясь же въ комнату, начиналъ обыкновенно чѣмъ-нибудь развлекать и утѣшать своего дорогого мальчика, разсказывалъ ему сказки, смѣшные анекдоты, или представлялъ изъ себя разныхъ смѣшныхъ людей, которыхъ ему удавалось встрѣчать, даже подражалъ животнымъ, какъ они смѣшно воютъ или кричатъ. Но Илюша очень не любилъ, когда отецъ коверкался и представлялъ изъ себя шута. Мальчикъ хоть и старался не показывать, что ему это непріятно, но съ болью сердца сознавалъ, что отецъ въ обществѣ униженъ, и всегда, неотвязно, вспоминалъ о «мочалкѣ» и о

томъ «страшномъ днѣ». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отецъ коверкался (что̀ же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась въ Петербургъ слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и отъ всего сердца смѣялась, когда ея супругъ начнетъ, бывало, что-нибудь представлять или выдѣлывать какіе-нибудь смѣшные жесты. Этимъ только ее и можно было утѣшить, во все же остальное время она безпрерывно брюзжала и плакалась, что теперь всѣ ее забыли, что ее никто не уважаетъ, что ее обижаютъ и проч., и проч. Но въ самые послѣдніе дни и она вдругъ какъ бы вся перемѣнилась. Она часто начала смотрѣть въ уголокъ на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливѣе, притихла и, если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабсъ-капитанъ съ горькимъ недоумѣніемъ замѣтилъ эту въ ней перемѣну. Посѣщенія мальчиковъ ей сначала не понравились и только сердили ее, но потомъ веселые крики и разсказы дѣтей стали развлекать и ее и до того подъ конецъ ей понравились, что, перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дѣти что̀ разсказывали или начинала играть, она смѣялась и хлопала въ ладошки. Иныхъ подзывала къ себѣ и цѣловала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабсъ-капитана, то появленіе въ его квартирѣ дѣтей, приходившихъ веселить Илюшу, наполнило душу его съ самаго начала восторженною радостью и даже надеждой, что Илюша перестанетъ теперь тосковать и, можетъ быть, оттого скорѣе выздоровѣетъ. Онъ ни одной минуты, до самаго послѣдняго времени, не сомнѣвался, несмотря на весь

свой страхъ за Илюшу, что его мальчикъ вдругъ выздоровѣетъ. Онъ встрѣчалъ маленькихъ гостей съ благоговѣніемъ, ходилъ около нихъ, услуживалъ, готовъ былъ ихъ на себѣ возить, но Илюшѣ эти игры не понравились и были оставлены. Сталъ для нихъ покупать гостинцевъ, пряничковъ, орѣшковъ, устраивалъ чай, намазывалъ бутерброды. Надо замѣтить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашніе двѣсти рублей отъ Катерины Ивановны онъ принялъ точь-въ-точь по предсказанію Алеши. А потомъ Катерина Ивановна, разузнавъ подробнѣе объ ихъ обстоятельствахъ и о болѣзни Илюши, сама посѣтила ихъ квартиру, познакомилась со всѣмъ семействомъ и даже сумѣла очаровать полоумную штабсъ-капитаншу. Съ тѣхъ поръ рука ея не оскудѣвала, а самъ штабсъ-капитанъ, подавленный ужасомъ при мысли, что умретъ его мальчикъ, забывалъ свой прежній гоноръ и смиренно принималъ подаяніе. Все это время докторъ Герценштубе, по приглашенію Катерины Ивановны, ѣздилъ постоянно и аккуратно черезъ день къ больному, но толку отъ его посѣщеній выходило мало, а пичкалъ онъ его лѣкарствами ужасно. Но зато въ этотъ день, то есть въ это воскресенье утромъ у штабсъ-капитана ждали одного новаго доктора, пріѣзжаго изъ Москвы и считавшагося въ Москвѣ знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила изъ Москвы Катерина Ивановна за большія деньги, — не для Илюшечки, а для другой одной цѣли, о которой будетъ сказано ниже и въ своемъ мѣстѣ, но ужъ такъ какъ онъ прибылъ, то и попросила его навѣстить и Илюшечку, о чемъ штабсъ-капитанъ былъ заранѣе предувѣдомленъ. О прибытіи же Коли Красоткина онъ не

имѣлъ никакого предчувствія, хотя уже давно желалъ, чтобы пришелъ, наконецъ, этотъ мальчикъ, по которомъ такъ мучился его Илюшечка. Въ то самое мгновеніе, когда Красоткинъ отворилъ дверь и появился въ комнатѣ, всѣ, штабсъ-капитанъ и мальчики, столпились около постельки больного и разсматривали только что принесеннаго крошечнаго меделянскаго щенка, вчера только родившагося, но еще за недѣлю заказаннаго штабсъ-капитаномъ, чтобы развлечь и утѣшить Илюшечку, все тосковавшаго объ исчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучкѣ. Но Илюша, уже слышавшій и знавшій еще за три дня, что ему подарятъ маленькую собачку и не простую, а настоящую меделянскую (что̀, конечно, было ужасно важно), хотя и показывалъ изъ тонкаго и деликатнаго чувства, что радъ подарку, но всѣ, и отецъ и мальчики, ясно увидѣли, что новая собачка, можетъ быть, только еще сильнѣе шевельнула въ его сердечкѣ воспоминаніе о несчастной, имъ замученной, Жучкѣ. Щеночекъ лежалъ и копошился подлѣ него, и онъ, болѣзненно улыбаясь, гладилъ его своею тоненькою, блѣдненькою, высохшею ручкой; даже видно было, что собаченка ему понравилась, но . . . Жучки все же не было, все же это не Жучка, а вотъ если бы Жучка и щеночекъ вмѣстѣ, тогда бы было полное счастіе!

— Красоткинъ! — крикнулъ вдругъ одинъ изъ мальчиковъ, первый завидѣвшій вошедшаго Колю. Произошло видимое волненіе, мальчики разступились и стали по обѣ стороны постельки, такъ что вдругъ открыли всего Илюшечку. Штабсъ-капитанъ стремительно бросился навстрѣчу Колѣ.

— Пожалуйте, пожалуйте . . . дорогой гость! —

залепеталъ онъ ему, — Илюшечка, господинъ Красоткинъ къ тебѣ пожаловалъ...

Но Красоткинъ, наскоро подавъ ему руку, мигомъ выказалъ и чрезвычайное свое знаніе свѣтскихъ приличій. Онъ тотчасъ же и прежде всего обратился къ сидѣвшей въ своемъ креслѣ супругѣ штабсъ-капитана (которая какъ разъ въ ту минуту была ужасно какъ недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не даютъ ей поглядѣть на новую собачку), и чрезвычайно вѣжливо шаркнулъ предъ нею ножкой, а затѣмъ, повернувшись къ Ниночкѣ, отдалъ и ей, какъ дамѣ, такой же поклонъ. Этотъ вѣжливый поступокъ произвелъ на больную даму необыкновенно пріятное впечатлѣніе.

— Вотъ и видно сейчасъ хорошо воспитаннаго молодого человѣка, — громко произнесла она, разводя руками, — а то что̀ прочіе-то наши гости: одинъ на другомъ пріѣзжаютъ.

— Какъ же, мамочка, одинъ-то на другомъ, какъ это такъ—хоть и ласково, но опасаясь немного за «мамочку», — пролепеталъ штабсъ-капитанъ.

— А такъ и въѣзжаютъ. Сядетъ въ сѣняхъ одинъ другому верхомъ на плечи, да въ благородное семейство и въѣдетъ, сидя верхомъ. Какой же это гость?

— Да кто же, мамочка, такъ въѣзжалъ, кто же?

— Да вотъ этотъ мальчикъ на этомъ мальчикѣ сегодня въѣхалъ, а вотъ тотъ на томъ...

Но Коля уже стоялъ у постельки Илюши. Больной видимо поблѣднѣлъ. Онъ приподнялся на кроваткѣ и пристально-пристально посмотрѣлъ на Колю. Тотъ не видалъ своего прежняго маленькаго

друга уже мѣсяца два, и вдругъ остановился предъ нимъ совсѣмъ пораженный: онъ и вообразить не могъ, что увидитъ такое похудѣвшее и пожелтѣвшее личико, такіе горящіе въ лихорадочномъ жару и какъ будто ужасно увеличившіеся глаза, такія худенькія ручки. Съ горестнымъ удивленіемъ всматривался онъ, что Илюша такъ глубоко и часто дышитъ и что у него такъ ссохлись губы. Онъ шагнулъ къ нему, подалъ руку и, почти совсѣмъ потерявшись, проговорилъ:

— Ну что̀, старикъ . . . какъ поживаешь?

Но голосъ его пресѣкся, развязности не хватило, лицо какъ-то вдругъ передернулось, и что-то задрожало около его губъ. Илюша болѣзненно ему улыбался, все еще не въ силахъ сказать слова. Коля вдругъ поднялъ руку и провелъ для чего-то своею ладонью по волосамъ Илюши.

— Ни-че-го! — пролепеталъ онъ ему тихо, — не то ободряя его, не то самъ не зная, зачѣмъ это сказалъ. Съ минутку опять помолчали.

— Что̀ это у тебя новый щенокъ? — вдругъ самымъ безчувственнымъ голосомъ спросилъ Коля.

— Да-а-а! — отвѣтилъ Илюша длиннымъ шепотомъ, задыхаясь.

— Черный носъ, значитъ, изъ злыхъ, изъ цѣпныхъ, — важно и твердо замѣтилъ Коля, какъ будто все дѣло было именно въ щенкѣ и въ его черномъ носѣ. Но главное было въ томъ, что онъ все еще изо всѣхъ силъ старался побороть въ себѣ чувство, чтобы не заплакать, какъ «маленькій», и все еще не могъ побороть. — Подрастетъ, придется посадить на цѣпь, ужъ я знаю.

— Онъ огромный будетъ! — воскликнулъ одинъ мальчикъ изъ толпы.

— Извѣстно, меделянскій, огромный, вотъ этакій, съ теленка, — раздалось вдругъ нѣсколько голосковъ.

— Съ теленка, съ настоящаго теленка-съ, — подскочилъ штабсъ-капитанъ, — я нарочно отыскалъ такого, самаго-самаго злющаго, и родители его тоже огромные и самые злющіе, вотъ этакіе отъ полу ростомъ... Присядьте-съ, вотъ здѣсь на кроваткѣ у Илюши, а не то здѣсь на лавку. Милости просимъ, гость дорогой, гость долго жданный... Съ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ изволили прибыть-съ?

Красоткинъ присѣлъ на постелькѣ, въ ногахъ у Илюши. Онъ хоть, можетъ быть, и приготовилъ дорогой съ чего развязно начать разговоръ, но теперь рѣшительно потерялъ нитку.

— Нѣтъ... я съ Перезвономъ... У меня такая собака теперь, Перезвонъ. Славянское имя. Тамъ ждетъ... свистну и влетитъ. Я тоже съ собакой, — обратился онъ вдругъ къ Илюшѣ, — помнишь, старикъ, Жучку? — вдругъ огрѣлъ онъ его вопросомъ.

Личико Илюшечки перекосилось. Онъ страдальчески посмотрѣлъ на Колю. Алеша, стоявшій у дверей, нахмурился и кивнулъ было Колѣ украдкой, чтобы тотъ не заговаривалъ про Жучку, но тотъ не замѣтилъ или не захотѣлъ замѣтить.

— Гдѣ же... Жучка? — надорваннымъ голосомъ спросилъ Илюша.

— Ну, братъ, твоя Жучка — фью! Пропала твоя Жучка!

Илюша смолчалъ, но пристально-пристально посмотрѣлъ еще разъ на Колю. Алеша, поймавъ взглядъ Коли, изо всѣхъ силъ опять закивалъ ему,

но тотъ снова отвелъ глаза, сдѣлавъ видъ, что и теперь не замѣтилъ.

— Забѣжала куда-нибудь и пропала. Какъ не пропасть послѣ такой закуски, — безжалостно рѣзалъ Коля, а между тѣмъ самъ какъ будто сталъ отъ чего-то задыхаться. — У меня зато Перезвонъ . . . Славянское имя . . . Я къ тебѣ привелъ . . .

— Не на-до! — проговорилъ вдругъ Илюшечка.

— Нѣтъ, нѣтъ, надо, непремѣнно посмотри . . . Ты развлечешься. Я нарочно привелъ . . . такая же лохматая, какъ и та . . . Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? — обратился онъ вдругъ къ госпожѣ Снѣгиревой въ какомъ-то совсѣмъ уже непостижимомъ волненіи.

— Не надо, не надо! — съ горестнымъ надрывомъ въ голосѣ воскликнулъ Илюша. Укоръ загорѣлся въ глазахъ его.

— Вы бы-съ . . . — рванулся вдругъ штабсъ-капитанъ съ сундука у стѣнки, на которомъ было присѣлъ, — вы бы-съ . . . въ другое бы время-съ . . . — пролепеталъ онъ, но Коля неудержимо настаивая и спѣша, вдругъ крикнулъ Смурову: «Смуровъ, отвори дверь!» и только что тотъ отворилъ, свистнулъ въ свою свистульку. Перезвонъ стремительно влетѣлъ въ комнату.

— Прыгай, Перезвонъ, служи! Служи! — завопилъ Коля, вскочивъ съ мѣста, и собака, вставъ на заднія лапы, тянулась прямо предъ постелькой Илюши. Произошло нѣчто никѣмъ неожиданное: Илюша вздрогнулъ и вдругъ съ силой двинулся весь впередъ, нагнулся къ Перезвону и, какъ бы замирая, смотрѣлъ на него:

— Это . . . Жучка! — прокричалъ онъ вдругъ надтреснутымъ отъ страданія и счастія голоскомъ.

— А ты думалъ кто? — звонкимъ, счастливымъ голоскомъ изо всей силы завопилъ Красоткинъ, и, нагнувшись къ собакѣ, обхватилъ ее и приподнялъ къ Илюшѣ.

— Гляди, старикъ, видишь, глазъ кривой и лѣвое ухо надрѣзано, точь-въ-точь тѣ примѣты, какъ и ты мнѣ разсказалъ. Я его по этимъ примѣтамъ и разыскалъ! Тогда же разыскалъ, въ скорости. Она вѣдь ничья была, она вѣдь была ничья! — пояснилъ онъ, быстро оборачиваясь къ штабсъ-капитану, къ супругѣ его, къ Алешѣ и потомъ опять къ Илюшѣ, — она была у Ѳедотовыхъ на задворкахъ, прижилась было тамъ, но тѣ ее не кормили, а она бѣглая, она забѣглая изъ деревни . . . Я ее и разыскалъ . . . Видишь, старикъ, она тогда твой кусокъ, значитъ, не проглотила. Если бы проглотила, такъ ужъ, конечно бы, померла, вѣдь ужъ конечно! Значитъ, успѣла выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не замѣтилъ, что она выплюнула. Выплюнула, а языкъ себѣ все-таки уколола, вотъ отчего тогда и завизжала. Бѣжала и визжала, а ты и думалъ, что она совсѣмъ проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нѣжная кожа во рту . . . нѣжнѣе, чѣмъ у человѣка, гораздо нѣжнѣе!—восклицалъ неистово Коля, съ разгорѣвшимся и съ сіяющимъ отъ восторга лицомъ.

Илюша же и говорить не могъ. Онъ смотрѣлъ на Колю своими большими и какъ-то ужасно выкатившимися глазами, съ раскрытымъ ртомъ и поблѣднѣвъ, какъ полотно. И если бы только зналъ не подозрѣвавшій ничего Красоткинъ, какъ мучительно и убійственно могла вліять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что̀ бы не рѣшился выкинуть такую шутку, какую выкинулъ.

Но въ комнатѣ понималъ это, можетъ быть, лишь одинъ Алеша. Что̀ же до штабсъ-капитана, то онъ весь какъ бы обратился въ самаго маленькаго мальчика.

— Жучка! Такъ это-то Жучка? — выкрикивалъ онъ блаженнымъ голосомъ. — Илюшечка, вѣдь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, вѣдь это Жучка! — Онъ чуть не плакалъ.

— А я-то и не догадался! — горестно воскликнулъ Смуровъ. — Ай да Красоткинъ, я говорилъ, что онъ найдетъ Жучку, вотъ и нашелъ!

— Вотъ и нашелъ! — радостно отозвался еще кто-то.

— Молодецъ Красоткинъ! — прозвенѣлъ третій голосокъ.

— Молодецъ, молодецъ! — закричали всѣ мальчики и начали апплодировать.

— Да стойте, стойте, — силился всѣхъ перекричать Красоткинъ, — я вамъ разскажу, какъ это было, штука въ томъ, какъ это было, а не въ чемъ другомъ! Вѣдь я его разыскалъ, затащилъ къ себѣ и тотчасъ же спряталъ, и домъ на замокъ, и никому не показывалъ до самаго послѣдняго дня. Только одинъ Смуровъ узналъ двѣ недѣли назадъ, но я увѣрилъ его, что это Перезвонъ, и онъ не догадался, а я въ антрактѣ научилъ Жучку всѣмъ наукамъ, вы посмотрите, посмотрите только какія онъ штуки знаетъ! Для того и училъ, чтобъ ужъ привести къ тебѣ, старикъ, обученнаго, гладкаго: «вотъ, дескать, старикъ, какая твоя Жучка теперь!» Да нѣтъ ли у васъ какого-нибудь кусочка говядинки, онъ вамъ сейчасъ одну такую штуку покажетъ, что вы со смѣху упадете, — говядинки, кусочекъ, ну, неужели же у васъ нѣтъ?

Штабсъ-капитанъ стремительно кинулся, черезъ сѣни, въ избу къ хозяевамъ, гдѣ варилось и штабсъ-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоцѣннаго времени, отчаянно спѣша, крикнулъ Перезвону: «умри!» И тотъ вдругъ завертѣлся, легъ на спину и замеръ неподвижно всѣми четырьмя своими лапками вверхъ. Мальчики смѣялись, Илюша смотрѣлъ съ прежнею страдальческою своею улыбкой, но всѣхъ больше понравилось, что умеръ Перезвонъ, «маменькѣ». Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать:

— Перезвонъ, Перезвонъ!

— Ни за что̀ не подымется, ни за что̀, — побѣдоносно и справедливо гордясь, прокричалъ Коля, — хоть весь свѣтъ кричи, а вотъ я крикну, и въ одинъ мигъ вскочитъ: Ісі, Перезвонъ!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа отъ радости. Штабсъ-капитанъ вбѣжалъ съ кускомъ вареной говядины.

— Не горяча? — торопливо и дѣловито освѣдомился Коля, принимая кусокъ, — нѣтъ, не горяча, а то собаки не любятъ горячаго. Смотрите же всѣ, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старикъ, что̀ же ты не смотришь? Я привелъ, а онъ не смотритъ!

Новая штука состояла въ томъ, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой носъ собакѣ положить на самый носъ лакомый кусочекъ говядины. Несчастный песъ, не шевелясь, долженъ былъ простоять съ кускомъ на носу сколько велитъ хозяинъ, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.

— Пиль! — крикнулъ Коля, и кусокъ въ одинъ мигъ перелетѣлъ съ носу въ ротъ Перезвона. Публика, разумѣется, выразила восторженное удивленіе.

— И неужели, неужели вы изъ-за того только, чтобъ обучить собаку, все время не приходили! — воскликнулъ съ невольнымъ укоромъ Алеша.

— Именно для того, — прокричалъ простодушнѣйшимъ образомъ Коля. — Я хотѣлъ показать его во всемъ блескѣ!

— Перезвонъ! Перезвонъ! — защелкалъ вдругъ своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.

— Да чего тебѣ! Пусть онъ къ тебѣ на постель самъ вскочитъ. Іси, Перезвонъ! — стукнулъ ладонью по постели Коля, и Перезвонъ, какъ стрѣла, влетѣлъ къ Илюшѣ. Тотъ стремительно обнялъ его голову обѣими руками, а Перезвонъ мигомъ облизалъ ему за это щеку. Илюшечка прижался къ нему, протянулся на постелькѣ и спряталъ отъ всѣхъ въ его косматой шерсти свое лицо.

— Господи, Господи! — восклицалъ штабсъ-капитанъ. Коля присѣлъ опять на постель къ Илюшѣ.

— Илюша, я тебѣ могу еще одну штуку показать. Я тебѣ пушечку принесъ. Помнишь, я тебѣ еще тогда говорилъ про эту пушечку, а ты сказалъ: «ахъ, какъ бы и мнѣ ее посмотрѣть!» Ну, вотъ я теперь и принесъ.

И Коля, торопясь, вытащилъ изъ своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился онъ потому, что ужъ самъ былъ очень счастливъ: въ другое время такъ выждалъ бы, когда пройдетъ эфектъ, произведенный Перезвономъ, но теперь поспѣшилъ, презирая всякую выдержку: «ужъ и такъ счастли-

вы, такъ вотъ вамъ и еще счастья!» Самъ ужъ онъ былъ очень упоенъ.

— Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядѣлъ, — для тебя, старикъ, для тебя. Она у него стояла даромъ, отъ брата ему досталась, я и вымѣнялъ ему на книжку, изъ папина шкапа: *Родственникъ Магомета или цѣлительное дурачество.* Сто лѣтъ книжкѣ, забубенная, въ Москвѣ вышла, когда еще цензуры не было, а Морозовъ до этихъ штучекъ охотникъ. Еще поблагодарилъ . . .

Пушечку Коля держалъ въ рукѣ предъ всѣми, такъ что всѣ могли видѣть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правою рукою обнимать Перезвона, съ восхищеніемъ разглядывалъ игрушку. Эффектъ дошелъ до высокой степени, когда Коля объявилъ, что у него есть и порохъ, и что можно сейчасъ же и выстрѣлить, «если это только не обезпокоитъ дамъ». «Маменька» немедленно попросила, чтобъ ей дали поближе посмотрѣть на игрушку, что̀ тотчасъ и было исполнено. Бронзовая пушка на колесахъ ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своихъ колѣняхъ. На просьбу о позволеніи выстрѣлить отвѣчала самымъ полнымъ согласіемъ, не понимая, впрочемъ, о чемъ ее спрашиваютъ. Коля показалъ порохъ и дробь. Штабсъ-капитанъ, какъ бывшій военный человѣкъ, самъ распорядился зарядить, всыпать самую маленькую порцію пороху, дробь же попросилъ отложить до другого раза. Пушку поставили на полъ, дуломъ въ пустое мѣсто, втиснули въ затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошелъ самый блистательный выстрѣлъ. «Маменька» вздрогнула было, но тотчасъ же засмѣялась отъ радости. Мальчики смотрѣли съ молчаливымъ торжествомъ, но

болѣе всего блаженствовалъ, смотря на Илюшу, штабсъ-капитанъ. Коля поднялъ пушечку и немедленно подарилъ ее Илюшѣ, вмѣстѣ съ дробью и съ порохомъ.

— Это я для тебя, для тебя! Давно приготовилъ, — повторилъ онъ еще разъ, въ полнотѣ счастья.

— Ахъ, подарите мнѣ! Нѣтъ, подарите пушечку лучше мнѣ! — вдругъ точно маленькая начала просить «маменька». Лицо ея изобразило горестное безпокойство отъ боязни, что ей не подарятъ. Коля смутился. Штабсъ-капитанъ безпокойно заволновался.

— Мамочка, мамочка! — подскочилъ онъ къ ней, пушечка твоя, твоя, но пусть она будетъ у Илюши, потому что ему подарили, но она все равно что твоя, Илюшечка всегда тебѣ дастъ поиграть, она у васъ пусть будетъ общая, общая . . .

— Нѣтъ, не хочу, чтобъ общая, нѣтъ, чтобы совсѣмъ моя была, а не Илюшина, — продолжала «маменька», приготовляясь уже совсѣмъ заплакать.

— Мама, возьми себѣ, вотъ, возьми себѣ! — крикнулъ вдругъ Илюша. — Красоткинъ, можно мнѣ ее мамѣ подарить? — обратился онъ вдругъ съ молящимъ видомъ къ Красоткину, какъ бы боясь, чтобы тотъ не обидѣлся, что онъ его подарокъ другому даритъ.

— Совершенно возможно! — тотчасъ же согласился Красоткинъ и, взявъ пушечку изъ рукъ Илюши, самъ и передалъ ее съ самымъ вѣжливымъ поклономъ «маменькѣ». Та даже расплакалась отъ умиленія.

— Илюшечка, милый, вотъ кто мамочку свою любитъ! — умиленно воскликнула она и немедлен-

но опять принялась катать пушку на своихъ колѣняхъ.

— Маменька, дай я тебѣ ручку поцѣлую, — подскочилъ къ ней супругъ и тотчасъ же исполнилъ намѣреніе.

— И кто еще самый милый молодой человѣкъ, такъ вотъ этотъ добрый мальчикъ! — проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.

— А пороху я тебѣ, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порохъ дѣлаемъ. Боровиковъ узналъ составъ: двадцать четыре части селитры, десять сѣры и шесть березоваго угля, все вмѣстѣ столочь, влить воды, смѣшать въ мягкость и протереть черезъ барабанную шкуру — вотъ и порохъ.

— Мнѣ Смуровъ про вашъ порохъ уже говорилъ, а только папа говоритъ, что это не настоящій порохъ, — отозвался Илюша.

— Какъ не настоящій? — покраснѣлъ Коля, — у насъ горитъ. Я, впрочемъ, не знаю . . .

— Нѣтъ-съ, я ничего-съ, — подскочилъ вдругъ съ виноватымъ видомъ штабсъ-капитанъ. — Я, правда, говорилъ, что настоящій порохъ не такъ составляется, но это ничего-съ, можно и такъ-съ.

— Не знаю, вы лучше знаете. Мы въ помадной каменной банкѣ зажгли, славно горѣлъ, весь сгорѣлъ, самая маленькая сажа осталась. Но вѣдь это только мякоть, а если протереть черезъ шкуру . . . А, впрочемъ, вы лучше знаете, я не знаю . . . А Булкина отецъ выдралъ за нашъ порохъ, ты слышалъ? — обратился онъ вдругъ къ Илюшѣ.

— Слышалъ, — отвѣчалъ Илюша. Онъ съ безконечнымъ интересомъ и наслажденіемъ слушалъ Колю.

— Мы цѣлую бутылку пороху заготовили, онъ подъ кроватью и держалъ. Отецъ увидалъ. Взорвать, говоритъ, можетъ. Да и высѣкъ его тутъ же. Хотѣлъ въ гимназію на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускаютъ, теперь со мной никого не пускаютъ. Смурова тоже не пускаютъ, у всѣхъ прославился, — говорятъ, что я «отчаянный»,—презрительно усмѣхнулся Коля.—Это все съ желѣзной дороги здѣсь началось.

— Ахъ, мы слышали и про этотъ вашъ пассажъ! — воскликнулъ штабсъ-капитанъ, — какъ это вы тамъ пролежали? И неужели вы такъ ничего совсѣмъ и не испугались, когда лежали подъ поѣздомъ. Страшно вамъ было-съ?

Штабсъ-капитанъ ужасно лисилъ предъ Колей.

— Н-не особенно! — небрежно отозвался Коля. — Репутацію мою пуще всего здѣсь этотъ проклятый гусь подкузмилъ, — повернулся онъ опять къ Илюшѣ. Но хоть онъ и корчилъ, разсказывая, небрежный видъ, а все еще не могъ совладать съ собою и продолжалъ какъ бы сбиваться съ тону.

— Ахъ, я и про гуся слышалъ! — засмѣялся, весь сіяя, Илюша; — мнѣ разсказывали, да я не понялъ, неужто тебя у судьи судили?

— Самая безмозглая штука, самая ничтожная, изъ которой цѣлаго слона по обыкновенію у насъ сочинили, — началъ развязно Коля. — Это я разъ по площади тутъ шелъ, а какъ разъ пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдругъ одинъ здѣшній парень, Вишняковъ, онъ теперь у Плотниковыхъ разсыльнымъ служитъ, смотритъ на меня да и говоритъ: «ты чего на гусей глядишь?» Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двадцать лѣтъ, я, знаете, никогда не отвергаю народа.

Я люблю съ народомъ... Мы отстали отъ народа — это аксіома — вы, кажется, изволите смѣяться, Карамазовъ?

— Нѣтъ, Боже сохрани, я васъ очень слушаю,—съ самымъ простодушнѣйшимъ видомъ отозвался Алеша, и мнительный Коля мигомъ ободрился.

— Моя теорія, Карамазовъ, ясна и проста, — опять радостно заспѣшилъ онъ тотчасъ же. — Я вѣрю въ народъ и всегда радъ отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его, это sine qua... Да, вѣдь я про гуся. Вотъ обращаюсь я къ этому дураку и отвѣчаю ему: «а вотъ думаю, о чемъ гусь думаетъ». Глядитъ онъ на меня совершенно глупо: «а объ чемъ, говоритъ, гусь думаетъ?» — «А вотъ видишь, говорю, телѣга съ овсомъ стоитъ. Изъ мѣшка овесъ сыплется, а гусь шею протянулъ подъ самое колесо и зерно клюетъ — видишь?» — «Это я оченно вижу», говоритъ. «Ну такъ вотъ, говорю, если эту самую телѣгу чуточку теперь тронуть впердъ—перерѣжетъ гусю шею колесомъ или нѣтъ?» — «Безпремѣнно, говоритъ, перерѣжетъ», а самъ ужъ ухмыляется во весь ротъ, такъ весь и растаялъ. «Ну, такъ пойдемъ, говорю, парень, давай». — «Давай», говоритъ. И недолго намъ пришлось мастерить: онъ этакъ непримѣтно около узды сталъ, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужикъ на ту пору зазѣвался, говорилъ съ кѣмъ-то, такъ что совсѣмъ мнѣ и не пришлось направлять: прямо гусь самъ собой такъ и вытянулъ шею за овсомъ, подъ телѣгу, подъ самое колесо. Я мигнулъ парню, онъ дернулъ и — к-кракъ, такъ и переѣхало гусю шею пополамъ! И вотъ надо жъ такъ, что въ ту жъ секунду всѣ мужики увидали насъ, ну и загалдѣли разомъ: «это ты нарочно!» —

«Нѣтъ, не нарочно». — «Нѣтъ, нарочно!» Ну, галдятъ: «къ мировому!» захватили и меня: «и ты тутъ, дескать, былъ, ты подсоблялъ, тебя весь базаръ знаетъ!» А меня, дѣйствительно, почему-то весь базаръ знаетъ, — прибавилъ самолюбиво Коля. — Потянулись мы всѣ къ мировому, несутъ и гуся. Смотрю, а парень мой струсилъ и заревѣлъ, право, реветъ, какъ баба. А гуртовщикъ кричитъ: «этакимъ манеромъ ихъ, гусей, сколько угодно передавить можно!» Ну, разумѣется, свидѣтели. Мировой мигомъ кончилъ: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень беретъ себѣ. Да впредь, чтобы такихъ шутокъ отнюдь не позволять себѣ. А парень все реветъ, какъ баба: «это не я, говоритъ, это онъ меня наустилъ» — да на меня и показываетъ. Я отвѣчаю съ полнымъ хладнокровіемъ, что я отнюдь не училъ, что я только выразилъ основную мысль и говорилъ лишь въ проектѣ. Мировой Нефедовъ усмѣхнулся, да и разсердился сейчасъ на себя за то, что усмѣхнулся: «я васъ, говоритъ мнѣ, сейчасъ же вашему начальству аттестую, чтобы вы въ такіе проекты впредь не пускались, вмѣсто того, чтобы за книгами сидѣть и уроки ваши учить». Начальству-то онъ меня не аттестовалъ, это шутка, но дѣло, дѣйствительно, разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то вѣдь у насъ длинныя! Особенно поднялся классикъ Колбасниковъ, да Дарданеловъ опять отстоялъ. А Колбасниковъ золъ теперь у насъ на всѣхъ, какъ зеленый оселъ. Ты, Илюша, слышалъ, онъ вѣдь женился, взялъ у Михайловыхъ приданаго тысячу рублей, а невѣста рыловоротъ первой руки и послѣдней степени. Третьеклассники тотчасъ же эпиграмму сочинили:

Поразила вѣсть третьеклассниковъ,
Что женился неряха Колбасниковъ.

Ну, и тамъ дальше очень смѣшно, я тебѣ потомъ принесу. Я про Дарданелова ничего не говорю: человѣкъ съ познаніями, съ рѣшительными познаніями. Этакихъ я уважаю, и вовсе не изъ-за того, что меня отстоялъ...

— Однакожъ ты сбилъ его на томъ, кто основалъ Трою! — ввернулъ вдругъ Смуровъ, рѣшительно гордясь въ эту минуту Красоткинымъ. Очень ужъ ему понравился разсказъ про гуся.

— Неужто такъ и сбили-съ? — льстиво подхватилъ штабсъ-капитанъ; это про то, кто основалъ Трою-съ? Это мы уже слышали, что сбили-съ. Илюшечка мнѣ тогда же и разсказалъ-съ...

— Онъ, папа, все знаетъ, лучше всѣхъ у насъ знаетъ! — подхватилъ и Илюшечка, — онъ вѣдь только прикидывается, что онъ такой, а онъ первый у насъ ученикъ по всѣмъ предметамъ...

Илюша съ безпредѣльнымъ счастіемъ смотрѣлъ на Колю.

— Ну, это о Троѣ вздоръ, пустяки. Я самъ этотъ вопросъ считаю пустымъ, — съ горделивою скромностью отозвался Коля. Онъ уже успѣлъ вполнѣ войти въ тонъ, хотя, впрочемъ, былъ и въ нѣкоторомъ безпокойствѣ: онъ чувствовалъ, что находился въ большомъ возбужденіи и что о гусѣ, напримѣръ, разсказалъ слишкомъ ужъ отъ всего сердца, а между тѣмъ Алеша молчалъ все время разсказа и былъ серьезенъ, и вотъ самолюбивому мальчику мало-по-малу начало уже скрести по сердцу, «не оттого ли-де онъ молчитъ, что меня презираетъ, думая, что я его похвалы ищу? Въ та-

комъ случаѣ, если онъ осмѣливается это думать, то я . . .»

— Я считаю этотъ вопросъ рѣшительно пустымъ, — отрѣзалъ онъ еще разъ горделиво.

— А я знаю, кто основалъ Трою, — вдругъ проговорилъ совсѣмъ неожиданно одинъ доселѣ ничего почти еще не сказавшій мальчикъ, молчаливый и видимо застѣнчивый, очень собою хорошенькій, лѣтъ одиннадцати, по фамиліи Карташовъ. Онъ сидѣлъ у самыхъ дверей. Коля съ удивленіемъ и важностью поглядѣлъ на него. Дѣло въ томъ, что вопросъ: «кто именно основалъ Трою?» рѣшительно обратился во всѣхъ классахъ въ секретъ, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни у кого, кромѣ Коли, не было. И вотъ разъ мальчикъ Карташовъ потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорѣе развернулъ лежащаго между его книгами Смарагдова и прямо попалъ на то мѣсто, гдѣ говорилось объ основателяхъ Трои. Случилось это довольно уже давно, но онъ все какъ-то конфузился и не рѣшился открыть публично, что и онъ знаетъ, кто основалъ Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузилъ его какъ-нибудь за это Коля. А теперь вдругъ почему-то не утерпѣлъ и сказалъ. Да и давно ему хотѣлось.

— Ну, кто же основалъ? — надменно и свысока повернулся къ нему Коля, уже по лицу угадавъ, что тотъ, дѣйствительно, знаетъ, и, разумѣется, тотчасъ же приготовившись ко всѣмъ послѣдствіямъ. Въ общемъ настроеніи произошелъ, что̀ называется, диссонансъ.

— Трою основалъ Тевкръ, Дарданъ, Иллюсъ и Тросъ, — разомъ отчеканилъ мальчикъ и въ одинъ

мигъ весь покраснѣлъ, такъ покраснѣлъ, что на него жалко стало смотрѣть. Но мальчики всѣ на него глядѣли въ упоръ, глядѣли цѣлую минуту, и потомъ вдругъ всѣ эти глядящіе въ упоръ глаза разомъ повернулись къ Колѣ. Тотъ съ презрительнымъ хладнокровіемъ все еще продолжалъ обмѣривать взглядомъ дерзкаго мальчика:

— То есть какъ же это они основали? — удостоилъ онъ, наконецъ, проговорить, — да и что̀ значитъ вообще основать городъ или государство? Что̀ жъ: они пришли и по кирпичу положили, что ли?

Раздался смѣхъ. Виноватый мальчикъ изъ розоваго сталъ пунцовый. Онъ молчалъ, онъ готовъ былъ заплакать. Коля выдержалъ его такъ еще съ минутку.

— Чтобы толковать о такихъ историческихъ событіяхъ, какъ основаніе національности, надо прежде всего понимать, что̀ это значитъ, — строго отчеканилъ онъ въ назиданіе. — Я, впрочемъ, не придаю всѣмъ этимъ бабьимъ сказкамъ важности, да и вообще всемірную исторію не весьма уважаю, — прибавилъ онъ вдругъ небрежно, обращаясь уже ко всѣмъ вообще.

— Это всемірную-то исторію-съ? — съ какимъ-то вдругъ испугомъ освѣдомился штабсъ-капитанъ.

— Да, всемірную исторію. Изученіе ряда глупостей человѣческихъ, и только. Я уважаю одну математику и естественныя, — сфорсилъ Коля и мелькомъ глянулъ на Алешу: его только одного мнѣнія онъ здѣсь и боялся. Но Алеша все молчалъ и былъ все попрежнему серьезенъ. Если бы сказалъ что-нибудь сейчасъ Алеша, на томъ бы оно и

покончилось, но Алеша смолчалъ, а «молчаніе его могло быть презрительнымъ», и Коля раздражался уже совсѣмъ.

— Опять эти классическіе теперь у насъ языки: одно сумасшествіе и ничего больше... Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазовъ?

— Не согласенъ, — сдержанно улыбнулся Алеша.

— Классическіе языки, если хотите все мое о нихъ мнѣніе — это полицейская мѣра, вотъ для чего единственно они заведены, — мало-по-малу началъ вдругъ опять задыхаться Коля, — они заведены потому, что скучны, и потому, что отупляютъ способности. Было скучно, такъ вотъ какъ сдѣлать, чтобъ еще больше было скуки? Было безтолково, такъ какъ сдѣлать, чтобы стало еще безтолковѣе? Вотъ и выдумали классическіе языки. Вотъ мое полное о нихъ мнѣніе и, надѣюсь, что я никогда не измѣню его, — рѣзко закончилъ Коля. На обѣихъ щекахъ его показалось по красной точкѣ румянца.

— Это правда, — звонкимъ и убѣжденнымъ голоскомъ согласился вдругъ прилежно слушавшій Смуровъ.

— А самъ первый по латинскому языку! — вдругъ крикнулъ изъ толпы одинъ мальчикъ.

— Да, папа, онъ самъ говоритъ, а самъ у насъ первый по латинскому въ классѣ, — отозвался и Илюша.

— Что̀ жъ такое? — счелъ нужнымъ оборониться Коля, хотя ему очень пріятна была и похвала. — Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обѣщался матери кончить курсъ, а, по-моему, за что̀ взялся, то ужъ дѣлать хорошо, но въ

душѣ глубоко презираю классицизмъ и всю эту подлость... Не соглашаетесь, Карамазовъ?

— Ну зачѣмъ же «подлость»? — усмѣхнулся опять Алеша.

— Да помилуйте, вѣдь классики всѣ переведены на всѣ языки, стало быть, вовсе не для изученія классиковъ понадобилась имъ латынь, а единственно для полицейскихъ мѣръ и для отупленія способностей. Какъ же послѣ того не подлость?

— Ну кто васъ этому всему научилъ? — воскликнулъ удивленный, наконецъ, Алеша.

— Во-первыхъ, я и самъ могу понимать, безъ наученія, а во-вторыхъ, знайте, вотъ это же самое, что̀ я вамъ сейчасъ толковалъ про переведенныхъ классиковъ, говорилъ вслухъ всему третьему классу самъ преподаватель Колбасниковъ...

— Докторъ пріѣхалъ! — воскликнула вдругъ все время молчавшая Ниночка.

Дѣйствительно, къ воротамъ дома подъѣхала принадлежавшая госпожѣ Хохлаковой карета. Штабсъ-капитанъ, ждавшій все утро доктора, сломя голову бросился къ воротамъ встрѣчать его. «Маменька» подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошелъ къ Илюшѣ и сталъ оправлять ему подушку. Ниночка, изъ своихъ креселъ, съ безпокойствомъ слѣдила за тѣмъ, какъ онъ оправляетъ постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, нѣкоторые изъ нихъ пообѣщались зайти вечеромъ. Коля крикнулъ Перезвона, и тотъ соскочилъ съ постели.

— Я не уйду, не уйду! — проговорилъ впопыхахъ Коля Илюшѣ, я пережду въ сѣняхъ и приду опять, когда уѣдетъ докторъ, приду съ Перезвономъ.

Но уже докторъ входилъ — важная фигура въ медвѣжьей шубѣ, съ длинными темными бакенбардами и съ глянцовито выбритымъ подбородкомъ. Ступивъ черезъ порогъ, онъ вдругъ остановился, какъ бы опѣшивъ: ему вѣрно показалось, что онъ не туда зашелъ: «что̀ это? Гдѣ я?» пробормоталъ онъ, не скидая съ плечъ шубы и не снимая котиковой фуражки съ котиковымъ же козырькомъ съ своей головы. Толпа, бѣдность комнаты, развѣшанное въ углу на веревкѣ бѣлье, сбили его съ толку. Штабсъ-капитанъ согнулся передъ нимъ въ три погибели.

— Вы здѣсь-съ, здѣсь-съ, — бормоталъ онъ подобострастно, — вы здѣсь-съ, у меня-съ, вамъ ко мнѣ-съ . . .

— Снѣ-ги-ревъ? — произнесъ важно и громко докторъ. — Господинъ Снѣгиревъ — это вы?

— Это я-съ?

— А!

Докторъ еще разъ брезгливо оглядѣлъ комнату и сбросилъ съ себя шубу. Всѣмъ въ глаза блеснулъ важный орденъ на шеѣ. Штабсъ-капитанъ подхватилъ на лету шубу, а докторъ снялъ фуражку.

— Гдѣ же паціентъ? — спросилъ онъ громко и настоятельно.

VI.

Раннее развитіе.

— Какъ вы думаете, что̀ ему скажетъ этотъ докторъ? — скороговоркой проговорилъ Коля, — какая отвратительная, однакоже, харя, неправда ли? Терпѣть не могу медицину!

— Илюша умретъ. Это, мнѣ кажется, ужъ навѣрно, — грустно отвѣтилъ Алеша.

— Шельмы! Медицина шельма! Я радъ, однако, что узналъ васъ, Карамазовъ. Я давно хотѣлъ васъ узнать. Жаль только, что мы такъ грустно встрѣтились...

Колѣ очень бы хотѣлось что-то сказать еще горячѣе, еще экспансивнѣе, но какъ будто что-то коробило. Алеша это замѣтилъ, улыбнулся и пожалъ ему руку.

— Я давно научился уважать въ васъ рѣдкое существо, — пробормоталъ опять Коля, сбиваясь и путаясь. — Я слышалъ, вы мистикъ и были въ монастырѣ. Я знаю, что вы мистикъ, но... это меня не остановило. Прикосновеніе къ дѣйствительности васъ излѣчитъ... Съ натурами, какъ вы, не бываетъ иначе.

— Что̀ вы называете мистикомъ? Отъ чего излѣчитъ? — удивился немного Алеша.

— Ну, тамъ Богъ и прочее.

— Какъ, да развѣ вы въ Бога не вѣруете?

— Напротивъ, я ничего не имѣю противъ Бога. Конечно, Богъ есть только гипотеза... но... я признаю, что Онъ нуженъ, для порядка... для мірового порядка и такъ далѣе... и если бъ Его не было, то надо бы Его выдумать, — прибавилъ Коля, начиная краснѣть. Ему вдругъ вообразилось, что Алеша сейчасъ подумаетъ, что онъ хочетъ выставить свои познанія и показать какой онъ «большой». «А я вовсе не хочу выставлять предъ нимъ мои познанія», съ негодованіемъ подумалъ Коля. И ему вдругъ стало ужасно досадно.

— Я, признаюсь, терпѣть не могу вступать во всѣ эти препиранія,—отрѣзалъ онъ,—можно вѣдь

и не вѣруя въ Бога любить человѣчество, какъ вы думаете? Вольтеръ же не вѣровалъ въ Бога, а любилъ человѣчество? («Опять, опять!» подумалъ онъ про себя).

— Вольтеръ въ Бога не вѣрилъ, но, кажется, мало, и, кажется, мало любилъ и человѣчество, — тихо, сдержанно и совершенно натурально произнесъ Алеша, какъ бы разговаривая съ себѣ равнымъ по лѣтамъ, или даже со старшимъ лѣтами человѣкомъ. Колю именно поразила эта какъ бы неувѣренность Алеши въ свое мнѣніе о Вольтерѣ и что онъ какъ будто именно ему, маленькому Колѣ, отдаетъ этотъ вопросъ на рѣшеніе.

— А вы развѣ читали Вольтера? — заключилъ Алеша.

— Нѣтъ, не то чтобы читалъ... Я, впрочемъ, *Кандида* читалъ, въ русскомъ переводѣ... въ старомъ, уродливомъ перводѣ, смѣшномъ... («Опять, опять!»)

— И поняли?

— О, да, все... то есть... почему же вы думаете, что я бы не понялъ? Тамъ, конечно, много сальностей... Я, конечно, въ состояніи понять, что это романъ философскій, и написанъ, чтобы провести идею... — запутался уже совсѣмъ Коля. — Я соціалистъ, Карамазовъ, я неисправимый соціалистъ, — вдругъ оборвалъ онъ ни съ того, ни съ сего.

— Соціалистъ? — засмѣялся Алеша, — да когда это вы успѣли? Вѣдь вамъ еще только тринадцать лѣтъ, кажется?

Колю скрючило.

— Во-первыхъ, не тринадцать, а четырнадцать, черезъ двѣ недѣли четырнадцать, — такъ и вспых-

нулъ онъ, — а, во-вторыхъ, совершенно не понимаю, къ чему тутъ мои лѣта? Дѣло въ томъ каковы мои убѣжденія, а не который мнѣ годъ, не правда ли?

— Когда вамъ будетъ больше лѣтъ, то вы сами увидите, какое значеніе имѣетъ на убѣжденіе возрастъ. Мнѣ показалось тоже, что вы не свои слова говорите, — скромно и спокойно отвѣтилъ Алеша, но Коля горячо его прервалъ.

— Помилуйте, вы хотите послушанія и мистицизма. Согласитесь въ томъ, что, напримѣръ, христіанская вѣра послужила лишь богатымъ и знатнымъ, чтобы держать въ рабствѣ низшій классъ, не правда ли?

— Ахъ, я знаю, гдѣ вы это прочли, и васъ непремѣнно кто-нибудь научилъ! — воскликнулъ Алеша.

— Помилуйте, зачѣмъ же непремѣнно прочелъ? И никто ровно не научилъ. Я и самъ могу... И если хотите, я не противъ Христа. Это была вполнѣ гуманная личность, и живи Онъ въ наше время, Онъ бы прямо примкнулъ къ революціонерамъ и, можетъ быть, игралъ бы видную роль... Это даже непремѣнно.

— Ну гдѣ, ну гдѣ вы этого нахватались! Съ какимъ это дуракомъ вы связались? — воскликнулъ Алеша.

— Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю съ господиномъ Ракитинымъ, но... Это еще старикъ Бѣлинскій тоже, говорятъ, говорилъ.

— Бѣлинскій? Не помню. Онъ этого нигдѣ не написалъ.

— Если не написалъ, то, говорятъ, говорилъ. Я это слышалъ отъ одного... впрочемъ, чертъ...

— А Бѣлинскаго вы читали?

— Видите ли . . . нѣтъ . . . я не совсѣмъ читалъ, но . . . мѣсто о Татьянѣ, зачѣмъ она не пошла съ Онѣгинымъ, я читалъ.

— Какъ не пошла съ Онѣгинымъ? Да развѣ вы это ужъ . . . понимаете?

— Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, — раздражительно осклабился Коля. — Впрочемъ, пожалуйста, не думайте, что я ужъ такой революціонеръ. Я очень часто не согласенъ съ господиномъ Ракитинымъ. Если я о Татьянѣ, то я вовсе не за эманципацію женщинъ. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. Les femmes tricottent, какъ сказалъ Наполеонъ, — усмѣхнулся почему-то Коля, — и, по крайней мѣрѣ, въ этомъ я совершенно раздѣляю убѣжденіе этого псевдо-великаго человѣка. Я тоже, напримѣръ, считаю, что бѣжать въ Америку изъ отечества — низость, хуже низости — глупость. Зачѣмъ въ Америку, когда и у насъ можно много принести пользы для человѣчества? Именно теперь. Цѣлая масса плодотворной дѣятельности. Такъ я и отвѣчалъ.

— Какъ отвѣчали? Кому? Развѣ васъ кто-нибудь уже приглашалъ въ Америку?

— Признаюсь, меня подбивали, но я отвергъ. Это, разумѣется, между нами, Карамазовъ, слышите, никому ни слова. Это я вамъ только. Я совсѣмъ не желаю попасть въ лапки Третьяго Отдѣленія и брать уроки у Цѣпного моста,

Будешь помнить зданіе
У Цѣпного Моста!

Помните? Великолѣпно! Чему вы смѣетесь? Ужъ,

не думаете ли вы, что я вамъ все навралъ? (А что, если онъ узнаетъ, что у меня въ отцовскомъ шкапу всего только и есть одинъ этотъ нумеръ *Колокола*, а больше я изъ этого ничего не читалъ? — мелькомъ, но съ содроганіемъ подумалъ Коля).

— Охъ, нѣтъ, я не смѣюсь и вовсе не думаю, что вы мнѣ налгали. Вотъ то-то и есть, что этого не думаю, это, увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, *Онѣгина*-то... Вотъ вы сейчасъ говорили о Татьянѣ?

— Нѣтъ, еще не читалъ, но хочу прочесть. Я безъ предразсудковъ, Карамазовъ. Я хочу выслушать и ту, и другую сторону. Зачѣмъ вы спросили?

— Такъ.

— Скажите, Карамазовъ, вы ужасно меня презираете? — отрѣзалъ вдругъ Коля и весь вытянулся предъ Алешей, какъ бы ставъ въ позицію. — Сдѣлайте одолженіе, безъ обиняковъ.

— Презираю васъ? — съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него Алеша. — Да за что же? Мнѣ только грустно, что прелестная натура, какъ ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всѣмъ этимъ грубымъ вздоромъ.

— О моей натурѣ не заботьтесь, — не безъ самодовольства перебилъ Коля, — а что я мнителенъ, то это такъ. Глупо мнителенъ, грубо мнителенъ. Вы сейчасъ усмѣхнулись, мнѣ и показалось, что вы какъ будто...

— Ахъ, я усмѣхнулся совсѣмъ другому. Видите, чему я усмѣхнулся: я недавно прочелъ одинъ отзывъ одного заграничнаго нѣмца, жившаго въ Россіи, о нашей теперешней учащейся молодежи: «покажите вы — онъ пишетъ — русскому школь-

нику карту звѣзднаго неба, о которой онъ до тѣхъ поръ не имѣлъ никакого понятія, и онъ завтра же возвратитъ вамъ эту карту исправленною». Никакихъ знаній и беззавѣтное самомнѣніе — вотъ что хотѣлъ сказать нѣмецъ про русскаго школьника.

— Ахъ, да вѣдь это совершенно вѣрно! — захохоталъ вдругъ Коля, — вѣрниссимо, точь-въ-точь! Браво, нѣемцъ! Однакожъ чухна не разсмотрѣлъ и хорошей стороны, а, какъ вы думаете? Самомнѣніе — это пусть, это отъ молодости, это исправится, если только надо, чтобъ это исправилось, не зато и независимый духъ, съ самаго чуть не дѣтства, зато смѣлость мысли и убѣжденія, а не духъ ихняго колбасническаго раболѣпства предъ авторитетами . . . Но все-таки нѣмецъ хорошо сказалъ! Браво, нѣмецъ! Хотя все-таки нѣмцевъ надо душить. Пусть они тамъ сильны въ наукахъ, а ихъ все-таки надо душить . . .

— За что же душить-то? — улыбнулся Алеша.

— Ну, я совралъ, можетъ быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенокъ, и когда радъ чему, то не удерживаюсь и готовъ наврать вздору. Слушайте, мы съ вами однакоже здѣсь болтаемъ о пустякахъ, а этотъ докторъ тамъ что-то долго застрялъ. Впрочемъ, онъ, можетъ, тамъ и «мамашу» осмотритъ и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мнѣ понравилась. Она вдругъ мнѣ прошептала, когда я выходилъ: «зачѣмъ вы не приходили раньше?» И такимъ голосомъ, съ укоромъ! Мнѣ кажется, она ужасно добрая и жалкая.

— Да, да! Вотъ вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вамъ очень полезно узнавать вотъ такія существа, чтобъ умѣть цѣнить и

еще многое другое, что узнаете именно изъ знакомства съ этими существами, — съ жаромъ замѣтилъ Алеша. — Это лучше всего васъ передѣлаетъ.

— О, какъ я жалѣю и браню всего себя, что не приходилъ раньше! — съ горькимъ чувствомъ воскликнулъ Коля.

— Да, очень жаль. Вы видѣли сами, какое радостное вы произвели впечатлѣніе на бѣднаго малютку! И какъ онъ убивался, васъ ожидая!

— Не говорите мнѣ! Вы меня растравляете. А, впрочемъ, мнѣ подѣломъ: я не приходилъ изъ самолюбія, изъ эгоистическаго самолюбія и подлаго самовластія, отъ котораго всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многомъ подлецъ, Карамазовъ!

— Нѣтъ, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишкомъ понимаю, почему вы могли имѣть вліяніе на этого благороднаго и болѣзненно воспріимчиваго мальчика! — горячо отвѣтилъ Алеша.

— И это вы говорите мнѣ!—вскричалъ Коля,— а я, представьте, я думалъ, — и уже нѣсколько разъ, вотъ теперь какъ я здѣсь, думалъ, что вы меня презираете! Если бъ вы только знали, какъ я дорожу вашимъ мнѣніемъ!

— Но неужели вы вправду такъ мнительны? Въ такихъ лѣтахъ! Ну, представьте же себѣ, я имено подумалъ тамъ, въ комнатѣ, глядя на васъ, когда вы разсказывали, что вы должны быть очень мнительны.

— Ужъ и подумали? Какой, однакоже, у васъ глазъ, видите, видите! Бьюсь объ закладъ, что это было на томъ мѣстѣ, когда я про гуся разсказы-

валъ. Мнѣ именно на этомъ мѣстѣ вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спѣшу выставиться молодцомъ, и я даже вдругъ возненавидѣлъ васъ за это и началъ нести ахинею. Потомъ мнѣ вообразилось (это уже сейчасъ здѣсь) на томъ мѣстѣ, когда я говорилъ: «если бы не было Бога, то Его надо выдумать», что я слишкомъ тороплюсь выставить мое образованіе, тѣмъ болѣе, что эту фразу я въ книгѣ прочелъ. Но клянусь вамъ, я торопился выставить не отъ тщеславія, а такъ, не знаю отчего, отъ радости, ей Богу какъ будто отъ радости... хотя это глубоко-постыдная черта, когда человѣкъ всѣмъ лѣзетъ на шею отъ радости. Я это знаю. Но зато я убѣжденъ теперь, что вы меня не презираете, а все это я самъ выдумалъ. О, Карамазовъ, я глубоко несчастенъ. Я воображаю иногда Богъ знаетъ что, что надо мной всѣ смѣются, весь міръ, и я тогда, я просто готовъ тогда уничтожить весь порядокъ вещей.

— И мучаете окружающихъ, — улыбнулся Алеша.

— И мучаю окружающихъ, особенно мать. Карамазовъ, скажите, я очень теперь смѣшонъ?

— Да не думайте же про это, не думайте объ этомъ совсѣмъ! — воскликнулъ Алеша. — Да и что такое смѣшонъ? Мало ли сколько разъ бываетъ или кажется смѣшнымъ человѣкъ? При томъ же нынче почти всѣ люди со способностями ужасно боятся быть смѣшными и тѣмъ несчастны. Меня только удивляетъ, что вы такъ рано стали ощущать это, хотя, впрочемъ, я давно уже замѣчаю это и не на васъ однихъ. Нынче даже почти дѣти начали ужъ этимъ страдать. Это почти сумасшествіе. Въ это самолюбіе воплотился чертъ и за-

лѣзъ во все поколѣніе, именно чертъ, — прибавилъ Алеша, вовсе не усмѣхнувшись, какъ подумалъ было глядѣвшій въ упоръ на него Коля. — Вы, какъ и всѣ, — заключилъ Алеша, — то есть какъ очень многіе, только не надо быть такимъ, какъ всѣ, вотъ что.

— Даже несмотря на то, что всѣ такіе?

— Да, несмотря на то, что всѣ такіе. Одинъ вы и будьте не такой. Вы и въ самомъ дѣлѣ не такой, какъ всѣ: вы вотъ теперь не постыдились же признаться въ дурномъ и даже въ смѣшномъ. А нынче кто въ этомъ сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить въ самоосужденіи. Будьте же не такой, какъ всѣ; хотя бы только вы одинъ остались не такой, а все-таки будьте не такой.

— Великолѣпно! Я въ васъ не ошибся. Вы способны утѣшить. О, какъ я стремился къ вамъ, Карамазовъ, какъ давно уже ищу встрѣчи съ вами! Неужели и вы обо мнѣ то же думали? Давеча вы говорили, что обо мнѣ то же думали?

— Да, я слышалъ о васъ и о васъ то же думалъ . . . и если отчасти и самолюбіе заставило васъ теперь это спросить, то это ничего.

— Знаете, Карамазовъ, наше объясненіе похоже на объясненіе въ любви, — какимъ-то разслабленнымъ и стыдливымъ голосомъ проговорилъ Коля. — Это не смѣшно, не смѣшно?

— Совсѣмъ не смѣшно, да хоть бы и смѣшно, такъ это ничего, потому что хорошо, — свѣтло улыбнулся Алеша.

— А знаете, Карамазовъ, согласитесь, что и вамъ самимъ теперь немного со мною стыдно . . .

Я вижу по глазамъ, — какъ-то хитро, но и съ какимъ-то почти счастьемъ усмѣхнулся Коля.

— Чего же это стыдно?

— А зачѣмъ вы покраснѣли?

— Да это вы такъ сдѣлали, что я покраснѣлъ! — засмѣялся Алеша, и, дѣйствительно, весь покраснѣлъ. — Ну да, немного стыдно, Богъ знаетъ отчего, не знаю отчего . . . — бормоталъ онъ, почти даже сконфузившись.

— О, какъ я васъ люблю и цѣню въ эту минуту, именно за то, что и вамъ чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! — въ рѣшительномъ восторгѣ воскликнулъ Коля. Щеки его пылали, глаза блестѣли.

— Послушайте, Коля, вы, между прочимъ, будете и очень несчастный человѣкъ въ жизни, — сказалъ вдругъ отчего-то Алеша.

— Знаю, знаю. Какъ вы это все знаете напередъ! — тотчасъ подтвердилъ Коля.

— Но въ цѣломъ все-таки благословите жизнь.

— Именно! Ура! Вы пророкъ! О, мы сойдемся, Карамазовъ. Знаете, меня всего болѣе восхищаетъ, что вы со мной совершенно, какъ съ ровней. А мы не ровня, нѣтъ, не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь послѣдній мѣсяцъ говорилъ себѣ: «или мы разомъ съ нимъ сойдемся друзьями навѣки, или съ перваго же разу разойдемся врагами до гроба!»

— И говоря такъ, ужъ конечно любили меня!— весело смѣялся Алеша.

— Любилъ, ужасно любилъ, любилъ и мечталъ о васъ! И какъ это вы знаете все напередъ? Ба, вотъ и докторъ. Господи, что-то скажетъ, посмотрите какое у него лицо!

VII.

Илюша.

Докторъ выходилъ изъ избы опять уже закутанный въ шубу и съ фуражкой на головѣ. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, какъ будто онъ все боялся обо что-то запачкаться. Мелькомъ окинулъ онъ глазами сѣни и при этомъ строго глянулъ на Алешу и Колю. Алеша махнулъ изъ дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъѣхала къ выходнымъ дверямъ. Штабсъ-капитанъ стремительно выскочилъ вслѣдъ за докторомъ и, согнувшись, почти извиваясь предъ нимъ, остановилъ его для послѣдняго слова. Лицо бѣдняка было убитое, взглядъ испуганный:

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство . . . неужели? . . — началъ было онъ и не договорилъ, а лишь всплеснулъ руками въ отчаяніи, хотя все еще съ послѣднею мольбой смотря на доктора, точно въ самомъ дѣлѣ отъ теперешняго слова доктора могъ измѣниться приговоръ надъ бѣднымъ мальчикомъ.

— Что дѣлать! Я не Богъ, — небрежнымъ, хотя и привычно внушительнымъ голосомъ отвѣтилъ докторъ.

— Докторъ . . . Ваше превосходительство . . . И скоро это, скоро?

— При-го-товь-тесь ко всему, — отчеканилъ, ударяя по каждому слову, докторъ и, склонивъ взоръ, самъ приготовился было шагнуть за порогъ къ каретѣ.

— Ваше превосходительство, ради Христа! — испуганно остановилъ его еще разъ штабсъ-капитанъ, — ваше превосходительство! . . такъ развѣ

ничего, неужели ничего, совсѣмъ ничего теперь не спасетъ? . .

— Не отъ меня теперь за-ви-ситъ, — нетерпѣливо проговорилъ докторъ, — и однакоже, гм, — пріостановился онъ вдругъ, — если бъ вы, напримѣръ, могли . . . на-пра-вить . . . вашего паціента . . . сейчасъ и ни мало не медля (слова «сейчасъ и ни мало не медля» докторъ произнесъ не то что строго, а почти гнѣвно, такъ что штабсъ-капитанъ даже вздрогнулъ) въ Си-ра-ку-зы, то . . . вслѣдствіе новыхъ благо-прі-ятныхъ кли-ма-ти-ческихъ условій . . . могло бы, можетъ быть, про-и-зойти . . .

— Въ Сиракузы! — вскричалъ штабсъ-капитанъ, какъ бы ничего еще не понимая.

— Сиракузы — это въ Сициліи, — отрѣзалъ вдругъ громко Коля, для поясненія. Докторъ поглядѣлъ на него.

— Въ Сицилію! Батюшка, ваше превосходительство, — потерялся штабсъ-капитанъ, — да вѣдь вы видѣли! — обвелъ онъ обѣими руками кругомъ, указывая на свою обстановку, — а маменька-то, а семейство-то?

— Н-нѣтъ, семейство не въ Сицилію, а семейство ваше на Кавказъ, раннею весной . . . дочь вашу на Кавказъ, а супругу . . . продержавъ курсъ водъ тоже на Кав-ка-зѣ въ виду ея ревматизмовъ . . . немедленно послѣ того на-пра-вить въ Парижъ, въ лѣчебницу доктора пси-хі-атра Ле-пель-летье, я бы могъ вамъ дать къ нему записку, и тогда . . . могло бы, можетъ быть, произойти . . .

— Докторъ, докторъ! Да вѣдь вы видите! — размахнулъ вдругъ опять руками штабсъ-капитанъ, указывая въ отчаяніи на голыя бревенчатыя стѣны сѣней.

— А это ужъ не мое дѣло, — усмѣхнулся докторъ, — я лишь сказалъ то, что могла сказать на-у-ка на вашъ вопросъ о послѣднихъ средствахъ, а остальное... къ сожалѣнію моему...

— Не безпокойтесь, лѣкарь, моя собака васъ не укуситъ, — громко отрѣзалъ Коля, замѣтивъ нѣсколько безпокойный взглядъ доктора на Перезвона, ставшаго на порогѣ. Гнѣвная нотка прозвенѣла въ голосѣ Коли. Слово же «лѣкарь» вмѣсто доктора онъ сказалъ *нарочно* и, какъ самъ объявилъ потомъ, «для оскорбленія сказалъ».

— Что та-ко-е? — вскинулъ головой докторъ, удивленно уставившись на Колю. — Ка-кой это? — обратился онъ вдругъ къ Алешѣ, будто спрашивая у того отчета.

— Это хозяинъ Перезвона, лѣкарь, не безпокойтесь о моей личности, — отчеканилъ опять Коля.

— Звонъ? — переговорилъ докторъ, не понявъ что такое Перезвонъ.

— Да не знаетъ, гдѣ онъ. Прощайте, лѣкарь, увидимся въ Сиракузахъ.

— Кто эт-то? Кто, кто? — вдругъ закипятился ужасно докторъ.

— Это здѣшній школьникъ, докторъ, онъ шалунъ, не обращайте вниманія, — нахмурившись и скороговоркой проговорилъ Алеша. — Коля, молчите! — крикнулъ онъ Красоткину. — Не надо обращать вниманія, докторъ, — повторилъ онъ уже нѣсколько нетерпѣливѣе.

— Выс-сѣчь, выс-сѣчь надо, выс-сѣчь! — затопалъ было ногами слишкомъ ужъ почему-то взбѣсившійся докторъ.

— А знаете, лекарь, вѣдь Перезвонъ-то у меня,

пожалуй, что и кусается! — проговорилъ Коля задрожавшимъ голоскомъ, поблѣднѣвъ и сверкнувъ глазами. — Іси, Перезвонъ!

— Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я съ вами разорву навѣки, — властно крикнулъ Алеша.

— Лѣкарь, есть только одно существо въ цѣломъ мірѣ, которое можетъ приказывать Николаю Красоткину, это вотъ этотъ человѣкъ (Коля указалъ на Алешу); ему повинуюсь, прощайте!

Онъ сорвался съ мѣста и, отворивъ дверь, быстро прошелъ въ комнату. Перезвонъ бросился за нимъ. Докторъ постоялъ было еще секундъ пять, какъ бы въ столбнякѣ, смотря на Алешу, потомъ вдругъ плюнулъ и быстро пошелъ къ каретѣ, громко повторяя: «этта, этта, я не знаю, что этта!» Штабсъ-капитанъ бросился его подсаживать. Алеша прошелъ въ комнату вслѣдъ за Колей. Тотъ стоялъ уже у постельки Илюши. Илюша держалъ его за руку и звалъ папу. Чрезъ минуту воротился и штабсъ-капитанъ.

— Папа, папа, поди сюда . . . мы . . . — пролепеталъ было Илюша въ чрезвычайномъ возбужденіи, но, видимо, не въ силахъ продолжать, вдругъ бросилъ свои обѣ исхудалыя ручки впередъ и крѣпко, какъ только могъ, обнялъ ихъ обоихъ разомъ, и Колю и папу, соединивъ ихъ въ одно объятіе и самъ къ нимъ прижавшись. Штабсъ-капитанъ вдругъ весь такъ и затрясся отъ безмолвныхъ рыданій, а у Коли задрожали губы и подбородокъ.

— Папа, папа! Какъ мнѣ жалко тебя, папа! — горько простоналъ Илюша.

— Илюшечка . . . голубчикъ . . . докторъ ска-

залъ... будешь здоровъ... будемъ счастливы... докторъ... — заговорилъ было штабсъ-капитанъ.

— Ахъ, папа! Я вѣдь знаю, что тебѣ новый докторъ про меня сказалъ... Я вѣдь видѣлъ! — воскликнулъ Илюша и опять крѣпко, изо всей силы прижалъ ихъ обоихъ къ себѣ, спрятавъ на плечѣ у папы свое лицо.

— Папа, не плачь... а какъ я умру, то возьми ты хорошаго мальчика, другого... самъ выбери изъ нихъ изъ всѣхъ, хорошаго, назови его Илюшей и люби его вмѣсто меня...

— Молчи, старикъ, выздоровѣешь! — точно осердившись, крикнулъ вдругъ Красоткинъ.

— А меня, папа, меня не забывай никогда, — продолжалъ Илюша, — ходи ко мнѣ на могилку... да вотъ что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, къ которому мы съ тобой гулять ходили, и ходи ко мнѣ туда съ Красоткинымъ, вечеромъ... И Перезвонъ... А я буду васъ ждать... Папа, папа!

Его голосокъ пресѣкся, всѣ трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своемъ креслѣ и Ниночка, и вдругъ, увидавъ всѣхъ плачущими, залилась слезами и мамаша.

— Илюшечка! Илюшечка! — восклицала она.

Красоткинъ вдругъ высвободился изъ объятій Илюши:

— Прощай, старикъ, меня ждетъ мать къ обѣду, — проговорилъ онъ скороговоркой. — Какъ жаль, что я ее не предувѣдомилъ! Очень будетъ безпокоиться... Но послѣ обѣда я тотчасъ къ тебѣ, на весь день, на весь вечеръ, и столько тебѣ разскажу, столько разскажу! И Перезвона приведу, а теперь съ собой уведу, потому что онъ безъ

меня выть начнетъ и тебѣ мѣшать будетъ; до свиданья!

И онъ выбѣжалъ въ сѣни. Ему не хотѣлось расплакаться, но въ сѣняхъ онъ-таки заплакалъ. Въ этомъ состояніи нашелъ его Алеша.

— Коля, вы должны непремѣнно сдержать слово и придти, а то онъ будетъ въ страшномъ горѣ, — настойчиво проговорилъ Алеша.

— Непремѣнно! О, какъ я кляну себя, что не приходилъ раньше, — плача и не конфузясь, что плачетъ, пробормоталъ Коля. Въ эту минуту вдругъ словно выскочилъ изъ комнаты штабсъ-капитанъ и тотчасъ затворилъ за собою дверь. Лицо его было изступленное, губы дрожали. Онъ сталъ предъ обоими молодыми людьми и вскинулъ вверхъ обѣ руки.

— Не хочу хорошаго мальчика! Не хочу другого мальчика! — прошепталъ онъ дикимъ шепотомъ, скрежища зубами, — аще забуду тебе, Іерусалиме, да прильпнетъ . . .

Онъ не договорилъ, какъ бы захлебнувшись, и опустился въ безсиліи предъ деревянной лавкой на колѣни. Стиснувъ обоими кулаками свою голову, онъ началъ рыдать, какъ-то нелѣпо взвизгивая, изо всей силы крѣпясь, однако, чтобы не услышали его взвизговъ въ избѣ. Коля выскочилъ на улицу.

— Прощайте, Карамазовъ! Сами-то придете? — рѣзко и сердито крикнулъ онъ Алешѣ.

— Вечеромъ непремѣнно буду.

— Что онъ это такое про Іерусалимъ . . . Это что еще такое?

— Это изъ Библіи: «аще забуду тебе, Іерусалиме», — то есть забуду все, что есть самаго у

меня драгоцѣннаго, если промѣняю на что, то да поразитъ . . .

— Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Ісі, Перезвонъ! — совсѣмъ уже свирѣпо прокричалъ онъ собакѣ и большими, скорыми шагами зашагалъ домой.

Книга одиннадцатая.

Братъ Иванъ Ѳедоровичъ.

I.

У Грушеньки.

Алеша направился къ Соборной площади, въ домъ купчихи Морозовой, къ Грушенькѣ. Та еще рано утромъ присылала къ нему Ѳеню съ настоятельною просьбой зайти къ ней. Опросивъ Ѳеню, Алеша узналъ, что барыня въ какой-то большой и особливой тревогѣ еще со вчерашняго дня. Во всѣ эти два мѣсяца послѣ ареста Мити, Алеша часто захаживалъ въ домъ Морозовой и по собственному побужденію, и по порученіямъ Мити. Дня три послѣ ареста Мити, Грушенька сильно заболѣла и хворала чуть не пять недѣль. Одну недѣлю изъ этихъ пяти пролежала безъ памяти. Она сильно измѣнилась въ лицѣ, похудѣла и пожелтѣла, хотя вотъ уже почти двѣ недѣли, какъ могла выходить со двора. Но, на взглядъ Алеши, лицо ея стало какъ бы еще привлекательнѣе, и онъ любилъ, входя къ ней, встрѣчать ея взглядъ. Что-то какъ бы укрѣпилось въ ея взглядѣ твердое и осмысленное. Сказывался нѣкоторый переворотъ духовный, явля-

лась какая-то неизмѣнная, смиренная, но благая и безповоротная рѣшимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ея видъ сосредоточенной въ себѣ задумчивости, почти даже суровой на первый взглядъ. Прежней, напримѣръ, вѣтренности не осталось и слѣда. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на все несчастіе, постигшее бѣдную женщину, невѣсту жениха, арестованнаго по страшному преступленію, почти въ тотъ самый мигъ, когда она стала его невѣстой, несмотря потомъ на болѣзнь и на угрожающее впереди почти неминуемое рѣшеніе суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей веселости. Въ гордыхъ прежде глазахъ ея засіяла теперь какая-то тихость, хотя... хотя, впрочемъ, глаза эти изрѣдка опять-таки пламенѣли нѣкоторымъ зловѣщимъ огонькомъ, когда ее посѣщала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся въ ея сердцѣ. Предметъ этой заботы былъ все тотъ же: Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже въ бреду. Алеша понималъ, что она страшно ревнуетъ къ ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посѣтила того въ заключеніи, хотя бы и могла это сдѣлать, когда угодно. Все это обратилось для Алеши въ нѣкоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему довѣряла свое сердце и безпрерывно просила у него совѣтовъ; онъ же иногда совсѣмъ ничего не въ силахъ былъ ей сказать.

Озабоченно вступилъ онъ въ ея квартиру. Она была уже дома; съ полчаса какъ воротилась отъ Мити, и уже по тому быстрому движенію, съ ко-

торымъ она вскочила съ креселъ изъ-за стола къ нему навстрѣчу, онъ заключилъ, что ждала его съ большимъ нетерпѣніемъ. На столѣ лежали карты и была сдана игра въ дурачки. На кожаномъ диванѣ съ другой стороны была поставлена постель, и на ней полулежалъ, въ халатѣ и въ бумажномъ колпакѣ, Максимовъ, видимо больной и ослабѣвшій, хотя и сладко улыбавшійся. Этотъ бездомный старичекъ, какъ воротился тогда, еще мѣсяца два тому, съ Грушенькой изъ Мокраго, такъ и остался у ней и при ней съ тѣхъ поръ неотлучно. Пріѣхавъ тогда съ ней въ дождь и слякоть, онъ, промокшій и испуганный, сѣлъ на диванъ и уставился на нее молча, съ робкою просящею улыбкой. Грушенька, бывшая въ страшномъ горѣ и уже въ начинавшейся лихорадкѣ, почти забывшая о немъ въ первые полчаса по пріѣздѣ за разными хлопотами, — вдругъ какъ-то пристально посмотрѣла на него: онъ жалко и потерянно хихикнулъ ей въ глаза. Она кликнула Ѳеню и велѣла дать ему покушать. Весь этотъ день онъ просидѣлъ на своемъ мѣстѣ почти не шелохнувшись; когда же стемнѣло и заперли ставни, Ѳеня спросила барыню:

— Что жъ, барыня, развѣ они ночевать останутся?

— Да, постели ему на диванѣ, — отвѣтила Грушенька.

Опросивъ его подробнѣе, Грушенька узнала отъ него, что, дѣйствительно, ему какъ разъ теперь некуда дѣться совсѣмъ, и что «господинъ Калгановъ, благодѣтель мой, прямо мнѣ заявили-съ, что болѣе меня ужъ не примутъ, и пять рублей подарили». — «Ну, Богъ съ тобой, оставайся ужъ», рѣшила въ тоскѣ Грушенька, сострадательно ему

улыбнувшись. Старика передернуло отъ ея улыбки, и губы его задрожали отъ благодарнаго плача. Такъ съ тѣхъ поръ и остался у ней скитающійся приживальщикъ. Даже въ болѣзни ея онъ не ушелъ изъ дома. Ѳеня и ея мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диванѣ. Впослѣдствіи Грушенька даже привыкла къ нему и, приходя отъ Мити (къ которому, чуть оправившись, тотчасъ же стала ходить, не успѣвъ даже хорошенько выздоровѣть), чтобъ убить тоску, садилась и начинала разговаривать съ «Максимушкой» о всякихъ пустякахъ, только чтобы не думать о своемъ горѣ. Оказалось, что старичекъ умѣлъ иногда кое-что и поразсказать, такъ что сталъ ей, наконецъ, даже и необходимъ. Кромѣ Алеши, заходившаго, однако, не каждый день, и всегда ненадолго, Грушенька никого почти и не принимала. Старикъ же ея, купецъ, лежалъ въ это время уже страшно больной, «отходилъ», какъ говорили въ городѣ, и, дѣйствительно, умеръ всего недѣлю спустя послѣ суда надъ Митей. За три недѣли до смерти, почувствовавъ близкій финалъ, онъ кликнулъ къ себѣ, наконецъ, наверхъ сыновей, съ ихъ женами и дѣтьми, и повелѣлъ имъ уже болѣе не отходить отъ себя. Грушеньку же съ этой самой минуты строго заказалъ слугамъ не принимать вовсе, а коли придетъ, то говорить ей: «приказываетъ, дескать, вамъ долго въ веселіи жить, а ихъ совсѣмъ позабыть». Грушенька, однакожъ, посылала почти каждый день справляться объ его здоровьѣ.

— Наконецъ-то пришелъ! — крикнула она, бросивъ карты и радостно здороваясь съ Алешей,— а Максимушка такъ пугалъ, что, пожалуй, ужъ и

не придешь. Ахъ, какъ тебя нужно! Садись къ столу; ну, что тебѣ, кофею?

— А, пожалуй, — сказалъ Алеша, подсаживаясь къ столу, — очень проголодался.

— То-то; Ѳеня, Ѳеня, кофею! — крикнула Грушенька, — онъ у меня давно кипитъ, тебя ждетъ, да пирожковъ принеси, да чтобы горячихъ. Нѣтъ, постой, Алеша, у меня съ этими пирогами сегодня громъ вышелъ. Понесла я ихъ къ нему въ острогъ, а онъ, вѣришь ли, назадъ мнѣ ихъ бросилъ, такъ и не ѣлъ. Одинъ пирогъ такъ совсѣмъ на полъ кинулъ и растопталъ. Я и сказала: «сторожу оставлю; коли не съѣшь до вечера, значитъ, тебя злость ехидная кормитъ!» съ тѣмъ и ушла. Опять вѣдь поссорились, вѣришь тому. Что ни приду, такъ и поссоримся.

Грушенька проговорила все это залпомъ, въ волненіи. Максимовъ, тотчасъ же оробѣвъ, улыбался, потупивъ глазки.

— Этотъ-то разъ за что же поссорились? — спросилъ Алеша.

— Да ужъ совсѣмъ и не ожидала! Представь себѣ, къ «прежнему» приревновалъ: «зачѣмъ, дескать, ты его содержишь. Ты его, значитъ, содержать начала?» Все ревнуетъ, все меня ревнуетъ! И спитъ и ѣстъ — ревнуетъ. Къ Кузьмѣ даже разъ на прошлой недѣлѣ приревновалъ.

— Да вѣдь онъ же зналъ про «прежняго»-то?

— Ну вотъ поди. Съ самаго начала до самаго сегодня зналъ, а сегодня вдругъ всталъ и началъ ругать. Срамно только сказать, что говорилъ. Дуракъ! Ракитка къ нему пришелъ, какъ я вышла. Можетъ, Ракитка-то его уськаетъ, а? Какъ ты думаешь? — прибавила она какъ бы разсѣянно.

— Любитъ онъ тебя, вотъ что, очень любитъ. А теперь какъ разъ и раздраженъ.

— Еще бы не раздраженъ, завтра судятъ. И шла съ тѣмъ, чтобъ о завтрашнемъ ему мое слово сказать, потому, Алеша, страшно мнѣ даже и подумать, что завтра будетъ! Ты вотъ говоришь, онъ раздраженъ, да я-то какъ раздражена. А онъ о полякѣ! Экой дуракъ! Вотъ къ Максимушкѣ небось не ревнуетъ.

— Меня супруга моя очень тоже ревновала-съ, — вставилъ свое словцо Максимовъ.

— Ну, ужъ тебя-то, — разсмѣялась нехотя Грушенька, — къ кому тебя и ревновать-то?

— Къ горничнымъ дѣвушкамъ-съ.

— Э, молчи, Максимушка, не до смѣху мнѣ теперь, даже злость беретъ. На пирожки-то глазъ не пяль, не дамъ, тебѣ вредно, и бальзамчику тоже не дамъ. Вотъ съ нимъ тоже возись; точно у меня домъ богадѣльный, право, — разсмѣялась она.

— Я вашихъ благодѣяній не стою-съ, я ничтоженъ-съ, — проговорилъ слезящимся голоскомъ Максимовъ. — Лучше бы вы расточали благодѣянія ваши тѣмъ, которые нужнѣе меня-съ.

— Эхъ, всякій нуженъ, Максимушка, и почему узнать, кто кого нужнѣй. Хоть бы и не было этого полячка вовсе. Алеша, тоже вѣдь разболѣться сегодня вздумалъ. Была и у него. Такъ вотъ нарочно же и ему пошлю пироговъ, я не посылала, а Митя обвинилъ, что посылаю, такъ вотъ нарочно же теперь пошлю, нарочно! Ахъ, вотъ и Ѳеня съ письмомъ! Ну, такъ и есть, опять отъ поляковъ, опять денегъ просятъ!

Панъ Муссяловичъ, дѣйствительно, прислалъ чрезвычайно длинное и витіеватое по своему обык-

новенію письмо, въ которомъ просилъ ссудить его тремя рублями. Къ письму была приложена расписка въ полученіи, съ обязательствомъ уплатить въ теченіе трехъ мѣсяцевъ; подъ распиской подписался и панъ Врублевскій. Такихъ писемъ и все съ такими же расписками Грушенька уже много получила отъ своего «прежняго». Началось это съ самаго выздоровленія Грушеньки, недѣли двѣ назадъ. Она знала, однако, что оба пана и во время болѣзни ея приходили навѣдываться о ея здоровьѣ. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное на почтовомъ листѣ большого формата, запечатанное большою фамильною печатью и страшно темное и витіеватое, такъ что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не понявъ. Да и не до писемъ ей тогда было. За этимъ первымъ письмомъ послѣдовало на другой день второе, въ которомъ панъ Муссяловичъ просилъ ссудить его двумя тысячами рублей на самый короткій срокъ. Грушенька и это письмо оставила безъ отвѣта. Затѣмъ послѣдовалъ уже цѣлый рядъ писемъ, по письму въ день, все такъ же важныхъ и витіеватыхъ, но въ которыхъ сумма, просимая взаймы, постепенно спускаясь, дошла до ста рублей, до двадцати пяти, до десяти рублей и, наконецъ, вдругъ Грушенька получила письмо, въ которомъ оба пана просили у ней одинъ только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушенькѣ стало вдругъ жалко, и она, въ сумерки, сбѣгала сама къ пану. Нашла она обоихъ поляковъ въ страшной бѣдности, почти въ нищетѣ, безъ кушанья, безъ дровъ, безъ папиросъ, задолжавшихъ хозяйкѣ. Двѣсти рублей, выигранные въ Мокромъ у Мити, куда-то быстро исчезли. Уди-

вило, однакоже, Грушеньку, что встрѣтили ее оба пана съ заносчивою важностью и независимостью, съ величайшимъ этикетомъ, съ раздутыми рѣчами. Грушенька только разсмѣялась и дала своему «прежнему» десять рублей. Тогда же, смѣясь, разсказала объ этомъ Митѣ, и тотъ вовсе не приревновалъ. Но съ тѣхъ поръ паны ухватились за Грушеньку и каждый день ее бомбардировали письмами съ просьбой о деньгахъ, а та каждый разъ посылала понемножку. И вотъ вдругъ сегодня Митя вздумалъ жестоко приревновать.

— Я, дура, къ нему тоже забѣжала, всего только на минутку, когда къ Митѣ шла, потому, разболѣлся тоже и онъ, панъ-то мой прежній, — начала опять Грушенька, суетливо и торопясь, — смѣюсь я это и разсказываю Митѣ-то: представь, говорю, полякъ-то мой на гитарѣ прежнія пѣсни мнѣ вздумалъ пѣть, думаетъ, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то какъ вскочитъ съ ругательствами... Такъ вотъ нѣтъ же, пошлю панамъ пироговъ! Ѳеня, что они тамъ дѣвченку эту прислали? Вотъ, отдай ей три рубля, да съ десятокъ пирожковъ въ бумагу имъ уверни и вели снести, а ты, Алеша, непремѣнно разскажи Митѣ, что я имъ пироговъ послала.

— Ни за что не разскажу, — проговорилъ, улыбнувшись, Алеша.

— Эхъ, ты думаешь, что онъ мучается; вѣдь онъ это нарочно приревновалъ, а ему самому все равно, — горько проговорила Грушенька.

— Какъ такъ нарочно? — спросилъ Алеша.

— Глупый ты, Алешенька, вотъ что, ничего ты тутъ не понимаешь при всемъ умѣ, вотъ что. Мнѣ не то обидно, что онъ меня, такую, приревновалъ,

а то стало бы мнѣ обидно, коли бы вовсе не ревновалъ. Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у самой сердце жестокое, я сама приревную. Только мнѣ тò обидно, что онъ меня вовсе не любитъ, и теперь *нарочно* приревновалъ, вотъ что. Слѣпая я, что ли, не вижу? Онъ мнѣ о той, о Катькѣ, вдругъ сейчасъ и говоритъ: такая-де она и сякая, доктора изъ Москвы на судъ для меня выписала, чтобы спасти меня выписала, адвоката самаго перваго, самаго ученаго тоже выписала. Значитъ, ее любитъ, коли мнѣ въ глаза началъ хвалить, безстыжіе его глаза! Предо мной самъ виноватъ, такъ вотъ ко мнѣ и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сдѣлать, да на меня на одну и свалить: «ты, дескать, прежде меня съ полякомъ была, такъ вотъ мнѣ съ Катькой и позволительно это стало». Вотъ оно что! На меня на одну всю вину свалить хочетъ. Нарочно онъ привязался, нарочно, говорю тебѣ, только я . . .

Грушенька не договорила, что она сдѣлаетъ, закрыла глаза платкомъ и ужасно разрыдалась.

— Онъ Катерину Ивановну не любитъ, — твердо сказалъ Алеша.

— Ну, любитъ не любитъ, это я сама скоро узнаю, — съ грозной ноткой въ голосѣ проговорила Грушенька, отнимая отъ глазъ платокъ. Лицо ея исказилось. Алеша съ горестью увидѣлъ, какъ вдругъ, изъ кроткаго и тихо-веселаго, лицо ея стало угрюмымъ и злымъ.

— Объ этихъ глупостяхъ полно! — отрѣзала она вдругъ, — не затѣмъ вовсе и я звала тебя. Алеша, голубчикъ, завтра-то, завтра-то что будетъ? Вотъ вѣдь что меня мучитъ! Одну только меня и мучитъ! Смотрю на всѣхъ, никто-то о томъ

не думаетъ, никому-то до этого и дѣла нѣтъ никакого. Думаешь ли хоть ты объ этомъ? Завтра вѣдь судятъ! Разскажи ты мнѣ, какъ его тамъ будутъ судить? Вѣдь это лакей, лакей убилъ, лакей, Господи! Неужто жъ его за лакея осудятъ, и никто-то за него не заступится? Вѣдь и не потревожили лакея-то вовсе, а?

— Его строго опрашивали, — замѣтилъ Алеша задумчиво, — но всѣ заключили, что не онъ. Теперь онъ очень больной лежитъ. Съ тѣхъ поръ боленъ, съ той падучей. Въ самомъ дѣлѣ боленъ, — прибавилъ Алеша.

— Господи, да сходилъ бы ты къ этому адвокату самъ и разсказалъ бы дѣло съ глазу на глазъ. Вѣдь изъ Петербурга за три тысячи, говорятъ, выписали.

— Это мы втроемъ дали три тысячи, я, братъ Иванъ и Катерина Ивановна, а доктора изъ Москвы выписала за двѣ тысячи ужъ она сама. Адвокатъ Ѳетюковичъ больше бы взялъ, да дѣло это получило огласку по всей Россіи, во всѣхъ газетахъ и журналахъ о немъ говорятъ, Ѳетюковичъ и согласился больше для славы пріѣхать, потому что ужъ слишкомъ знаменитое дѣло стало. Я его вчера видѣлъ.

— Ну и что жъ? Говорилъ ему? — вскинулась торопливо Грушенька.

— Онъ выслушалъ и ничего не сказалъ. Сказалъ, что у него уже составилось опредѣленное мнѣніе. Но обѣщалъ мои слова взять въ соображеніе.

— Какъ это въ соображеніе! Ахъ они мошенники! Погубятъ они его! Ну, а доктора-то, доктора зачѣмъ та выписала?

— Какъ эксперта. Хотятъ вывести, что братъ сумасшедшій и убилъ въ помѣшательствѣ, себя не помня, — тихо улыбнулся Алеша, — только братъ не согласится на это.

— Ахъ, да вѣдь это правда, если бъ онъ убилъ! — воскликнула Грушенька. — Помѣшанный онъ былъ тогда, совсѣмъ помѣшанный, и это я, я, подлая, въ томъ виновата! Только вѣдь онъ же не убилъ, не убилъ! И всѣ-то на него, что онъ убилъ, весь городъ. Даже Ѳеня, и та такъ показала, что выходитъ, будто онъ убилъ. А въ лавкѣ-то, а этотъ чиновникъ, а прежде въ трактирѣ слышали! Всѣ, всѣ противъ него, такъ и галдятъ.

— Да, показанія ужасно умножились, — угрюмо замѣтилъ Алеша.

— А Григорій-то, Григорій-то Васильичъ, вѣдь стоитъ на своемъ, что дверь была отперта, ломитъ на своемъ, что видѣлъ, не собьешь его, я къ нему бѣгала, сама съ нимъ говорила. Ругается еще!

— Да, это, можетъ быть, самое сильное показаніе противъ брата, — проговорилъ Алеша.

— А про то, что Митя помѣшанный, такъ онъ и теперь точно таковъ, — съ какимъ-то особенно озабоченнымъ и таинственнымъ видомъ начала вдругъ Грушенька. — Знаешь, Алешенька, давно я хотѣла про это тебѣ сказать: хожу къ нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мнѣ, какъ ты думаешь: о чемъ это онъ теперь началъ все говорить? Заговоритъ, заговоритъ, — ничего понимать не могу, думаю, это онъ о чемъ умномъ, ну, я глупая, не понять мнѣ, думаю; только сталъ онъ мнѣ вдругъ говорить про дитё, то есть про дитятю какого-то, «зачѣмъ, дескать, бѣднò дитё? За дитё-то это я теперь и въ Сибирь пойду,

я не убилъ, но мнѣ надо въ Сибирь пойти!» Что это такое, какое такое дитё — ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, какъ онъ говорилъ, потому очень ужъ онъ хорошо это говорилъ, самъ плачетъ, и я заплакала, онъ меня вдругъ и поцѣловалъ и рукой перекрестилъ. Что это такое, Алеша, разскажи ты мнѣ, какое это «дитё».

— Это къ нему Ракитинъ почему-то повадился ходить,—улыбнулся Алеша,—впрочемъ... это не отъ Ракитина. Я у него вчера не былъ, сегодня буду.

— Нѣтъ, это не Ракитка, это его братъ Иванъ Ѳедоровичъ смущаетъ, это онъ къ нему ходитъ, вотъ что... — проговорила Грушенька и вдругъ какъ бы осѣклась. Алеша уставился на нее, какъ пораженный.

— Какъ ходитъ? Да развѣ онъ ходилъ къ нему? Митя мнѣ самъ говорилъ, что Иавнъ ни разу не приходилъ.

— Ну... ну, вотъ я какая! Проболталась! — воскликнула Грушенька въ смущеніи, вся вдругъ зарумянившись. — Стой, Алеша, молчи, такъ и быть, коль ужъ проболталась, всю правду скажу: онъ у него два раза былъ, первый разъ только что онъ тогда пріѣхалъ — тогда же вѣдь онъ сейчасъ изъ Москвы и прискакалъ, я еще и слечь не успѣла, а другой разъ приходилъ недѣлю назадъ. Митѣ-то онъ не велѣлъ о томъ тебѣ сказывать, отнюдь не велѣлъ сказывать, да и никому не велѣлъ сказывать, потаенно приходилъ.

Алеша сидѣлъ въ глубокой задумчивости и что-то соображалъ. Извѣстіе видимо его поразило.

— Братъ Иванъ объ Митиномъ дѣлѣ со мной не говоритъ, — проговорилъ онъ медленно, — да и вообще со мною онъ во всѣ эти два мѣсяца очень

мало говорилъ, а когда я приходилъ къ нему, то всегда бывалъ недоволенъ, что я пришелъ, такъ что я три недѣли къ нему уже не хожу. Гм... Если онъ былъ недѣлю назадъ, то... за эту недѣлю въ Митѣ, дѣйствительно, произошла какая-то перемѣна...

— Перемѣна, перемѣна! — быстро подхватила Грушенька. — У нихъ секретъ, у нихъ былъ секретъ! Митя мнѣ самъ сказалъ, что секретъ и, знаешь, такой секретъ, что Митя и успокоиться не можетъ. А вѣдь прежде былъ веселый, да онъ и теперь веселый, только, знаешь, когда начнетъ этакъ головой мотать, да по комнатѣ шагать, а вотъ этимъ правымъ пальцемъ себѣ тутъ на вискѣ волосы теребить, то ужъ я и знаю, что у него что-то безпокойное на душѣ... я ужъ знаю!.. А то былъ веселый; да и сегодня веселый!

— А ты сказала: раздраженъ?

— Да онъ и раздраженъ, да веселый. Онъ и все раздраженъ, да на минутку, а тамъ веселый, а потомъ вдругъ опять раздраженъ. И знаешь, Алеша, все я на него дивлюсь: впереди такой страхъ, а онъ даже иной разъ такимъ пустякамъ хохочетъ, точно самъ-то дитя.

— И это правда, что онъ мнѣ не велѣлъ говорить про Ивана? Такъ и сказалъ: не говори?

— Такъ и сказалъ: не говори. Тебя-то онъ, главное, и боится, Митя-то. Потому тутъ секретъ, самъ сказалъ, что секретъ... Алеша, голубчикъ, сходи, вывѣдай: какой это такой у нихъ секретъ, да и приди мнѣ сказать, — вскинулась и взмолилась вдругъ Грушенька, — порѣши ты меня бѣдную, чтобъ ужъ знала я мою участь проклятую! Съ тѣмъ и звала тебя.

— Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Такъ вѣдь тогда бы онъ не сказалъ при тебѣ про секретъ.

— Не знаю. Можетъ, мнѣ-то онъ и хочетъ сказать, да не смѣетъ. Предупреждаетъ. Секретъ, дескать, есть, а какой секретъ — не сказалъ.

— Ты сама-то что же думаешь?

— А что думаю? Конецъ мнѣ пришелъ, вотъ что думаю. Конецъ мнѣ они всѣ трое приготовили, потому что тутъ Катька. Все это Катька, отъ нея и идетъ. «Такая она и сякая», значитъ, это я не такая. Это онъ впередъ говоритъ, впередъ меня предупреждаетъ. Бросить онъ меня замыслилъ, вотъ и весь тутъ секретъ! Втроемъ это и придумали — Митька, Катька, да Иванъ Ѳедоровичъ. Алеша, хотѣла я тебя спросить давно: недѣлю назадъ онъ мнѣ вдругъ и открываетъ, что Иванъ влюбленъ въ Катьку, потому что часто къ той ходитъ. Правду онъ это мнѣ сказалъ али нѣтъ? Говори по совѣсти, рѣжь меня.

— Я тебѣ не солгу. Иванъ въ Катерину Ивановну не влюбленъ, такъ я думаю.

— Ну, такъ и я тогда же подумала! Лжетъ онъ мнѣ, безстыжій, вотъ что! И приревновалъ онъ теперь меня, чтобы потомъ на меня свалить. Вѣдь онъ дуракъ, вѣдь онъ не умѣетъ концовъ хоронить, откровенный онъ вѣдь такой... Только я жъ ему, я жъ ему! «Ты, говоритъ, вѣришь, что я убилъ» — это мнѣ-то онъ говоритъ, мнѣ-то, это меня-то онъ тѣмъ попрекнулъ! Богъ съ нимъ! Ну, постой, плохо этой Катькѣ будетъ отъ меня на судѣ! Я тамъ одно такое словечко скажу... Я тамъ ужъ все скажу!

И опять она горько заплакала.

— Вотъ что я тебѣ могу твердо объявить, Грушенька, — сказалъ, вставая съ мѣста, Алеша, — первое тò, что онъ тебя любитъ, любитъ болѣе всѣхъ на свѣтѣ, и одну тебя, въ этомъ ты мнѣ вѣрь. Я знаю. Ужъ я знаю. Второе тò скажу тебѣ, что я секрета выпытывать отъ него не хочу, а если самъ мнѣ скажетъ сегодня, то прямо скажу ему, что тебѣ обѣщался сказать. Тогда приду къ тебѣ сегодня же и скажу. Только... кажется мнѣ... нѣтъ тутъ Катерины Ивановны и въ поминѣ, а это про другое про что-нибудь этотъ секретъ. И это навѣрно такъ. И не похоже совсѣмъ, чтобы про Катерину Ивановну, такъ мнѣ сдается. А пока прощай!

Алеша пожалъ ей руку. Грушенька все еще плакала. Онъ видѣлъ, что она его утѣшеніямъ очень мало повѣрила, но и то ужъ было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять ее въ такомъ состояніи, но онъ спѣшилъ. Предстояло ему еще много дѣла.

II.

Больная ножка.

Первое изъ этихъ дѣлъ было въ домѣ г-жи Хохлаковой, и онъ поспѣшилъ туда, чтобы покончить тамъ поскорѣе и не опоздать къ Митѣ. Г-жа Хохлакова уже три недѣли какъ прихварывала: у ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала въ постели, но все равно, днемъ, въ привлекательномъ, но пристойномъ дезабилье, полулежала у себя въ будуарѣ на кушеткѣ. Алеша какъ-то разъ замѣтилъ про себя съ невинною усмѣшкой, что г-жа

Хохлакова, несмотря на болѣзнь свою, стала почти щеголять: явились какія-то наколочки, бантики, распашеночки, и онъ смекалъ почему это такъ, хотя и гналъ эти мысли, какъ праздныя. Въ послѣдніе два мѣсяца г-жу Хохлакову сталъ посѣщать, между прочими ея гостями, молодой человѣкъ Перхотинъ. Алеша не заходилъ уже дня четыре, и, войдя въ домъ, поспѣшилъ было прямо пройти къ Лизѣ, ибо у ней и было его дѣло, такъ какъ Лиза еще вчера прислала къ нему дѣвушку съ настоятельною просьбой немедленно къ ней придти «по очень важному обстоятельству», что, по нѣкоторымъ причинамъ, заинтересовало Алешу. Но пока дѣвушка ходила къ Лизѣ докладывать, г-жа Хохлакова уже узнала отъ кого-то о его прибытіи и немедленно прислала попросить его къ себѣ «на одну только минутку». Алеша разсудилъ, что лучше ужъ удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будетъ поминутно посылать къ Лизѣ, пока онъ будетъ у ней сидѣть. Г-жа Хохлакова лежала на кушеткѣ, какъ-то особенно празднично одѣтая и видимо въ чрезвычайномъ нервическомъ возбужденіи. Алешу она встрѣтила криками восторга.

— Вѣка̀, вѣка̀, цѣлые вѣка̀ не видала васъ! Цѣлую недѣлю, помилуйте, ахъ, впрочемъ, вы были всего четыре дня назадъ, въ среду. Вы къ Lise, я увѣрена, что вы хотѣли пройти къ ней прямо на цыпочкахъ, чтобъ я не слыхала. Милый, милый Алексѣй Ѳедоровичъ, если бы вы знали, какъ она меня безпокоитъ! Но это потомъ. Это хоть и самое главное, но это потомъ. Милый Алексѣй Ѳедоровичъ, я вамъ довѣряю мою Лизу вполнѣ. Послѣ смерти старца Зосимы—упокой, Господи, его душу! (она перекрестилась), послѣ него я смотрю на васъ,

какъ на схимника, хотя вы и премило носите вашъ новый костюмъ. Гдѣ это вы достали здѣсь такого портного? Но нѣтъ, нѣтъ, это не главное, это потомъ. Простите, что я васъ называю иногда Алешей, я старуха, мнѣ все позволено, — кокетливо улыбнулась она, — но это тоже потомъ. Главное, мнѣ бы не забыть про главное! — Пожалуйста, напомните мнѣ сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите: «а главное?» Ахъ, почему я знаю, что теперь главное. — Съ тѣхъ поръ, какъ Lise взяла у васъ назадъ свое обѣщаніе, — свое дѣтское обѣщаніе, Алексѣй Ѳедоровичъ, — выйти за васъ замужъ, то вы, конечно, поняли, что все это была дѣтская игривая фантазія больной дѣвочки, долго просидѣвшей въ креслахъ, — слава Богу, она теперь уже ходитъ. Этотъ новый докторъ, котораго Катя выписала изъ Москвы для этого несчастнаго вашего брата, котораго завтра... Ну что о завтрашнемъ! Я умираю отъ одной мысли о завтрашнемъ! Главное же отъ любопытства... Однимъ словомъ, этотъ докторъ вчера былъ у насъ и видѣлъ Lise... Я ему пятьдесятъ рублей за визитъ заплатила. Но это все не то, опять не то. Видите, я ужъ совсѣмъ теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня все смѣшалось въ какой-то комокъ. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете отъ меня со скуки, и я васъ только и видѣла. Ахъ, Боже мой! Что же мы сидимъ, и во-первыхъ, — кофе, Юлія, Глафира, кофе!

Алеша поспѣшно поблагодарилъ и объяснилъ, что онъ сейчасъ только пилъ кофе.

— У кого?

— У Аграфены Александровны.

— Это... это у этой женщины! Ахъ, это она всѣхъ погубила, а, впрочемъ, я не знаю, говорятъ, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что жъ, какая же польза? Молчите, молчите, Алексѣй Ѳедоровичъ, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, такъ ничего и не скажу. Этотъ ужасный процессъ... я непремѣнно поѣду, я готовлюсь, меня внесутъ въ креслахъ, и при томъ я могу сидѣть, со мной будутъ люди, и вы знаете, вѣдь я въ свидѣтеляхъ. Какъ я буду говорить, какъ я буду говорить! Я не знаю, что я буду говорить. Надо вѣдь присягу принять, вѣдь такъ, такъ?

— Такъ, но не думаю, чтобы вамъ можно было явиться.

— Я могу сидѣть; ахъ, вы меня сбиваете! Этотъ процессъ, этотъ дикій поступокъ, и потомъ всѣ идутъ въ Сибирь, другіе женятся, и все это быстро, быстро, и все мѣняется, и, наконецъ, ничего, всѣ старики и въ гробъ смотрятъ. Ну и пусть, я устала. Эта Катя — cette charmante personne, она разбила всѣ мои надежды: теперь она пойдетъ за однимъ вашимъ братомъ въ Сибирь, а другой вашъ братъ поѣдетъ за ней и будетъ жить въ сосѣднемъ городѣ, и всѣ будутъ мучить другъ друга. Меня это съ ума сводитъ, а, главное, эта огласка: во всѣхъ газетахъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ милліонъ разъ писали. Ахъ, да, представьте себѣ, и про меня писали, что я была «милымъ другомъ» вашего брата, я не хочу проговорить гадкое слово, представьте себѣ, ну, представьте себѣ!

— Этого быть не можтъ! Гдѣ же и какъ написали?

— Сейчасъ покажу. Вчера получила — вчера и прочла. Вотъ здѣсь, въ газетѣ *Слухи,* въ Петербургской. Эти *Слухи* стали издаваться съ нынѣшняго года, я ужасно люблю слухи, и подписалась, и вотъ себѣ на голову: вотъ они какіе оказались слухи. Вотъ здѣсь, вотъ въ этомъ мѣстѣ, читайте.

И она протянула Алешѣ газетный листокъ, лежавшій у ней подъ подушкой.

Она не то что была разстроена, она была какъ-то вся разбита и, дѣйствительно, можетъ быть, у ней все въ головѣ свернулось въ комокъ. Газетное извѣстіе было весьма характерное и, конечно, должно было на нее очень щекотливо подѣйствовать, но она, къ своему счастью, можетъ быть, не способна была въ сію минуту соредоточиться на одномъ пунктѣ, а потому черезъ минуту могла забыть даже о газетѣ и перескочить совсѣмъ на другое. Про то же, что повсемѣстно по всей Россіи уже прошла слава объ ужасномъ процессѣ, Алеша зналъ давно и, Боже, какія дикія извѣстія и корреспонденціи успѣлъ онъ прочесть за эти два мѣсяца, среди другихъ вѣрныхъ извѣстій, о своемъ братѣ, о Карамазовыхъ вообще и даже о себѣ самомъ. Въ одной газетѣ даже сказано было, что онъ отъ страху послѣ преступленія брата посхимился и затворился; въ другой это опровергали и писали, напротивъ, что онъ вмѣстѣ со старцемъ своимъ Зосимой взломали монастырскій ящикъ и «утекли изъ монастыря». Теперешнее же извѣстіе въ газетѣ *Слухи* озаглавлено было: «изъ Скотопригоньевска (увы, такъ называется нашъ городокъ, и я долго скрывалъ его имя), къ процессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о г-жѣ Хохлаковой прямо ни-

чего не упоминалось, да и вообще всѣ имена были скрыты. Извѣщалось лишь, что преступникъ, котораго съ такимъ трескомъ собираются теперь судить, отставной армейскій капитанъ, нахальнаго пошиба, лѣнтяй и крѣпостникъ, то и дѣло занимался амурами и особенно вліялъ на нѣкоторыхъ «скучающихъ въ одиночествѣ дамъ». Одна-де такая дама изъ «скучающихъ вдовицъ», молодящаяся, хотя уже имѣющая взрослую дочь, до того имъ прельстилась, что всего только за два часа до преступленія предлагала ему три тысячи рублей съ тѣмъ, чтобы онъ тотчасъ же бѣжалъ съ ней на золотые пріиски. Но злодѣй предпочелъ-де лучше убить отца и ограбить его именно на три же тысячи, расчитывая сдѣлать это безнаказанно, чѣмъ тащиться въ Сибирь съ сорокалѣтними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденція эта, какъ и слѣдуетъ, заканчивалась благороднымъ негодованіемъ насчетъ безнравственности отцеубійства и бывшаго крѣпостного права. Прочтя съ любопытствомъ, Алеша свернулъ листокъ и передалъ его обратно г-жѣ Хохлаковой.

— Ну какъ же не я? — залепетала она опять, — вѣдь это я, я почти за часъ предлагала ему золотые пріиски и вдругъ «сорокалѣтнія прелести!» Да развѣ я затѣмъ? Это онъ нарочно! Прости ему Вѣчный Судія за сорокалѣтнія прелести, какъ и я прощаю, но вѣдь это... вѣдь это знаете кто? Это вашъ другъ Ракитинъ.

— Можетъ быть, — сказалъ Алеша, — хотя я ничего не слыхалъ.

— Онъ, онъ, а не можетъ быть! Вѣдь я его выгнала... Вѣдь вы знаете всю эту исторію?

— Я знаю, что вы его пригласили не посѣщать

васъ впредь, но за что именно — этого я... отъ васъ, по крайней мѣрѣ, не слыхалъ.

— А, стало быть, отъ него слышали! Что жъ онъ бранитъ меня, очень бранитъ?

— Да, онъ бранитъ, но вѣдь онъ всѣхъ бранитъ. Но за что вы ему отказали — я и отъ него не слыхалъ. Да и вообще я очень рѣдко съ нимъ теперь встрѣчаюсь. Мы не друзья.

— Ну, такъ я вамъ это все открою и, нечего дѣлать, покаюсь, потому что тутъ есть одна черта, въ которой я, можетъ быть, сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая маленькая, такъ что, можетъ быть, ея и нѣтъ вовсе. Видите, голубчикъ мой (г-жа Хохлакова вдругъ приняла какой-то игривый видъ, и на устахъ ея замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка), видите, я подозрѣваю... вы меня простите, Алеша, я вамъ, какъ мать... о, нѣтъ, нѣтъ, напротивъ, я къ вамъ теперь, какъ къ моему отцу... потому что мать тутъ совсѣмъ не идетъ... Ну, все равно, какъ къ старцу Зосимѣ на исповѣди, и это самое вѣрное, это очень подходитъ: назвала же я васъ давеча схимникомъ, — ну такъ вотъ этотъ бѣдный молодой человѣкъ, вашъ другъ Ракитинъ (о, Боже, я просто на него не могу сердиться! Я сержусь и злюсь, но не очень), однимъ словомъ, этотъ легкомысленный молодой человѣкъ, вдругъ, представьте себѣ, кажется, вздумалъ въ меня влюбиться. Я это потомъ, потомъ только вдругъ примѣтила, но вначалѣ, то есть съ мѣсяцъ назадъ, онъ сталъ бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю... и вотъ вдругъ меня какъ бы озарило, и я начинаю, къ удивленію, примѣчать. Вы знаете, я уже два мѣсяца

тому назадъ начала принимать этого скромнаго, милаго и достойнаго молодого человѣка, Петра Ильича Перхотина, который здѣсь служитъ. Вы столько разъ его встрѣчали сами. И не правда ли, онъ достойный, серьезный. Приходитъ онъ въ три дня разъ, а не каждый день (хотя и пусть бы каждый день), и всегда такъ хорошо одѣтъ, и вообще я люблю молодежь, Алеша, талантливую, скромную, вотъ какъ вы, а у него почти государственный умъ, онъ такъ мило говоритъ, и я непремѣнно, непремѣнно буду просить за него. Это будущій дипломатъ. Онъ въ тотъ ужасный день меня почти отъ смерти спасъ, придя ко мнѣ ночью. Ну, а вашъ другъ Ракитинъ приходилъ всегда въ такихъ сапогахъ и протянетъ ихъ по ковру... однимъ словомъ, онъ началъ мнѣ даже что-то намекать, а вдругъ одинъ разъ, уходя, пожалъ мнѣ ужасно крѣпко руку. Только что онъ мнѣ пожалъ руку, какъ вдругъ у меня разболѣлась нога. Онъ и прежде встрѣчалъ у меня Петра Ильича, и, вѣрите ли, все шпыняетъ его, все шпыняетъ, такъ и мычитъ на него за что-то. Я только смотрю на нихъ обоихъ, какъ они сойдутся, а внутри смѣюсь. Вотъ вдругъ я сижу одна, то есть нѣтъ, я тогда ужъ лежала, вдругъ я лежу одна, Михаилъ Ивановичъ и приходитъ и, представьте, приноситъ свои стишки, самые коротенькіе, на мою больную ногу, то есть описалъ въ стихахъ мою больную ногу. Постойте, какъ это:

Эта ножка, эта ножка
Разболѣлася немножко...

или какъ тамъ, — вотъ никакъ не могу стиховъ запомнить, — у меня тутъ лежатъ, — ну, я вамъ потомъ покажу, только прелесть, прелесть, и, знае-

те, не объ одной только ножкѣ, а и нравоучительное, съ прелестною идеей, только я ее забыла, однимъ словомъ, прямо въ альбомъ. Ну, я, разумѣется, поблагодарила, и онъ былъ видимо польщенъ. Не успѣла поблагодарить, какъ вдругъ входитъ и Петръ Ильичъ, а Михаилъ Ивановичъ вдругъ насупился какъ ночь. Я ужъ вижу, что Петръ Ильичъ ему въ чемъ-то помѣшалъ, потому что Михаилъ Ивановичъ непремѣнно что-то хотѣлъ сказать сейчасъ послѣ стиховъ, я ужъ предчувствовала, а Петръ Ильичъ и вошелъ. Я вдругъ Петру Ильичу стихи и показываю, да и не говорю кто сочинилъ. Но я увѣрена, я увѣрена, что онъ сейчасъ догадался, хотя и до сихъ поръ не признается, а говоритъ, что не догадался; но это онъ нарочно. Петръ Ильичъ тотчасъ захохоталъ и началъ критиковать: — дрянные, говоритъ, стишенки, какой-нибудь семинаристъ написалъ, — да, знаете, съ такимъ азартомъ, съ такимъ азартомъ! Тутъ вашъ другъ вмѣсто того, чтобы разсмѣяться, вдругъ совсѣмъ и взбѣсился... Господи, я думала, они подерутся: «это я, говоритъ, написалъ. Я, говоритъ, написалъ въ шутку, потому что считаю за низость писать стихи... Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женскія ножки монументъ хотятъ ставить, а у меня съ направленіемъ, а вы сами, говоритъ, крѣпостникъ; вы, говоритъ, никакой гуманности не имѣете, вы никакихъ теперешнихъ просвѣщенныхъ чувствъ не чувствуете, васъ не коснулось развитіе, вы, говоритъ, чиновникъ и взятки берете!» Тутъ ужъ я начала кричать и молить ихъ. А Петръ Ильичъ, вы знаете, такой не робкій, и вдругъ принялъ самый благородный тонъ: смотритъ на него насмѣшливо, слушаетъ и извиняется:

«я, говоритъ, не зналъ. Если бъ я зналъ, я бы не сказалъ, я бы, говоритъ, похвалилъ... Поэты, говоритъ, всѣ такъ раздражительны»... Однимъ словомъ, такія насмѣшки подъ видомъ самаго благороднаго тона. Это онъ мнѣ самъ потомъ объяснилъ, что это все были насмѣшки, а я думала онъ и въ самомъ дѣлѣ. Только вдругъ я лежу, какъ вотъ теперь предъ вами, и думаю: будетъ или не будетъ благородно, если я Михаила Ивановича вдругъ прогоню за то, что неприлично кричитъ у меня въ домѣ на моего гостя? И вотъ вѣрите ли: лежу, закрыла глаза и думаю: будетъ или не будетъ благородно, и не могу рѣшить, и мучаюсь-мучаюсь, и сердце бьется: крикнуть, аль не крикнуть? Одинъ голосъ говоритъ: кричи, а другой говоритъ: нѣтъ, не кричи! Только что этотъ другой голосъ сказалъ, я вдругъ и закричала и вдругъ упала въ обморокъ. Ну, тутъ, разумѣется, шумъ. Я вдругъ встаю и говорю Михаилу Ивановичу: мнѣ горько вамъ объявить, но я не желаю васъ болѣе принимать въ моемъ домѣ. Такъ и выгнала. Ахъ, Алексѣй Ѳедоровичъ! Я сама знаю, что скверно сдѣлала, я все лгала, я вовсе на него не сердилась, но мнѣ вдругъ, главное вдругъ, показалось, что это будетъ такъ хорошо, эта сцена... Только вѣрите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась, и нѣсколько дней потомъ плакала, а потомъ вдругъ послѣ обѣда все и позабыла. Вотъ онъ и пересталъ ходить уже двѣ недѣли, я и думаю: да неужто жъ онъ совсѣмъ не придетъ? Это еще вчера, а вдругъ къ вечеру приходятъ эти *Слухи*. Прочла и ахнула, ну кто же написалъ, это онъ написалъ, пришелъ тогда домой, сѣлъ — и написалъ; послалъ — и напечатали. Вѣдь

это двѣ недѣли какъ было. Только, Алеша, ужасъ я что̀ говорю, а вовсе не говорю о чемъ надо? Ахъ, само говорится!

— Мнѣ сегодня ужасно какъ нужно поспѣть во-время къ брату, — пролепеталъ было Алеша.

— Именно, именно! Вы мнѣ все напомнили! Послушайте, что̀ такое аффектъ?

— Какой аффектъ? — удивился Алеша.

— Судебный аффектъ. Такой аффектъ, за который все прощаютъ. Что̀ бы вы ни сдѣлали — васъ сейчасъ простятъ.

— Да вы про что̀ это?

— А вотъ про что̀: эта Катя... Ахъ, это милое, милое существо, только я никакъ не знаю, въ кого она влюблена. Недавно сидѣла у меня, и я ничего не могла выпытать. Тѣмъ болѣе, что сама начинаетъ со мною теперь такъ поверхностно, однимъ словомъ, все о моемъ здоровьѣ и ничего больше, и даже такой тонъ принимаетъ, а я и сказала себѣ: ну и пусть, ну и Богъ съ вами... Ахъ, да, ну такъ вотъ этотъ аффектъ: этотъ докторъ и пріѣхалъ. Вы знаете, что пріѣхалъ докторъ? Ну, какъ вамъ не знать, который узнаетъ сумасшедшихъ, вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Все Катя! Ну, такъ видите: сидитъ человѣкъ совсѣмъ не сумасшедшій, только вдругъ у него аффектъ. Онъ и помнитъ себя и знаетъ что̀ дѣлаетъ, а между тѣмъ, онъ въ аффектѣ. Ну, такъ вотъ и съ Дмитріемъ Ѳедоровичемъ навѣрно былъ аффектъ. Это какъ новые суды открыли, такъ сейчасъ и узнали про аффектъ. Это благодѣяніе новыхъ судовъ. Докторъ этотъ былъ и разспрашиваетъ меня про тотъ вечеръ, ну, про золотые пріиски: каковъ, дескать, онъ тогда былъ? Какъ же не въ аффектѣ: при-

шелъ и кричитъ: денегъ, денегъ, три тысячи, давайте три тысячи, а потомъ пошелъ и вдругъ убилъ. Не хочу, говоритъ, не хочу убивать, и вдругъ убилъ. Вотъ за это-то самое его и простятъ, что противился, а убилъ.

— Да вѣдь онъ же не убилъ, — немного рѣзко прервалъ Алеша. Безпокойство и нетерпѣніе одолѣвали его все больше и больше.

— Знаю, это убилъ тотъ старикъ Григорій...

— Какъ Григорій? — вскричалъ Алеша.

— Онъ, онъ, это Григорій. Дмитрій Ѳедоровичъ какъ ударилъ его, такъ онъ лежалъ, а потомъ всталъ, видитъ дверь отворена, пошелъ и убилъ Ѳедора Павловича...

— Да зачѣмъ, зачѣмъ?

— А получилъ аффектъ. Какъ Дмитрій Ѳедоровичъ ударилъ его по головѣ, онъ очнулся и получилъ аффектъ, пошелъ и убилъ. А что онъ говоритъ самъ, что не убилъ, такъ этого онъ, можетъ, и не помнитъ. Только видите ли: лучше, гораздо лучше будетъ, если Дмитрій Ѳедоровичъ убилъ. Да это такъ и было, хоть я и говорю, что Григорій, но это навѣрно Дмитрій Ѳедоровичъ, и это гораздо, гораздо лучше! Ахъ, не потому лучше, что сынъ отца убилъ, я не хвалю, дѣти, напротивъ, должны почитать родителей, а только все-таки лучше что онъ, потому что вамъ тогда и плакать нечего, такъ какъ онъ убилъ себя не помня, или, лучше сказать, все помня, но не зная, какъ это съ нимъ сдѣлалось. Нѣтъ, пусть они его простятъ; это такъ гуманно, и чтобы видѣли благодѣяніе новыхъ судовъ, а я-то и не знала, а, говорятъ, это уже давно, и какъ я вчера узнала, то меня это такъ поразило, что я тот-

часъ же хотѣла за вами послать; и потомъ, коли его простятъ, то прямо его изъ суда ко мнѣ обѣдать, а я созову знакомыхъ, и мы выпьемъ за новые суды. Я не думаю, чтобъ онъ былъ опасенъ, притомъ я позову очень много гостей, такъ что его можно всегда вывести, если онъ что-нибудь, а потомъ онъ можетъ гдѣ-нибудь въ другомъ городѣ быть мировымъ судьей или чѣмъ-нибудь, потому что тѣ, которые сами перенесли несчастіе, всѣхъ лучше судятъ. А главное, кто жъ теперь не въ аффектѣ, вы, я, всѣ въ аффектѣ, и сколько примѣровъ: сидитъ человѣкъ, поетъ романсъ, вдругъ ему что-нибудь не понравилось, взялъ пистолетъ и убилъ кого попало, а за тѣмъ ему всѣ прощаютъ. Я это недавно читала, и всѣ доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждаютъ, все подтверждаютъ. Помилуйте, у меня Lise въ аффектѣ, я еще вчера отъ нея плакала, третьяго дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффектъ. Охъ, Lise меня такъ огорчаетъ! Я думаю, она совсѣмъ помѣшалась. Зачѣмъ она васъ позвала? Она васъ позвала, или вы сами къ ней пришли?

— Да, она звала, и я пойду сейчасъ къ ней, — всталъ было рѣшительно Алеша.

— Ахъ, милый, милый Алексѣй Ѳедоровичъ, тутъ-то, можетъ быть, и самое главное,—вскрикнула госпожа Хохлакова, вдругъ заплакавъ.—Богъ видитъ, что я вамъ истинно довѣряю Lise, и это ничего, что она васъ тайкомъ отъ матери позвала. Но Ивану Ѳедоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу довѣрить дочь мою съ такою легкостью, хотя и продолжаю считать его за самаго рыцарскаго молодого человѣка. А представьте, онъ вдругъ и былъ у Lise, а я этого ничего и не знала.

— Какъ? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша. Онъ ужъ не садился и слушалъ стоя.

— Я вамъ разскажу, я для этого-то, можетъ быть, васъ и позвала, потому что я ужъ и не знаю, для чего васъ позвала. Вотъ что̀: Иванъ Ѳедоровичъ былъ у меня всего два раза по возвращенiи своемъ изъ Москвы, первый разъ пришелъ, какъ знакомый сдѣлать визитъ, а въ другой разъ это уже недавно, Катя у меня сидѣла, онъ и зашелъ, узнавъ что она у меня. Я, разумѣется, и не претендовала на его частые визиты, зная сколько у него теперь и безъ того хлопотъ, vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de vorte papa, только вдругъ узнаю, что онъ былъ опять, только не у меня, а у Lise, это уже дней шесть тому, пришелъ, просидѣлъ пять минутъ и ушелъ. А узнала я про это цѣлыхъ три дня спустя отъ Глафиры, такъ что это меня вдругъ фрапировало. Тотчасъ призываю Lise, а она смѣется: онъ, дескать, думалъ, что вы спите, и зашелъ ко мнѣ спросить о вашемъ здоровьѣ. Конечно, оно такъ и было. Только Lise, Lise, о, Боже, какъ она меня огорчаетъ! Вообразите, вдругъ съ ней въ одну ночь — это четыре дня тому, сейчасъ послѣ того, какъ вы въ послѣднiй разъ были и ушли — вдругъ съ ней ночью припадокъ, крикъ, визгъ, истерика! Отчего у меня никогда не бываетъ истерики? Затѣмъ на другой день припадокъ, а потомъ и на третiй день, и вчера, и вотъ вчера этотъ аффектъ. А она мнѣ вдругъ кричитъ: «я ненавижу Ивана Ѳедоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали отъ дома!» Я обомлѣла при такой неожиданности и возражаю ей: съ какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человѣку и при-

томъ съ такими познаніями и съ такимъ несчастьемъ, потому что все-таки всѣ эти исторіи—вѣдь это несчастье, а не счастіе, не правда ли? Она вдругъ расхохоталась надъ моими словами и такъ, знаете, оскорбительно. Ну, я рада, думаю, что разсмѣшила ее, и припадки теперь пройдутъ, тѣмъ болѣе, что я сама хотѣла отказать Ивану Ѳедоровичу за странные визиты безъ моего согласія и потребовать объясненія. Только вдругъ сегодня утромъ Лиза проснулась и разсердилась на Юлію и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но вѣдь это монструозно, я съ моими дѣвушками на *вы*. И вдругъ чрезъ часъ она обнимаетъ и цѣлуетъ у Юліи ноги. Ко мнѣ же прислала сказать, что не придетъ ко мнѣ вовсе и впредь никогда не хочетъ ходить, а когда я сама къ ней потащилась, то бросилась меня цѣловать и плакать и, цѣлуя, такъ и выпихнула вонъ, ни слова не говоря, такъ что я такъ ничего и не узнала. Теперь, милый Алексѣй Ѳедоровичъ, на васъ всѣ мои надежды и, конечно, судьба всей моей жизни въ вашихъ рукахъ. Я васъ просто прошу пойти къ Lise, разузнать у ней все, какъ вы только одинъ умѣете это сдѣлать, и придти разсказать мнѣ, мнѣ, матери, потому что, вы понимаете, я умру, я просто умру, если все это будетъ продолжаться, или убѣгу изъ дому. Я больше не могу, у меня есть терпѣніе, но я могу его лишиться, и тогда . . . и тогда будутъ ужасы. Ахъ, Боже мой, наконецъ-то, Петръ Ильичъ! — вскрикнула, вся вдругъ просіявъ госпожа Хохлакова, завидя входящаго Петра Ильича Перхотина. — Опоздали, опоздали! Ну, что̀, садитесь, говорите, рѣшайте судьбу, ну, что̀ жъ этотъ адвокатъ? Куда же вы, Алексѣй Ѳедоровичъ?

— Я къ Lise.

— Ахъ, да! Такъ вы не забудете, не забудете, о чемъ я васъ просила? Тутъ судьба, судьба!

— Конечно, не забуду, если только можно... но я такъ опоздалъ, — пробормоталъ, поскорѣе ретируясь, Алеша.

— Нѣтъ, навѣрно, навѣрно заходите, а не «если можно», иначе я умру! — прокричала вслѣдъ ему госпожа Хохлакова, но Алеша уже вышелъ изъ комнаты.

III.

Бѣсенокъ.

Войдя къ Лизѣ, онъ засталъ ее полулежащею въ ея прежнемъ креслѣ, въ которомъ ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась къ нему навстрѣчу, но зоркій, острый ея взглядъ такъ и впился въ него. Взглядъ былъ нѣсколько воспаленный, лицо блѣдно-желтое. Алеша изумился тому, какъ она измѣнилась въ три дня, даже похудѣла. Она не протянула ему руки. Онъ самъ притронулся къ ея тонкимъ, длиннымъ пальчикамъ, неподвижно лежавшимъ на ея платьѣ, затѣмъ молча сѣлъ противъ нея.

— Я знаю, что вы спѣшите въ острогъ, — рѣзко проговорила Лиза, — а васъ два часа задержала мама, сейчасъ вамъ про меня и про Юлію разсказала.

— Почему вы узнали? — спросилъ Алеша.

— Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тутъ нѣтъ дурного. Прощенья не прошу.

— Вы чѣмъ-то разстроены?

— Напротивъ, очень рада. Только что сейчасъ разсуждала опять, въ тридцатый разъ: какъ хорошо, что я вамъ отказала и не буду вашею женой. Вы въ мужья не годитесь: я за васъ выйду, и вдругъ дамъ вамъ записку, чтобы снести тому, котораго полюблю послѣ васъ, вы возьмете и непремѣнно отнесете, да еще отвѣтъ принесете. И сорокъ лѣтъ вамъ придетъ, и вы все такъ же будете мои такія записки носить.

Она вдругъ засмѣялась.

— Въ васъ что-то злобное и въ то же время что-то простодушное, — улыбнулся ей Алеша.

— Простодушное это то, что я васъ не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться, именно предъ вами, именно васъ. Алеша, почему я васъ не уважаю? Я васъ очень люблю, но я васъ не уважаю. Если бъ уважала, вѣдь не говорила бы, не стыдилась, вѣдь такъ?

— Такъ.

— А вѣрите вы, что я васъ не стыжусь?

— Нѣтъ, не вѣрю.

Лиза опять нервно засмѣялась; говорила она скоро, быстро.

— Я вашему брату Дмитрію Ѳедоровичу конфетъ въ острогъ послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенькій! Я васъ ужасно буду любить за то, что вы такъ скоро позволили мнѣ васъ не любить.

— Вы для чего меня сегодня звали, Lise?

— Мнѣ хотѣлось вамъ сообщить одно мое желаніе. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзалъ, женился на мнѣ, а потомъ истерзалъ, обманулъ, ушелъ и уѣхалъ. Я не хочу быть счастливою!

— Полюбили безпорядокъ?

— Ахъ, я не хочу безпорядка. Я все хочу зажечь домъ. Я воображаю: какъ это я подойду и зажгу потихоньку, непремѣнно, чтобы потихоньку. Они-то тушатъ, а онъ-то горитъ. А я знаю да молчу. Ахъ, глупости! И какъ скучно!

Она съ отвращеніемъ махнула ручкой.

— Богато живете, — тихо проговорилъ Алеша.

— Лучше, что ль, бѣдной-то быть?

— Лучше.

— Это вамъ вашъ монахъ покойный наговорилъ. Это неправда. Пусть я богата, а всѣ бѣдные, я буду конфеты ѣсть и сливки пить, а тѣмъ никому не дамъ. Ахъ, не говорите, не говорите ничего (замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывалъ), вы мнѣ ужъ прежде все это говорили, я все наизусть знаю. Скучно. Если я буду бѣдная, я кого-нибудь убью, — да и богата если буду, можетъ быть, убью, — что̀ сидѣть-то! А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за васъ выйду, а вы станете мужикомъ, настоящимъ мужикомъ; у насъ жеребеночекъ, хотите? Вы Калганова знаете!

— Знаю.

— Онъ все ходитъ и мечтаетъ. Онъ говоритъ: зачѣмъ взаправду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить скука. А вѣдь самъ скоро женится, онъ ужъ и мнѣ объяснялся въ любви. Вы умѣете кубари спускать?

— Умѣю.

— Вотъ это онъ, какъ кубарь: завертѣть его и спустить, и стегать, стегать, стегать кнутикомъ: выйду за него замужъ, всю жизнь буду спускать. Вамъ не стыдно со мной сидѣть?

— Нѣтъ.

— Вы ужасно сердитесь, что я не про святое

говорю. Я не хочу быть святою. Что̀ сдѣлаютъ на томъ свѣтѣ за самый большой грѣхъ? Вамъ это должно быть въ точности извѣстно.

— Богъ осудитъ, — пристально вглядывался въ нее Алеша.

— Вотъ такъ я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы вдругъ всѣмъ имъ и засмѣялась въ глаза. Я ужасно хочу зажечь домъ, Алеша, нашъ домъ, вы мнѣ все не вѣрите?

— Почему же? Есть даже дѣти, лѣтъ по двѣнадцати, которымъ очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигаютъ. Это въ родѣ болѣзни.

— Неправда, неправда, пусть есть дѣти, но я не про то.

— Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризисъ, въ этомъ ваша прежняя болѣзнь, можетъ быть, виновата.

— А вы-таки меня презираете! Я просто не хочу дѣлать доброе, я хочу дѣлать злое, а никакой тутъ болѣзни нѣтъ.

— Зачѣмъ дѣлать злое?

— А чтобы нигдѣ ничего не осталось! Ахъ, какъ бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю надѣлать ужасно много зла и всего сквернаго, и долго буду тихонько дѣлать, и вдругъ всѣ узнаютъ. Всѣ меня обступятъ и будутъ показывать на меня пальцами, а я буду на всѣхъ смотрѣть. Это очень пріятно. Почему это такъ пріятно, Алеша?

— Такъ. Потребность раздавить что-нибудь хорошее, али вотъ, какъ вы говорили, зажечь. Это тоже бываетъ.

— Я вѣдь не то что говорила, я вѣдь и сдѣлаю.

— Вѣрю.

— Ахъ, какъ я васъ люблю за то, что вы говорите: вѣрю. И вѣдь вы вовсе, вовсе не лжете. А, можетъ быть, вы думаете, что я вамъ все это нарочно, чтобы васъ дразнить?

— Нѣтъ, не думаю... хотя, можетъ быть, и есть немного этой потребности.

— Немного есть. Никогда предъ вами не солгу, — проговорила она со сверкнувшими какимъ-то огонькомъ глазами.

Алешу всего болѣе поражала ея серьезность: ни тѣни смѣшливости и шутливости не было теперь въ ея лицѣ, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ея въ самыя «серьезныя» ея минуты.

— Есть минуты, когда люди любятъ преступленіе, — задумчиво проговорилъ Алеша.

— Да, да! Вы мою мысль сказали, любятъ, всѣ любятъ, и всегда любятъ, а не то что «минуты». Знаете, въ этомъ всѣ какъ будто когда-то условились лгать и всѣ съ тѣхъ поръ лгутъ. Всѣ говорятъ, что ненавидятъ дурное, а про себя всѣ его любятъ.

— А вы все попрежнему дурныя книги читаете?

— Читаю. Мама читаетъ и подъ подушку прячетъ, а я краду.

— Какъ вамъ не совѣстно разрушать себя?

— Я хочу себя разрушать. Тутъ есть одинъ мальчикъ, онъ подъ рельсами пролежалъ, когда надъ ними вагоны ѣхали. Счастливецъ! Послушайте, теперь вашего брата судятъ за то, что онъ отца убилъ, и всѣ любятъ, что онъ отца убилъ.

— Любятъ, что отца убилъ?

— Любятъ, всѣ любятъ! Всѣ говорятъ, что это ужасно, но про себя ужасно любятъ. Я первая люблю.

— Въ вашихъ словахъ про всѣхъ есть нѣсколько правды, — проговорилъ тихо Алеша.

— Ахъ, какія у васъ мысли! — взвизгнула въ восторгѣ Лиза, — это у монаха-то! Вы не повѣрите, какъ я васъ уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете. Ахъ, я вамъ одинъ мой смѣшной сонъ разскажу: мнѣ иногда во снѣ снятся черти, будто ночь, я въ моей комнатѣ со свѣчкой, и вдругъ вездѣ черти, во всѣхъ углахъ, и подъ столомъ, и двери отворяютъ, а ихъ тамъ за дверями толпа и имъ хочется войти и меня схватить. И ужъ подходятъ, ужъ хватаютъ. А я вдругъ перекрещусь, и они всѣ назадъ, боятся, только не уходятъ совсѣмъ, а у дверей стоятъ и по угламъ ждутъ. И вдругъ мнѣ ужасно захочется вслухъ начать Бога бранить, вотъ и начну бранить, а они-то вдругъ опять толпой ко мнѣ, такъ и обрадуются, вотъ ужъ и хватаютъ меня опять, я вдругъ опять перекрещусь — а они всѣ назадъ. Ужасно весело, духъ замираетъ.

— И у меня бывалъ этотъ самый сонъ, — вдругъ сказалъ Алеша.

— Неужто, — воскликнула Лиза въ удивленіи. — Послушайте, Алеша, не смѣйтесь, это ужасно важно: развѣ можно, чтобъ у двухъ разныхъ былъ одинъ и тотъ же сонъ?

— Вѣрно можно.

— Алеша, говорю вамъ, это ужасно важно, — въ какомъ-то чрезмѣрномъ уже удивленіи продолжала Лиза. — Не сонъ важенъ, а то, что вы могли видѣть этотъ же самый сонъ, какъ и я. Вы никогда мнѣ не лжете, не лгите и теперь: это правда? Вы не смѣетесь?

— Правда.

Лиза была чѣмъ-то ужасно поражена и на полминутку примолкла.

— Алеша, ходите ко мнѣ, ходите ко мнѣ чаще, — проговорила она вдругъ молящимъ голосомъ.

— Я всегда, всю жизнь буду къ вамъ приходить, — твердо отвѣтилъ Алеша.

— Я вѣдь одному вамъ говорю, — начала опять Лиза. — Я себѣ одной говорю, да еще вамъ. Вамъ одному въ цѣломъ мірѣ. И вамъ охотнѣе, чѣмъ самой себѣ говорю. И васъ совсѣмъ не стыжусь. Алеша, почему я васъ совсѣмъ не стыжусь, совсѣмъ? Алеша, правда ли, что жиды на Пасху дѣтей крадутъ и рѣжутъ?

— Не знаю.

— Вотъ у меня одна книга, я читала про какой-то гдѣ-то судъ, и что жидъ четырехлѣтнему мальчику сначала всѣ пальчики обрѣзалъ на обѣихъ ручкахъ, а потомъ распялъ на стѣнѣ, прибилъ гвоздями и распялъ, и потомъ на судѣ сказалъ, что мальчикъ умеръ скоро, черезъ четыре часа. Эка скоро! Говоритъ: стоналъ, все стоналъ, а тотъ стоялъ и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Онъ виситъ и стонетъ, а я сяду противъ него и буду ананасный компотъ ѣсть. Я очень люблю ананасный компотъ. Вы любите?

Алеша молчалъ и смотрѣлъ на нее. Блѣдно-желтое лицо ея вдругъ исказилось, глаза загорѣлись.

— Знаете, я про жида этого какъ прочла, то всю ночь такъ и тряслась въ слезахъ. Воображаю, какъ ребеночекъ кричитъ и стонетъ (вѣдь четырехлѣтніе мальчишки понимаютъ), а у меня все эта

мысль про компотъ не отстаетъ. Утромъ я послала письмо къ одному человѣку, чтобы *непремѣнно* пришелъ ко мнѣ. Онъ пришелъ, а я ему вдругъ разсказала про мальчика и про компотъ, *все* разсказала, *все*, и сказала, что «это хорошо». Онъ вдругъ засмѣялся и сказалъ, что это въ самомъ дѣлѣ хорошо. Затѣмъ всталъ и ушелъ. Всего пять минутъ сидѣлъ. Презиралъ онъ меня, презиралъ? Говорите, говорите, Алеша, презиралъ онъ меня или нѣтъ? — выпрямилась она на кушеткѣ, засверкавъ глазами.

— Скажите, — проговорилъ въ волненіи Алеша, — вы сами его позвали, этого человѣка?

— Сама.

— Письмо ему послали?

— Письмо.

— Собственно про это спросить, про ребенка?

— Нѣтъ, совсѣмъ не про это, совсѣмъ. А какъ онъ вошелъ, я сейчасъ про это и спросила. Онъ отвѣтилъ, засмѣялся, всталъ и ушелъ.

— Этотъ человѣкъ честно съ вами поступилъ, — тихо проговорилъ Алеша.

— А меня презиралъ? Смѣялся?

— Нѣтъ, потому что онъ самъ, можетъ, вѣритъ ананасному компоту. Онъ тоже очень теперь боленъ, Lise.

— Да, вѣритъ! — засверкала глазами Лиза.

— Онъ никого не презираетъ, — продолжалъ Алеша. — Онъ только никому не вѣритъ. Коль не вѣритъ, то, конечно, и презираетъ.

— Стало быть, и меня? Меня?

— И васъ.

— Это хорошо, — какъ-то проскрежетала Лиза. — Когда онъ вышелъ и засмѣялся, я почувство-

вала, что въ презрѣніи быть хорошо. И мальчикъ съ отрѣзанными пальчиками хорошо, и въ презрѣніи быть хорошо...

И она какъ-то злобно и воспаленно замѣялась Алешѣ въ глаза.

— Знаете, Алеша, знаете, я бы хотѣла... Алеша, спасите меня! — вскочила она вдругъ съ кушетки, бросилась къ нему и крѣпко обхватила его руками. — Спасите меня, — почти простонала она. — Развѣ я кому-нибудь въ мірѣ скажу, что̀ вамъ говорила? А вѣдь я правду, правду, правду говорила! Я убью себя, потому что мнѣ все гадко! Я не хочу жить, потому что мнѣ все гадко! Мнѣ все гадко, все гадко! Алеша, зачѣмъ вы меня совсѣмъ, совсѣмъ не любите! — закончила она въ изступленіи.

— Нѣтъ, люблю! — горячо отвѣтилъ Алеша.

— А будете обо мнѣ плакать, будете?

— Буду.

— Не за то, что я вашею женою не захотѣла быть, а просто обо мнѣ плакать, просто?

— Буду.

— Спасибо! Мнѣ только вашихъ слезъ надо. А всѣ остальные пусть казнятъ меня и раздавятъ ногой, всѣ, всѣ, не исключая *никого!* Потому что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! Напротивъ, ненавижу! Ступайте, Алеша, вамъ пора къ брату! — оторвалась она отъ него вдругъ.

— Какъ же вы останетесь? — почти въ испугѣ проговорилъ Алеша.

— Ступайте къ брату, острогъ запрутъ, ступайте, вотъ ваша шляпа! Поцѣлуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она съ силою почти выпихнула Алешу въ две-

ри. Тотъ смотрѣлъ съ горестнымъ недоумѣніемъ, какъ вдругъ почувствовалъ въ своей правой рукѣ письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Онъ взглянулъ и мгновенно прочелъ адресъ: «Ивану Ѳедоровичу Карамазову». Онъ быстро поглядѣлъ на Лизу. Лицо ея сдѣлалось почти грозно.

— Передайте, непремѣнно передайте! — изступленно, вся сотрясаясь, приказывала она, — сегодня, сейчасъ! Иначе я отравлюсь! Я васъ затѣмъ и звала!

И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положилъ письмо въ карманъ и пошелъ прямо на лѣстницу, не заходя къ госпожѣ Хохлаковой, даже забывъ о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчасъ же отвернула щеколду, пріотворила капельку дверь, вложила въ щель свой палецъ и, захлопнувъ дверь, изо всей силы придавила его. Секундъ черезъ десять, высвободивъ руку, она тихо, медленно прошла въ свое кресло, сѣла, вся выпрямившись, и стала пристально смотрѣть на свой почернѣвшій пальчикъ и на вздувшуюся изъ-подъ ногтя кровь. Губы ея дрожали, и она быстро-быстро шептала про себя:

— Подлая, подлая, подлая, подлая!

IV.

Гимнъ и секретъ.

Было уже совсѣмъ поздно (да и великъ ли ноябрьскій день), когда Алеша позвонилъ у воротъ острога. Начинало даже смеркаться. Но Алеша зналъ, что его пропустятъ къ Митѣ безпрепят-

ственно. Все это у насъ, въ нашемъ городкѣ, какъ и вездѣ. Сначала, конечно, по заключеніи всего предварительнаго слѣдствія, доступъ къ Митѣ для свиданія съ родственниками и съ нѣкоторыми другими все же былъ обставленъ нѣкоторыми необходимыми формальностями, но впослѣдствіи формальности не то что ослабѣли, но для иныхъ лицъ, по крайней мѣрѣ, приходившихъ къ Митѣ, какъ-то сами собой установились нѣкоторыя исключенія. До того, что иной разъ даже и свиданія съ заключеннымъ въ назначенной для того комнатѣ происходили почти между четырехъ глазъ. Впрочемъ, такихъ лицъ было очень немного: всего только Грушенька, Алеша и Ракитинъ. Но къ Грушенькѣ очень благоволилъ самъ исправникъ, Михаилъ Макаровичъ. У старика лежалъ на сердцѣ его окрикъ на нее въ Мокромъ. Потомъ, узнавъ всю суть, онъ измѣнилъ совсѣмъ о ней свои мысли. И, странное дѣло: хотя былъ твердо убѣжденъ въ преступленіи Мити, но со времени заключенія его все какъ-то болѣе и болѣе смотрѣлъ на него мягче: «съ хорошею, можетъ быть, душой былъ человѣкъ, а вотъ пропалъ, какъ шведъ, отъ пьянства и безпорядка!» Прежній ужасъ смѣнился въ сердцѣ его какою-то жалостью. Что̀ же до Алеши, то исправникъ очень любилъ его и давно уже былъ съ нимъ знакомъ, а Ракитинъ, повадившійся впослѣдствіи приходить очень часто къ заключенному, былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ знакомыхъ «исправничьихъ барышень», какъ онъ называлъ ихъ, и ежедневно терся въ ихъ домѣ. У смотрителя же острога, благодушнаго старика, хоть и крѣпкаго служаки, онъ давалъ въ домѣ уроки. Алеша же опять-таки былъ особенный и стародавній знакомый и смотрителя,

любившаго говорить съ нимъ вообще о «премудрости». Ивана Ѳедоровича, напримѣръ, смотритель не то, что уважалъ, а даже боялся, главное, его сужденій, хотя самъ былъ большимъ философомъ, разумѣется, «своимъ умомъ дойдя». Но къ Алешѣ въ немъ была какая-то непобѣдимая симпатія. Въ послѣдній годъ старикъ какъ разъ засѣлъ за апокрифическія евангелія и поминутно сообщалъ о своихъ впечатлѣніяхъ своему молодому другу. Прежде даже заходилъ къ нему въ монастырь и толковалъ съ нимъ и съ іеромонахами по цѣлымъ часамъ. Словомъ, Алешѣ, если бы даже онъ и запоздалъ въ острогъ, стоило пройти къ смотрителю, и дѣло всегда улаживалось. Къ тому же къ Алешѣ всѣ до послѣдняго сторожа въ острогѣ привыкли. Караулъ же, конечно, не стѣснялъ, было бы лишь дозволеніе начальства. Митя изъ своей каморки, когда вызвали его, сходилъ всегда внизъ, въ мѣсто, назначенное для свиданій. Войдя въ комнату, Алеша какъ разъ столкнулся съ Ракитинымъ, уже уходившимъ отъ Мити. Оба они говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смѣялся, а Ракитинъ какъ будто ворчалъ. Ракитинъ, особенно въ послѣднее время, не любилъ встрѣчаться съ Алешей, почти не говорилъ съ нимъ, даже и раскланивался съ натугой. Завидя теперь входящаго Алешу, онъ особенно нахмурилъ брови и отвелъ глаза въ сторону, какъ бы весь занятый застегиваніемъ своего большого теплаго съ мѣховымъ воротникомъ пальто. Потомъ тотчасъ же принялся искать свой зонтикъ.

— Своего бы не забыть чего, — пробормоталъ онъ единственно, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты чужого-то чего не забудь! — сострилъ

Митя и тотчасъ же самъ расхохотался своей остротѣ. Ракитинъ мигомъ вспылилъ.

— Ты это своимъ Карамазовымъ рекомендуй, крѣпостничье ваше отродье, а не Ракитину! — крикнулъ онъ вдругъ, такъ и затрясшись отъ злости.

— Чего ты? Я пошутилъ! — вскрикнулъ Митя, — фу, чертъ! Вотъ они всѣ таковы, — обратился онъ къ Алешѣ, кивая на быстро уходившаго Ракитина, — то все сидѣлъ, смѣялся и веселъ былъ, а тутъ вдругъ и вскипѣлъ! Тебѣ даже и головой не кивнулъ, совсѣмъ, что ли, вы разссорились? Что̀ ты такъ поздно? Я тебя не то что ждалъ, а жаждалъ все утро. Ну, да ничего! Наверстаемъ.

— Что̀ онъ къ тебѣ такъ часто повадился? Подружился ты съ нимъ, что ли? — спросилъ Алеша, кивая тоже на дверь, въ которую убрался Ракитинъ.

— Съ Михаиломъ-то подружился? Нѣтъ, не то чтобъ. Да и чего, свинья! Считаетъ, что я... подлецъ. Шутки тоже не понимаютъ — вотъ что̀ въ нихъ главное. Никогда не поймутъ шутки. Да и сухо у нихъ въ душѣ, плоско и сухо, точно какъ я тогда къ острогу подъѣзжалъ и на острожныя стѣны смотрѣлъ. Но умный человѣкъ, умный. Ну, Алексѣй, пропала теперь моя голова!

Онъ сѣлъ на скамейку и посадилъ съ собою рядомъ Алешу.

— Да, завтра судъ. Что̀ жъ, неужели же ты такъ совсѣмъ не надѣешься, братъ? — съ робкимъ чувствомъ проговорилъ Алеша.

— Ты это про что̀? — какъ-то неопредѣленно глянулъ на него Митя, — ахъ, ты про судъ! Ну, чертъ! Мы до сихъ поръ все съ тобой о пустякахъ говорили, вотъ все про этотъ судъ, а я о самомъ

главномъ съ тобою молчалъ. Да, завтра судъ, только я не про судъ сказалъ, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что̀ въ головѣ сидѣло, то пропало. Что̀ ты на меня съ такою критикой въ лицѣ смотришь?

— Про что̀ ты это, Митя?

— Идеи, идеи, вотъ что̀! Эѳика. Это что̀ такое эѳика?

— Эѳика? — удивился Алеша.

— Да, наука, что ли, какая?

— Да, есть такая наука . . . только . . . я, признаюсь, не могу тебѣ объяснить какая наука.

— Ракитинъ знаетъ. Много знаетъ Ракитинъ, чертъ его дери! Въ монахи не пойдетъ. Въ Петербургъ собирается. Тамъ, говоритъ, въ отдѣленіе критики, но съ благородствомъ направленія. Что жъ, можетъ пользу принесть и карьеру устроить. Ухъ, карьеру они мастера! Чертъ съ эѳикой. Я-то пропалъ, Алексѣй, я-то, Божій ты человѣкъ! Я тебя больше всѣхъ люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вотъ что̀. Какой тамъ былъ Карлъ Бернаръ?

— Карлъ Бернаръ? — удивился опять Алеша.

— Нѣтъ, не Карлъ, постой, совралъ: Клодъ Бернаръ. Это что̀ такое? Химія, что ли?

— Это, должно быть, ученый одинъ, — отвѣтилъ Алеша, — только признаюсь тебѣ, и о немъ много не сумѣю сказать. Слышалъ только, ученый, а какой, — не знаю.

— Ну, и чертъ его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлецъ какой-нибудь, всего вѣроятнѣе, да и всѣ подлецы. А Ракитинъ пролѣзетъ. Ракитинъ въ щелку пролѣзетъ, тоже Бернаръ. Ухъ, Бернары! Много ихъ расплодилось!

— Да что̀ съ тобою? — настойчиво спросилъ Алеша.

— Хочетъ онъ обо мнѣ, о моемъ дѣлѣ статью написать, и тѣмъ въ литературѣ свою роль начать, съ тѣмъ и ходитъ, самъ объяснялъ. Съ направленіемъ что-то хочетъ: «дескать, нельзя было ему не убить, заѣденъ средой» и прочее, объяснялъ мнѣ. Съ оттѣнкомъ соціализма, говоритъ, будетъ. Ну, и чертъ его дери, съ оттѣнкомъ, такъ съ оттѣнкомъ, мнѣ все равно. Брата Ивана не любитъ, ненавидитъ, тебя тоже не жалуетъ. Ну, а я его не гоню, потому что человѣкъ умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчасъ вотъ говорилъ: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что всѣ настоящіе русскіе люди философы, а ты хоть и учился, а не философъ, ты смердъ». Смѣется, злобно такъ. А я ему: де мыслибусъ non est disputandum, хороша острота? По крайней мѣрѣ, и я въ классицизмъ вступилъ, — захохоталъ вдругъ Митя.

— Отчего ты пропалъ-то? Вотъ ты сейчасъ сказалъ? — перебилъ Алеша.

— Отчего пропалъ? Гм! Въ сущности . . . если все цѣлое взять — Бога жалко, вотъ отъ чего!

— Какъ Бога жалко?

— Вообрази себѣ: это тамъ въ нервахъ, въ головѣ, то есть тамъ въ мозгу эти нервы . . . (ну, чертъ ихъ возьми!) есть такіе этакіе хвостики, у нервовъ этихъ хвостики, ну, и какъ только они тамъ задрожатъ . . . то есть, видишь, я посмотрю на что-нибудь глазомъ, вотъ такъ, и они задрожатъ, хвостики-то . . . а какъ задрожатъ, то и является образъ, и не сейчасъ является, а тамъ какое-то мгновеніе, секунда такая пройдетъ, и является та-

кой будто бы моментъ, то есть не моментъ, — чертъ его дери, моментъ, — а образъ, то есть предметъ, али происшествіе, ну, тамъ, чертъ дери — вотъ почему я и созерцаю, а потомъ мыслю . . . потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я тамъ какой-то образъ и подобіе, все это глупости. Это, братъ, мнѣ Михаилъ еще вчера объяснялъ, и меня точно обожгло. Великолѣпна, Алеша, эта наука! Новый человѣкъ пойдетъ, это-то я понимаю . . . А все-таки Бога жалко!

— Ну, и то хорошо, — сказалъ Алеша.

— Что Бога-то жалко! Химія, братъ, химія! Нечего дѣлать, ваше преподобіе, подвиньтесь немножко, химія идетъ! А не любитъ Бога Ракитинъ, ухъ не любитъ! Это у нихъ самое больное мѣсто у всѣхъ! Но скрываютъ. Лгутъ. Представляются. «Что̀ же, будешь это проводить въ отдѣленіи критики?» спрашиваю. — «Ну, явно-то не дадутъ», говоритъ. Смѣется. — «Только какъ же? спрашиваю, послѣ того человѣкъ-то? Безъ Бога-то и безъ будущей жизни? Вѣдь это, стало быть, теперь все позволено, все можно дѣлать?» — «А ты и не зналъ?» говоритъ. Смѣется. — «Умному, говоритъ, человѣку все можно, умный человѣкъ умѣетъ раковъ ловить, ну, а вотъ ты, говоритъ, убилъ и влопался, и въ тюрьмѣ гніешь!» Это онъ мнѣ-то говоритъ. Свинья естественная! Я этакихъ прежде вонъ вышвыривалъ, ну, а теперь слушаю. Много вѣдь и дѣльнаго говоритъ. Умно тоже пишетъ. Онъ мнѣ съ недѣлю назадъ статью одну началъ читать, я тамъ три строки тогда нарочно выписалъ, вотъ постой, вотъ здѣсь.

Митя, спѣша, вынулъ изъ жилетнаго кармана бумажку и прочелъ:

«Чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, необходимо прежде всего поставить свою личность въ разрѣзъ со своей дѣйствительностью».

— Понимаешь иль нѣтъ?

— Нѣтъ, не понимаю, — сказалъ Алеша.

Онъ съ любопытствомъ приглядывался къ Митѣ и слушалъ его.

— И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Всѣ, говоритъ, такъ теперь пишутъ, потому что такая ужъ среда»... Среды боятся. Стихи тоже пишетъ, подлецъ, Хохлаковой ножку воспѣлъ, ха-ха-ха!

— Я слышалъ, — сказалъ Алеша.

— Слышалъ? А стишенки слышалъ?

— Нѣтъ.

— У меня они есть, вотъ, я прочту. Ты не знаешь, я тебѣ не разсказывалъ, тутъ цѣлая исторія. Шельма! Три недѣли назадъ меня дразнить вздумалъ: «ты, вотъ, говоритъ, влопался, какъ дуракъ, изъ-за трехъ тысячъ, а я полтораста ихъ тяпну, на вдовицѣ одной женюсь и каменный домъ въ Петербургѣ куплю». И разсказалъ мнѣ, что строитъ куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а въ сорокъ-то лѣтъ и совсѣмъ ума рѣшилась. «Да чувствительна, говоритъ, ужъ очень, вотъ я ее на томъ и добью. Женюсь, въ Петербургъ ее отвезу, а тамъ газету издавать начну». И такая у него скверная сладострастная слюна на губахъ, — не на Хохлакову слюна, а на полтораста эти тысячъ. И увѣрилъ меня, увѣрилъ; все ко мнѣ ходитъ, каждый день: поддается, говоритъ. Радостью сіялъ. А тутъ вдругъ его и выгнали: Перхотинъ Петръ Ильичъ взялъ верхъ, молодецъ! То есть такъ бы и расцѣловалъ эту дурищу за то, что его прогнала!

Вотъ онъ какъ ходилъ-то ко мнѣ, тогда и сочинилъ эти стишенки. «Въ первый разъ, говоритъ, руки мараю, стихи пишу, для обольщенія, значитъ, для полезнаго дѣла. Забравъ капиталъ у дурищи, гражданскую пользу потомъ принести могу». У нихъ вѣдь всякой мерзости гражданское оправданіе есть! «А все-таки, говоритъ, лучше твоего Пушкина написалъ, потому что и въ шутовской стишекъ сумѣлъ гражданскую скорбь всучить». Это что̀ про Пушкина-то — я понимаю. Что̀ же, если въ самомъ дѣлѣ способный былъ человѣкъ, а только ножки описывалъ. Да вѣдь гордился-то стишенками какъ! Самолюбіе-то у нихъ, самолюбіе! «На выздоровленіе больной ножки моего предмета», — это онъ такое заглавіе придумалъ, — рѣзвый человѣкъ!

Ужъ какая жъ это ножка,
Ножка, вспухшая немножко!
Доктора къ ней ѣздятъ, лѣчатъ
И бинтуютъ и калѣчатъ.

* * *

Не по ножкамъ я тоскую, —
Пусть ихъ Пушкинъ воспѣваетъ:
По головкѣ я тоскую,
Что идей не понимаетъ.

* * *

Понимала ужъ немножко,
Да вотъ ножка помѣшала!
Пусть же вылѣчится ножка,
Чтобъ головка понимала.

Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло! И, дѣйствительно, «гражданскую»-то всучилъ. А какъ разсердился, когда его выгнали. Скрежеталъ!

— Онъ уже отмстилъ, — сказалъ Алеша. — Онъ про Хохлакову корреспонденцію написалъ.

И Алеша разсказалъ ему наскоро о корреспонденціи въ газетѣ *Слухи*.

— Это онъ, онъ! — подтвердилъ Митя, нахмурившись, — это онъ! Эти корреспонденціи... я вѣдь знаю... то есть сколько низостей было уже написано, про Грушу, напримѣръ!.. И про ту тоже, про Катю... Гм!

Онъ озабоченно прошелся по комнатѣ.

— Братъ, мнѣ нельзя долго оставаться, — сказалъ, помолчавъ, Алеша. — Завтра ужасный, великій день для тебя: Божій судъ надъ тобой совершится... и вотъ я удивляюсь, ходишь ты и вмѣсто дѣла говоришь Богъ знаетъ о чемъ...

— Нѣтъ, не удивляйся, — горячо перебилъ Митя. — Что же мнѣ о смердящемъ этомъ псѣ говорить, что ли? Объ убійцѣ? Довольно мы съ тобой объ этомъ переговорили. Не хочу больше о смердящемъ, сынѣ Смердящей! Его Богъ убьетъ, вотъ увидишь, молчи!

Онъ въ волненіи подошелъ къ Алешѣ и вдругъ поцѣловалъ его. Глаза его загорѣлись.

— Ракитинъ этого не пойметъ, — началъ онъ, весъ какъ бы въ какомъ-то восторгѣ, — а ты, ты все поймешь. Оттого и жаждалъ тебя. Видишь, я давно хотѣлъ тебѣ многое здѣсь, въ этихъ облѣзлыхъ стѣнахъ выразить, но молчалъ о главнѣйшемъ: время какъ будто все еще не приходило. Дождался теперь послѣдняго срока, чтобы тебѣ душу вылить. Братъ, я въ себѣ въ эти два послѣдніе мѣсяца новаго человѣка ощутилъ, воскресъ во мнѣ новый человѣкъ! Былъ заключенъ во мнѣ, но никогда бы не явился, если бы не этотъ громъ. Страшно! И что мнѣ въ томъ, что въ рудникахъ буду двадцать лѣтъ молоткомъ руду выколачи-

вать, — не боюсь я этого вовсе, а другое мнѣ страшно теперь: чтобы не отошелъ отъ меня воскресшій человѣкъ! Можно найти и тамъ, въ рудникахъ, подъ землею, рядомъ съ собой, въ такомъ же каторжномъ и убійцѣ человѣческое сердце, и сойтись съ нимъ, потому что и тамъ можно жить и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить въ этомъ каторжномъ человѣкѣ замершее сердце, можно ухаживать за нимъ годы и выбить, наконецъ, изъ вертепа на свѣтъ уже душу высокую, страдальческое сознаніе, возродить ангела, воскресить героя! А ихъ вѣдь много, ихъ сотни, и всѣ мы за нихъ виноваты! Зачѣмъ мнѣ тогда приснилось «дитё» въ такую минуту? «Отчего бѣдно дитё?» Это пророчество мнѣ было въ ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому что всѣ за всѣхъ виноваты. За всѣхъ «дитё», потому что есть малыя дѣти и большія дѣти. Всѣ — «дитё». За всѣхъ и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всѣхъ пойти. Я не убилъ отца, но мнѣ надо пойти. Принимаю! Мнѣ это здѣсь все пришло . . . вотъ въ этихъ облѣзлыхъ стѣнахъ. А ихъ вѣдь много, ихъ тамъ сотни, подземныхъ-то, съ молотками въ рукахъ. О, да, мы будемъ въ цѣпяхъ, и не будетъ воли, но тогда, въ великомъ горѣ нашемъ, мы вновь воскреснемъ въ радость, безъ которой человѣку жить невозможно, а Богу быть, ибо Богъ даетъ радость, это его привилегія, великая . . . Господи, истай человѣкъ въ молитвѣ! Какъ я буду тамъ, подъ землей, безъ Бога? Вретъ Ракитинъ: если Бога съ земли изгонятъ, мы подъ землей его срѣтимъ! Каторжному безъ Бога быть невозможно, невозможнѣе даже, чѣмъ не каторжному! И тогда мы, подземные человѣки, запоемъ изъ

нѣдръ земли трагическій гимнъ Богу, у котораго радость! Да здравствуетъ Богъ и Его радость! Люблю Его!

Митя, произнося свою дикую рѣчь, почти задыхался. Онъ поблѣднѣлъ, губы его вздрагивали, изъ глазъ катились слезы.

— Нѣтъ, жизнь полна, жизнь есть и подъ землею! — началъ онъ опять. — Ты не повѣришь, Алексѣй, какъ я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать, именно въ этихъ облѣзлыхъ стѣнахъ, во мнѣ зародилась! Ракитинъ этого не понимаетъ, ему бы только домъ выстроить да жильцовъ пустить, но я ждалъ тебя. Да и что такое страданіе? Не боюсь его, хотя бы оно было безчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я, можетъ быть, не буду и отвѣчать на судѣ... И, кажется, столько во мнѣ этой силы теперь, что я все поборю, всѣ страданія, только чтобы сказать и говорить себѣ поминутно: я есмь! Въ тысячи мукъ — я есмь, въ пыткѣ корчусь — но есмь! Въ столпѣ сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце — это уже вся жизнь. Алеша, херувимъ ты мой, меня убиваютъ разныя философіи, чертъ ихъ дери! Братъ Иванъ...

— Что братъ Иванъ? — перебилъ было Алеша, но Митя не разслышалъ.

— Видишь, я прежде этихъ всѣхъ сомнѣній никакихъ не имѣлъ, но все во мнѣ это таилось. Именно, можетъ, оттого, что идеи бушевали во мнѣ неизвѣстныя, я и пьянствовалъ, и дрался, и бѣсился. Чтобъ утолить въ себѣ ихъ, дрался, чтобъ ихъ усмирить, сдавить. Братъ Иванъ не Ракитинъ, онъ таитъ идею. Братъ Иванъ сфинксъ, и молчитъ,

все молчитъ. А меня Богъ мучитъ. Одно только это и мучитъ. А что какъ Его нѣтъ? Что если правъ Ракитинъ, что это идея искусственная въ человѣчествѣ? Тогда, если Его нѣтъ, то человѣкъ шефъ земли, мірозданія. Великолѣпно! Только какъ онъ будетъ добродѣтеленъ безъ Бога-то? Вопросъ! Я все про это. Ибо кого же онъ будетъ тогда любить, человѣкъ-то? Кому благодаренъ-то будетъ, кому гимнъ-то воспоетъ? Ракитинъ смѣется. Ракитинъ говоритъ, что можно любить человѣчество и безъ Бога. Ну, это сморчекъ сопливый можетъ только такъ утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «ты, говоритъ онъ мнѣ сегодня, о расширеніи гражданскихъ правъ человѣка хлопочи лучше, али хоть о томъ, чтобы цѣна на говядину не возвысилась; этимъ проще и ближе человѣчеству любовь окажешь, чѣмъ философіями». Я ему на это и отмочилъ: «а ты, говорю, безъ Бога-то, самъ еще на говядину цѣну набьешь, коль подъ руку попадетъ, и наколотишь рубль на копейку». Разсердился. Ибо что такое добродѣтель? Отвѣчай ты мнѣ, Алексѣй. У меня одна добродѣтель, а у китайца другая — вещь, значитъ, относительная. Или нѣтъ? Или не относительная? Вопросъ коварный! Ты не засмѣешься, если скажу, что я двѣ ночи не спалъ отъ этого. Я удивляюсь теперь только тому, какъ люди тамъ живутъ и объ этомъ ничего не думаютъ. Суета! У Ивана Бога нѣтъ. У него идея. Не въ моихъ размѣрахъ. Но онъ молчитъ. Я думаю, онъ масонъ. Я его спрашивалъ — молчитъ. Въ родникѣ у него хотѣлъ водицы испить — молчитъ. Одинъ только разъ одно словечко сказалъ.

— Что̀ сказалъ? — поспѣшно поднялъ Алеша.

— Я ему говорю: стало быть, все позволено, коли такъ?—Онъ нахмурился: «Ѳедоръ Павловичъ, говоритъ, папенька нашъ, былъ поросенокъ, но мыслилъ онъ правильно». Вотъ вѣдь что отмочилъ. Только всего и сказалъ. Это уже почище Ракитина.

— Да, — горько подтвердилъ Алеша. — Когда онъ у тебя былъ?

— Объ этомъ послѣ, теперь другое. Я объ Иванѣ не говорилъ тебѣ до сихъ поръ почти ничего. Откладывалъ до конца. Когда эта штука моя здѣсь кончится и скажутъ приговоръ, тогда тебѣ кое-что разскажу, все разскажу. Страшное тутъ дѣло одно... А ты будешь мнѣ судья въ этомъ дѣлѣ. А теперь и не начинай объ этомъ, теперь молчокъ. Вотъ ты говоришь о завтрашнемъ, о судѣ, а вѣришь ли, я ничего не знаю.

— Ты съ этимъ адвокатомъ говорилъ?

— Что адвокатъ! Я ему про все говорилъ. Мягкая шельма, столичная. Бернаръ! Только не вѣритъ мнѣ ни на сломанный грошъ. Вѣритъ, что я убилъ, вообрази себѣ, — ужъ я вижу. «Зачѣмъ же, спрашиваю, въ такомъ случаѣ вы меня защищать пріѣхали?» Наплевать на нихъ. Тоже доктора выписали, сумасшедшимъ хотятъ меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долгъ» до конца исполнить хочетъ. Съ натуги! (Митя горько усмѣхнулся). Кошка! Жестокое сердце! А вѣдь она знаетъ, что я про нее сказалъ тогда въ Мокромъ, что она: «великаго гнѣва» женщина! Передали. Да, показанія умножились, какъ песокъ морской! Григорій стоитъ на своемъ. Григорій честенъ, но дуракъ. Много людей честныхъ благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина.

Григорій мнѣ врагъ. Иного выгоднѣе имѣть въ числѣ враговъ, чѣмъ друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, охъ, боюсь, что она на судѣ разскажетъ про земной поклонъ послѣ четырехъ-то тысячъ пятисотъ! До конца отплатитъ, послѣдній кадрантъ. Не хочу ея жертвы! Устыдятъ они меня на судѣ! Какъ-то вытерплю. Сходи къ ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на судѣ. Аль нельзя? Да чертъ, все равно, вытерплю! А ея не жаль. Сама желаетъ. Подѣломъ вору мука. Я, Алексѣй, свою рѣчь скажу. (Онъ опять горько усмѣхнулся.) Только... только Груша-то, Груша-то, Господи! Она-то за что такую муку на себя теперь приметъ? — воскликнулъ онъ вдругъ со слезами. — Убиваетъ меня Груша, мысль о ней убиваетъ меня, убиваетъ! Она давеча была у меня...

— Она мнѣ разсказывала. Она очень была сегодня тобою огорчена.

— Знаю. Чертъ меня дери за характеръ. Приревновалъ! Отпуская, раскаялся, цѣловалъ ее. Прощенія не попросилъ.

— Почему не попросилъ?—воскликнулъ Алеша.

Митя вдругъ почти весело разсмѣялся.

— Боже тебя сохрани, милаго мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощенія просить! У любимой особенно, какъ бы ни былъ ты предъ ней виноватъ! Потому женщина — это, братъ, чертъ знаетъ что такое, ужъ въ нихъ-то я, по крайней мѣрѣ, знаю толкъ! Но попробуй предъ ней сознаться въ винѣ, «виноватъ, дескать, прости, извини»: тутъ-то и пойдетъ градъ попрековъ! Ни за что не проститъ прямо и просто, а унизитъ тебя до тряпки, вычитаетъ, чего даже не было, все

возьметъ, ничего не забудетъ, своего прибавитъ, и тогда ужъ только проститъ. И это еще лучшая, лучшая изъ нихъ! Послѣднія поскребки выскребетъ и все тебѣ на голову сложитъ — такая, я тебѣ скажу, живодерность въ нихъ сидитъ, во всѣхъ до единой, въ этихъ ангелахъ-то, безъ которыхъ жить-то намъ невозможно! Видишь, голубчикъ, я откровенно и просто скажу: всякій порядочный человѣкъ долженъ быть подъ башмакомъ хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убѣжденіе; не убѣжденіе, а чувство. Мужчина долженъ быть великодушенъ, и мужчину это не замараетъ! Героя даже не замараетъ, Цезаря не замараетъ! Ну, а прощенія все-таки не проси, никогда и ни за что. Помни правило: преподалъ тебѣ его братъ твой Митя, отъ женщинъ погибшій. Нѣтъ, я ужъ лучше безъ прощенія Грушѣ чѣмъ-нибудь заслужу. Благоговѣю я предъ ней, Алексѣй, благоговѣю! Не видитъ только она этого, нѣтъ, все ей мало любви. И томитъ она меня, любовью томитъ. Что̀ прежде! Прежде меня только изгибы инфернальные томили, а теперь я всю ея душу въ свою душу принялъ и черезъ нее самъ человѣкомъ сталъ! Повѣнчаютъ ли насъ? А безъ того я умру отъ ревности. Такъ и снится что-нибудь каждый день . . . Что она тебѣ обо мнѣ говорила?

Алеша повторилъ всѣ давешнія рѣчи Грушеньки. Митя выслушалъ подробно, многое переспросилъ и остался доволенъ.

— Такъ не сердится, что ревную, — воскликнулъ онъ. — Прямо женщина! «У меня у самой жестокое сердце». Ухъ, люблю такихъ, жестокихъ-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуютъ, не терплю! — Драться будемъ. Но любить — лю-

бить ее буду безконечно. Повѣнчаютъ ли насъ? Каторжныхъ развѣ вѣнчаютъ? Вопросъ. А безъ нея я жить не могу...

Митя нахмуренно прошелся по комнатѣ. Въ комнатѣ становилось почти темно. Онъ вдругъ сталъ страшно озабоченъ.

— Такъ секретъ, говоритъ, секретъ? У меня, дескать, втроемъ противъ нея заговоръ, и «Катька», дескать, замѣшана? Нѣтъ, братъ, Грушенька, это не то. Ты тутъ маху дала, своего глупенькаго женскаго маху! Алеша, голубчикъ, эхъ, куда ни шло! Открою я тебѣ нашъ секретъ!

Онъ оглянулся во всѣ стороны, быстро вплоть подошелъ къ стоявшему предъ нимъ Алешѣ и зашепталъ ему съ таинственнымъ видомъ, хотя, по-настоящему, ихъ никто не могъ слышать: старикъ сторожъ дремалъ въ углу на лавкѣ, а до караульныхъ солдатъ ни слова не долетало.

— Я тебѣ всю нашу тайну открою! — зашепталъ, спѣша, Митя. — Хотѣлъ потомъ открыть, потому что безъ тебя развѣ могу на что рѣшиться? Ты у меня все. Я хоть и говорю, что Иванъ надъ нами высшій, но ты у меня херувимъ. Только твое рѣшеніе рѣшитъ. Можетъ, ты-то и есть высшій человѣкъ, а не Иванъ. Видишь, тутъ дѣло совѣсти, дѣло высшей совѣсти, — тайна столь важная, что я справиться самъ не смогу и все отложилъ до тебя. А все-таки теперь рано рѣшать, потому надо ждать приговора: приговоръ выйдетъ, тогда ты и рѣшишь судьбу. Теперь не рѣшай; я тебѣ сейчасъ скажу, ты услышишь, но не рѣшай. Стой и молчи. Я тебѣ не все открою. Я тебѣ только идею скажу, безъ подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движенія, согласенъ? А, впрочемъ, Гос-

поди, куда я дѣну глаза твои? Боюсь, глаза твои скажутъ рѣшеніе, хотя бы ты и молчалъ. Ухъ, боюсь! Алеша, слушай: братъ Иванъ мнѣ предлагаетъ *бѣжать*. Подробностей не говорю: все предупреждено, все можетъ устроиться. Молчи, не рѣшай. Въ Америку, съ Грушей. Вѣдь я безъ Груши жить не могу! Ну, какъ ее ко мнѣ тамъ не пустятъ? Каторжныхъ развѣ вѣнчаютъ? Братъ Иванъ говоритъ, что нѣтъ. А безъ Груши что̀ я тамъ подъ землей съ молоткомъ-то? Я себѣ только голову раздроблю этимъ молоткомъ! А съ другой стороны, совѣсть-то? Отъ страданія вѣдь убѣжалъ! Было указаніе — отвергъ указаніе, былъ путь очищенія — поворотилъ налѣво кругомъ. Иванъ говоритъ, что въ Америкѣ «при добрыхъ наклонностяхъ» можно больше пользы принести, чѣмъ подъ землей. Ну, а гимнъ-то нашъ подземный гдѣ состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много въ Америкѣ-то. Отъ распятія убѣжалъ! Потому вѣдь говорю тебѣ, Алексѣй, что ты одинъ понять это можешь, а больше никто, для другихъ это глупости, бредъ, вотъ все то, что я тебѣ про гимнъ говорилъ. Скажутъ, съ ума сошелъ, аль дуракъ. А я не сошелъ съ ума, да и не дуракъ. Понимаетъ про гимнъ и Иванъ, ухъ, понимаетъ, только на это не отвѣчаетъ, молчитъ. Гимну не вѣритъ. Не говори, не говори: я вѣдь вижу, какъ ты смотришь: ты ужъ рѣшилъ! Не рѣшай, пощади меня, я безъ Груши жить не могу, подожди суда!

Митя кончилъ, какъ изступленный. Онъ держалъ Алешу обѣими руками за плечи и такъ и впился въ его глаза своимъ жаждущимъ, воспаленнымъ взглядомъ.

— Каторжныхъ развѣ вѣнчаютъ? — повторилъ онъ въ третій разъ, молящимъ голосомъ.

Алеша слушалъ съ чрезвычайнымъ удивленіемъ и глубоко былъ потрясенъ.

— Скажи мнѣ одно, — проговорилъ онъ. — Иванъ очень настаиваетъ, и кто это выдумалъ первый?

— Онъ, онъ выдумалъ, онъ настаиваетъ! Онъ ко мнѣ все не ходилъ, и вдругъ пришелъ, недѣлю назадъ, и прямо съ этого началъ. Страшно настаиваетъ. Не проситъ, а велитъ. Въ послушаніи не сомнѣвается, хотя я ему все мое сердце, какъ тебѣ, вывернулъ и про гимнъ говорилъ. Онъ мнѣ разсказалъ, какъ и устроить, всѣ свѣдѣнія собралъ, но это потомъ. До истерики хочетъ. Главное, деньги: десять тысячъ, говоритъ, тебѣ на побѣгъ, а двадцать тысячъ на Америку, а на десять тысячъ, говоритъ, мы великолѣпный побѣгъ устроимъ.

— И мнѣ отнюдь не велѣлъ передавать? — переспросилъ снова Алеша.

— Отнюдь, никому, а, главное, тебѣ: тебѣ ни за что! Боится вѣрно, что ты какъ совѣсть передо мной станешь. Не говори ему, что я тебѣ передалъ. Ухъ, не говори!

— Ты правъ, — рѣшилъ Алеша, — рѣшить невозможно раньше приговора суда. Послѣ суда самъ и рѣшишь; тогда самъ въ себѣ новаго человѣка найдешь, онъ и рѣшитъ.

— Новаго человѣка, аль Бернара, тотъ и рѣшитъ по-Бернаровски! Потому, кажется, я и самъ Бернаръ презрѣнный! — горько осклабился Митя.

— Но неужели, неужели, братъ, ты такъ ужъ совсѣмъ не надѣешься оправдаться?

Митя судорожно вскинулъ вверхъ плечами и отрицательно покачалъ головой.

— Алеша, голубчикъ, тебѣ пора! — вдругъ заспѣшилъ онъ. — Смотритель закричалъ на дворѣ, сейчасъ сюда будетъ. Намъ поздно — безпорядокъ. Обними меня поскорѣй, поцѣлуй, перекрести меня, голубчикъ, перекрести на завтрашній крестъ...

Они обнялись и поцѣловались.

— А Иванъ-то, — проговорилъ вдругъ Митя, — бѣжать-то предложилъ, а самъ вѣдь вѣритъ, что я убилъ!

Грустная усмѣшка выдавилась на его губахъ.

— Ты спрашивалъ его: вѣритъ онъ или нѣтъ? — спросилъ Алеша.

— Нѣтъ, не спрашивалъ. Хотѣлъ спросить, да не смогъ, силы не хватило. Да все равно, я вѣдь по глазамъ вижу. Ну, прощай!

Еще разъ поцѣловались наскоро, и Алеша уже было вышелъ, какъ вдругъ Митя кликнулъ его опять:

— Становись предо мной, вотъ такъ.

И онъ опять крѣпко схватилъ Алешу обѣими руками за плечи. Лицо его стало вдругъ совсѣмъ блѣдно, такъ что почти въ темнотѣ это было страшно замѣтно. Губы перекосились, взглядъ впился въ Алешу.

— Алеша, говори мнѣ полную правду, какъ предъ Господомъ Богомъ: вѣришь ты, что я убилъ, или не вѣришь? Ты-то, самъ-то ты, вѣришь или нѣтъ? Полную правду, не лги! — крикнулъ онъ ему изступленно.

Алешу какъ бы всего покачнуло, а въ сердцѣ его, онъ слышалъ это, какъ бы прошло что-то острое.

— Полно, что ты . . . — пролепеталъ было онъ, какъ потерянный.

— Всю правду, всю, не лги! — повторилъ Митя.

— Ни единой минуты не вѣрилъ, что ты убійца, — вдругъ вырвалось дрожащимъ голосомъ изъ груди Алеши, и онъ поднялъ правую руку вверхъ, какъ бы призывая Бога въ свидѣтели своихъ словъ. Блаженство озарило мгновенно все лицо Мити.

— Спасибо тебѣ! — выговорилъ онъ протяжно, точно испуская вздохъ послѣ обморока. — Теперь ты меня возродилъ . . . Вѣришь ли: до сихъ поръ боялся спросить тебя, это тебя-то, тебя! Ну, иди, иди! Укрѣпилъ ты меня на завтра, благослови тебя Богъ! Ну, ступай, люби Ивана! — вырвалось послѣднимъ словомъ у Мити.

Алеша вышелъ весь въ слезахъ. Такая степень мнительности Мити, такая степень недовѣрія его даже къ нему, къ Алешѣ — все это вдругъ раскрыло предъ Алешей такую бездну безвыходнаго горя и отчаянія въ душѣ его несчастнаго брата, какой онъ и не подозрѣвалъ прежде. Глубокое, безконечное состраданіе вдругъ охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болѣло. «Люби Ивана!» вспомнились ему вдругъ сейчашнія слова Мити. Да онъ и шелъ къ Ивану. Ему еще утромъ страшно надо было видѣть Ивана. Не менѣе какъ Митя, его мучилъ Иванъ, а теперь, послѣ свиданія съ братомъ, болѣе чѣмъ когда-нибудь.

V.

Не ты, не ты!

По дорогѣ къ Ивану пришлось ему проходить мимо дома, въ которомъ квартировала Катерина

Ивановна. Въ окнахъ былъ свѣтъ. Онъ вдругъ остановился и рѣшилъ войти. Катерину Ивановну онъ не видалъ уже болѣе недѣли. Но ему теперь пришло на умъ, что Иванъ, можетъ быть, сейчасъ у ней, особенно наканунѣ такого дня. Позвонивъ и войдя на лѣстницу, тускло освѣщенную китайскимъ фонаремъ, онъ увидалъ спускавшагося сверху человѣка, въ которомъ, поравнявшись, узналъ брата. Тотъ, стало быть, выходилъ уже отъ Катерины Ивановны.

— Ахъ, это только ты, — сказалъ сухо Иванъ Ѳедоровичъ. — Ну, прощай. Ты къ ней?

— Да.

— Не совѣтую, она «въ волненіи», и ты еще пуще ее разстроишь.

— Нѣтъ, нѣтъ! — прокричалъ вдругъ голосъ сверху изъ отворившейся мигомъ двери. — Алексѣй Ѳедоровичъ, вы отъ него?

— Да, я былъ у него.

— Мнѣ что-нибудь прислалъ сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иванъ Ѳедоровичъ, непремѣнно, непремѣнно воротитесь. Слы-ши-те!

Въ голосѣ Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иванъ Ѳедоровичъ, помедливъ одно мгновеніе, рѣшился, однакоже, подняться опять, вмѣстѣ съ Алешей.

—Подслушивала! — раздражительно прошепталъ онъ про себя, но Алеша разслышалъ.

— Позвольте мнѣ остаться въ пальто, — проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ, вступая въ залу. — Я и не сяду. Я болѣе одной минуты не останусь.

— Садитесь, Алексѣй Ѳедоровичъ, — проговорила Катерина Ивановна, сама оставаясь стоя. Она измѣнилась мало за это время, но темные глаза ея

сверкали зловѣщимъ огнемъ. Алеша помнилъ потомъ, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой въ ту минуту.

— Что жъ онъ велѣлъ передать?

— Только одно, — сказалъ Алеша, прямо смотря ей въ лицо, — чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на судѣ о томъ (онъ нѣсколько замялся) ... что было между вами ... во время самаго перваго вашего знакомства ... въ томъ городѣ ...

— А, это про земной поклонъ за тѣ деньги! — подхватила она, горько разсмѣявшись. — Что жъ онъ за себя или за меня боится — а? Онъ сказалъ, чтобъ я щадила — кого же? Его иль себя? Говорите, Алексѣй Ѳедоровичъ.

Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее.

— И себя, и его, — проговорилъ онъ тихо.

— То-то, — какъ-то злобно отчеканила она и вдругъ покраснѣла.

— Вы не знаете еще меня, Алексѣй Ѳедоровичъ, — грозно сказала она, — да и я еще не знаю себя. Можетъ быть, вы захотите меня растоптать ногами послѣ завтрашняго допроса.

— Вы покажете честно, — сказалъ Алеша, — только этого и надо.

— Женщина часто безчестна, — проскрежетала она. — Я еще часъ тому думала, что мнѣ страшно дотронуться до этого изверга ... какъ до гада ... и вотъ нѣтъ, онъ все еще для меня человѣкъ! Да убилъ ли онъ? Онъ ли убилъ? — воскликнула она вдругъ истерически, быстро обращаясь къ Ивану Ѳедоровичу. Алеша мигомъ понялъ, что этотъ самый вопросъ она уже задавала Ивану Ѳе-

доровичу, можетъ, всего за минуту предъ его приходомъ, и не въ первый разъ, а въ сотый, и что кончили они ссорой.

— Я была у Смердякова... Это ты, ты убѣдилъ меня, что онъ отцеубійца. Я только тебѣ и повѣрила! — продолжала она, все обращаясь къ Ивану Ѳедоровичу. Тотъ, какъ бы съ натуги, усмѣхнулся. Алеша вздрогнулъ, услышавъ это *ты*. Онъ и подозрѣвать не могъ такихъ отношеній.

— Ну, однако, довольно, — отрѣзалъ Иванъ.— Я пойду. Приду завтра. — И тотчасъ же повернувшись, вышелъ изъ комнаты и прошелъ прямо на лѣстницу. Катерина Ивановна вдругъ съ какимъ-то повелительнымъ жестомъ схватила Алешу за обѣ руки.

— Ступайте за нимъ! Догоните его! Не оставляйте его одного ни минуты, — быстро зашептала она. — Онъ помѣшанный. Вы не знаете, что онъ помѣшался? У него горячка, нервная горячка! Мнѣ докторъ говорилъ, идите, бѣгите за нимъ...

Алеша вскочилъ и бросился за Иваномъ Ѳедоровичемъ. Тотъ не успѣлъ отойти и пятидесяти шаговъ.

— Чего тебѣ? — вдругъ обернулся онъ къ Алешѣ, видя, что тотъ его догоняетъ, — велѣла тебѣ бѣжать за мной, потому что я сумасшедшій. Знаю наизусть, — раздражительно прибавилъ онъ.

— Она, разумѣется, ошибается, но она права, что ты боленъ, — сказалъ Алеша. — Я сейчасъ смотрѣлъ у ней на твое лицо; у тебя очень больное лицо, очень, Иванъ!

Иванъ шелъ не останавливаясь. Алеша за нимъ.

— А ты знаешь, Алексѣй Ѳедоровичъ, какъ сходятъ съ ума? — спросилъ Иванъ совсѣмъ

вдругъ тихимъ, совсѣмъ уже не раздражительнымъ голосомъ, въ которомъ внезапно послышалось самое простодушное любопытство.

— Нѣтъ, не знаю; полагаю, что много разныхъ видовъ сумасшествія.

— А надъ самимъ собой можно наблюдать, что сходишь съ ума?

— Я думаю, нельзя ясно слѣдить за собой въ такомъ случаѣ, — съ удивленіемъ отвѣчалъ Алеша. Иванъ на полминутки примолкъ.

— Если ты хочешь со мной о чемъ говорить, то перемѣни, пожалуйста, тему, — сказалъ онъ вдругъ.

— А вотъ, чтобы не забыть, къ тебѣ письмо,— робко проговорилъ Алеша и, вынувъ изъ кармана, протянулъ къ нему письмо Лизы. Они какъ разъ подошли къ фонарю. Иванъ тотчасъ же узналъ руку.

— А, это отъ того бѣсенка! — разсмѣялся онъ злобно и, не распечатавъ конверта, вдругъ разорвалъ его на нѣсколько кусковъ и бросилъ на вѣтеръ. Клочья разлетѣлись.

— Шестнадцати лѣтъ еще нѣтъ, кажется, и ужъ предлагается! — презрительно проговорилъ онъ, опять зашагавъ по улицѣ.

— Какъ предлагается? — воскликнулъ Алеша.

— Извѣстно, какъ развратныя женщины предлагаются.

— Что ты, Иванъ, что ты? — горестно и горячо заступился Алеша. — Это ребенокъ, ты обижаешь ребенка! Она больна, она сама очень больна, она тоже, можетъ быть, съ ума сходитъ . . . Я не могъ тебѣ не передать ея письма . . . Я, напротивъ, отъ тебя хотѣлъ что̀ услышать . . . чтобы спасти ее.

— Нечего тебѣ отъ меня слышать. Коль она ребенокъ, то я не нянька. Молчи, Алексѣй. Не продолжай. Я объ этомъ даже не думаю.

Помолчали опять съ минуту.

— Она теперь всю ночь молить Божію Матерь будетъ, чтобъ указала ей, какъ завтра на судѣ поступить, — рѣзко и злобно заговорилъ онъ вдругъ опять.

— Ты... о Катеринѣ Ивановнѣ?

— Да. Спасительницей или губительницей Митеньки ея явиться? О томъ молить будетъ, чтобъ озарило ея душу. Сама еще, видите ли, не знаетъ, приготовиться не успѣла. Тоже меня за няньку принимаетъ, хочетъ, чтобъ я ее убаюкалъ!

— Катерина Ивановна любитъ тебя, братъ, — съ грустнымъ чувствомъ проговорилъ Алеша.

— Можетъ быть. Только я до нея не охотникъ.

— Она страдаетъ. Зачѣмъ же ты ей говоришь... иногда... такія слова, что она надѣется? — съ робкимъ упрекомъ продолжалъ Алеша,— вѣдь я знаю, что ты ей подавалъ надежду, прости, что я такъ говорю, — прибавилъ онъ.

— Не могу я тутъ поступить, какъ надо, разорвать и ей прямо сказать! — раздражительно произнесъ Иванъ. — Надо подождать, пока скажутъ приговоръ убійцѣ. Если я разорву съ ней теперь, она изъ мщенія ко мнѣ завтра же погубитъ этого негодяя на судѣ, потому что его ненавидитъ и знаетъ, что ненавидитъ. Тутъ все ложь, ложь на лжи! Теперь же, пока я съ ней не разорвалъ, она все еще надѣется и не станетъ губить этого изверга, зная, какъ я хочу вытащить его изъ бѣды. И когда только придетъ этотъ проклятый приговоръ!

Слова «убійца» и «извергъ» больно отозвались въ сердцѣ Алеши.

— Да чѣмъ такимъ она можетъ погубить брата? — спросилъ онъ, вдумываясь въ слова Ивана.— Что̀ она можетъ показать такого, что̀ прямо могло бы сгубить Митю?

— Ты этого еще не знаешь. У нея въ рукахъ одинъ документъ есть, собственноручный, Митенькинъ, математически доказывающій, что онъ убилъ Ѳедора Павловича.

— Этого быть не можетъ! — воскликнулъ Алеша.

— Какъ не можетъ? Я самъ читалъ.

— Такого документа быть не можетъ! — съ жаромъ повторилъ Алеша. — Не можетъ быть, потому что убійца не онъ. Не онъ убилъ отца, не онъ!

Иванъ Ѳедоровичъ вдругъ остановился.

— Кто же убійца, по-вашему, — какъ-то холодно, повидимому, спросилъ онъ, и какая-то даже высокомѣрная нотка прозвучала въ тонѣ вопроса.

— Ты самъ знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорилъ Алеша.

— Кто? Эта басня-то объ этомъ помѣшанномъ идіотѣ, эпилептикѣ? Объ Смердяковѣ?

Алеша вдругъ почувствовалъ, что весь дрожитъ.

— Ты самъ знаешь кто, — безсильно вырвалось у него. Онъ задыхался.

— Да, кто, кто? — уже почти свирѣпо вскричалъ Иванъ. Вся сдержанность вдругъ исчезла.

— Я одно только знаю, — все такъ же почти шепотомъ проговорилъ Алеша, — убилъ отца *не ты*.

— «Не ты!» Что такое не ты! — остолбенѣлъ Иванъ.

— Не ты убилъ отца, не ты! — твердо повторилъ Алеша.

Съ полминуты длилось молчаніе.

— Да я и самъ знаю, что не я, ты бредишь? — блѣдно и искривленно усмѣхнувшись, проговорилъ Иванъ. Онъ какъ бы впился глазами въ Алешу. Оба опять стояли у фонаря.

— Нѣтъ, Иванъ, ты самъ себѣ нѣсколько разъ говорилъ, что убійца ты.

— Когда я говорилъ? . . Я въ Москвѣ былъ . . . Когда я говорилъ? — совсѣмъ потерянно пролепеталъ Иванъ.

— Ты говорилъ это себѣ много разъ, когда оставался одинъ въ эти страшные два мѣсяца, — попрежнему тихо и раздѣльно продолжалъ Алеша. Но говорилъ онъ уже какъ бы внѣ себя, какъ бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велѣнію. — Ты обвинялъ себя и признавался себѣ, что убійца никто какъ ты. Но убилъ не ты, ты ошибаешься, не ты убійца, слышишь меня, не ты! Меня Богъ послалъ тебѣ это сказать.

Оба замолчали. Цѣлую длинную минуту протянулось это молчаніе. Оба стояли и все смотрѣли другъ другу въ глаза. Оба были блѣдны. Вдругъ Иванъ весь затрясся и крѣпко схватилъ Алешу за плечо.

— Ты былъ у меня! — скрежущимъ шепотомъ проговорилъ онъ. — Ты былъ у меня ночью, когда онъ приходилъ . . . Признавайся . . . ты его видѣлъ, видѣлъ?

— Про кого ты говоришь . . . про Митю? — въ недоумѣніи спросилъ Алеша.

— Не про него, къ черту изверга! — изступленно завопилъ Иванъ. — Развѣ ты знаешь, что онъ ко мнѣ ходитъ? Какъ ты узналъ, говори!

— Кто *онъ*? Я не знаю, про кого ты говоришь, — пролепеталъ Алеша уже въ испугѣ.

— Нѣтъ, ты знаешь . . . иначе какъ же бы ты... не можетъ быть, чтобы ты не зналъ . . .

Но вдругъ онъ какъ бы сдержалъ себя. Онъ стоялъ и какъ бы что-то обдумывалъ. Странная усмѣшка кривила его губы.

— Братъ, — дрожащимъ голосомъ началъ опять Алеша, — я сказалъ тебѣ это потому, что ты моему слову повѣришь, я знаю это. Я тебѣ на всю жизнь это слово сказалъ: *не ты!* Слышишь, на всю жизнь. И это Богъ положилъ мнѣ на душу тебѣ это сказать, хотя бы ты съ сего часа навсегда возненавидѣлъ меня . . .

Но Иванъ Ѳедоровичъ, повидимому, совсѣмъ уже успѣлъ овладѣть собою.

— Алексѣй Ѳедоровичъ, — проговорилъ онъ съ холодною усмѣшкой, — я пророковъ и эпилептиковъ не терплю; посланниковъ Божіихъ особенно, вы это слишкомъ знаете. Съ сей минуты я съ вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же часъ, на этомъ же перекресткѣ, меня оставить. Да вамъ и въ квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мнѣ сегодня! Слышите?

Онъ повернулся и, твердо шагая, пошелъ прямо, не оборачиваясь.

— Братъ, — крикнулъ ему вслѣдъ Алеша, — если что-нибудь сегодня съ тобой случится, подумай прежде всего обо мнѣ! . .

Но Иванъ не отвѣтилъ. Алеша стоялъ на пе-

рекресткѣ у фонаря, пока Иванъ не скрылся совсѣмъ во мракѣ. Тогда онъ повернулся и медленно направился къ себѣ по переулку. И онъ, и Иванъ Ѳедоровичъ квартировали особо, на разныхъ квартирахъ: ни одинъ изъ нихъ не захотѣлъ жить въ опустѣвшемъ домѣ Ѳедора Павловича. Алеша нанималъ меблированную комнату въ семействѣ однихъ мѣщанъ; Иванъ же Ѳедоровичъ жилъ довольно отъ него далеко и занималъ просторное и довольно комфортное помѣщеніе во флигелѣ одного хорошаго дома, принадлежавшаго одной небѣдной вдовѣ-чиновницѣ. Но прислуживала ему въ цѣломъ флигелѣ всего только одна древняя, совсѣмъ глухая старушенка, вся въ ревматизмахъ, ложившаяся въ шесть часовъ вечера и встававшая въ шесть часовъ утра. Иванъ Ѳедоровичъ сталъ до странности въ эти два мѣсяца нетребователенъ и очень любилъ оставаться совсѣмъ одинъ. Даже комнату, которую занималъ, онъ самъ убиралъ, а въ остальныя комнаты своего помѣщенія даже и заходилъ рѣдко. Дойдя до воротъ своего дома и, уже взявшись за ручку звонка, онъ остановился. Онъ почувствовалъ, что весь еще дрожитъ злобною дрожью. Вдругъ онъ бросилъ звонокъ, плюнулъ, повернулъ назадъ и быстро пошелъ опять совсѣмъ на другой, противоположный конецъ города, версты за двѣ отъ своей квартиры, въ одинъ крошечный, скосившійся, бревенчатый домикъ, въ которомъ квартировала Марья Кондратьевна, бывшая сосѣдка Ѳедора Павловича, приходившая къ Ѳедору Павловичу на кухню за супомъ, и которой Смердяковъ пѣлъ тогда свои пѣсни и игралъ на гитарѣ. Прежній домикъ свой она продала и теперь проживала съ матерью почти въ избѣ, а больной, почти умирающій

Смердяковъ, съ самой смерти Ѳедора Павловича поселился у нихъ. Вотъ къ нему-то и направился теперь Иванъ Ѳедоровичъ, влекомый однимъ внезапнымъ и непобѣдимымъ соображеніемъ.

VI.

Первое свиданіе со Смердяковымъ.

Это уже въ третій разъ шелъ Иванъ Ѳедоровичъ говорить со Смердяковымъ по возвращеніи своемъ изъ Москвы. Въ первый разъ послѣ катастрофы онъ видѣлъ его и говорилъ съ нимъ сейчасъ же въ первый день своего пріѣзда, затѣмъ посѣтилъ его еще разъ, двѣ недѣли спустя. Но послѣ этого второго раза свиданія свои со Смердяковымъ прекратилъ, такъ что теперь слишкомъ мѣсяцъ какъ онъ уже не видалъ его и почти ничего не слыхалъ о немъ. Воротился же тогда Иванъ Ѳедоровичъ изъ Москвы уже на пятый только день послѣ смерти родителя, такъ что не засталъ и гроба его: погребеніе совершилось какъ разъ наканунѣ его пріѣзда. Причина замедленія Ивана Ѳедоровича заключалась въ томъ, что Алеша, не зная въ точности его московскаго адреса, прибѣгнулъ, для посылки телеграммы, къ Катеринѣ Ивановнѣ, а та, тоже въ невѣдѣніи настоящаго адреса, телеграфировала къ своей сестрѣ и теткѣ, разсчитывая, что Иванъ Ѳедоровичъ сейчасъ же по прибытіи въ Москву къ нимъ зайдетъ. Но онъ къ нимъ зашелъ лишь на четвертый день по пріѣздѣ и, прочтя телеграмму, тотчасъ же, конечно, сломя голову полетѣлъ къ намъ. У насъ перваго встрѣтилъ Алешу, но, переговоривъ съ нимъ, былъ очень изумленъ,

что тотъ даже и подозрѣвать не хочетъ Митю, а прямо указываетъ на Смердякова, какъ на убійцу, что было въ разрѣзъ всѣмъ другимъ мнѣніямъ въ нашемъ городѣ. Повидавъ затѣмъ исправника, прокурора, узнавъ подробности обвиненія и ареста, онъ еще болѣе удивился на Алешу и приписалъ его мнѣніе лишь возбужденному до послѣдней степени братскому чувству и состраданію его къ Митѣ, котораго Алеша, какъ и зналъ это Иванъ, очень любилъ. Кстати, промолвимъ лишь два слова разъ навсегда о чувствахъ Ивана къ брату Дмитрію Ѳедоровичу: онъ его рѣшительно не любилъ и много-много что чувствовалъ къ нему иногда состраданіе, но и то смѣшанное съ большимъ презрѣніемъ, доходившимъ до гадливости. Митя весь, даже всею своею фигурой, былъ ему крайне несимпатиченъ. На любовь къ нему Катерины Ивановны Иванъ смотрѣлъ съ негодованіемъ. Съ подсудимымъ Митей онъ, однакоже, увидѣлся тоже въ первый день своего прибытія, и это свиданіе не только не ослабило въ немъ убѣжденія въ его виновности, а даже усилило его. Брата онъ нашелъ тогда въ безпокойствѣ, въ болѣзненномъ волненіи. Митя былъ многорѣчивъ, но разсѣянъ и раскидчивъ, говорилъ очень рѣзко, обвинялъ Смердякова и страшно путался. Болѣе всего говорилъ все про тѣ же три тысячи, которыя «укралъ» у него покойникъ. «Деньги мои, онѣ были мои, — твердилъ Митя; если бъ я даже укралъ ихъ, то былъ бы правъ». Всѣ улики, стоявшія противъ него, почти не оспаривалъ, и если толковалъ факты въ свою пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелѣпо, вообще какъ будто даже и не желая оправдываться вовсе предъ Иваномъ или кѣмъ-нибудь, напротивъ, сер-

дился, гордо пренебрегалъ обвиненіями, бранился и кипятился. Надъ свидѣтельствомъ Григорія объ отворенной двери лишь презрительно смѣялся и увѣрялъ, что это «чертъ отворилъ». Но никакихъ связныхъ объясненій этому факту не могъ представить. Онъ даже успѣлъ оскорбить въ это первое свиданіе Ивана Ѳедоровича, рѣзко сказавъ ему, что не тѣмъ его подозрѣвать и допрашивать, которые сами утверждаютъ, что «все позволено». Вообще на этотъ разъ съ Иваномъ Ѳедоровичемъ былъ очень недружелюбенъ. Сейчасъ послѣ этого свиданія съ Митей, Иванъ Ѳедоровичъ и направился тогда къ Смердякову.

Еще въ вагонѣ, летя изъ Москвы, онъ все думалъ про Смердякова и про послѣдній свой разговоръ съ нимъ вечеромъ наканунѣ отъѣзда. Многое смущало его, многое казалось подозрительнымъ. Но давая свои показанія судебному слѣдователю, Иванъ Ѳедоровичъ до времени умолчалъ о томъ разговорѣ. Все отложилъ до свиданія со Смердяковымъ. Тотъ находился тогда въ городской больницѣ. Докторъ Герценштубе и встрѣтившійся Ивану Ѳедоровичу въ больницѣ врачъ Варвинскій на настойчивые вопросы Ивана Ѳедоровича твердо отвѣчали, что падучая болѣзнь Смердякова несомнѣнна, и даже удивились вопросу: «не притворялся ли онъ въ день катастрофы?» Они дали ему понять, что припадокъ этотъ былъ даже необыкновенный, продолжался и повторялся нѣсколько дней, такъ что жизнь паціента была въ рѣшительной опасности, и что только теперь, послѣ принятыхъ мѣръ, можно уже сказать утвердительно, что больной останется въ живыхъ, хотя очень возможно (прибавилъ докторъ Герценштубе), что разсудокъ

его останется отчасти разстроенъ, «если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время». На нетерпѣливый спросъ Ивана Ѳедоровича, что, «стало быть, отъ теперь сумасшедшій?» ему отвѣтили, что «этого въ полномъ смыслѣ еще нѣтъ, но что замѣчаются нѣкоторыя ненормальности». Иванъ Ѳедоровичъ положилъ самъ узнать, какія это ненормальности. Въ больницѣ его тотчасъ же допустили къ свиданію. Смердяковъ находился въ отдѣльномъ помѣщеніи и лежалъ на койкѣ. Тутъ же подлѣ него была еще койка, которую занималъ одинъ разслабленный городской мѣщанинъ, весь распухшій отъ водяной, видимо готовый завтра или послѣзавтра умеретъ; разговору онъ помѣшать не могъ. Смердяковъ осклабился недовѣрчиво, завидѣвъ Ивана Ѳедоровича, и въ первое мгновеніе какъ будто даже сробѣлъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, мелькнуло у Ивана Ѳедоровича. Но это было лишь мгновеніе, напротивъ, во все остальное время Смердяковъ почти поразилъ его своимъ спокойствіемъ. Съ самаго перваго взгляда на него Иванъ Ѳедоровичъ несомнѣнно убѣдился въ полномъ и чрезвычайно болѣзненномъ его состояніи: онъ былъ очень слабъ, говорилъ медленно и какъ бы съ трудомъ ворочая языкомъ, очень похудѣлъ и пожелтѣлъ. Во всѣ минутъ двадцать свиданія жаловался на головную боль и на ломъ во всѣхъ членахъ. Скопческое, сухое лицо его стало какъ будто такимъ маленькимъ, височки были всклочены, вмѣсто хохолка торчала вверхъ одна только тоненькая прядка волосиковъ. Но прищуренный и какъ бы на что-то намекающій, лѣвый глазокъ выдавалъ прежняго Смердякова. «Съ умнымъ человѣкомъ и поговорить любопытно», тотчасъ же

вспомнилось Ивану Ѳедоровичу. Онъ усѣлся у него въ ногахъ на табуретѣ. Смердяковъ со страданіемъ пошевельнулся всѣмъ тѣломъ на постели, но не заговорилъ первый, молчалъ, да и глядѣлъ уже какъ бы не очень любопытно.

— Можешь со мной говорить? — спросилъ Иванъ Ѳедоровичъ, — очень не утомлю.

— Очень могу-съ, — промямлилъ Смердяковъ слабымъ голосомъ. — Давно пріѣхать изволили? — прибавилъ онъ снисходительно, какъ бы поощряя сконфузившагося посѣтителя.

— Да вотъ только сегодня... Кашу вашу здѣшнюю расхлебывать.

Смердяковъ вздохнулъ.

— Чего вздыхаешь, вѣдь ты зналъ? — прямо брякнулъ Иванъ Ѳедоровичъ.

Смердяковъ солидно помолчалъ.

— Какъ же это было не знать-съ? Напередъ ясно было. Только какъ же было и знать-съ, что такъ поведутъ?

— Что поведутъ? Ты не виляй! Вѣдь вотъ ты же предсказалъ, что съ тобой падучая будетъ тотчасъ, какъ въ погребъ полѣзешь? Прямо такъ на погребъ и указалъ.

— Вы это уже въ допросѣ показали? — спокойно полюбопытствовалъ Смердяковъ.

Иванъ Ѳедоровичъ вдругъ разсердился.

— Нѣтъ еще не показалъ, но покажу непремѣнно. Ты мнѣ, братъ, многое разъяснить сейчасъ долженъ, и знай, голубчикъ, что я съ собой играть не позволю!

— А зачѣмъ бы мнѣ такая игра-съ, когда на васъ все мое упованіе, единственно, какъ на Господа Бога-съ! — проговорилъ Смердяковъ, все

такъ же спокойно и только на минуту закрывъ глазки.

— Во-первыхъ, — приступилъ Иванъ Ѳедоровичъ, — я знаю, что падучую нельзя напередъ предсказать. Я справлялся, ты не виляй. День и часъ нельзя предсказать. Какъ же ты мнѣ тогда предсказалъ и день, и часъ, и да еще и съ погребомъ? Какъ ты могъ напередъ узнать, что провалишься именно въ этотъ погребъ въ припадкѣ, если не притворился въ падучей нарочно?

— Въ погребъ надлежало и безъ того идти-съ, въ день по нѣскольку разъ даже-съ, — не спѣша протянулъ Смердяковъ. — Такъ точно годъ тому назадъ я съ чердака полетѣлъ-съ. Безпремѣнно такъ, что падучую нельзя предсказать впередъ днемъ и часомъ, но предчувствіе всегда можно имѣть.

— А ты предсказалъ день и часъ!

— Насчетъ моей болѣзни падучей-съ освѣдомьтесь всего лучше, сударь, у докторовъ здѣшнихъ: истинная ли была со мной, али не истинная, а мнѣ и говорить вамъ больше на сей предметъ нечего.

— А погребъ? Погребъ-то ты какъ предузналъ?

— Дался вамъ этотъ самый погребъ! Я тогда, какъ въ этотъ погребъ полѣзъ, то въ страхѣ былъ и въ сумлѣніи; потому больше въ страхѣ, что былъ васъ лишимшись и ни отъ кого уже защиты не ждалъ въ цѣломъ мірѣ. Лѣзу я тогда въ этотъ самый погребъ и думаю: «вотъ сейчасъ придетъ, вотъ она ударитъ, провалюсь, али нѣтъ?» и отъ самаго этого сумлѣнія вдругъ схватила меня въ горлѣ эта самая неминучая спазма-съ . . . ну и полетѣлъ. Все это самое и весь разговоръ нашъ

предыдущій съ вами-съ, наканунѣ того дня вечеромъ у воротъ-съ, какъ я вамъ тогда мой страхъ сообщилъ, и про погребъ-съ — все это я въ подробности открылъ господину доктору Герценштубе и слѣдователю Николаю Парѳеновичу, и все они въ протоколъ записали-съ. А здѣшній докторъ, господинъ Варвинскій, такъ предъ всѣми ими особо настаивали, что такъ именно отъ думы оно и произошло, отъ самой, то есть, той мнительности, «что вотъ, дескать, упаду аль не упаду?» А она тутъ и подхватила. Такъ и записали-съ, что безпремѣнно этому такъ и надо было произойти, отъ единаго, то есть, страху-съ.

Проговоривъ это, Смердяковъ, какъ бы измученный утомленіемъ, глубоко перевелъ дыханіе.

— Такъ ты ужъ это объявлялъ въ показаніи? — спросилъ нѣсколько опѣшенный Иванъ Ѳедоровичъ. Онъ именно хотѣлъ было пугнуть его тѣмъ, что объявитъ про ихъ тогдашній разговоръ, а оказалось, что тотъ ужъ и самъ все объявилъ.

— Чего мнѣ бояться? Пускай всю правду истинную запишутъ, — твердо произнесъ Смердяковъ.

— И про нашъ разговоръ съ тобой у воротъ все до слова разсказалъ?

— Нѣтъ, не то чтобы все до слова-съ.

— А что представляться въ падучей умѣешь, какъ хвастался мнѣ тогда, тоже сказалъ?

— Нѣтъ, этого тоже не сказалъ-съ.

— Скажи ты мнѣ теперь, для чего ты меня тогда въ Чермашню посылалъ?

— Боялся, что въ Москву уѣдете, въ Чермашню все же ближе-съ.

— Врешь, ты самъ приглашалъ меня уѣхать: уѣзжайте, говорилъ, отъ грѣха долой!

— Это я тогда по единому къ вамъ дружеству и по сердечной моей преданности, предчувствуя въ домѣ бѣду-съ, васъ жалѣючи. Только себя больше вашего сожалѣлъ-съ. Потому и говорилъ: уѣзжайте отъ грѣха, чтобы вы поняли, что дома худо будетъ и остались бы родителя защитить.

— Такъ ты бы прямѣе сказалъ, дуракъ! — вспыхнулъ вдругъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Какъ же бы я могъ тогда прямѣе сказать-съ? Одинъ лишь страхъ во мнѣ говорилъ-съ, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опасаться могъ, чтобы Дмитрій Ѳедоровичъ не сдѣлали какого скандалу и самыя эти деньги не унесли, такъ какъ ихъ все равно что за свои почитали, а вотъ кто же зналъ, что такимъ убивствомъ кончится? Думалъ, они просто только похитятъ эти три тысячи рублей, что у барина подъ тюфякомъ лежали-съ, въ пакетѣ-съ, а они вотъ убили-съ. Гдѣ же и вамъ угадать было, сударь!

— Такъ если самъ говоришь, что нельзя было угадать, какъ же я могъ догадаться и остаться? Что ты путаешь? — вдумываясь проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— А потому и могли догадаться, что я васъ въ Чермашню направляю вмѣсто этой Москвы-съ.

— Да какъ тутъ догадаться!

Смердяковъ казался очень утомленнымъ и опять помолчалъ съ минуту.

— Тѣмъ самымъ-съ догадаться могли-съ, что коли я васъ отъ Москвы въ Чермашню отклоняю, то, значитъ, присутствія вашего здѣсь желаю ближайшаго, потому что Москва далеко, а Дмитрій Ѳедоровичъ, знамши, что вы недалеко, не столь ободрены будутъ. Да и меня могли въ большей ско-

рости, въ случаѣ чего, пріѣхать и защитить, ибо самъ я вамъ на болѣзнь Григорія Васильича къ тому же указывалъ, да и то, что падучей боюсь. А объяснивъ вамъ про эти стуки, по которымъ къ покойному можно было войти, и что они Дмитрію Ѳедоровичу чрезъ меня всѣ извѣстны, думалъ, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непремѣнно совершатъ, и не то что въ Чермашню, а и вовсе останетесь.

«Онъ очень связно говоритъ, подумалъ Иванъ Ѳедоровичъ, хоть и мямлитъ; про какое же Герценштубе говорилъ разстройство способностей?»

— Хитришь ты со мной, чертъ тебя дери! — воскликнулъ онъ, осердившись.

— А я, признаться, тогда подумалъ, что вы ужъ совсѣмъ догадались, — съ самымъ простодушнымъ видомъ отпарировалъ Смердяковъ.

— Кабы догадался, такъ остался бы! — вскричалъ Иванъ Ѳедоровичъ, опять вспыхнувъ.

— Ну-съ, а я-то думалъ, что вы, обо всемъ догадамшись, скорѣе, какъ можно скорѣе уѣзжаете лишь отъ грѣха одного, чтобы только убѣжать куда-нибудь, себя спасая отъ страху-съ.

— Ты думалъ, что всѣ такіе же трусы, какъ ты?

— Простите-съ, подумалъ, что и вы, какъ и я.

— Конечно, надо было догадаться, — волновался Иванъ, — да я и догадывался о чемъ-нибудь мерзкомъ съ твоей стороны . . . Только ты врешь, опять врешь, — вскричалъ онъ, вдругъ припомнивъ: — помнишь, какъ ты къ тарантасу тогда подошелъ и мнѣ сказалъ: «съ умнымъ человѣкомъ и поговорить любопытно». Значитъ, радъ былъ, что я уѣзжаю, коль похвалилъ?

Смердяковъ еще и еще разъ вздохнулъ. Въ лицѣ его какъ бы показалась краска.

— Если былъ радъ, — произнесъ онъ нѣсколько задыхаясь, — то тому единственно, что не въ Москву, а въ Чермашню согласились. Потому все же ближе; а только я вамъ тѣ самыя слова не въ похвалу тогда произнесъ, а въ попрекъ-съ. Не разобрали вы этого-съ.

— Въ какой попрекъ!

— А то, что, предчувствуя такую бѣду, собственнаго родителя оставляете-съ и насъ защитить не хотите, потому что меня за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я ихъ укралъ-съ.

— Чертъ тебя дери! — опять обругался Иванъ. — Стой: ты про знаки, про стуки эти, слѣдовательно, и прокурору объявилъ?

— Все какъ есть объявилъ-съ.

Иванъ Ѳедоровичъ опять про себя удивился.

— Если я подумалъ тогда о чемъ, — началъ онъ опять, — то это про мерзость какую-нибудь единственно съ твоей стороны. Дмитрій могъ убить, но что онъ украдетъ — я тогда не вѣрилъ... А съ твоей стороны всякой мерзости ждалъ. Самъ же ты мнѣ сказалъ, что притворяться въ падучей умѣешь, для чего ты это сказалъ?

— По единому моему простодушію. Да и никогда я въ жизни не представлялся въ падучей нарочно, а такъ только, чтобъ похвалиться предъ вами, сказалъ. Одна глупость-съ. Полюбилъ я васъ тогда очень и былъ съ вами по всей простотѣ.

— Братъ прямо тебя обвиняетъ, что ты убилъ и что ты укралъ.

— Да имъ что же больше остается? — горько осклабился Смердяковъ, — и кто же имъ повѣритъ

послѣ всѣхъ тѣхъ уликъ? Дверь-то Григорій Васильевичъ отпертую видѣли-съ, послѣ этого какъ же-съ. Да что ужъ, Богъ съ ними! Себя спасая дрожатъ...

Онъ тихо помолчалъ и вдругъ, какъ бы сообразивъ, прибавилъ:

— Вѣдь вотъ-съ, опять это самое: они на меня свалить желаютъ, что это моихъ рукъ дѣло-съ, — это я уже слышалъ-съ, — а вотъ хотя бы это самое, что я въ падучей представляться мастеръ: ну сказалъ ли бы я вамъ напередъ, что представляться умѣю, если бъ у меня въ самомъ дѣлѣ какой замыселъ тогда былъ на родителя вашего? Коль такое убивство ужъ я замыслилъ, то можно ли быть столь дуракомъ, чтобы впередъ на себя такую улику сказать, да еще сыну родному, помилуйте-съ?! Похоже это на вѣроятіе? Это, чтобъ это могло быть-съ, такъ, напротивъ, совсѣмъ никогда-съ. Вотъ теперь этого нашего съ вами разговору никто не слышитъ, кромѣ самого этого Провидѣнія-съ, а если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парѳеновичу, такъ тѣмъ самымъ могли бы меня въ конецъ защитить-съ: ибо что за злодѣй за такой, коли заранѣе столь простодушенъ? Всѣ это разсудить очень могутъ.

— Слушай, — всталъ съ мѣста Иванъ Ѳедоровичъ, пораженный послѣднимъ доводомъ Смердякова и прерывая разговоръ, — я тебя вовсе не подозрѣваю и даже считаю смѣшнымъ обвинять... напротивъ, благодаренъ тебѣ, что ты меня успокоилъ. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли въ чемъ?

— Во всемъ благодаренъ-съ. Марѳа Игнатьевна не забываетъ меня-съ и во всемъ способствуетъ,

коли что мнѣ надо, по прежней своей добротѣ. Ежедневно навѣщаютъ добрые люди.

— До свиданія. Я, впрочемъ, про то, что ты притвориться умѣешь, не скажу . . . да и тебѣ совѣтую не показывать, — проговорилъ вдругъ почему-то Иванъ.

— Оченно понимаю-съ. А коли вы этого не покажете, то и я-съ всего нашего съ вами разговору тогда у воротъ не объявлю . . .

Тутъ случилось такъ, что Иванъ Ѳедоровичъ вдругъ вышелъ и, только пройдя уже шаговъ десять по корридору, вдругъ почувствовалъ, что въ послѣдней фразѣ Смердякова заключался какой-то обидный смыслъ. Онъ хотѣлъ было уже вернуться, но это только мелькнуло, и проговоривъ: «глупости!» — онъ поскорѣе пошелъ изъ больницы. Главное, онъ чувствовалъ, что, дѣйствительно, былъ успокоенъ, и именно тѣмъ обстоятельствомъ, что виновенъ не Смердяковъ, а братъ его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротивъ. Почему такъ было — онъ не хотѣлъ тогда разбирать, даже чувствовалъ отвращеніе копаться въ своихъ ощущеніяхъ. Ему поскорѣе хотѣлось какъ бы что-то забыть. Затѣмъ въ слѣдующіе нѣсколько дней онъ уже совсѣмъ убѣдился въ виновности Мити, когда ближе и основательнѣе ознакомился со всѣми удручавшими того уликами. Были показанія самыхъ ничтожныхъ людей, но почти потрясающія, напримѣръ, Ѳени и ея матери. Про Перхотина, про трактиръ, про лавку Плотниковыхъ, про свидѣтелей въ Мокромъ и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Извѣстіе о тайныхъ «стукахъ» поразило слѣдователя и прокурора почти въ той же степени, какъ и показаніе

Григорія объ отворенной двери. Жена Григорія, Марѳа Игнатьевна, на спросъ Ивана Ѳедоровича, прямо заявила ему, что Смердяковъ всю ночь лежалъ у нихъ за перегородкой, «трехъ шаговъ отъ нашей постели не было», и что хоть и спала она сама крѣпко, но много разъ пробуждалась, слыша, какъ онъ тутъ стонетъ: «все время стоналъ, безпрерывно стоналъ». Поговоривъ съ Герценштубе и сообщивъ ему свое сомнѣніе о томъ, что Смердяковъ вовсе не кажется ему помѣшаннымъ, а только слабымъ, онъ только вызвалъ у старика тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чѣмъ онъ теперь особенно занимается?» спросилъ онъ Ивана Ѳедоровича, — французскія вокабулы наизусть учитъ; у него подъ подушкой тетрадка лежитъ и французскія слова русскими буквами кѣмъ-то записаны, хе-хе-хе!» Иванъ Ѳедоровичъ оставилъ, наконецъ, всѣ сомнѣнія. О братѣ Дмитріи онъ уже и подумать не могъ безъ омерзѣнія. Одно было все-таки странно: что Алеша упорно продолжалъ стоять на томъ, что убилъ не Дмитрій, а «по всей вѣроятности» Смердяковъ. Иванъ всегда чувствовалъ, что мнѣніе Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумѣвалъ на него. Странно было и то, что Алеша не искалъ съ нимъ разговоровъ о Митѣ и самъ не начиналъ никогда, а лишь отвѣчалъ на вопросы Ивана. Это тоже сильно замѣтилъ Иванъ Ѳедоровичъ. Впрочемъ, въ то время онъ очень былъ развлеченъ однимъ совсѣмъ постороннимъ обстоятельствомъ: пріѣхавъ изъ Москвы, онъ въ первый же день весь и безповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей къ Катеринѣ Ивановнѣ. Здѣсь не мѣсто начинать объ этой новой страсти Ивана Ѳедоровича, отразившейся потомъ на всей

его жизни: это все могло бы послужить канвой уже иного разсказа, другого романа, который и не знаю предприму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу умолчать и теперь о томъ, что когда Иванъ Ѳедоровичъ, идя, какъ уже описалъ я, ночью съ Алешей отъ Катерины Ивановны, сказалъ ему: «я-то до нея не охотникъ», — то страшно лгалъ въ ту минуту: онъ безумно любилъ ее, хотя правда и то, что временами ненавидѣлъ ее до того, что могъ даже убить. Тутъ сходилось много причинъ: вся потрясенная событіемъ съ Митей, она бросилась къ возвратившемуся къ ней опять Ивану Ѳедоровичу какъ бы къ какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена въ своихъ чувствахъ. И вотъ явился опять человѣкъ, который ее и прежде такъ любилъ, — о, она слишкомъ это знала, — и котораго умъ и сердце она всегда ставила столь высоко надъ собой. Но строгая дѣвушка не отдала себя въ жертву всю, несмотря на весь Карамазовскій безудержъ желаній своего влюбленнаго и на все обаяніе его на нее. Въ то же время мучилась безпрерывно раскаяніемъ, что измѣнила Митѣ, и въ грозныя, ссорныя минуты съ Иваномъ (а ихъ было много) прямо высказывала это ему. Это-то и называлъ онъ, говоря съ Алешей: «ложью на лжи». Тутъ, конечно, было и въ самомъ дѣлѣ много лжи, и это всего болѣе раздражало Ивана Ѳедоровича . . . но все это потомъ. Словомъ, онъ на вермя почти забылъ о Смердяковѣ. И, однако, двѣ недѣли спустя послѣ перваго къ нему посѣщенія, начали его опять мучить все тѣ же странныя мысли, какъ и прежде. Довольно сказать, что онъ безпрерывно сталъ себя спрашивать: для чего онъ тогда, въ послѣднюю свою ночь, въ домѣ Ѳедора Павловича,

предъ отъѣздомъ своимъ, сходилъ тихонько, какъ воръ, на лѣстницу и прислушивался, что дѣлаетъ внизу отецъ? Почему съ отвращеніемъ вспоминалъ это потомъ, почему на другой день утромъ въ дорогѣ такъ вдругъ затосковалъ, а, въѣзжая въ Москву, сказалъ себѣ: «я подлецъ!» И вотъ теперь ему однажды подумалось, что изъ-за всѣхъ этихъ мучительныхъ мыслей онъ, пожалуй, готовъ забыть даже и Катерину Ивановну, до того онѣ сильно имъ вдругъ опять овладѣли! Какъ разъ, подумавъ это, онъ встрѣтилъ Алешу на улицѣ. Онъ тотчасъ остановилъ его и вдругъ задалъ ему вопросъ:

— Помнишь ты, когда послѣ обѣда Дмитрій ворвался въ домъ и избилъ отца, и я потомъ сказалъ тебѣ на дворѣ, что «право желаній» оставляю за собой, — скажи, подумалъ ты тогда, что я желаю смерти отца или нѣтъ?

— Подумалъ, — тихо отвѣтилъ Алеша.

— Оно, впрочемъ, такъ и было, тутъ и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебѣ тогда и то, что я именно желаю, чтобъ «одинъ гадъ съѣлъ другую гадину», то есть чтобъ именно Дмитрій отца убилъ, да еще поскорѣе . . . и что и самъ я поспособствовать даже не прочь?

Алеша слегка поблѣднѣлъ и молча смотрѣлъ въ глаза брату.

— Говори же! — воскликнулъ Иванъ. — Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумалъ. Мнѣ надо; правду, правду! — Онъ тяжело перевелъ духъ, уже заранѣе съ какой-то злобой смотря на Алешу.

— Прости меня, я и это тогда подумалъ, — прошепталъ Алеша и замолчалъ, не прибавивъ ни одного «облегчающаго обстоятельства».

— Спасибо! — отрѣзалъ Иванъ и, бросивъ Алешу, быстро пошелъ своею дорогой. Съ тѣхъ поръ Алеша замѣтилъ, что братъ Иванъ какъ-то рѣзко началъ отъ него отдаляться и даже какъ бы не взлюбилъ его, такъ что потомъ и самъ онъ уже пересталъ ходить къ нему. Но въ ту минуту, сейчасъ послѣ той съ нимъ встрѣчи, Иванъ Ѳедоровичъ, не заходя домой, вдругъ направился опять къ Смердякову.

VII.

Второй визитъ къ Смердякову.

Смердяковъ къ тому времени выписался изъ больницы. Иванъ Ѳедоровичъ зналъ его новую квартиру: именно въ этомъ перекосившемся, бревенчатомъ, маленькомъ домишкѣ въ двѣ избы, раздѣленныя сѣнями. Въ одной избѣ помѣстилась Марья Кондратьевна съ матерью, а въ другой Смердяковъ особливо. Богъ знаетъ на какихъ основаніяхъ онъ у нихъ поселился: даромъ ли проживалъ или за деньги? Впослѣдствіи полагали, что поселился онъ у нихъ въ качествѣ жениха Марьи Кондратьевны и проживалъ пока даромъ. И мать, и дочь его очень уважали и смотрѣли на него, какъ на высшаго предъ нимъ человѣка. Достучавшись, Иванъ Ѳедоровичъ вступилъ въ сѣни, и, по указанію Марьи Кондратьевны, прошелъ прямо налѣво въ «бѣлую избу», занимаемую Смердяковымъ. Въ этой избѣ печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стѣнамъ красовались голубые обои, правда, всѣ изодранные, а подъ ними въ трещинахъ копошились тараканы-прусаки въ страшномъ количествѣ, такъ что стоялъ неумолкаемый шорохъ.

Мебель была ничтожная: двѣ скамьи по обѣимъ стѣнамъ и два стула подлѣ стола. Столъ же, хоть и просто деревянный, былъ накрытъ, однако, скатертью съ розовыми разводами. На двухъ маленькихъ окошкахъ помѣщалось на каждомъ по горшку съ геранями. Въ углу кіотъ съ образами. На столѣ стоялъ небольшой, сильно помятый, мѣдный самоварчикъ и подносъ съ двумя чашками. Но чай Смердяковъ уже отпилъ, и самоваръ погасъ... Самъ онъ сидѣлъ за столомъ на лавкѣ и, смотря въ тетрадь, что-то чертилъ перомъ. Пузырекъ съ чернилами находился подлѣ, равно какъ и чугунный низенькій подсвѣчникъ со стеариновою, впрочемъ, свѣчкой. Иванъ Ѳедоровичъ тотчасъ заключилъ по лицу Смердякова, что оправился онъ отъ болѣзни вполнѣ. Лицо его было свѣжѣе, полнѣе, хохолокъ взбитъ, височки примазаны. Сидѣлъ онъ въ пестромъ ватномъ халатѣ, очень, однако, загасканномъ и порядочно истрепанномъ. На носу его были очки, которыхъ Иванъ Ѳедоровичъ не видывалъ у него прежде. Это пустѣйшее обстоятельство вдругъ какъ бы вдвое даже озлило Ивана Ѳедоровича: «этакая тварь, да еще въ очкахъ!» Смердяковъ медленно поднялъ голову и пристально посмотрѣлъ въ очки на вошедшаго; затѣмъ тихо ихъ снялъ и самъ приподнялся на лавкѣ, но какъ-то совсѣмъ не столь почтительно, какъ-то даже лѣниво, единственно, чтобы соблюсти только лишь самую необходимѣйшую учтивость, безъ которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигомъ мелькнуло Ивану и все это онъ сразу обхватилъ и замѣтилъ, а главное — взглядъ Смердякова, рѣшительно злобный, непривѣтливый и даже надменный: «чего, дескать, шляешься, обо всемъ вѣдь тогда сговорились,

зачѣмъ же опять пришелъ?» Иванъ Ѳедоровичъ едва сдержалъ себя:

— Жарко у тебя, — сказалъ онъ, еще стоя, и разстегнулъ пальто.

— Снимите-съ, — позволилъ Смердяковъ.

Иванъ Ѳедоровичъ снялъ пальто и бросилъ его на лавку, дрожащими руками взялъ стулъ, быстро придвинулъ его къ столу и сѣлъ. Смердяковъ успѣлъ опуститься на свою лавку раньше его.

— Во-первыхъ, одни ли мы? — строго и стремительно спросилъ Иванъ Ѳедоровичъ. — Не услышатъ насъ оттуда?

— Никто ничего не услышитъ-съ. Сами видѣли: сѣни.

— Слушай, голубчикъ: что ты такое тогда сморозилъ, когда я уходилъ отъ тебя изъ больницы, что если я промолчу о томъ, что ты мастеръ представляться въ падучей, то и ты-де не объявишь всего слѣдователю о нашемъ разговорѣ съ тобой у воротъ? Что это такое *всего?* Что ты могъ тогда разумѣть? Угрожалъ ты мнѣ, что ли? Что я въ союзъ, что ли, въ какой съ тобою вступалъ, боюсь тебя, что ли?

Иванъ Ѳедоровичъ проговорилъ это совсѣмъ въ ярости, видимо и нарочно давая знать, что презираетъ всякій обинякъ и всякій подходъ и играетъ въ открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, лѣвый глазокъ замигалъ, и онъ тотчасъ же, хотя по обычаю своему сдержанно и мѣрно, далъ свой отвѣтъ: «хочешь, дескать, на чистоту, такъ вотъ тебѣ и эта самая чистота»:

— А то тамое я тогда разумѣлъ и для того я тогда это произносилъ, что вы, знамши напередъ про это убивство родного родителя вашего, въ

жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили послѣ сего люди чего дурного о вашихъ чувствахъ, а, можетъ, и о чемъ иномъ прочемъ, — вотъ что тогда обѣщался я начальству не объявлять.

Проговорилъ Смердяковъ, хоть и не спѣша и обладая собою, повидимому, но ужъ въ голосѣ его даже послышалось нѣчто твердое и настойчивое, злобное и нагло вызывающее. Дерзко уставился онъ въ Ивана Ѳедоровича, а у того въ первую минуту даже въ глазахъ зарябило:

— Какъ? Что? Да ты въ умѣ, аль нѣтъ?

— Совершенно въ полномъ своемъ умѣ-съ.

— Да развѣ я *зналъ* тогда про убійство? — вскричалъ, наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ и крѣпко стукнулъ кулакомъ по столу. — Что значитъ: «объ иномъ прочемъ?» — говори, подлецъ!

Смердяковъ молчалъ и все тѣмъ же наглымъ взглядомъ продолжалъ осматривать Ивана Ѳедоровича.

— Говори, смердящая шельма, о чемъ «иномъ прочемъ?» — завопилъ тотъ.

— А о томъ «иномъ прочемъ» я сею минутой разумѣлъ, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.

Иванъ Ѳедоровичъ вскочилъ и изо всей силы ударилъ его кулакомъ въ плечо, такъ что тотъ откачнулся къ стѣнѣ. Въ одинъ мигъ все лицо его облилось слезами; проговоривъ: «стыдно, сударь, слабаго человѣка бить!» онъ вдругъ закрылъ глаза своимъ бумажнымъ съ синими клѣточками и совершенно засморканнымъ носовымъ платкомъ и погрузился въ тихій слезный плачъ. Прошло съ минуту.

— Довольно! Перестань! — повелительно сказалъ, наконецъ, Иванъ Ѳедоровичъ, садясь пять

на стулъ. — Не выводи меня изъ послѣдняго терпѣнія!

Смердяковъ отнялъ отъ глазъ свою тряпочку. Всякая черточка его сморщеннаго лица выражала только что перенесенную обиду.

— Такъ ты, подлецъ, подумалъ тогда, что я заодно съ Дмитріемъ хочу отца убить?

— Мыслей вашихъ я тогдашнихъ не зналъ-съ,— обиженно проговорилъ Смердяковъ, — а потому и остановилъ васъ тогда, какъ вы входили въ ворота, чтобы васъ на этомъ самомъ пунктѣ испытать-съ.

— Что испытать? Что?

— А вотъ именно это самое обстоятельство: хочется иль не хочется вамъ, чтобы вашъ родитель былъ поскорѣе убитъ?

Всего болѣе возмущалъ Ивана Ѳедоровича этотъ настойчивый наглый тонъ, отъ котораго упорно не хотѣлъ отступить Смердяковъ.

— Это ты его убилъ! — воскликнулъ онъ вдругъ.

Смердяковъ презрительно усмѣхнулся.

— Что не я убилъ, это вы знаете сами доподлинно. И думалъ я, что умному человѣку и говорить о семъ больше нечего.

— Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрѣніе?

— Какъ ужъ извѣстно вамъ, отъ единаго страху-съ. Ибо въ такомъ былъ тогда положеніи, что, въ страхѣ сотрясаясь, всѣхъ подозрѣвалъ. Васъ тоже положилъ испытать-съ, ибо если и вы, думаю, того же самаго желаете, что и братецъ вашъ, то и конецъ тогда всякому этому дѣлу, а я самъ пропаду заодно, какъ муха.

— Слушай, ты двѣ недѣли назадъ не то говорилъ.

— То же самое и въ больницѣ, говоря съ вами, разумѣлъ, а только полагалъ, что вы и безъ лишнихъ словъ поймете, и прямого разговора не желаете сами, какъ самый умный человѣкъ-съ.

— Ишь вѣдь! Но отвѣчай, отвѣчай, я настаиваю: съ чего именно, чѣмъ именно я могъ вселить тогда въ твою подлую душу такое низкое для меня подозрѣніе?

— Чтобъ убить — это вы сами ни за что не могли-съ, да и не хотѣли, а чтобы хотѣть, чтобы другой кто убилъ, это вы хотѣли.

— И какъ спокойно, какъ спокойно вѣдь говоритъ! Да съ чего мнѣ хотѣть, на кой лядъ мнѣ было хотѣть?

— Какъ это такъ на кой лядъ-съ? А наслѣдство-то-съ? — ядовито и какъ-то даже отомстительно подхватилъ Смердяковъ. — Вѣдь вамъ тогда послѣ родителя вашего на каждаго изъ трехъ братцевъ безъ малаго по сорока тысячъ могло придтись, а, можетъ быть, и того больше-съ, а женись тогда Ѳедоръ Павловичъ на этой самой госпожѣ-съ, Аграфенѣ Александровнѣ, такъ ужъ та весь бы капиталъ тотчасъ же послѣ вѣнца на себя перевела, ибо онѣ очень не глупыя-съ, такъ что вамъ всѣмъ троимъ братцамъ и двухъ рублей не досталось бы послѣ родителя. А много ль тогда до вѣнца-то оставалось? Одинъ волосокъ-съ: стоило этой барынѣ вотъ такъ только мизинчикомъ предъ ними сдѣлать, и они бы тотчасъ въ церковь за ними, высуня языкъ, побѣжали.

Иванъ Ѳедоровичъ со страданьемъ сдержалъ себя.

— Хорошо, — проговорилъ онъ, наконецъ, — ты видишь, я не вскочилъ, не избилъ тебя, не убилъ тебя. Говори дальше: стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрія къ тому и предназначалъ, на него и расчитывалъ?

— Какъ же вамъ на нихъ не расчитывать было-съ; вѣдь убей они, то тогда всѣхъ правъ дворянства лишатся, чиновъ и имущества, и въ ссылку пойдутъ-съ. Такъ вѣдь тогда ихняя часть-съ послѣ родителя вамъ съ братцемъ Алексѣемъ Ѳедоровичемъ останется, поровну-съ, значитъ, уже не по сороку, а по шестидесяти тысячъ вамъ пришлось бы каждому-съ. Это вы на Дмитрія Ѳедоровича безпремѣнно тогда расчитывали!

— Ну, терплю же я отъ тебя! Слушай, негодяй: если бъ я и расчитывалъ тогда на кого-нибудь, такъ ужъ, конечно бы, на тебя, а не на Дмитрія, и, клянусь, предчувствовалъ даже отъ тебя какой-нибудь мерзости... тогда... я помню мое впечатлѣніе!

— И я тоже подумалъ тогда, минутку одну, что и на меня тоже расчитываете, — насмѣшливо осклабился Смердяковъ, — такъ что тѣмъ самымъ еще болѣе тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и въ то же самое время уѣзжали, значитъ, мнѣ тѣмъ самымъ точно какъ бы сказали: это ты можешь убить родителя, а я не препятствую.

— Подлецъ! Ты такъ понялъ!

— А все чрезъ эту самую Чермашню-съ. Помилосердствуйте! Собираетесь въ Москву, и на всѣ просьбы родителя ѣхать въ Чермашню отказали-съ! И по одному только глупому моему слову вдругъ согласились-съ! И на что вамъ было тогда согла-

шаться на эту Чермашню? Коли не въ Москву, а поѣхали въ Чермашню безъ причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо отъ меня ожидали.

— Нѣтъ, клянусь, нѣтъ! — завопилъ скрежеща зубами Иванъ.

— Какъ же это нѣтъ-съ? Слѣдовало, напротивъ, за такія мои тогдашнія слова вамъ, сыну родителя вашего, меня первымъ дѣломъ въ часть представить и выдрать-съ... по крайности по мордасамъ тутъ же на мѣстѣ отколотить, а вы, помилуйте-съ, напротивъ, ни мало не разсердимшись, тотчасъ, дружелюбно исполняете въ точности по моему весьма глупому слову-съ и ѣдете, что было вовсе нелѣпо-съ, ибо вамъ слѣдовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя... Какъ же мнѣ было не заключить?

Иванъ сидѣлъ насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками въ свои колѣна.

— Да, жаль, что не отколотилъ тебя по мордасамъ, — горько усмѣхнулся онъ. — Въ часть тогда тебя тащить нельзя было: кто жъ бы мнѣ повѣрилъ и на что я могъ указать, ну, а по мордасамъ... ухъ, жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сдѣлалъ бы я изъ твоей хари кашу.

Смердяковъ почти съ наслажденіемъ смотрѣлъ на него.

— Въ обыкновенныхъ случаяхъ жизни, — проговорилъ онъ тѣмъ самодовольно-доктринерскимъ тономъ, съ которымъ спорилъ нѣкогда съ Григоріемъ Васильевичемъ о вѣрѣ и дразнилъ его, стоя за столомъ Ѳедора Павловича, — въ обыкновенныхъ случаяхъ жизни мордасы нонѣ, дѣйствительно, запрещены по закону, и всѣ перестали бить-съ,

ну, а въ отличительныхъ случаяхъ жизни, такъ не то что у насъ, а и на всемъ свѣтѣ, будь хоша бы самая полная французская республика, все одно продолжаютъ бить, какъ и при Адамѣ и Евѣ-съ, да и никогда того не перестанутъ-съ, а вы и въ отличительномъ случаѣ тогда не посмѣли-съ.

— Что это ты французскія вокабулы учишь? — кивнулъ Иванъ на тетрадку, лежавшую на столѣ.

— А почему же бы мнѣ ихъ не учить-съ, чтобы тѣмъ образованію своему способствовать, думая, что и самому мнѣ когда въ тѣхъ счастливыхъ мѣстахъ Европы, можетъ, придется быть.

— Слушай, извергъ, — засверкалъ глазами Иванъ и весь затрясся, — я не боюсь твоихъ обвиненій, показывай на меня что хочешь, и если не избилъ тебя сейчасъ до смерти, то единственно потому, что подозрѣваю тебя въ этомъ преступленіи и притяну къ суду. Я еще тебя обнаружу.

— А по-моему лучше молчите-съ. Ибо что можете вы на меня объявить въ моей совершенной невинности, и кто вамъ повѣритъ? А только если начнете, то и я все разскажу-съ, ибо какъ же бы мнѣ не защитить себя?

— Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?

— Пусть этимъ всѣмъ моимъ словамъ, что̀ вамъ теперь говорилъ, въ судѣ не повѣрятъ-съ, зато въ публикѣ повѣрятъ-съ, и вамъ стыдно станетъ-съ.

— Это значитъ опять-таки что: «съ умнымъ человѣкомъ и поговорить любопытно», — а? — проскрежеталъ Иванъ.

— Въ самую точку изволили-съ. Умнымъ и будьте-съ.

Иванъ Ѳедоровичъ всталъ, весь дрожа отъ него-

дованія, надѣлъ пальто и, не отвѣчая болѣе Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышелъ изъ избы. Свѣжій вечерній воздухъ освѣжилъ его. На небѣ ярко свѣтила луна. Страшный кошмаръ мыслей и ощущеній кипѣлъ въ его душѣ. «Идти объявить сейчасъ на Смердякова? Но что же объявить: онъ все-таки невиненъ. Онъ, напротивъ, меня же обвинитъ. Въ самомъ дѣлѣ, для чего я тогда поѣхалъ въ Чермашню? Для чего, для чего? спрашивалъ Иванъ Ѳедоровичъ. Да, конечно, я чего-то ожидалъ, и онъ правъ» . . . И ему опять въ сотый разъ припомнилось, какъ онъ въ послѣднюю ночь у отца подслушивалъ къ нему съ лѣстницы, но съ такимъ уже страданіемъ теперь припомнилось, что онъ даже остановился на мѣстѣ, какъ пронзенный: «да, я этого тогда ждалъ, это правда! Я хотѣлъ, я именно хотѣлъ убійства! Хотѣлъ ли я убійства, хотѣлъ ли? . . Надо убить Смердякова! . . Если я не смѣю теперь убить Смердякова, то не стоитъ и жить! . .» Иванъ Ѳедоровичъ, не заходя домой, прошелъ тогда прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ и испугалъ ее своимъ появленіемъ: онъ былъ, какъ безумный. Онъ передалъ ей весь свой разговоръ со Смердяковымъ, весь до черточки. Онъ не могъ успокоиться, сколько та ни уговаривала его, все ходилъ по комнатѣ и говорилъ отрывисто, странно. Наконецъ, сѣлъ, облокотился на столъ, уперъ голову въ обѣ руки и вымолвилъ странный афоризмъ:

— Если бъ убилъ не Дмитрій, а Смердяковъ, то, конечно, я тогда съ нимъ солидаренъ, ибо я подбивалъ его. Подбивалъ ли я его — еще не знаю. Но если только онъ убилъ, а не Дмитрій, то, конечно, убійца и я.

Выслушавъ это, Катерина Ивановна молча вста-

ла съ мѣста, пошла къ своему письменному столу, отперла стоявшую на немъ шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее предъ Иваномъ. Эта бумажка была тотъ самый документъ, о которомъ Иванъ Ѳедоровичъ потомъ объявилъ Алешѣ, какъ о «математическомъ доказательствѣ», что убилъ отца братъ Дмитрій. Это было письмо, написанное Митей въ пьяномъ видѣ къ Катеринѣ Ивановнѣ, въ тотъ самый вечеръ, когда онъ встрѣтился въ полѣ съ Алешей, уходившимъ въ монастырь, послѣ сцены въ домѣ Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, разставшись съ Алешей, Митя бросился было къ Грушенькѣ; неизвѣстно, видѣлъ ли ее, но къ ночи очутился въ трактирѣ «Столичный городъ», гдѣ какъ слѣдуетъ и напился. Пьяный онъ потребовалъ перо и бумагу и начерталъ важный на себя документъ. Это было изступленное, многорѣчивое и безсвязное письмо, именно «пьяное». Похоже было на то, когда пьяный человѣкъ, воротясь домой, начинаетъ съ необычайнымъ жаромъ разсказывать женѣ или кому изъ домашнихъ, какъ его сейчасъ оскорбили, какой подлецъ его оскорбитель, какой онъ самъ, напротивъ, прекрасный человѣкъ и какъ онъ тому подлецу задастъ — и все это длинно-длинно, безсвязно и возбужденно, со стукомъ кулаками по столу, съ пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали въ трактирѣ, была грязненькій клочекъ обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на оборотной сторонѣ котораго былъ написанъ какой-то счетъ. Пьяному многорѣчію, очевидно, не достало мѣста, и Митя уписалъ не только всѣ поля, но даже послѣднія строчки были написаны накрестъ уже по написанному. Письмо было слѣдующаго содержа-

нія: «Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдамъ тебѣ твои три тысячи, и прощай — великаго гнѣва женщина, но прощай и любовь моя! Кончимъ! Завтра буду доставать у всѣхъ людей, а не достану у людей, то даю тебѣ честное слово, пойду къ отцу и проломлю ему голову и возьму у него подъ подушкой, только бы уѣхалъ Иванъ. Въ каторгу пойду, а три тысячи отдамъ. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо предъ тобой подлецъ. Прости меня. Нѣтъ, лучше не прощай: легче и мнѣ и тебѣ! Лучше въ каторгу, чѣмъ твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишкомъ сегодня узнала, какъ же ты можешь простить? Убью вора моего! Отъ всѣхъ васъ уйду на Востокъ, чтобъ никого не знать. *Ее* тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай!

P. S. Проклятіе пишу, а тебя обожаю! Слышу въ груди моей. Осталась струна и звенитъ. Лучше сердце пополамъ! Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебѣ. Хоть подлецъ предъ тобой, а не воръ! Жди трехъ тысячъ. У пса подъ тюфякомъ, розовая ленточка. Не я воръ, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно: Дмитрій не воръ, а убійца! Отца убилъ и себя погубилъ, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И тебя не любить.

«PP. S. Ноги твои цѣлую, прощай!

«PP. SS. Катя, моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду въ крови, а не дадутъ — въ крови! Убей меня!

«Рабъ и врагъ

«Д. Карамазовъ».

Когда Иванъ прочелъ «документъ», то всталъ убѣжденный. Значитъ, убилъ братъ, а не Смердяковъ. Не Смердяковъ, то стало быть, и не онъ, Иванъ. Письмо это вдругъ получило въ глазахъ его смыслъ математическій. Никакихъ сомнѣній въ виновности Мити быть для него не могло уже болѣе. Кстати, подозрѣнія о томъ, что Митя могъ убить вмѣстѣ со Смердяковымъ, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и съ фактами. Иванъ былъ вполнѣ успокоенъ. На другое утро онъ лишь съ презрѣніемъ вспомнилъ о Смердяковѣ и о насмѣшкахъ его. Черезъ нѣсколько дней даже удивлялся, какъ могъ онъ такъ мучительно обидѣться его подозрѣніями. Онъ рѣшился презрѣть его и забыть. Такъ прошелъ мѣсяцъ. О Смердяковѣ онъ не разспрашивалъ больше ни у кого, но слышалъ мелькомъ, раза два, что тотъ очень боленъ и не въ своемъ разсудкѣ. «Кончитъ сумасшествіемъ», сказалъ разъ про него молодой врачъ Варвинскій, и Иванъ это запомнилъ. Въ послѣднюю недѣлю этого мѣсяца Иванъ самъ началъ чувствовать себя очень худо. Съ пріѣхавшимъ предъ самымъ судомъ докторомъ изъ Москвы, котораго выписала Катерина Ивановна, онъ уже ходилъ совѣтоваться. И именно въ это же время отношенія его къ Катеринѣ Ивановнѣ обострились до крайней степени. Это были какіе-то два влюбленные другъ въ друга врага. Возвраты Катерины Ивановны къ Митѣ, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана въ совершенное изступленіе. Странно, что до самой послѣдней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришелъ къ ней отъ Мити Алеша, онъ, Иванъ, не слыхалъ отъ нея ни разу во весь мѣсяцъ сомнѣній въ виновности Мити, несмотря на всѣ ея

«возвраты» къ нему, которые онъ такъ ненавидѣлъ. Замѣчательно еще и то, что онъ, чувствуя, что ненавидитъ Митю съ каждымъ днемъ все больше и больше, понималъ въ то же время, что не за «возвраты» къ нему Кати ненавидѣлъ его, а именно *за то, что онъ убилъ отца!* Онъ чувствовалъ и сознавалъ это самъ вполнѣ. Тѣмъ не менѣе дней за десять предъ судомъ онъ ходилъ къ Митѣ и предложилъ ему планъ бѣгства, — планъ, очевидно, еще задолго обдуманный. Тутъ, кромѣ главной причины, побудившей его къ такому шагу, виновата была и нѣкоторая незаживавшая въ сердцѣ его царапина отъ одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтобъ обвинили брата, ибо сумма по наслѣдству отъ отца возвысится тогда для него съ Алешей съ сорока на шестьдесятъ тысячъ. Онъ рѣшился пожертвовать тридцатью тысячами съ одной своей стороны, чтобъ устроить побѣгъ Мити. Возвращаясь тогда отъ него, онъ былъ страшно грустенъ и смущенъ: ему вдругъ начало чувствоваться, что онъ хочетъ побѣга не для того только, чтобы пожертвовать на это тридцать тысячъ и заживить царапину, а и почему-то другому. «Потому ли, что въ душѣ и я такой же убійца?» спросилъ было онъ себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этотъ мѣсяцъ страшно страдала его гордость, но объ этомъ потомъ... Взявшись за звонокъ своей квартиры, послѣ разговора съ Алешей, и порѣшивъ вдругъ идти къ Смердякову, Иванъ Ѳедоровичъ повиновался одному особливому, внезапно вскипѣвшему въ груди его негодованію. Онъ вдругъ вспомнилъ, какъ Катерина Ивановна сейчасъ только воскликнула ему при Алешѣ: «Это ты, только ты одинъ увѣрилъ меня,

что онъ (то есть Митя) убійца!» Вспомнивъ это, Иванъ даже остолбенѣлъ: никогда въ жизни не увѣрялъ онъ ее, что убійца Митя, напротивъ, еще себя подозрѣвалъ тогда предъ нею, когда воротился отъ Смердякова. Напротивъ, это *она,* она ему выложила тогда «документъ» и доказала виновность брата! И вдругъ она же теперь восклицаетъ: «я сама была у Смердякова!» Когда была? Иванъ ничего не зналъ объ этомъ. Значитъ, она совсѣмъ не такъ увѣрена въ виновности Мити! И что̀ могъ ей сказать Смердяковъ? Что̀, что̀ именно онъ ей сказалъ? Страшный гнѣвъ загорѣлся въ его сердцѣ. Онъ не понималъ, какъ могъ онъ полчаса назадъ пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Онъ бросилъ звонокъ и пустился къ Смердякову. «Я убью его, можетъ быть, въ этотъ разъ», подумалъ онъ дорогой.

VIII.

Третье и послѣднее свиданіе со Смердяковымъ.

Еще на полпути поднялся острый, сухой вѣтеръ, такой же какъ былъ въ этотъ день рано утромъ, и посыпалъ мелкій, густой, сухой снѣгъ. Онъ падалъ на землю, не прилипая къ ней, вѣтеръ крутилъ его, и вскорѣ поднялась совершенная метель. Въ той части города, гдѣ жилъ Смердяковъ, у насъ почти и нѣтъ фонарей. Иванъ Ѳедоровичъ шагалъ во мракѣ, не замѣчая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болѣла голова и мучительно стучало въ вискахъ. Въ кистяхъ рукъ, онъ чувствовалъ это, были судороги. Нѣсколько не доходя

до домишка Марьи Кондратьевны, Иванъ Ѳедоровичъ вдругъ повстрѣчалъ одинокаго пьянаго, маленькаго ростомъ мужиченка, въ заплатанномъ зипунишкѣ, шагавшаго зигзагами, ворчавшаго и бранившагося и вдругъ бросавшаго браниться и начинавшаго сиплымъ пьянымъ голосомъ пѣсню:

Ахъ, поѣхалъ Ванька въ Питеръ,
Я не буду его ждать!

Но онъ все прерывалъ на этой второй строчкѣ и опять начиналъ кого-то бранить, затѣмъ опять вдругъ затягивалъ ту же пѣсню. Иванъ Ѳедоровичъ давно уже чувствовалъ страшную къ нему ненависть, о немъ еще совсѣмъ не думая, и вдругъ его осмыслилъ. Тотчасъ же ему неотразимо захотѣлось пришибить сверху кулакомъ мужиченку. Какъ разъ въ это мгновеніе они поверстались рядомъ, и мужиченка, сильно качнувшись, вдругъ ударился изо всей силы объ Ивана. Тотъ бѣшено оттолкнулъ его. Мужиченка отлетѣлъ и шлепнулся, какъ колода, о мерзлую землю, болѣзненно простонавъ только одинъ разъ: о-о! и замолкъ. Иванъ шагнулъ къ нему. Тотъ лежалъ навзничь, совсѣмъ неподвижно, безъ чувствъ: «замерзнетъ!» подумалъ Иванъ и зашагалъ опять къ Смердякову.

Еще въ сѣняхъ Марья Кондратьевна, выбѣжавшая отворить со свѣчкой въ рукахъ, зашептала ему, что Павелъ Ѳедоровичъ (то есть Смердяковъ) оченно больны-съ, не то что лежатъ-съ, а почти какъ не въ своемъ умѣ-съ и даже чай велѣли убрать, пить не захотѣли.

— Что жъ онъ буянитъ, что ли? — грубо спросилъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Какое, напротивъ, совсѣмъ тихіе-съ, только

вы съ ними не очень долго разговаривайте . . . — попросила Марья Кондратьевна.

Иванъ Ѳедоровичъ отворилъ дверь и шагнулъ въ избу.

Натоплено было такъ же, какъ и въ прежній разъ, но въ комнатѣ замѣтны были нѣкоторыя перемѣны: одна изъ боковыхъ лавокъ была вынесена и на мѣсто ея явился большой старый кожаный диванъ подъ красное дерево. На немъ была постлана постель съ довольно чистыми бѣлыми подушками. На постели сидѣлъ Смердяковъ все въ томъ же своемъ халатѣ. Столъ перенесенъ былъ предъ диванъ, такъ что въ комнатѣ стало очень тѣсно. На столѣ лежала какая-то толстая въ желтой оберткѣ книга, но Смердяковъ не читалъ ея, онъ, кажется, сидѣлъ и ничего не дѣлалъ. Длиннымъ, молчаливымъ взглядомъ встрѣтилъ онъ Ивана Ѳедоровича и, повидимому, нисколько не удивился его прибытію. Онъ очень измѣнился въ лицѣ, очень похудѣлъ и пожелтѣлъ. Глаза впали, нижнія вѣки посинѣли.

— Да ты и впрямь боленъ? — остановился Иванъ Ѳедоровичъ. — Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Гдѣ у тебя сѣсть-то?

Онъ зашелъ съ другого конца стола, придвинулъ къ столу стулъ и сѣлъ.

— Что̀ смотришь и молчишь? Я съ однимъ только вопросомъ, и клянусь, не уйду отъ тебя безъ отвѣта: была у тебя барыня, Катерина Ивановна?

Смердяковъ длинно помолчалъ, попрежнему все тихо смотря на Ивана, но вдругъ махнулъ рукой и отвернулъ отъ него лицо.

— Чего ты? — воскликнулъ Иванъ.

— Ничего.

— Что ничего?

— Ну была, ну и все вамъ равно. Отстаньте-съ.

— Нѣтъ, не отстану! Говори, когда была?

— Да я и помнить о ней забылъ, — презрительно усмѣхнулся Смердяковъ, и вдругъ опять, оборотя лицо къ Ивану, уставился на него съ какимъ-то изступленно-ненавистнымъ взглядомъ, тѣмъ самымъ взглядомъ, какимъ глядѣлъ на него въ то свиданіе, мѣсяцъ назадъ.

— Сами, кажись, больны, ишь осунулись, лица на васъ нѣтъ, — проговорилъ онъ Ивану.

— Оставь мое здоровье, говори, о чемъ спрашиваютъ.

— А чего у васъ глаза пожелтѣли, совсѣмъ бѣлки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?

Онъ презрительно усмѣхнулся и вдругъ совсѣмъ ужъ разсмѣялся.

— Слушай, я сказалъ, что не уйду отъ тебя безъ отвѣта! — въ страшномъ раздраженіи крикнулъ Иванъ.

— Чего вы ко мнѣ пристаете-съ? Чего меня мучаете? — со страданіемъ проговорилъ Смердяковъ.

— Э, чертъ! Мнѣ до тебя нѣтъ и дѣла. Отвѣть на вопросъ, и я тотчасъ уйду.

— Нечего мнѣ вамъ отвѣчать! — опять потупился Смердяковъ.

— Увѣряю тебя, что я заставлю тебя отвѣчать!

— Чего вы все безпокоитесь? — вдругъ уставился на него Смердяковъ, но не то что съ презрѣніемъ, а почти съ какою-то уже гадливостью, — это что судъ-то завтра начнется? Такъ вѣдь ничего вамъ не будетъ, увѣрьтесь же, наконецъ! Сту-

пайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

— Не понимаю я тебя... чего мнѣ бояться завтра? — удивленно выговорилъ Иванъ, и вдругъ въ самомъ дѣлѣ какой-то испугъ холодомъ пахнулъ на его душу. Смердяковъ обмѣрилъ его глазами.

— Не по-ни-маете? — протянулъ онъ укоризненно. — Охота же умному человѣку этакую комедь изъ себя представлять!

Иванъ молча глядѣлъ на него. Одинъ ужъ этотъ неожиданный тонъ, совсѣмъ какой-то небывало высокомѣрный, съ которымъ этотъ бывшій лакей обращался теперь къ нему, былъ необыченъ. Такого тона все-таки не было даже и въ прошлый разъ!

— Говорю вамъ, нечего вамъ бояться. Ничего на васъ не покажу, нѣтъ уликъ. Ишь руки трясутся. Съ чего у васъ пальцы-то ходятъ? Идите домой, *не вы убили*.

Иванъ вздрогнулъ, ему вспомнился Алеша.

— Я знаю, что не я...—пролепеталъ было онъ.

— Зна-е-те? — опять подхватилъ Смердяковъ.

Иванъ вскочилъ и схватилъ его за плечо:

— Говори все, гадина! Говори все!

Смердяковъ нисколько не испугался. Онъ только съ безумною ненавистью приковался къ нему глазами:

— Анъ вотъ вы-то и убили, коли такъ, — яростно прошепталъ онъ ему.

Иванъ опустился на стулъ, какъ бы что̀ разсудивъ. Онъ злобно усмѣхнулся.

— Это ты все про тогдашнее? Про то что̀ и въ прошлый разъ?

— Да и въ прошлый разъ стояли предо мной и все понимали, понимаете и теперь.

— Понимаю только, что ты сумасшедшій.

— Не надоѣстъ же человѣку! Съ глазу на глазъ сидимъ, чего бы, кажется, другъ-то друга морочить, комедь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите, мнѣ же въ глаза? Вы убили, вы главный убивецъ и есть, а я только вашимъ приспѣшникомъ былъ, слугой Личардой вѣрнымъ, и по слову вашему дѣло это и совершилъ.

— Совершилъ? Да развѣ ты убилъ? — похолодѣлъ Иванъ.

Что-то какъ бы сотряслось въ его мозгу, и весь онъ задрожалъ мелкою холодною дрожью. Тутъ ужъ Смердяковъ самъ удивленно посмотрѣлъ на него: вѣроятно, его, наконецъ, поразилъ своею искренностью испугъ Ивана.

— Да неужто жъ вы вправду ничего не знали? — пролепеталъ онъ недовѣрчиво, криво усмѣхаясь ему въ глаза.

Иванъ все глядѣлъ на него, у него какъ бы отнялся языкъ.

„Ахъ, поѣхалъ Ванька въ Питеръ,
Я не буду его ждать!“

прозвенѣло вдругъ въ его головѣ.

— Знаешь что̀: я боюсь, что ты сонъ, что ты призракъ предо мной сидишь, — пролепеталъ онъ.

— Никакого тутъ призрака нѣтъ-съ, кромѣ насъ обоихъ-съ, да еще нѣкотораго третьяго. Безъ сумлѣнія тутъ онъ теперь, третій этотъ, находится, между нами двумя.

— Кто онъ? Кто находится? Кто третій? — испуганно проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ, озира-

ясь кругомъ и поспѣшно ища глазами кого-то по всѣмъ угламъ.

— Третій этотъ — Богъ-съ, самое это Провидѣніе-съ, тутъ оно теперь подлѣ насъ-съ, только вы не ищите его, не найдете.

— Ты солгалъ, что ты убилъ! — бѣшено завопилъ Иванъ. — Ты или сумасшедшій, или дразнишь меня, какъ и въ прошлый разъ!

Смердяковъ, какъ и давеча, совсѣмъ не пугаясь, все пытливо слѣдилъ за нимъ. Все еще онъ никакъ не могъ побѣдить своей недовѣрчивости, все еще казалось ему, что Иванъ «все знаетъ», а только такъ представляется, чтобъ «ему же въ глаза на него одного свалить».

— Подождите-съ, — проговорилъ онъ, наконецъ, слабымъ голосомъ, и вдругъ, вытащивъ изъ-подъ стола свою лѣвую ногу, началъ завертывать на ней наверхъ панталоны. Нога оказалась въ длинномъ бѣломъ чулкѣ и обута въ туфлю. Не торопясь Смердяковъ снялъ подвязку и запустилъ въ чулокъ глубоко свои пальцы. Иванъ Ѳедоровичъ глядѣлъ на него и вдругъ затрясся въ конвульсивномъ испугѣ.

— Сумасшедшій! — завопилъ онъ и, быстро вскочивъ съ мѣста, откачнулся назадъ, такъ что стукнулся спиной о стѣну и какъ будто прилипъ къ стѣнѣ, весь вытянувшись въ нитку. Онъ въ безумномъ ужасѣ смотрѣлъ на Смердякова. Тотъ, ни мало не смутившись его испугомъ, все еще копался въ чулкѣ, какъ будто все силясь пальцами что-то въ немъ ухватить и вытащить. Наконецъ, ухватилъ и сталъ тащить. Иванъ Ѳедоровичъ видѣлъ, что это были какія-то бумаги или какая-то пачка бумагъ. Смердяковъ вытащилъ ее и положилъ на столъ.

— Вотъ-съ! — сказалъ онъ тихо.

— Что̀? — отвѣтилъ, трясясь, Иванъ.

— Извольте взглянуть-съ, — тихо произнесъ Смердяковъ.

Иванъ шагнулъ къ столу, взялся было за пачку и сталъ ее развертывать, но вдругъ отдернулъ пальцы какъ будто отъ прикосновенія какого-то отвратительнаго, страшнаго гада.

— Пальцы-то у васъ все дрожатъ-съ, въ судорогѣ, — замѣтилъ Смердяковъ и самъ, не спѣша, развернулъ бумагу. Подъ оберткой оказались три пачки сторублевыхъ радужныхъ кредитокъ.

— Всѣ здѣсь-съ, всѣ три тысячи, хоть не считайте. Примите-съ, — пригласилъ онъ Ивана, кивая на деньги. Иванъ опустился на стулъ. Онъ былъ блѣденъ, какъ платокъ.

— Ты меня испугалъ... съ этимъ чулкомъ... — проговорилъ онъ, какъ-то странно ухмыляясь.

— Неужто же, неужто вы до сихъ поръ не знали? — спросилъ еще разъ Смердяковъ.

— Нѣтъ, не зналъ. Я все на Дмитрія думалъ. Братъ! Братъ! Ахъ! — Онъ вдругъ схватилъ себя за голову обѣими руками. — Слушай: ты одинъ убилъ? Безъ брата или съ братомъ?

— Всего только вмѣстѣ съ вами-съ; съ вами вмѣстѣ убилъ-съ, а Дмитрій Ѳедоровичъ какъ есть безвинны-съ.

— Хорошо, хорошо... Обо мнѣ потомъ. Чего это я все дрожу... Слова не могу выговорить.

— Все тогда смѣлы были-съ, «все, дескать, позволено», говорили-съ, а теперь вотъ какъ испугались! — пролепеталъ, дивясь, Смердяковъ. — Ли-

монаду не хотите ли, сейчасъ прикажу-съ. Очень освѣжить можетъ. Только вотъ это бы прежде накрыть-съ.

И онъ опять кивнулъ на пачки. Онъ двинулся было встать кликнуть въ дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сдѣлала и принесла лимонаду, но, отыскивая чѣмъ бы накрыть деньги, чтобы та не увидѣла ихъ, вынулъ было сперва платокъ, но такъ какъ тотъ опять оказался совсѣмъ засморканнымъ, то взялъ со стола ту единственную лежавшую на немъ толстую желтую книгу, которую замѣтилъ войдя Иванъ, и придавилъ ею деньги. Названіе книги было: *Святаго отца нашего Исаака Сирина слова.* Иванъ Ѳедоровичъ успѣлъ машинально прочесть заглавіе.

— Не хочу лимонаду, — сказалъ онъ. — Обо мнѣ потомъ. Садись и говори: какъ ты это сдѣлалъ? Все говори . . .

Вы бы пальто хоть сняли-съ, а то весь взопрѣете.

Иванъ Ѳедоровичъ, будто теперь только догадавшись, сорвалъ пальто и бросилъ его, не сходя со стула, на лавку.

— Говори же, пожалуйста, говори!

Онъ какъ бы утихъ. Онъ увѣренно ждалъ, что Смердяковъ *все* теперь скажетъ.

— О томъ, какъ это было сдѣлано-съ? — вздохнулъ Смердяковъ. — Самымъ естественнымъ манеромъ сдѣлано было-съ, съ вашихъ тѣхъ самыхъ словъ . . .

— О моихъ словахъ потомъ, — прервалъ опять Иванъ, но уже не крича, какъ прежде, твердо выговаривая слова и какъ бы совсѣмъ овладѣвъ собою.— Разскажи только въ подробности, какъ ты это сдѣ-

лалъ. Все по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное, подробности. Прошу.

— Вы уѣхали, я упалъ тогда въ погребъ-съ...

— Въ падучей или притворился?

— Понятно, что притворился-съ. Во всемъ притворился. Съ лѣстницы спокойно сошелъ-съ, въ самый низъ-съ, и спокойно легъ-съ, а какъ легъ, тутъ и завопилъ. И бился, пока вынесли.

— Стой! И все время, и потомъ, и въ больницѣ все притворялся?

— Никакъ нѣтъ-съ. На другой же день, на утро, до больницы еще, ударила настоящая и столь сильная, что уже много лѣтъ таковой не бывало. Два дня былъ въ совершенномъ безпамятствѣ.

— Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.

— Положили меня на эту койку-съ, я такъ и зналъ, что за перегородку-съ, потому Марѳа Игнатьевна во всѣ разы, какъ я боленъ, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя въ помѣщеніи клали-съ. Нѣжныя онѣ всегда ко мнѣ были съ самаго моего рожденія-съ. Ночью стоналъ-съ, только тихо. Все ожидалъ Дмитрія Ѳедоровича.

— Какъ ждалъ, къ себѣ?

— Зачѣмъ ко мнѣ. Въ домъ ихъ ждалъ, потому сумлѣнія для меня уже не было никакого въ томъ, что они въ эту самую ночь прибудутъ, ибо имъ, меня лишимшись и никакихъ свѣдѣній не имѣмши, безпремѣнно приходилось самимъ въ домъ влѣзть черезъ заборъ-съ, какъ они умѣли-съ, и что̀ ни есть совершить.

— А если бы не пришелъ?

— Тогда ничего бы и не было-съ. Безъ нихъ не рѣшился бы.

— Хорошо, хорошо... говори понятнѣе, не торопись, главное — ничего не пропускай!

— Я ждалъ, что они Ѳедора Павловича убьютъ-съ... это навѣрно-съ. Потому я ихъ уже такъ приготовилъ... въ послѣдніе дни-съ... а главное — тѣ знаки имъ стали извѣстны. При ихней мнительности и ярости, что̀ въ нихъ за эти дни накопилась, безпремѣнно черезъ знаки въ самый домъ должны были проникнуть-съ. Это безпремѣнно. Я такъ ихъ и ожидалъ-съ.

— Стой, — прервалъ Иванъ, — вѣдь если бъ онъ убилъ, то взялъ бы деньги и унесъ; вѣдь ты именно такъ долженъ былъ разсуждать? Что̀ жъ тебѣ-то досталось бы послѣ него? Я не вижу.

— Такъ вѣдь деньги-то бы они никогда и не нашли-съ. Это вѣдь ихъ только я научилъ, что деньги подъ тюфякомъ. Только это была не правда-съ. Прежде въ шкатункѣ лежали, вотъ какъ было-съ. А потомъ я Ѳедора Павловича, такъ какъ они мнѣ единственно во всемъ человѣчествѣ одному довѣряли, научилъ пакетъ этотъ самый съ деньгами въ уголъ за образа перенесть, потому что тамъ совсѣмъ никто не догадается, особенно коли спѣша придетъ. Такъ онъ тамъ, пакетъ этотъ, у нихъ въ углу за образами и лежалъ-съ. А подъ тюфякомъ такъ и смѣшно бы ихъ было держать вовсе, въ шкатункѣ, по крайней мѣрѣ, подъ ключомъ. А здѣсь всѣ теперь повѣрили, что будто бы подъ тюфякомъ лежали. Глупое разсужденіе-съ. Такъ вотъ если бы Дмитрій Ѳедоровичъ совершили это самое убивство, то ничего не найдя или бы убѣжали-съ поспѣшно, всякаго шороху боясь, какъ и всегда бываетъ съ убивцами, или бы арестованы были-съ. Такъ я тогда всегда могъ-съ, на другой день,

али даже въ ту же самую ночь-съ за образа слазить и деньги эти самыя унести-съ, все бы на Дмитрія Ѳедоровича и свалилось. Это я всегда могъ надѣяться.

— Ну, а если бъ онъ не убилъ, а только избилъ?

— Если бы не убилъ, то я бы денегъ, конечно, взять не посмѣлъ и осталось бы втунѣ. Но былъ и такой расчетъ, что изобьютъ до безчувствія, а я въ то время и поспѣю взять, а тамъ потомъ Ѳедору-то Павловичу отлепартую, что это никто какъ Дмитрій Ѳедоровичъ, ихъ избимши, деньги похитили.

— Стой... я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрій убилъ, а ты только деньги взялъ?

— Нѣтъ, это не они убили-съ. Что̀ жъ, я бы могъ вамъ и теперь сказать, что убивцы они... да не хочу я теперь предъ вами лгать, потому... потому что если вы, дѣйствительно, какъ самъ вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтобъ явную вину свою на меня же въ глаза свалить, то все же вы виновны во всемъ, ибо про убивство вы знали-съ и мнѣ убить поручили-съ, а сами все знамши уѣхали. Потому и хочу вамъ въ сей вечеръ это въ глаза доказать, что главный убивецъ во всемъ здѣсь единый вы-съ, а я только самый не главный, хоть это и я убилъ. А вы самый законный убивецъ и есть!

— Почему, почему я убійца? О, Боже,—не выдержалъ, наконецъ, Иванъ, забывъ, что все о себѣ отложилъ подъ конецъ разговора.—Это все та же Чермашня-то? Стой, говори, зачѣмъ тебѣ было надо мое согласіе, если ужъ ты принялъ Чермашню за согласіе? Какъ ты теперь-то растолкуешь?

— Увѣренный въ вашемъ согласіи, я ужъ зналъ

бы, что вы за потерянныя эти три тысячи, возвратясь, вопля не подымете, если бы почему-нибудь меня вмѣсто Дмитрія Ѳедоровича начальство заподозрило, али съ Дмитріемъ Ѳедоровичемъ въ товарищахъ; напротивъ, отъ другихъ защитили бы... А наслѣдство получивъ, такъ и потомъ когда могли меня наградить, во всю слѣдующую жизнь, потому что все же вы черезъ меня наслѣдство это получить изволили, а то женимшись на Аграфенѣ Александровнѣ вышелъ бы вамъ одинъ только шишъ.

— А! Такъ ты намѣревался меня и потомъ мучить, всю жизнь! — проскрежеталъ Иванъ. — А что̀, если бъ я тогда не уѣхалъ, а на тебя заявилъ?

— А что̀ же бы вы могли тогда заявить? Что я васъ въ Чермашню-то подговаривалъ? Такъ вѣдь это глупости-съ. Къ тому же вы послѣ разговора нашего поѣхали бы али остались. Если бъ остались, то тогда бы ничего и не произошло, я бы такъ и зналъ-съ, что вы дѣла этого не хотите, и ничего бы не предпринималъ. А если ужъ поѣхали, то ужъ меня, значитъ, завѣрили въ томъ, что на меня въ судъ заявить не посмѣете и три эти тысячи мнѣ простите. Да и не могли вы меня потомъ преслѣдовать вовсе, потому что я тогда все и разсказалъ бы на судѣ-съ, то есть не то, что я укралъ аль убилъ, — этого бы я не сказалъ-съ, — а то, что вы меня сами подбивали къ тому, чтобъ украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мнѣ и надо было тогда ваше согласіе, чтобы вы меня ничѣмъ не могли припереть-съ, потому что гдѣ же у васъ къ тому доказательства, я же васъ всегда могу припереть-съ, обнаруживъ, какую вы жажду имѣли къ смерти родителя, и вотъ вамъ слово — въ

публикѣ всѣ бы тому повѣрили и вамъ было бы стыдно на всю вашу жизнь.

— Такъ имѣлъ, такъ имѣлъ я эту жажду, имѣлъ? — проскрежеталъ опять Иванъ.

— Несомнѣнно имѣли-съ и согласіемъ своимъ мнѣ это дѣло молча тогда разрѣшили-съ, — твердо поглядѣлъ Смердяковъ на Ивана. Онъ былъ очень слабъ и говорилъ тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него, очевидно, было какое-то намѣреніе. Иванъ это предчувствовалъ.

— Продолжай дальше, — сказалъ онъ ему, — продолжай про ту ночь.

— Дальше что̀ же-съ! Вотъ я лежу и слышу, какъ будто вскрикнулъ баринъ. А Григорій Васильевичъ предъ тѣмъ вдругъ поднялись и вышли, и вдругъ завопили, а потомъ все тихо, мракъ. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпѣть не могу. Всталъ, наконецъ, и пошелъ-съ, — вижу налѣво окно въ садъ у нихъ отперто, я и еще шагнулъ налѣво-то-съ, чтобы прислушаться, живы ли они тамъ сидятъ или нѣтъ, и слышу, что баринъ мечется и охаетъ, стало быть, живъ-съ. Эхъ, думаю! Подошелъ къ окну, крикнулъ барину: «это я, дескать». А онъ мнѣ: «былъ, былъ, убѣжалъ!» То есть Дмитрій Ѳедоровичъ, значитъ, были-съ. — «Григорія убилъ!» — «Гдѣ?» шепчу ему. — «Тамъ въ углу», указываетъ, самъ тоже шепчетъ. — «Подождите», говорю. Пошелъ я въ уголъ искать и у стѣны на Григорія Васильевича, лежащаго, и наткнулся, весь въ крови лежитъ, въ безчувствіи. Стало быть, вѣрно, что былъ Дмитрій Ѳедоровичъ, вскочило мнѣ тотчасъ въ голову и тотчасъ тутъ же порѣшилъ все это покончить внезапно-съ, такъ какъ Григорій

Васильевичъ, если и живы еще, то лежа въ безчувствіи пока ничего не увидятъ. Одинъ только рискъ и былъ-съ, что вдругъ проснется Марѳа Игнатьевна. Почувствовалъ я это въ ту минуту, только ужъ жажда эта меня всего захватила, ажно духъ занялся. Пришелъ опять подъ окно къ барину и говорю: «она здѣсь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». Такъ вѣдь и вздрогнулъ весь, какъ младенецъ: — «Гдѣ здѣсь? Гдѣ?» такъ и охаетъ, а самъ еще не вѣритъ. — «Тамъ, говорю, стоитъ, отоприте!» Глядитъ на меня въ окно-то, и вѣритъ, и не вѣритъ, а отпереть боится, это ужъ меня-то боится, думаю. И смѣшно же: вдругъ я эти самые знаки вздумалъ имъ тогда по рамѣ простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при нихъ же въ глазахъ: словамъ-то какъ бы не вѣрилъ, а какъ знаки я простучалъ, такъ тотчасъ же и побѣжали дверь отворить. Отворили. Я вошелъ было, а онъ стоитъ, тѣломъ-то меня и не пускаетъ всего: — «Гдѣ она, гдѣ она?» — смотритъ на меня и трепещетъ. Ну, думаю: ужъ коль меня такъ боится — плохо! и тутъ у меня даже ноги ослабѣли отъ страху у самого, что не пуститъ онъ меня въ комнаты-то, или крикнетъ, али Марѳа Игнатьевна прибѣжитъ, али что̀ ни есть выйдетъ, я ужъ не помню тогда, самъ должно быть, блѣденъ предъ ними стоялъ. Шепчу ему: — «Да тамъ, тамъ она подъ окномъ, какъ же вы, говорю, не видѣли?» — «А ты ее приведи, а ты ее приведи!» — «Да боится, говорю, крику испугалась, въ кустъ спряталась, подите, крикните, говорю, сами изъ кабинета». Побѣжалъ онъ, подошелъ къ окну, свѣчу на окно поставилъ: — «Грушенька, кричитъ, Грушенька, здѣсь ты?» Самъ-то это кричитъ, а въ окно-то

нагнуться не хочетъ, отъ меня отойти не хочетъ, отъ самаго этого страху, потому забоялся меня ужъ очень, а потому отойти отъ меня не смѣетъ. «Да вотъ она, говорю (подошелъ я къ окну, самъ весь высунулся), вонъ она въ кустѣ-то, смѣется вамъ, видите?» Повѣрилъ вдругъ онъ, такъ и затрясся, больно ужъ они влюблены въ нее были-съ, да весь и высунулся въ окно. Я тутъ схватилъ это самое преспапье чугунное, на столѣ у нихъ, помните-съ, фунта три вѣдь въ немъ будетъ, размахнулся, да сзади его въ самое темя угломъ. Не крикнулъ даже. Только внизъ вдругъ осѣлъ, а я въ другой разъ и въ третій. На третьемъ-то почувствовалъ, что проломилъ. Они вдругъ навзничь и повалились, лицомъ кверху, всѣ-то въ крови. Осмотрѣлъ я: нѣтъ на мнѣ крови, не брызнуло, преспапье обтеръ, положилъ, за образа сходилъ, изъ пакета деньги вынулъ, а пакетъ бросилъ на полъ, и ленточку эту самую розовую подлѣ. Сошелъ въ садъ, весь трясусь. Прямо къ той яблонкѣ, что съ дупломъ,—вы дупло-то это знаете, а я его уже давно наглядѣлъ, въ немъ ужъ лежала тряпочка и бумага, давно заготовилъ; обернулъ всю сумму въ бумагу, а потомъ въ тряпку и заткнулъ глубоко. Такъ она тамъ слишкомъ двѣ недѣли оставалась, сумма-то эта самая-съ, потомъ ужъ послѣ больницы вынулъ. Воротился къ себѣ на кровать, легъ, да и думаю въ страхѣ: «вотъ коли убитъ Григорій Васильевичъ совсѣмъ, такъ тѣмъ самымъ очень худо можетъ произойти, а коли не убитъ и очнется, то оченно хорошо это произойдетъ, потому они будутъ тогда свидѣтелемъ, что Дмитрій Ѳедоровичъ приходили, а, стало быть, они и убили и деньги унесли-съ». Началъ я тогда отъ сумлѣнія и нетерпѣнія

стонать, чтобы Марѳу Игнатьевну разбудить поскорѣй. Встала она, наконецъ, бросилась было ко мнѣ, да какъ увидала, что нѣтъ Григорія Васильевича — выбѣжала и, слышу, завопила въ саду. Ну, тутъ-съ все это и пошло на всю ночь, я ужъ во всемъ успокоенъ былъ.

Разсказчикъ остановился. Иванъ все время слушалъ его въ мертвенномъ молчаніи, не шевелясь, не спуская съ него глазъ. Смердяковъ же, разсказывая, лишь изрѣдка на него поглядывалъ, но больше косился въ сторону. Кончивъ разсказъ, онъ видимо самъ взволновался и тяжело переводилъ духъ. На лицѣ его показался потъ. Нельзя было, однако, угадать, чувствуетъ ли онъ раскаяніе или что.

— Стой, — подхватилъ соображая Иванъ. — А дверь-то? Если отворилъ онъ дверь только тебѣ, то какъ же могъ видѣть ее прежде тебя Григорій отворенною? Потому вѣдь Григорій видѣлъ прежде тебя?

Замѣчательно, что Иванъ спрашивалъ самымъ мирнымъ голосомъ, даже совсѣмъ какъ будто другимъ тономъ, совсѣмъ не злобнымъ, такъ что если бы кто-нибудь отворилъ къ нимъ теперь дверь и съ порога взглянулъ на нихъ, то непремѣнно заключилъ бы, что они сидятъ и миролюбиво разговариваютъ о какомъ-нибудь обыкновенномъ, хотя и интересномъ предметѣ.

— Насчетъ этой двери и что Григорій Васильевичъ будто бы видѣлъ, что она отперта, то это ему только такъ почудилось, — искривленно усмѣхнулся Смердяковъ. — Вѣдь это, я вамъ скажу, не человѣкъ-съ, а все равно, что̀ упрямый меринъ. и не видалъ, а почудилось ему что видѣлъ — вотъ его

ужъ и не собьете-съ. Это ужъ намъ съ вами счастье такое выпало, что онъ это придумалъ, потому что Дмитрія Ѳедоровича несомнѣнно послѣ того въ конецъ уличатъ.

— Слушай, — проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, — слушай... Я много хотѣлъ спросить тебя еще, но забылъ... Я все забываю и путаюсь... Да! Скажи ты мнѣ хоть это одно: зачѣмъ ты пакетъ распечаталъ и тутъ же на полу оставилъ? Зачѣмъ не просто въ пакетѣ унесъ... Ты когда разсказывалъ, то мнѣ показалось, что будто ты такъ говорилъ про этотъ пакетъ, что такъ и надо было поступить... а почему такъ надо — не могу понять...

— А это я такъ сдѣлалъ по нѣкоторой причинѣ-съ. Ибо будь человѣкъ знающій и привычный, вотъ какъ я, напримѣръ, который эти деньги самъ видѣлъ зараньше и, можетъ, ихъ самъ же въ тотъ пакетъ ввертывалъ и собственными глазами смотрѣлъ, какъ его запечатывали и надписывали, то такой человѣкъ-съ съ какой же бы стати, если бы, примѣрно, это онъ убилъ, сталъ бы тогда, послѣ убивства, этотъ пакетъ распечатывать, да еще въ такихъ попыхахъ, зная и безъ того совсѣмъ ужъ навѣрно, что деньги эти въ томъ пакетѣ безпремѣнно лежатъ-съ? Напротивъ, будь это похититель какъ бы я, напримѣръ, то онъ бы просто сунулъ этотъ пакетъ въ карманъ, нисколько не распечатывая, и съ нимъ поскорѣе утекъ-съ. Совсѣмъ другое тутъ Дмитрій Ѳедоровичъ: они о пакетѣ только по наслышкѣ знали, его самого не видѣли, и вотъ какъ достали его, примѣрно, будто изъ-подъ тюфяка, то поскорѣе и распечатали его тутъ же,

чтобы справиться: есть ли въ немъ въ самомъ дѣлѣ эти самыя деньги? А пакетъ тутъ же бросили, уже не успѣвъ разсудить, что онъ уликой имъ послѣ нихъ останется, потому что они воръ непривычный-съ, и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-съ, а если теперь украсть и рѣшились, то именно какъ бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, такъ какъ всему городу объ этомъ предварительно повѣстили и даже похвалялись зараньше вслухъ предъ всѣми, что пойдутъ и собственность свою отъ Ѳедора Павловича отберутъ. Я эту самую мысль прокурору въ опросѣ моемъ не то что ясно сказалъ, а, напротивъ, какъ будто намекомъ подвелъ-съ, точно какъ бы самъ не понимаючи, и точно какъ бы это они сами выдумали, а не я имъ подсказалъ-съ, — такъ у господина прокурора отъ этого самаго намека моего даже слюнки потекли-съ . . .

— Такъ неужели, неужели ты все это тогда же такъ на мѣстѣ и обдумалъ? — воскликнулъ Иванъ Ѳедоровичъ внѣ себя отъ удивленія. Онъ опять глядѣлъ на Смердякова въ испугѣ.

— Помилосердствуйте, да можно ли это все выдумать въ такихъ попыхахъ-съ? Заранѣе все обдумано было.

— Ну . . . ну, тебѣ, значитъ, самъ чертъ помогалъ! — воскликнулъ опять Иванъ Ѳедоровичъ. — Нѣтъ, ты не глупъ, ты гораздо умнѣй, чѣмъ я думалъ . . .

Онъ всталъ съ очевиднымъ намѣреніемъ пройтись по комнатѣ. Онъ былъ въ страшной тоскѣ. Но такъ какъ столъ загораживалъ дорогу и мимо стола и стѣны почти приходилось пролѣзать, то онъ только повернулся на мѣстѣ и сѣлъ опять. То,

что онъ не успѣлъ пройтись, можетъ быть, вдругъ и раздражило его, такъ что онъ почти въ прежнемъ изступленіи вдругъ завопилъ:

— Слушай, несчастный, презрѣнный ты человѣкъ! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убилъ тебя до сихъ поръ, то потому только, что берегу тебя на завтрашній отвѣтъ на судѣ. Богъ видитъ (поднялъ Иванъ руку кверху) — можетъ быть, и я былъ виновенъ, можетъ быть, дѣйствительно, я имѣлъ тайное желаніе, чтобъ... умеръ отецъ, но клянусь тебѣ, я не столь былъ виновенъ, какъ ты думаешь и, можетъ быть, не подбивалъ тебя вовсе. Нѣтъ, нѣтъ, не подбивалъ! Но все равно, я покажу на себя самъ, завтра же, на судѣ, я рѣшилъ! Я все скажу, все. Но мы явимся вмѣстѣ съ тобою! И что̀ бы ты ни говорилъ на меня на судѣ, что̀ бы ты ни свидѣтельствовалъ — принимаю и не боюсь тебя; самъ все подтвержу! Но и ты долженъ предъ судомъ сознаться! Долженъ, долженъ, вмѣстѣ пойдемъ! Такъ и будетъ!

Иванъ проговорилъ это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что такъ и будетъ.

— Больны вы, я вижу-съ, совсѣмъ больны-съ. Желтые у васъ совсѣмъ глаза-съ, — произнесъ Смердяковъ, но совсѣмъ безъ насмѣшки, даже какъ будто соболѣзнуя.

— Вмѣстѣ пойдемъ! — повторилъ Иванъ, — а не пойдешь, — все равно, я одинъ сознаюсь.

Смердяковъ помолчалъ, какъ бы вдумываясь.

— Ничего этого не будетъ-съ, и вы не пойдете-съ, — рѣшилъ онъ, наконецъ, безаппеляціонно.

— Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнулъ Иванъ.

— Слишкомъ стыдно вамъ будетъ-съ, если на себя во всемъ признаетесь. А пуще того безполезно будетъ, совсѣмъ-съ, потому я прямо вѣдь скажу, что ничего такого я вамъ не говорилъ-съ никогда, а что вы или въ болѣзни какой (а на то и похоже-съ), али ужъ братца такъ своего пожалѣли, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, такъ какъ все равно меня какъ за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человѣка. Ну, и кто жъ вамъ повѣритъ, ну, и какое у васъ есть хоть одно доказательство?

— Слушай, эти деньги ты показалъ мнѣ теперь, конечно, чтобы меня убѣдить.

Смердяковъ снялъ съ пачекъ Исаака Сирина и отложилъ въ сторону.

— Эти деньги съ собою возьмите-съ и унесите, — вздохнулъ Смердяковъ.

— Конечно, унесу! Но почему же ты мнѣ отдаешь, если изъ-за нихъ убилъ? — съ большимъ удивленіемъ посмотрѣлъ на него Иванъ.

— Не надо мнѣ ихъ вовсе-съ, — дрожащимъ голосомъ проговорилъ Смердяковъ, махнувъ рукой. — Была такая прежняя мысль-съ, что съ такими деньгами жизнь начну, въ Москвѣ, али пуще того за границей, такая мечта была-съ, а пуще все потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-съ, ибо много вы мнѣ тогда этого говорили: ибо коли Бога безконечнаго нѣтъ, то и нѣтъ никакой добродѣтели, да и не надобно ея тогда вовсе. Это вы вправду. Такъ я и разсудилъ.

— Своимъ умомъ дошелъ? — криво усмѣхнулся Иванъ.

— Вашимъ руководительствомъ-съ.

— А теперь, стало быть, въ Бога увѣровалъ, коли деньги назадъ отдаешь?

— Нѣтъ-съ, не увѣровалъ-съ, — прошепталъ Смердяковъ.

— Такъ зачѣмъ отдаешь?

— Полноте... нечего-съ! — махнулъ опять Смердяковъ рукой. — Вы вотъ сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему такъ встревожены, сами-то-съ? Показывать на себя даже хотите идти... Только ничего того не будетъ! Не пойдете показывать! — твердо и убѣжденно рѣшилъ опять Смердяковъ.

— Увидишь! — проговорилъ Иванъ.

— Не можетъ того быть. Умны вы очень-съ. Деньги любите, это я знаю-съ, почетъ тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмѣрно любите, а пуще всего въ покойномъ довольствѣ жить и чтобы никому не кланяться, — это пуще всего-съ. Не захотите вы жизнь навѣки испортить, такой стыдъ на судѣ принявъ. Вы какъ Ѳедоръ Павловичъ, наиболѣе-съ, изо всѣхъ дѣтей наиболѣе на него похожи вышли, съ одною съ ними душой-съ.

— Ты не глупъ, — проговорилъ Иванъ какъ бы пораженный; кровь ударила ему въ лицо, — я прежде думалъ, что ты глупъ. Ты теперь серьезенъ! — замѣтилъ онъ, какъ-то вдругъ по-новому глядя на Смердякова.

— Отъ гордости вашей думали, что я глупъ. Примите деньги-то-съ.

Иванъ взялъ всѣ три пачки кредитокъ и сунулъ въ карманъ, не обертывая ихъ ничѣмъ.

— Завтра ихъ на судѣ покажу, — сказалъ онъ.

— Никто вамъ тамъ не повѣритъ-съ, благо де-

негъ-то у васъ и своихъ теперь довольно, взяли изъ шкатунки да и принесли-съ.

Иванъ всталъ съ мѣста.

— Повторяю тебѣ, если не убилъ тебя, то единственно потому, что ты мнѣ на завтра нуженъ, помни это, не забывай!

— А что жъ, убейте-съ. Убейте теперь, — вдругъ странно проговорилъ Смердяковъ, странно смотря на Ивана. — Не посмѣете и этого-съ, — прибавилъ онъ, горько усмѣхнувшись, — ничего не посмѣете, прежній смѣлый человѣкъ-съ!

— До завтра! — крикнулъ Иванъ и двинулся идти.

— Постойте... покажите мнѣ ихъ еще разъ.

Иванъ вынулъ кредитки и показалъ ему. Смердяковъ поглядѣлъ на нихъ секундъ десять.

— Ну, ступайте, — проговорилъ онъ, махнувъ рукой. — Иванъ Ѳедоровичъ! — крикнулъ онъ вдругъ ему вслѣдъ опять.

— Чего тебѣ? — обернулся Иванъ уже на ходу.

— Прощайте-съ!

— До завтра! — крикнулъ опять Иванъ, и вышелъ изъ избы. Метель все продолжалась. Первые шаги прошелъ онъ бодро, но вдругъ какъ бы сталъ шататься. «Это что-то физическое», — подумалъ онъ, усмѣхнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь въ его душу. Онъ почувствовалъ въ себѣ какую-то безконечную твердость: конецъ колебаніямъ его, столь ужасно его мучившимъ все послѣднее время! Рѣшеніе было взято «и уже не измѣнится», со счастьемъ подумалъ онъ. Въ это мгновеніе онъ вдругъ на что-то споткнулся и чуть не упалъ. Остановясь, онъ различилъ въ ногахъ своихъ поверженнаго имъ мужиченку, все такъ же

лежавшаго на томъ же самомъ мѣстѣ, безъ чувствъ и безъ движенія. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иванъ вдругъ схватилъ его и потащилъ на себѣ. Увидавъ направо въ домишкѣ свѣтъ, подошелъ, постучалъ въ ставни, и откликнувшагося мѣщанина, которому принадлежалъ домишко, попросилъ помочь ему дотащить мужика въ частный домъ, обѣщая тутъ же дать за то три рубля. Мѣщанинъ собрался и вышелъ. Не стану въ подробности описывать, какъ удалось тогда Ивану Ѳедоровичу достигнуть цѣли и пристроить мужика въ части съ тѣмъ, чтобы сейчасъ же учинить и осмотръ его докторомъ, при чемъ онъ опять выдалъ и тутъ щедрою рукою «на расходы». Скажу только, что дѣло взяло почти цѣлый часъ времени. Но Иванъ Ѳедоровичъ остался очень доволенъ. Мысли его раскидывались и работали: «если бы не было взято такъ твердо рѣшеніе мое на завтра», — подумалъ онъ вдругъ съ наслажденіемъ, — «то не остановился бы я на цѣлый часъ пристраивать мужиченку, а прошелъ бы мимо его и только плюнулъ бы на то, что онъ замерзнетъ... Однако, какъ я въ силахъ наблюдать за собой!» подумалъ онъ въ ту же минуту еще съ большимъ наслажденіемъ: «а они-то рѣшили тамъ, что я съ ума схожу!» Дойдя до своего дома, онъ вдругъ остановился подъ внезапнымъ вопросомъ: «а не надо ль сейчасъ, теперь же, пойти къ прокурору и все объявить?» Вопросъ онъ рѣшилъ, поворотивъ опять къ дому: «завтра все вмѣстѣ!» прошепталъ онъ про себя, и, странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли въ одинъ мигъ. Когда же онъ вступилъ въ свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдругъ къ его сердцу, какъ будто воспоми-

наніе, вѣрнѣе, напоминаніе о чемъ-то мучительномъ и отвратительномъ, находящемся именно въ этой комнатѣ теперь, сейчасъ, да и прежде бывшемъ. Онъ устало опустился на свой диванъ. Старуха принесла ему самоваръ, онъ заварилъ чай, но не прикоснулся къ нему; старуху отослалъ до завтра. Онъ сидѣлъ на диванѣ и чувствовалъ головокруженіе. Онъ чувствовалъ, что боленъ и безсиленъ. Сталъ было засыпать, но въ безпокойствѣ всталъ и прошелся по комнатѣ, чтобы прогнать сонъ. Минутами мерещилось ему, что какъ будто онъ бредитъ. Но не болѣзнь занимала его всего болѣе: усѣвшись опять, онъ началъ изрѣдка оглядываться кругомъ, какъ будто что-то высматривая. Такъ было нѣсколько разъ. Наконецъ, взглядъ его пристально направился въ одну точку. Иванъ усмѣхнулся, но краска гнѣва залила его лицо. Онъ долго сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, крѣпко подперевъ обѣими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявшій у противоположной стѣны диванъ. Его, видимо, что-то тамъ раздражало, какой-то предметъ, безпокоило, мучило.

IX.

Чертъ. Кошмаръ Ивана Ѳедоровича.

Я не докторъ, а между тѣмъ чувствую, что пришла минута, когда мнѣ рѣшительно необходимо объяснить хоть что-нибудь въ свойствѣ болѣзни Ивана Ѳедоровича читателю. Забѣгая впередъ, скажу лишь одно: онъ былъ теперь, въ этотъ вечеръ, именно какъ разъ наканунѣ бѣлой горячки, которая, наконецъ, уже вполнѣ овладѣла его из-

давна разстроеннымъ, но упорно сопротивлявшимся болѣзни организмомъ. Не зная ничего въ медицинѣ, рискну высказать предположеніе, что, дѣйствительно, можетъ быть, ужаснымъ напряженіемъ воли своей, онъ успѣлъ на время отдалить болѣзнь, мечтая, разумѣется, совсѣмъ преодолѣть ее. Онъ зналъ, что нездоровъ, но ему съ отвращеніемъ не хотѣлось быть больнымъ въ это время, въ эти наступающія роковыя минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смѣло и рѣшительно и самому «оправдать себя предъ собою». Онъ, впрочемъ, сходилъ однажды къ новому прибывшему изъ Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вслѣдствіе одной ея фантазіи, о которой я уже упоминалъ выше. Докторъ, выслушавъ и осмотрѣвъ его, заключилъ, что у него въ родѣ даже какъ бы разстройства въ мозгу, и нисколько не удивился нѣкоторому признанію, которое тотъ съ отвращеніемъ, однако, сдѣлалъ ему. «Галлюцинаціи въ вашемъ состояніи очень возможны, рѣшилъ докторъ, хотя надо бы ихъ и провѣрить . . . вообще же необходимо начать лѣченіе серьезно, не теряя ни минуты, не то будетъ плохо». Но Иванъ Ѳедоровичъ, выйдя отъ него, благоразумнаго совѣта не исполнилъ и лечь лѣчиться пренебрегъ: «Хожу вѣдь, силы есть пока, свалюсь — дѣло другое, тогда пусть лѣчитъ кто хочетъ», рѣшилъ онъ, махнувъ рукой. Итакъ, онъ сидѣлъ теперь, почти сознавая самъ, что въ бреду и, какъ уже сказалъ я, упорно приглядывался къ какому-то предмету у противоположной стѣны на диванѣ. Тамъ вдругъ оказался сидящимъ нѣкто, Богъ знаетъ какъ вошедшій, потому что его еще не было въ комнатѣ, когда Иванъ Ѳедоровичъ, воз-

вратясь отъ Смердякова, вступилъ въ нее. Это былъ какой-то господинъ или, лучше, сказать, извѣстнаго сорта русскій джентльменъ, лѣтъ уже не молодыхъ, «qui frisait la cinquantaine», какъ говорятъ французы, съ не очень сильною просѣдью въ темныхъ, довольно длинныхъ и густыхъ еще волосахъ и въ стриженой бородкѣ клиномъ. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то коричневый пиджакъ, очевидно, отъ лучшаго портного, но уже поношенный, сшитый примѣрно еще третьяго года и совершенно вышедшій изъ моды, такъ что изъ свѣтскихъ достаточныхъ людей такихъ уже два года никто не носилъ. Бѣлье, длинный галстукъ въ видѣ шарфа, все было такъ, какъ и у всѣхъ шиковатыхъ джентльменовъ, но бѣлье, если вглядѣться ближе, было грязновато, а широкій шарфъ очень потертъ. Клѣтчатыя панталоны гостя сидѣли превосходно, но были опять-таки слишкомъ свѣтлы и какъ-то слишкомъ узки, какъ теперь уже перестали носить, равно какъ и мягкая бѣлая пуховая шляпа, которую уже слишкомъ не по сезону притащилъ съ собою гость. Словомъ, былъ видъ порядочности при весьма слабыхъ карманныхъ средствахъ. Похоже было на то, что джентльменъ принадлежалъ къ разряду бывшихъ бѣлоручекъ-помѣщиковъ, процвѣтавшихъ еще при крѣпостномъ правѣ; очевидно, видавшій свѣтъ и порядочное общество, имѣвшій когда-то связи и сохранившій ихъ, пожалуй, и до сихъ поръ, но мало-по-малу, съ обѣдненіемъ послѣ веселой жизни въ молодости и недавней отмѣны крѣпостного права, обратившійся въ родѣ какъ бы въ приживальщика хорошаго тона, скитающагося по добрымъ старымъ знакомымъ, которые принимаютъ его за уживчивый складный

характеръ, да еще и въ виду того, что все же порядочный человѣкъ, котораго даже и при комъ угодно можно посадить у себя за столъ, хотя, конечно, на скромное мѣсто. Такіе приживальщики, складнаго характера джентльмены, умѣющіе поразсказать, составить партію въ карты и рѣшительно не любящіе никакихъ порученій, если имъ ихъ навязываютъ, — обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, можетъ быть, и имѣющіе дѣтей, но дѣти ихъ воспитываются всегда гдѣ-то далеко, у какихъ-нибудь тетокъ, о которыхъ джентльменъ никогда почти не упоминаетъ въ порядочномъ обществѣ, какъ бы нѣсколько стыдясь такого родства. Отъ дѣтей же отвыкаетъ мало-по-малу совсѣмъ, изрѣдка получая отъ нихъ къ своимъ именинамъ и къ Рождеству поздравительныя письма и иногда даже отвѣчая на нихъ. Физіономія неожиданнаго гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствамъ, на всякое любезное выраженіе. Часовъ на немъ не было, но былъ черепаховый лорнетъ на черной лентѣ. На среднемъ пальцѣ правой руки красовался массивный золотой перстень съ недорогимъ опаломъ. Иванъ Ѳедоровичъ злобно молчалъ и не хотѣлъ заговаривать. Гость ждалъ и именно сидѣлъ, какъ приживальщикъ, только что сошедшій сверху изъ отведенной ему комнаты внизъ къ чаю составить хозяину компанію, но смиренно молчавшій въ виду того, что хозяинъ занятъ и о чемъ-то нахмуренно думаетъ; готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяинъ начнетъ его. Вдругъ лицо его выразило какъ бы нѣкоторую внезапную озабоченность.

— Послушай, — началъ онъ Ивану Ѳедоровичу, — ты извини, я только чтобы напомнить: ты вѣдь къ Смердякову пошелъ съ тѣмъ, чтобъ узнать про Катерину Ивановну, а ушелъ ничего о ней не узнавъ, вѣрно забылъ . . .

— Ахъ, да! — вырвалось вдругъ у Ивана, и лицо его омрачилось заботой, — да, я забылъ . . . Впрочемъ, теперь все равно, все до завтра, — пробормоталъ онъ про себя. — А ты, — раздражительно обратился онъ къ гостю, — это я самъ сейчасъ долженъ былъ вспомнить, потому что именно объ этомъ томило тоской! Что ты выскочилъ, такъ я тебѣ и повѣрю, что это ты подсказалъ, а не я самъ вспомнилъ?

— А не вѣрь, — ласково усмѣхнулся джентльменъ. — Что за вѣра насиліемъ? При томъ же въ вѣрѣ никакія доказательства не помогаютъ, особенно матеріальныя. Ѳома повѣрилъ не потому, что увидѣлъ воскресшаго Христа, а потому, что еще прежде желалъ повѣрить. Вотъ, напримѣръ, спириты . . . я ихъ очень люблю . . . вообрази, они полагаютъ, что полезны для вѣры, потому что имъ черти съ того свѣта рожки показываютъ. «Это, дескать, доказательство уже, такъ сказать, матеріальное, что есть тотъ свѣтъ». Тотъ свѣтъ и матеріальныя доказательства, ай люли! И, наконецъ, если доказанъ чертъ, то еще неизвѣстно, доказанъ ли Богъ? Я хочу въ идеалистическое общество записаться, оппозицію у нихъ буду дѣлать: «дескать, реалистъ, а не матеріалистъ, хе-хе!»

— Слушай, — всталъ вдругъ изъ-за стола Иванъ Ѳедоровичъ. — Я теперь точно въ бреду . . . и ужъ, конечно, въ бреду . . . врн, что хочешь, мнѣ все равно! Ты меня не приведешь въ изступленіе,

какъ въ прошлый разъ. Мнѣ только чего-то стыдно... Я хочу ходить по комнатѣ... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, какъ въ прошлый разъ, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что *это я, я самъ говорю, а не ты!* Не знаю только, спалъ ли я въ прошлый разъ или видѣлъ тебя наяву? Вотъ я обмочу полотенце холодной водой и приложу къ головѣ, и авось ты исправишься.

Иванъ Ѳедоровичъ прошелъ въ уголъ, взялъ полотенце, исполнилъ, какъ сказалъ, и съ мокрымъ полотенцемъ на головѣ сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Мнѣ нравится, что мы съ тобой прямо стали на *ты,* — началъ было гость.

— Дуракъ, — засмѣялся Иванъ, — что жъ я *вы,* что ли, стану тебѣ говорить. Я теперь веселъ, только въ вискѣ болитъ... и темя... только пожалуйста не философствуй, какъ въ прошлый разъ. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, вѣдь ты приживальщикъ, такъ сплетничай. Навяжется же такой кошмаръ! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолѣю. Не свезутъ въ сумасшедшій домъ!

— C'est charmant—приживальщикъ. Да, я именно въ своемъ видѣ. Кто жъ я на землѣ, какъ не приживальщикъ. Кстати, я вѣдь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей Богу, ты меня какъ будто уже начинаешь помаленьку принимать за нѣчто и въ самомъ дѣлѣ, а не за твою только фантазію, какъ стоялъ на томъ въ прошлый разъ...

— Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, — какъ-то яростно даже вскричалъ Иванъ. — Ты ложь, ты болѣзнь моя, ты призракъ.

Я только не знаю, чѣмъ тебя истребить, и вижу, что нѣкоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинація. Ты воплощеніе меня самого, только одной, впрочемъ, моей стороны... моихъ мыслей и чувствъ, только самыхъ гадкихъ и глупыхъ. Съ этой стороны ты могъ бы быть даже мнѣ любопытенъ, если бы только мнѣ было время съ тобой возиться...

— Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричалъ ему: «ты отъ *него* узналъ! Почему ты узналъ, что *онъ* ко мнѣ ходитъ?» Это вѣдь ты про меня вспоминалъ. Стало быть, одно маленькое мгновеньице вѣдь вѣрилъ же, вѣрилъ, что я дѣйствительно есмь, — мягко засмѣялся джентльменъ.

— Да, это была слабость природы... но я не могъ тебѣ вѣрить. Я не знаю, спалъ ли я или ходилъ прошлый разъ. Я, можетъ быть, тогда тебя только во снѣ видѣлъ, а вовсе не наяву...

— А зачѣмъ ты давеча съ нимъ такъ сурово, съ Алешей-то? Онъ милый, я предъ нимъ за старца Зосиму виноватъ.

— Молчи про Алешу! Какъ ты смѣешь, лакей! — опять засмѣялся Иванъ.

— Бранишься, а самъ смѣешься, — хорошій знакъ. Ты, впрочемъ, сегодня гораздо со мной любезнѣе, чѣмъ въ прошлый разъ, и я понимаю отчего: это великое рѣшеніе...

— Молчи про рѣшеніе! — свирѣпо вскричалъ Иванъ.

— Понимаю, понимаю, c'est noble, c'est charmant, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя въ жертву... c'est chevaleresque.

— Молчи, я тебѣ пинковъ надаю!

— Отчасти буду радъ, ибо тогда моя цѣль достигнута: коли пинки, значитъ, вѣришь въ мой реализмъ, потому что призраку не даютъ пинковъ. Шутки въ сторону: мнѣ вѣдь все равно, бранись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повѣжливѣе, хотя бы даже со мной. А то дуракъ, да лакей, ну что за слова!

— Браня тебя — себя браню! — опять засмѣялся Иванъ, — ты — я, самъ я, только съ другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не въ силахъ сказать мнѣ новаго!

— Если я схожусь съ тобою въ мысляхъ, то это дѣлаетъ мнѣ только честь, — съ деликатностью и достоинствомъ проговорилъ джентльменъ.

— Только все скверныя мои мысли берешь, а главное — глупыя. Ты глупъ и пошлъ. Ты ужасно глупъ. Нѣтъ, я тебя не вынесу! Что мнѣ дѣлать, что мнѣ дѣлать! — проскрежеталъ Иванъ.

— Другъ мой, я все-таки хочу быть джентльменомъ и чтобы меня такъ и принимали, — въ припадкѣ нѣкоторой чисто приживальщицкой и уже впередъ уступчивой и добродушной амбиціи началъ гость. — Я бѣденъ, но . . . не скажу, что очень честенъ, но . . . обыкновенно въ обществѣ принято за аксіому, что я падшій ангелъ. Ей Богу, не могу прдставить, какимъ образомъ я могъ быть когда-нибудь ангеломъ. Если и былъ когда, то такъ давно, что не грѣшно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутаціей порядочнаго чолевѣка и живу, какъ придется, стараясь быть пріятнымъ. Я людей люблю искренно, — о, меня во многомъ оклеветали! Здѣсь, когда временами я къ вамъ переселяюсь, моя жизнь протекаетъ въ родѣ чего-то какъ бы и въ самомъ дѣлѣ, и это мнѣ болѣе всего нравится.

Вѣдь я и самъ, какъ и ты же, страдаю отъ фантастическаго, а потому и люблю вашъ земной реализмъ. Тутъ у васъ все очерчено, тутъ формула, тутъ геометрія, а у насъ все какія-то неопредѣленныя уравненія! Я здѣсь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. Къ тому же на землѣ я становлюсь суевѣренъ, — не смѣйся, пожалуйста: мнѣ именно это-то и нравится, что я становлюсь суевѣренъ. Я здѣсь всѣ ваши привычки принимаю: я въ баню торговую полюбилъ ходить, можешь ты это представить, и люблю съ купцами и попами париться. Моя мечта это — воплотиться, но чтобъ ужъ окончательно, безвозвратно, въ какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему повѣрить, во что она вѣритъ. Мой идеалъ — войти въ церковь и поставить свѣчку отъ чистаго сердца, ей Богу такъ. Тогда предѣлъ моимъ страданіямъ. Вотъ тоже лѣчиться у васъ полюбилъ: весной оспа пошла, я пошелъ и въ воспитательномъ домѣ себѣ оспу привилъ, — если бъ ты зналъ, какъ я былъ въ тотъ день доволенъ: на братьевъ славянъ десять рублей пожертвовалъ!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себѣ, — помолчалъ немного джентльменъ. — Я знаю, ты ходилъ вчера къ тому доктору . . . ну, какъ твое здоровье? Что̀ тебѣ докторъ сказалъ?

— Дуракъ! — отрѣзалъ Иванъ.

— Зато ты-то какъ уменъ. Ты опять бранишься? Я вѣдь не то чтобъ изъ участія, а такъ. Пожалуй, не отвѣчай. Теперь вотъ ревматизмы опять пошли . . .

— Дуракъ, — повторилъ опять Иванъ.

— Ты все свое, а я вотъ такой ревматизмъ

прошлаго года схватилъ, что до сихъ поръ вспоминаю.

— У черта ревматизмъ?

— Почему же и нѣтъ, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, такъ и принимаю послѣдствія. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.

— Какъ, какъ? Сатана sum et nihil humanum... это не глупо для черта!

— Радъ, что, наконецъ угодилъ.

— А вѣдь это ты взялъ не у меня,—остановился вдругъ Иванъ какъ бы пораженный, — это мнѣ никогда въ голову не приходило, это странно . . .

— C'est du nouveau n'est ce pas? На этотъ разъ я поступлю честно и объясню тебѣ. Слушай: въ снахъ, и особенно въ кошмарахъ, ну, тамъ отъ разстройства желудка или чего-нибудь, иногда видитъ человѣкъ такіе художественные сны, такую сложную и реальную дѣйствительность, такія событія или даже цѣлый міръ событій, связанный такою интригой, съ такими неожиданными подробностями, начиная съ высшихъ вашихъ проявленій до послѣдней пуговицы на манишкѣ, что, клянусь тебѣ, Левъ Толстой не сочинитъ, а между тѣмъ видятъ такіе сны иной разъ вовсе не сочинители, совсѣмъ самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчетъ этого даже цѣлая задача: одинъ министръ такъ даже мнѣ самъ признавался, что всѣ лучшія идеи его приходятъ къ нему, когда онъ спитъ. Ну вотъ такъ и теперь. Я хоть и твоя галлюцинація, но, какъ и въ кошмарѣ, я говорю вещи оригинальныя, какія тебѣ до сихъ поръ въ голову не приходили, такъ что уже вовсе не повторяю твоихъ мыслей, а между тѣмъ я только твой кошмаръ и больше ничего.

— Лжешь. Твоя цѣль именно увѣрить, что ты самъ по себѣ, а не мой кошмаръ, и вотъ ты теперь подтверждаешь самъ, что ты сонъ.

— Другъ мой, сегодня я взялъ особую методу, я потомъ тебѣ расголкую. Постой, гдѣ же я остановился? Да, вотъ я тогда простудился, только не у васъ, а еще тамъ . . .

— Гдѣ тамъ? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? — почти въ отчаяніи воскликнулъ Иванъ. Онъ оставилъ ходить, сѣлъ на диванъ, опять облокотился на столъ и стиснулъ обѣими руками голову. Онъ сорвалъ съ себя мокрое полотенце и съ досадой отбросилъ его: очевидно, не помогало.

— У тебя разстроены нервы, — замѣтилъ джентльменъ съ развязно-небрежнымъ, но совершенно дружелюбнымъ, однако, видомъ, — ты сердишься на меня даже за то, что я могъ простудиться, а между тѣмъ произошло оно самымъ естественнымъ образомъ. Я тогда поспѣшалъ на одинъ дипломатическій вечеръ къ одной высшей петербургской дамѣ, которая мѣтила въ министры. Ну, фракъ, бѣлый галстукъ, перчатки, и, однако, я былъ еще Богъ знаетъ гдѣ, и чтобы попасть къ вамъ на землю предстояло еще перелетѣть пространство . . . конечно, это одинъ только мигъ, но вѣдь и лучъ свѣта отъ солнца идетъ цѣлыхъ восемь минутъ, а тутъ, представь, во фракѣ и въ открытомъ жилетѣ. Духи не замерзаютъ, но ужъ когда воплотился, то . . . словомъ, свѣтренничалъ, и пустился, а вѣдь въ пространствахъ-то этихъ, въ эѳирѣ-то, въ водѣ-то этой, яже бѣ надъ твердію,— вѣдь это такой морозъ . . . то есть какое морозъ,— это ужъ и морозомъ назвать нельзя, можешь пред-

ставить: сто пятьдесятъ градусовъ ниже нуля! Извѣстна забава деревенскихъ дѣвокъ: на тридцатиградусномъ морозѣ предлагаютъ новичку лизнуть топоръ; языкъ мгновенно примерзаетъ, и олухъ въ кровь сдираетъ съ него кожу; такъ вѣдь это только на тридцати градусахъ, а на ста-то пятидесяти, да тутъ только палецъ, я думаю, приложить къ топору, и его какъ не бывало, если бы... только тамъ могъ случиться топоръ...

— А тамъ можетъ случиться топоръ? — разсѣянно и гадливо перебилъ вдругъ Иванъ Ѳедоровичъ. Онъ сопротивлялся изо всѣхъ силъ, чтобы не повѣрить своему бреду и не впасть въ безуміе окончательно.

— Топоръ?—переспросилъ гость въ удивленіи.

— Ну да, что̀ станется тамъ съ топоромъ? — съ какимъ-то свирѣпымъ и настойчивымъ упорствомъ вдругъ вскричалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

— Что̀ станется въ пространствѣ съ топоромъ? Quelle idée! Если куда попадетъ подальше, то примется, я думаю, летать вокругъ земли, самъ не зная зачѣмъ, въ видѣ спутника. Астрономы вычислятъ восхожденіе и захожденіе топора, Гатцукъ внесетъ въ календарь, вотъ и все.

— Ты глупъ, ты ужасно глупъ! — строптиво сказалъ Иванъ, — ври умнѣе, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмомъ, увѣрить меня, что ты есть, но я не хочу вѣрить, что ты есть! Не повѣрю!!

— Да я и не вру, все правда; къ сожалѣнію, правда почти всегда бываетъ неостроумна. Ты, я вижу, рѣшительно ждешь отъ меня чего-то великаго, а, можетъ быть, и прекраснаго. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу...

— Не философствуй, оселъ!

— Какая тутъ философія, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Былъ у всей медицины: распознать умѣютъ отлично, всю болѣзнь разскажутъ тебѣ, какъ по пальцамъ, ну, а вылѣчить не умѣютъ. Студентикъ тутъ одинъ случился восторженный: «если вы, говоритъ, и умрете, то зато будете вполнѣ знать отъ какой болѣзни умерли!» Опять-таки эта ихъ манера отсылать къ спеціалистамъ: мы, дескать, только распознаемъ, а вотъ поѣзжайте къ такому-то спеціалисту, онъ ужъ вылѣчитъ. Совсѣмъ, совсѣмъ, я тебѣ скажу, исчезъ прежній докторъ, который ото всѣхъ болѣзней лѣчилъ, теперь только одни спеціалисты и все въ газетахъ публикуются. Заболи у тебя носъ, тебя шлютъ въ Парижъ: тамъ, дескать, европейскій спеціалистъ носы лѣчитъ. Пріѣдешь въ Парижъ, онъ осмотритъ носъ: я вамъ, скажетъ, только правую ноздрю могу вылѣчить, потому что лѣвыхъ ноздрей не лѣчу, это не моя спеціальность, а поѣзжайте послѣ меня въ Вѣну, тамъ вамъ особый спеціалистъ лѣвую ноздрю долѣчитъ. Что будешь дѣлать? Прибѣгнулъ къ народнымъ средствамъ, одинъ нѣмецъ-докторъ посовѣтовалъ въ банѣ на полкѣ медомъ съ солью вытереться. Я единственно, чтобы только въ баню лишній разъ сходить, пошелъ: выпачкался весь, и никакой пользы. Съ отчаянія графу Маттеи въ Миланъ написалъ; прислалъ книгу и капли, Богъ съ нимъ. И вообрази: мальцъ-экстратъ Гоффа помогъ! Купилъ нечаянно, выпилъ полторы склянки, и хоть танцовать, все какъ рукой сняло. Непремѣнно положилъ ему «спасибо» въ газетахъ напечатать, чувство благодарности заговорило, и вотъ, вообрази, тутъ уже другая исторія пошла: ни въ од-

той-то редакціи не принимаютъ! «Ретроградно очень будетъ, говорятъ, никто не повѣритъ, le diable n'existe point. Вы, совѣтуютъ, напечатайте анонимно». Смѣюсь съ конторщиками: «это въ Бога, говорю, въ нашъ вѣкъ ретроградно вѣрить, а вѣдь я чертъ, въ меня можно». — «Понимаемъ, говорятъ, кто же въ черта не вѣритъ, а все-таки нельзя, направленію повредить можетъ. Развѣ въ видѣ шутки?» Ну, въ шутку-то, подумалъ, будетъ неостроумно. Такъ и не напечатали. И, вѣришь ли, у меня даже на сердцѣ это осталось. Самыя лучшія чувства мои, какъ, напримѣръ, благодарность, мнѣ формально запрещены единственно соціальнымъ моимъ положеніемъ.

— Опять въ философію въѣхалъ? — ненавистно проскрежеталъ Иванъ.

— Боже меня убереги, но вѣдь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человѣкъ оклеветанный. Вотъ ты поминутно мнѣ, что я глупъ. Такъ и видно молодого человѣка. Другъ мой, не въ одномъ умѣ дѣло! У меня отъ природы сердце доброе и веселое, «я вѣдь тоже разные водевильчики». Ты, кажется, рѣшительно принимаешь меня за посѣдѣлаго Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнѣе. Какимъ-то тамъ довременнымъ назначеніемъ, котораго я никогда разобрать не могъ, я опредѣленъ «отрицать», между тѣмъ я искренно добръ и къ отрицанію совсѣмъ неспособенъ. «Нѣтъ, ступай отрицать, безъ отрицанія-де не будетъ критики», а какой же журналъ, если нѣтъ «отдѣленія критики»? Безъ критики будетъ одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтобъ «осанна»-то эта переходила черезъ горнило сомнѣній, ну и такъ далѣе, въ этомъ родѣ.

Я, впрочемъ, во все это не ввязываюсь, не я сотворялъ, не я и въ отвѣтѣ. Ну, и выбрали козла отпущенія, заставили писать въ отдѣленіи критики, и получилась жизнь. Мы эту комедію понимаемъ: я, напримѣръ, прямо и просто требую себѣ уничтоженія. Нѣтъ, живи, говорятъ, потому что безъ тебя ничего не будетъ. Если бы на землѣ было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Безъ тебя не будетъ никакихъ происшествій, а надо, чтобы были происшествія. Вотъ и служу, скрѣпя сердце, чтобы были происшествія, и творю неразумное по приказу. Люди принимаютъ всю эту комедію за нѣчто серьезное, даже при всемъ своемъ безспорномъ умѣ. Въ этомъ ихъ и трагедія. Ну, и страдаютъ, конечно, но... все же зато живутъ, живутъ реально, не фантастически; ибо страданіе-то и есть жизнь. Безъ страданія какое было бы въ ней удовольствіе; все обратилось бы въ одинъ безконечный молебенъ: оно свято, но скучновато. Ну, а я? Я страдаю, а все же не живу. Я иксъ въ неопредѣленномъ уравненіи. Я какой-то призракъ, который потерялъ всѣ концы и начала, и даже самъ позабылъ, наконецъ, какъ и назвать себя. Ты смѣешься... нѣтъ, ты не смѣешься, ты опять сердишься. Ты вѣчно сердишься, тебѣ бы все только ума, а я опять-таки повторяю тебѣ, что я отдалъ бы всю эту надзвѣздную жизнь, всѣ чины и почести за то только, чтобы воплотиться въ душу семипудовой купчихи и Богу свѣчки ставить.

— Ужъ и ты въ Бога не вѣришь? — ненавистно усмѣхнулся Иванъ.

— То есть какъ тебѣ это сказать, если ты только серьезно...

— Есть Богъ или нѣтъ? — опять со свирѣпою настойчивостью крикнулъ Иванъ.

— А, такъ ты серьезно? Голубчикъ мой, ей Богу не знаю, вотъ великое слово сказалъ.

— Не знаешь, а Бога видишь? Нѣтъ, ты не самъ по себѣ, ты — *я,* ты есть *я* и болѣе ничего! Ты — дрянь, ты — моя фантазія!

— То есть, если хочешь, я одной съ тобой философіи, вотъ это будетъ справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю навѣрно, остальное же все, что кругомъ меня, всѣ эти міры, Богъ и даже самъ сатана, — все это для меня не доказано, существуетъ ли оно по себѣ, или есть только одна моя эманація, послѣдовательное развитіе моего *я,* существующаго довременно и единолично... словомъ, я быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчасъ драться вскочишь.

— Лучше бы ты какой анекдотъ! — болѣзненно проговорилъ Иванъ.

— Анекдотъ есть и именно на нашу тему, то есть, это не анекдотъ, а такъ, легенда. Ты вотъ укоряешь меня въ невѣріи: «видишь-де, а не вѣришь». Но, другъ мой, вѣдь не я же одинъ таковъ, у насъ тамъ всѣ теперь помутились, и все отъ вашихъ наукъ. Еще пока были атомы, пять чувствъ, четыре стихіи, ну тогда все кое-какъ клеилось. Атомы-то и въ древнемъ мірѣ были. А вотъ какъ узнали у насъ, что вы тамъ открыли у себя «химическую молекулу», да «протоплазму», да чертъ знаетъ что̀ еще, — такъ у насъ и поджали хвосты. Просто сумбуръ начался; главное—суевѣріе, сплетни; сплетенъ вѣдь и у насъ столько же, сколько у васъ, даже капельку больше, а, наконецъ, и доносы, у насъ вѣдь тоже есть такое одно отдѣленіе, гдѣ

принимаютъ извѣстныя «свѣдѣнія». Такъ вотъ эта дикая легенда, еще среднихъ нашихъ вѣковъ, — не вашихъ, а нашихъ, — и никто-то ей не вѣритъ, даже и у насъ, кромѣ семипудовыхъ купчихъ, то есть опять-таки не вашихъ, а нашихъ купчихъ. Все, что у васъ есть — есть и у насъ, это я ужъ тебѣ по дружбѣ одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта объ раѣ. Былъ, дескать, здѣсь у васъ на землѣ одинъ такой мыслитель и философъ, «все отвергалъ, законы, совѣсть, вѣру», а главное — будущую жизнь. Померъ, думалъ, что прямо во мракъ и смерть, анъ передъ нимъ — будущая жизнь. Изумился и вознегодовалъ: «это, говоритъ, противорѣчитъ моимъ убѣжденіямъ». Вотъ его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я вѣдь передаю самъ, что слышалъ, это только легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошелъ во мракѣ квадрилліонъ километровъ (у насъ вѣдь теперь на километры), и когда кончитъ этотъ квадрилліонъ, то тогда ему отворятъ райскія двери и все простятъ...

— А какія муки у васъ на томъ свѣтѣ кромѣ-то квадрилліона? — съ какимъ-то страннымъ оживленіемъ прервалъ Иванъ.

— Какія муки? Ахъ, и не спрашивай: прежде было и такъ и сякъ, а нынѣ все больше нравственныя пошли, «угрызенія совѣсти» и весь этотъ вздоръ. Это тоже отъ васъ завелось, отъ «смягченія вашихъ нравовъ». Ну, и кто же выигралъ, выиграли одни безсовѣстные, потому, что жъ ему за угрызенія совѣсти, когда и совѣсти-то нѣтъ вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которыхъ еще оставалась совѣсть и честь... То-то вотъ реформы-то на неприготовленную-то почву,

да еще списанныя съ чужихъ учрежденій, — одинъ только вредъ! Древній огонекъ-то лучше бы. Ну, такъ вотъ этотъ осужденный на квадрилліонъ постоялъ, посмотрѣлъ и легъ поперекъ дороги: «не хочу идти, изъ принципа не пойду!» Возьми душу русскаго просвѣщеннаго атеиста и смѣшай съ душой пророка Іоны, будировавшаго во чревѣ китовѣ три дня и три ночи, — вотъ тебѣ характеръ этого улегшагося на дорогѣ мыслителя.

— На чемъ же онъ тамъ улегся?

— Ну, тамъ вѣрно было на чемъ. Ты не смѣешься?

— Молодецъ! — крикнулъ Иванъ, все въ томъ же странномъ оживленіи. Теперь онъ слушалъ съ какимъ-то неожиданнымъ любопытствомъ. — Ну, что жъ, и теперь лежитъ?

— То-то и есть что нѣтъ. Онъ пролежалъ почти тысячу лѣтъ, а потомъ всталъ и пошелъ.

— Вотъ оселъ-то! — воскликнулъ Иванъ, нервно захохотавъ, все какъ бы что-то усиленно соображая. — Не все ли равно, лежать ли вѣчно или идти квадрилліонъ верстъ? Вѣдь это билліонъ лѣтъ ходу?

— Даже гораздо больше, вотъ только нѣтъ карандашика и бумажки, а то бы разсчитать можно. Да вѣдь онъ давно уже дошелъ, и тутъ-то начинается анекдотъ.

— Какъ дошелъ! Да гдѣ жъ онъ билліонъ лѣтъ взялъ!

— Да вѣдь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да вѣдь теперешняя земля, можетъ, сама-то билліонъ разъ повторялась; ну, отживала, леденѣла, трескалась, разсыпалась, разлагалась на составныя начала, опять вода, яже бѣ надъ твердію,

потомъ опять комета, опять солнце, опять изъ солнца земля, — вѣдь это развитіе, можетъ, уже безконечно разъ повторяется, и все въ одномъ и томъ же видѣ, до черточки. Скучища неприличнѣйшая...

— Ну-ну, что же вышло, когда дошелъ?

А только что ему отворили въ рай, и онъ вступилъ, то, не пробывъ еще двухъ секундъ — и это по часамъ, по часамъ (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него въ карманѣ дорогой), — не пробывъ двухъ секундъ, воскликнулъ, что за эти двѣ секунды не только квадрилліонъ, но квадрилліонъ квадрилліоновъ пройти можно, да еще возвысивъ въ квадрилліонную степень! Словомъ, пропѣлъ «осанну», да и пересолилъ, такъ что иные тамъ, съ образомъ мыслей поблагороднѣе, такъ даже руки ему не хотѣли подать на первыхъ порахъ: слишкомъ-де ужъ стремительно въ консерваторы перескочилъ. Русская натура. Повторяю: легенда. За что купилъ, за то и продалъ. Такъ вотъ еще какія тамъ у насъ обо всѣхъ этихъ предметахъ понятія ходятъ.

— Я тебя поймалъ! — вскричалъ Иванъ съ какою-то почти дѣтскою радостью, какъ бы уже окончательно что-то припомнивъ: этотъ анекдотъ о квадрилліонѣ лѣтъ, — это я самъ сочинилъ! Мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ, я былъ въ гимназіи... я этотъ анекдотъ тогда сочинилъ и разсказалъ одному товарищу, фамилія его Коровкинъ, это было въ Москвѣ... Анекдотъ этотъ такъ характеренъ, что я не могъ его ниоткуда взять. Я его было забылъ... но онъ мнѣ припомнился теперь безсознательно, — мнѣ самому, а не ты разсказалъ!

Какъ тысячи вещей припоминаются иногда безсознательно, даже когда казнить везутъ... во снѣ припомнился. Вотъ ты и есть этотъ сонъ! Ты сонъ и не существуешь!

— По азарту, съ какимъ ты отвергаешь меня, — засмѣялся джентльменъ, — я убѣждаюсь, что ты все-таки въ меня вѣришь.

— Ни мало! На сотую долю не вѣрю!

— Но на тысячную вѣришь. Гомеопатическія-то доли вѣдь самыя, можетъ быть, сильныя. Признайся, что вѣришь, ну, на десятитысячную...

— Ни одной минуты! — яростно вскричалъ Иванъ. — Я, впрочемъ, желалъ бы въ тебя повѣрить! — странно вдругъ прибавилъ онъ.

— Эге! Вотъ, однако, признаніе! Но я добръ, я тебѣ и тутъ помогу. Слушай: это я тебя поймалъ, а не ты меня! Я нарочно тебѣ твой же анекдотъ разсказалъ, который ты ужъ забылъ, чтобы ты окончательно во мнѣ разувѣрился.

— Лжешь! Цѣль твоего появленія увѣрить меня, что ты есть.

— Именно. Но колебанія, но безпокойство, но борьба вѣры и невѣрія, — это вѣдь такая иногда мука для совѣстливаго человѣка, вотъ какъ ты, что лучше повѣситься. Я именно, зная, что капельку вѣришь въ меня, подпустилъ тебѣ невѣрія уже окончательно, расказавъ этотъ анекдотъ. Я тебя вожу между вѣрой и безвѣріемъ поперемѣнно, и тутъ у меня своя цѣль. Новая метода-съ: вѣдь когда ты во мнѣ совсѣмъ разувѣришься, то тотчасъ меня же въ глаза начнешь увѣрять, что я не сонъ, а есмь въ самомъ дѣлѣ, я тебя ужъ знаю; вотъ я тогда и достигну цѣли. А цѣль моя благородная. Я въ тебя только крохотное сѣмячко вѣры брошу,

а изъ него вырастетъ дубъ, — да еще такой дубъ, что ты, сидя на дубѣ-то, въ «отцы пустынники и въ жены непорочны» пожелаешь вступить; ибо тебѣ оченно, оченно того въ тайнѣ хочется, акриды кушать будешь, спасаться въ пустыню потащишься!

— Такъ ты, негодяй, для спасенія моей души стараешься?

— Надо же хоть когда-нибудь доброе дѣло сдѣлать. Злишься-то ты, злишься, какъ я погляжу!

— Шутъ! А искушалъ ты когда-нибудь вотъ этакихъ-то, вотъ что акриды-то ѣдятъ да по семнадцати лѣтъ въ голой пустынѣ молятся, мохомъ обросли?

— Голубчикъ мой, только это и дѣлалъ. Весь міръ и міры забудешь, а къ одному этакому прилѣпишься, потому что брилліантъ-то ужъ очень драгоцѣненъ; одна вѣдь такая душа стòитъ иной разъ цѣлаго созвѣздія, — у насъ вѣдь своя ариѳметика. Побѣда-то драгоцѣнна! А вѣдь иные изъ нихъ, ей Богу, не ниже тебя по развитію, хоть ты этому и не повѣришь: такія бездны вѣры и безвѣрія могу созерцать въ одинъ и тотъ же моментъ, что, право, иной разъ кажется только бы еще одинъ волосокъ — и полетитъ человѣкъ «вверхъ тормашки», какъ говоритъ актеръ Горбуновъ.

— Ну и что жъ, отходилъ съ носомъ?

— Другъ мой, — замѣтилъ сентенціозно гость, — съ носомъ все же лучше отойти, чѣмъ иногда совсѣмъ безъ носа, какъ недавно еще изрекъ одинъ болящій маркизъ (должно быть, спеціалистъ лѣчилъ) на исповѣди своему духовному отцу-іезуиту. Я присутствовалъ — просто прелесть. «Возвратите мнѣ, говоритъ, мой носъ!» И бьетъ себя въ грудь. — «Сынъ мой, виляетъ патеръ, по неиспо-

вѣдимымъ судьбамъ Провидѣнія все восполняется, и видимая бѣда влечетъ иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила васъ носа, то выгода ваша въ томъ, что уже никто во всю вашу жизнь не осмѣлится вамъ сказать, что вы остались съ носомъ». — «Отецъ святой, это не утѣшеніе!» восклицаетъ отчаянный, — «я былъ бы, напротивъ, въ восторгѣ всю жизнь каждый день оставаться съ носомъ, только бы онъ былъ у меня на надлежащемъ мѣстѣ!» — «Сынъ мой, вздыхаетъ патеръ, всѣхъ благъ нельзя требовать разомъ и это уже ропотъ на Провидѣніе, которое даже и тутъ не забыло васъ; ибо если вы вопіете, какъ возопили сейчасъ, что съ радостью готовы бы всю жизнь оставаться съ носомъ, то и тутъ уже косвенно исполнено желаніе ваше: ибо, потерявъ носъ, вы тѣмъ самымъ все же какъ бы остались съ носомъ» . . .

— Фу, какъ глупо! — крикнулъ Иванъ.

— Другъ мой, я хотѣлъ только тебя разсмѣшить, но, клянусь, это настоящая іезуитская казуистика, и, клянусь, все это случилось буква въ букву, какъ я изложилъ тебѣ. Случай этотъ недавній и доставилъ мнѣ много хлопотъ. Несчастный молодой человѣкъ, возвратясь домой, въ ту же ночь застрѣлился; я былъ при немъ неотлучно до послѣдняго момента . . . Что же до исповѣдальныхъ этихъ іезуитскихъ будочекъ, то это воистину самое милое мое развлеченіе въ грустныя минуты жизни. Вотъ тебѣ еще одинъ случай, совсѣмъ уже надняхъ. Приходитъ къ старику патеру блондиночка, норманочка, лѣтъ двадцати дѣвушка. Красотка, тѣлеса, натура — слюнки текутъ. Нагнулась, шепчетъ патеру въ дырочку свой грѣхъ. — «Что

вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали? . .» восклицаетъ патеръ. «О, Sancta Maria, что я слышу: уже не съ тѣмъ. Но доколѣ же это продолжится, и какъ вамъ не стыдно!» — «Ah, mon père», отвѣчаетъ грѣшница, вся въ покаянныхъ слезахъ: — «Ca lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!» Ну, представь себѣ такой отвѣтъ! Тутъ ужъ я и отступился: это крикъ самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тутъ же отпустилъ ей грѣхъ и повернулся было идти, но тотчасъ же принужденъ былъ и воротиться: слышу, патеръ въ дырочку ей назначаетъ вечеромъ свиданіе, — а вѣдь старикъ — кремень, и вотъ палъ въ одно мгновеніе! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротишь носъ, опять сердишься? Не знаю ужъ чѣмъ и угодить тебѣ . . .

— Оставь меня, ты стучишь въ моемъ мозгу, какъ неотвязный кошмаръ, — болѣзненно простоналъ Иванъ, въ безсиліи предъ своимъ видѣніемъ, — мнѣ скучно съ тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много далъ, если бы могъ прогнать тебя!

— Повторяю, умѣрь свои требованія, не требуй отъ меня «всего великаго и прекраснаго» и увидишь, какъ мы дружно съ тобою уживемся, — внушительно проговорилъ джентльменъ. — Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебѣ какъ-нибудь въ красномъ сіяніи, «гремя и блистая», съ опаленными крыльями, а предсталъ въ такомъ скромномъ видѣ. Ты оскорбленъ, во-первыхъ, въ эстетическихъ чувствахъ твоихъ, а, во-вторыхъ, въ гордости: какъ, дескать, къ такому великому человѣку могъ войти такой пошлый чертъ? Нѣтъ, въ тебѣ-таки есть эта романтическая струйка, столь осмѣянная еще Бѣлинскимъ. Что дѣлать,

молодой человѣкъ. Я вотъ думалъ давеча, собираясь къ тебѣ, для шутки предстать въ видѣ отставного дѣйствительнаго статскаго совѣтника, служившаго на Кавказѣ, со звѣздой Льва и Солнца на фракѣ, но рѣшительно побоялся, потому что ты избилъ бы меня только за то, какъ я смѣлъ прицѣпить на фракѣ Льва и Солнце, а не прицѣпилъ, по крайней мѣрѣ, Полярную Звѣзду али Сиріуса. И все ты о томъ, что я глупъ. Но, Богъ мой, я и претензій не имѣю равняться съ тобой умомъ. Мефистофель, явившись къ Фаусту, засвидѣтельствовалъ о себѣ, что онъ хочетъ зла, а дѣлаетъ лишь добро. Ну, это какъ ему угодно, я же совершенно напротивъ. Я, можетъ быть, единственный человѣкъ во всей природѣ, который любитъ истину и искренно желаетъ добра. Я былъ при томъ, когда умершее на крестѣ Слово восходило въ небо, неся на персяхъ своихъ душу распятаго одесную разбойника, я слышалъ радостные взвизги херувимовъ, поющихъ и вопіющихъ: «осанна», и громовой вопль восторга серафимовъ, отъ котораго потряслось небо и все мірозданіе. И вотъ, клянусь же всѣмъ, что есть свято, я хотѣлъ примкнуть къ хору и крикнуть со всѣми «осанна!» Уже слетало, уже рвалось изъ груди... я вѣдь, ты знаешь, очень чувствителенъ и художественно воспріимчивъ. Но здравый смыслъ, — о, самое несчастное свойство моей природы, — удержалъ меня и тутъ въ должныхъ границахъ, и я пропустилъ мгновеніе! Ибо что же, подумалъ я въ ту же минуту, — что же бы вышло послѣ моей-то «осанны»? Тотчасъ бы все угасло на свѣтѣ и не стало бы случаться никакихъ происшествій. И вотъ, единственно по долгу службы и по соціальному моему положенію я при-

нужденъ былъ задавить въ себѣ хорошій моментъ и остаться при пакостяхъ. Честь добра кто-то беретъ всю себѣ, а мнѣ оставлены въ удѣлъ только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбивъ. Почему изо всѣхъ существъ въ мірѣ только лишь я одинъ обреченъ на проклятія отъ всѣхъ порядочныхъ людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, долженъ принимать иной разъ и такія послѣдствія? Я вѣдь знаю, тутъ есть секретъ, но секретъ мнѣ ни за что не хотятъ открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись въ чемъ дѣло, рявкну «осанну», и тотчасъ исчезнетъ необходимый минусъ и начнется во всемъ мірѣ благоразуміе, а съ нимъ, разумѣется, и конецъ всему, даже газетамъ и журналамъ, потому что кто жъ на нихъ тогда станетъ подписываться. Я вѣдь знаю, въ концѣ концовъ, я помирюсь, дойду и я мой квадрилліонъ, и узнаю секретъ. Но пока это произойдетъ, будирую и, скрѣпя сердце, исполняю мое назначеніе: губить тысячу, чтобы спасся одинъ. Сколько, напримѣръ, надо было погубить душъ и опозорить честныхъ репутацій, чтобы получить одного только праведнаго Іова, на которомъ меня такъ зло поддѣли во время оно! Нѣтъ, пока не открытъ секретъ, для меня существуютъ двѣ правды: одна тамошняя, ихняя, мнѣ пока совсѣмъ неизвѣстная, а другая моя. И еще неизвѣстно, которая будетъ почище . . . Ты заснулъ?

— Еще бы, — злобно простоналъ Иванъ, — все, что ни есть глупаго въ природѣ моей, давно уже пережитаго, перемолотаго въ умѣ моемъ, отброшеннаго, какъ падаль, — ты мнѣ же подносишь, какъ какую-то новость!

— Не потрафилъ и тутъ! А я-то думалъ тебя

даже литературнымъ изложеніемъ прельстить: эта «осанна»-то въ небѣ, право, недурно вѣдь у меня вышло? Затѣмъ сейчасъ этотъ саркастическій тонъ à la Гейне, а, не правда ли?

— Нѣтъ, я никогда не былъ такимъ лакеемъ! Почему же душа моя могла породить такого лакея, какъ ты?

— Другъ мой, я знаю одного прелестнѣйшаго и милѣйшаго русскаго барченка: молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящныхъ вещей, автора поэмы, которая обѣщаетъ, подъ названіемъ: «Великій Инквизиторъ» . . . Я его только и имѣлъ въ виду!

— Я тебѣ запрещаю говорить о «Великомъ Инквизиторѣ», — воскликнулъ Иванъ, весь покраснѣвъ отъ стыда.

— Ну, а «Геологическій-то переворотъ»? Помнишь? Вотъ это такъ ужъ поэмка!

— Молчи, или я убью тебя!

— Это меня-то убьешь? Нѣтъ, ужъ извини, выскажу. Я и пришелъ, чтобъ угостить себя этимъ удовольствіемъ. О, я люблю мечты пылкихъ, молодыхъ, трепещущихъ жаждой жизни друзей моихъ! «Тамъ новые люди», рѣшилъ ты еще прошлою весной, сюда собираясь, «они полагаютъ разрушить все и начать съ антропофагіи. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить въ человѣчествѣ идею о Богѣ, вотъ съ чего надо приняться за дѣло! Съ этого, съ этого надобно начинать, — о, слѣпцы, ничего не понимающіе! Разъ человѣчество отречется поголовно отъ Бога (а я вѣрю, что этотъ періодъ, параллельно геологическимъ періодамъ, совершится), то само собою, безъ

антропофагіи, падетъ все прежнее міровоззрѣніе и, главное, вся прежняя нравственность, и наступитъ все новое. Люди совокупятся, чтобы взять отъ жизни все, что она можетъ дать, но непремѣнно для счастія и радости въ одномъ только здѣшнемъ мірѣ. Человѣкъ возвеличится духомъ божеской, титанической гордости и явится человѣко-богъ. Ежечасно побѣждая уже безъ границъ природу, волею своею и наукой, человѣкъ тѣмъ самымъ ежечасно будетъ ощущать наслажденіе столь высокое, что оно замѣнитъ ему всѣ прежнія упованія наслажденій небесныхъ. Всякій узнаетъ, что онъ смертенъ весь, безъ воскресенія, и приметъ смерть гордо и спокойно, какъ богъ. Онъ изъ гордости пойметъ, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновеніе, и возлюбитъ брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будетъ удовлетворять лишь мгновеніе жизни, но одно уже сознаніе ея мгновенности усилитъ огонь ея настолько, насколько прежде расплывалась она въ упованіяхъ на любовь загробную и безконечную»... ну и прочее, и прочее, въ томъ же родѣ. Премило!

Иванъ сидѣлъ, зажавъ себѣ уши руками и смотря въ землю, но началъ дрожать всѣмъ тѣломъ. Гость продолжалъ:

— Вопросъ теперь въ томъ, думалъ мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой періодъ наступилъ когда-нибудь или нѣтъ? Если наступитъ, то все рѣшено, и человѣчество устроится окончательно. Но такъ какъ, въ виду закоренѣлой глупости человѣческой, это, пожалуй, еще и въ тысячу лѣтъ не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно какъ ему угодно, на новыхъ началахъ. Въ

этомъ смыслѣ ему «все позволено». Мало того: если даже періодъ этотъ и никогда не наступитъ, но такъ какъ Бога и безсмертія все-таки нѣтъ, то новому человѣку позволительно стать человѣкобогомъ, даже хотя бы одному въ цѣломъ мірѣ, и, ужъ, конечно, въ новомъ чинѣ, съ легкимъ сердцемъ перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежняго раба-человѣка, если оно понадобится. Для Бога не существуетъ закона! Гдѣ станетъ Богъ — тамъ уже мѣсто Божіе! Гдѣ стану я, тамъ сейчасъ же будетъ первое мѣсто... «все дозволено» и шабашъ! Все это очень мило; только если захотѣлъ мошенничать, зачѣмъ бы еще, кажется, санкція истины? Но ужъ таковъ нашъ русскій современный человѣчекъ: безъ санкціи и смошенничать не рѣшится, до того ужъ истину возлюбилъ...

Гость говорилъ, очевидно увлекаясь своимъ краснорѣчіемъ, все болѣе и болѣе возвышая голосъ и насмѣшливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иванъ вдругъ схватилъ со стола стаканъ и съ размаху пустилъ въ оратора.

— Ah, mais c'est bête enfin! — воскликнулъ тотъ, вскакивая съ дивана и смахивая пальцами съ себя брызги чаю, — вспомнилъ Лютерову чернильницу! Самъ же меня считаетъ за сонъ и кидается стаканами въ сонъ! Это по-женски! А вѣдь я такъ и подозрѣвалъ, что ты дѣлалъ только видъ, что заткнулъ свои уши, а ты слушалъ...

Въ раму окна вдругъ раздался со двора твердый и настойчивый стукъ. Иванъ Ѳедоровичъ вскочилъ съ дивана.

— Слышишь, лучше отвори, — вскричалъ гость, — это братъ твой Алеша съ самымъ неожи-

даннымъ и любопытнымъ извѣстіемъ, ужъ я тебѣ отвѣчаю!

— Молчи, обманщикъ, я прежде тебя зналъ, что это Алеша, я его предчувствовалъ, и, ужъ, конечно, онъ не даромъ, конечно, съ «извѣстіемъ»! . . — воскликнулъ изступленно Иванъ.

— Отопри же, отопри ему. На дворѣ метель, а онъ братъ твой. M-r, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chein dehors . . .

Стукъ продолжался. Иванъ хотѣлъ было кинуться къ окну; но что-то какъ бы вдругъ связало ему ноги. Изо всѣхъ силъ онъ напрягался, какъ бы порвать свои путы, но тщетно. Стукъ въ окно усиливался все больше и громче. Наконецъ, вдругъ порвались путы, и Иванъ Ѳедоровичъ вскочилъ на диванѣ. Онъ дико осмотрѣлся. Обѣ свѣчки почти догорѣли, стаканъ, который онъ только что бросилъ въ своего гостя, стоялъ предъ нимъ на столѣ, а на противоположномъ диванѣ никого не было. Стукъ въ оконную раму, хотя и продолжался настойчиво, но совсѣмъ не такъ громко, какъ сейчасъ только мерещилось ему во снѣ, напротивъ, очень сдержанно.

— Это не сонъ! Нѣтъ, клянусь, это былъ не сонъ, это все сейчасъ было! — вскричалъ Иванъ Ѳедоровичъ, бросился къ окну и отворилъ форточку.

— Алеша, я вѣдь не велѣлъ приходить! — свирѣпо крикнулъ онъ брату. — Въ двухъ словахъ: чего тебѣ надо? Въ двухъ словахъ, слышишь?

— Часъ тому назадъ повѣсился Смердяковъ, — отвѣтилъ со двора Алеша.

— Пройди на крыльцо, сейчасъ отворю тебѣ, — сказалъ Иванъ и пошелъ отворять Алешѣ.

X.

„Это онъ говорилъ!“

Алеша, войдя, сообщилъ Ивану Ѳедоровичу, что часъ съ небольшимъ назадъ прибѣжала къ нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяковъ лишилъ себя жизни. «Вхожу этта къ нему самоваръ прибрать, а онъ у стѣнки на гвоздочкѣ виситъ». На вопросъ Алеши: «заявила ль она кому слѣдуетъ?» отвѣтила, что никому не заявляла, а «прямо бросилась къ вамъ къ первому и всю дорогу бѣжала бѣгомъ». Она была, какъ помѣшанная, передавалъ Алеша, и вся дрожала, какъ листъ. Когда же Алеша прибѣжалъ вмѣстѣ съ ней въ ихъ избу, то засталъ Смердякова все еще висѣвшимъ. На столѣ лежала записка: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить». Алеша такъ и оставилъ эту записку на столѣ и пошелъ прямо къ исправнику, у него обо всемъ заявилъ, «а оттуда прямо къ тебѣ», заключилъ Алеша, пристально вглядываясь въ лицо Ивана. И все время, пока онъ разсказывалъ, онъ не отводилъ отъ него глазъ какъ бы чѣмъ-то очень пораженный въ выраженіи его лица.

— Братъ, — вскричалъ онъ вдругъ, — ты вѣрно ужасно боленъ! Ты смотришь и какъ будто не понимаешь, что я говорю.

— Это хорошо, что ты пришелъ, — проговорилъ какъ бы задумчиво Иванъ и какъ бы вовсе не слыхавъ восклицанія Алеши. — А вѣдь я зналъ, что онъ повѣсился.

— Отъ кого же?

— Не знаю отъ кого. Но я зналъ. Зналъ ли

я? Да, онъ мнѣ сказалъ. Онъ сейчасъ еще мнѣ говорилъ...

Иванъ стоялъ среди комнаты и говорилъ все такъ же задумчиво и смотря въ землю.

— Кто *онъ*? — спросилъ Алеша, невольно оглядѣвшись кругомъ.

— Онъ улизнулъ.

Иванъ поднялъ голову и тихо улыбнулся:

— Онъ тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувимъ». Тебя Дмитрій херувимомъ зоветъ. Херувимъ... Громовой вопль восторга серафимовъ! Что такое серафимъ? Можетъ быть, цѣлое созвѣздіе. А можетъ быть, все-то созвѣздіе есть всего только какая-нибудь химическая молекула... Есть созвѣздіе Льва и Солнца, не знаешь ли?

— Братъ, сядь! — проговорилъ Алеша въ испугѣ, — сядь, ради Бога, на диванъ. Ты въ бреду, прилягъ на подушку, вотъ такъ. Хочешь полотенце мокрое къ головѣ? Можетъ, лучше станетъ?

— Дай полотенце, вотъ тутъ на стулѣ, я давеча сюда бросилъ.

— Тутъ нѣтъ его. Не безпокойся, я знаю, гдѣ лежитъ; вотъ оно, — сказалъ Алеша, сыскавъ въ другомъ углу комнаты, у туалетнаго столика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное полотенце. Иванъ странно посмотрѣлъ на полотенце; память какъ бы вмигъ воротилась къ нему.

— Постой, — привсталъ онъ съ дивана, — я давеча, часъ назадъ, это самое полотенце взялъ оттуда же и смочилъ водой. Я прикладывалъ къ головѣ и бросилъ сюда... какъ же оно сухое? Другого не было.

— Ты прикладывалъ это полотенце къ головѣ? — спросилъ Алеша.

— Да, и ходилъ по комнатѣ, часъ назадъ... Почему такъ свѣчки сгорѣли? Который часъ?

— Скоро двѣнадцать.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! — вскричалъ вдругъ Иванъ, — это былъ не сонъ! Онъ былъ, онъ тутъ сидѣлъ, вонъ на томъ диванѣ. Когда ты стучалъ въ окно, я бросилъ въ него стаканъ... вотъ этотъ... Постой, я и прежде спалъ, но этотъ сонъ не сонъ. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бываютъ сны... но они не сны, а наяву, я хожу, говорю и вижу... а сплю. Но онъ тутъ сидѣлъ, онъ былъ, вотъ на этомъ диванѣ... Онъ ужасно глупъ, Алеша, ужасно глупъ, — засмѣялся вдругъ Иванъ и принялся шагать по комнатѣ.

— Кто глупъ? Про кого ты говоришь, братъ?— опять тоскливо спросилъ Алеша.

— Чертъ! Онъ ко мнѣ повадился. Два раза былъ, даже почти три. Онъ дразнилъ меня тѣмъ, будто я сержусь, что онъ просто чертъ, а не сатана съ опаленными крыльями, въ громѣ и блескѣ. Но онъ не сатана, это онъ лжетъ. Онъ самозванецъ. Онъ просто чертъ, дрянной, мелкій чертъ. Онъ въ баню ходитъ. Раздѣнь его и навѣрно отыщешь хвостъ, длинный, гладкій, какъ у датской собаки, въ аршинъ длиной, бурый... Алеша, ты озябъ, ты въ снѣгу былъ, хочешь чаю? Что? Холодный? Хочешь, велю поставить? C'est à ne pas mettre un chien dehors...

Алеша быстро сбѣгалъ къ рукомойнику, намочилъ полотенце, уговорилъ Ивана опять сѣсть и обложилъ ему мокрымъ полотенцемъ голову. Самъ сѣлъ подлѣ него.

— Что ты мнѣ давеча говорилъ про Лизу? — началъ опять Иванъ. (Онъ становился очень словоохотливъ.) — Мнѣ нравится Лиза. Я сказалъ про нее тебѣ что-то скверное. Я солгалъ, мнѣ она нравится... Я боюсь завтра за Катю, больше всего боюсь. За будущее. Она завтра броситъ меня и растопчетъ ногами. Она думаетъ, что я изъ ревности къ ней гублю Митю! Да, она это думаетъ! Такъ вотъ нѣтъ же! Завтра крестъ, но не висѣлица. Нѣтъ, я не повѣшусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алеша! Отъ подлости, что ли? Я не трусъ. Отъ жажды жить! Почему это я зналъ, что Смердяковъ повѣсился? Да, это *онъ* мнѣ сказалъ...

— И ты твердо увѣренъ, что кто-то тутъ сидѣлъ? — спросилъ Алеша.

— Вонъ на томъ диванѣ, въ углу. Ты бы его прогналъ. Да ты же его и прогналъ: онъ исчезъ, какъ ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Зналъ ли ты, что я люблю твое лицо? А *онъ*—это я, Алеша, я самъ. Все мое низкое, все мое подлое и презрѣнное! Да, я «романтикъ», онъ это подмѣтилъ... хоть это и клевета. Онъ ужасно глупъ, но онъ этимъ беретъ. Онъ хитеръ, животно хитеръ, онъ зналъ, чѣмъ взбѣсить меня. Онъ все дразнилъ меня, что я въ него вѣрю и тѣмъ заставилъ меня его слушать. Онъ надулъ меня, какъ мальчишку. Онъ мнѣ, впрочемъ, сказалъ про меня много правды. Я бы никогда этого не сказалъ себѣ. Знаешь, Алеша, знаешь, — ужасно серьезно и какъ бы конфиденціально прибавилъ Иванъ,—я бы очень желалъ, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ *онъ*, а не я!

— Онъ тебя измучилъ, — сказалъ Алеша, съ состраданіемъ смотря на брата.

— Дразнилъ меня! И, знаешь, ловко, ловко: «совѣсть! Что совѣсть? Я самъ ее дѣлаю. Зачѣмъ же я мучаюсь? По привычкѣ. По всемірной человѣческой привычкѣ за семь тысячъ лѣтъ. Такъ отвыкнемъ и будемъ боги». — Это онъ говорилъ, это онъ говорилъ!

— А не ты, не ты? — ясно смотря на брата, неудержимо вскричалъ Алеша. — Ну и пусть его, брось его и забудь о немъ! Пусть онъ унесетъ съ собою все, что ты теперь проклинаешь, и никогда не приходитъ.

— Да, но онъ золъ. Онъ надо мной смѣялся. Онъ былъ дерзокъ, Алеша, — съ содроганіемъ обиды проговорилъ Иванъ. — Но онъ клеветалъ на меня, онъ во многомъ клеветалъ. Лгалъ мнѣ же на меня же въ глаза. «О, ты идешь совершить подвигъ добродѣтели, объявишь, что убилъ отца, что лакей по твоему наущенію убилъ отца»...

— Братъ, — прервалъ Алеша, — удержись: не ты убилъ. Это неправда!

— Это онъ говоритъ, онъ, а онъ это знаетъ. «Ты идешь совершить подвигъ добродѣтели, а въ добродѣтель-то и не вѣришь — вотъ, что тебя злитъ и мучаетъ, вотъ отчего ты такой мстительный». — Это онъ мнѣ про меня говорилъ, а онъ знаетъ, что говоритъ...

— Это ты говоришь, а не онъ! — горестно воскликнулъ Алеша, — и говоришь въ болѣзни, въ бреду, себя мучая!

— Нѣтъ, онъ знаетъ, что говоритъ. Ты, говоритъ, изъ гордости идешь, ты станешь и скажешь: «это я убилъ, и чего вы корчитесь отъ ужаса, вы лжете! Мнѣніе ваше презираю, ужасъ вашъ презираю»: — это онъ про меня говоритъ, и вдругъ

говоритъ: «а знаешь, тебѣ хочется, чтобъ они тебя похвалили: «преступникъ, дескать, убійца, но какія у него великодушныя чувства, брата спасти захотѣлъ и признался!» Вотъ это такъ ужъ ложь, Алеша! — вскричалъ вдругъ Иванъ, засверкавъ глазами. — Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это онъ солгалъ, Алеша, солгалъ, клянусь тебѣ! Я бросилъ въ него за это стаканомъ, и онъ расшибся объ его морду.

— Братъ, успокойся, перестань! — упрашивалъ Алеша.

— Нѣтъ, онъ умѣетъ мучить, онъ жестокъ, — продолжалъ не слушая Иванъ. — Я всегда предчувствовалъ, зачѣмъ онъ приходитъ. «Пусть, говоритъ, ты шелъ изъ гордости, но вѣдь все же была и надежда, что уличатъ Смердякова и сошлютъ на каторгу, что Митю оправдаютъ, а тебя осудятъ лишь *нравственно* — слышишь, онъ тутъ смѣялся! — а другіе такъ и похвалятъ. Но вотъ умеръ Смердяковъ, повѣсился, — ну и кто жъ тебѣ тамъ на судѣ теперь-то одному повѣритъ? А вѣдь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты рѣшилъ, что пойдешь. Для чего же ты идешь послѣ этого?» Это страшно, Алеша, я не могу выносить такихъ вопросовъ. Кто смѣетъ мнѣ задавать такіе вопросы?

— Братъ, — прервалъ Алеша, замирая отъ страха, но все еще какъ бы надѣясь образумить Ивана, — какъ же могъ онъ говорить тебѣ про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не зналъ о ней, да и времени не было никому узнать?

— Онъ говорилъ, — твердо произнесъ Иванъ, не допуская и сомнѣнія. — Онъ только про это и

говорилъ, если хочешь. «И добро бы ты, говоритъ, въ добродѣтель вѣрилъ: пусть не повѣрятъ мнѣ, для принципа иду. Но вѣдь ты поросенокъ, какъ Ѳедоръ Павловичъ, и что тебѣ добродѣтель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни къ чему не послужитъ? А потому что ты самъ не знаешь, для чего идешь! О, ты бы много далъ, чтобъ узнать самому для чего идешь! И будто ты рѣшился? Ты еще не рѣшился! Ты всю ночь будешь сидѣть и рѣшать: идти или нѣтъ? Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, самъ знаешь, что какъ бы ты ни рѣшался, а рѣшеніе ужъ не отъ тебя зависитъ. Пойдешь, потому что не смѣешь не пойти. Почему не смѣешь, — это ужъ самъ угадай, вотъ тебѣ загадка!» Всталъ и ушелъ. Ты пришелъ, а онъ ушелъ. Онъ меня трусомъ назвалъ, Алеша! Le mot de l'enigme, что я трусъ! «Не такимъ орламъ воспарять надъ землей!» Это онъ прибавилъ, это онъ прибавилъ! И Смердяковъ это же говорилъ. Его надо убить! Катя меня презираетъ, я уже мѣсяцъ это вижу, да и Лиза презирать начнетъ! «Идешь, чтобъ тебя похвалили», — это звѣрская ложь! И ты уже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу! И изверга ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга, пусть сгніетъ въ каторгѣ! Гимнъ запѣлъ! О, завтра пойду, стану предъ ними и плюну имъ всѣмъ въ глаза!

Онъ вскочилъ въ изступленіи, сбросилъ съ себя полотенце и принялся снова шагать по комнатѣ. Алеша вспомнилъ давешнія слова: «какъ будто я сплю наяву... Хожу, говорю и вижу, а сплю». Именно какъ будто это совершалось теперь. Алеша не отходилъ отъ него. Мелькнула было у него

мысль бѣжать къ доктору и привесть того, но онъ побоялся оставить брата одного: поручить его совсѣмъ некому было. Наконецъ, Иванъ, мало-помалу, сталъ совсѣмъ лишаться памяти. Онъ все продолжалъ говорить, говорилъ не умолкая, но уже совсѣмъ нескладно. Даже плохо выговаривалъ слова и вдругъ сильно покачнулся на мѣстѣ. Но Алеша успѣлъ поддержать его. Иванъ далъ себя довести до постели, Алеша кое-какъ раздѣлъ его и уложилъ. Самъ просидѣлъ надъ нимъ еще часа два. Больной спалъ крѣпко, безъ движенія, тихо и ровно дыша. Алеша взялъ подушку и легъ на диванѣ, не раздѣваясь. Засыпая, помолился о Митѣ и объ Иванѣ. Ему становилась понятною болѣзнь Ивана: «муки гордаго рѣшенія, глубокая совѣсть!» Богъ, которому онъ не вѣрилъ, и правда Его одолѣвали сердце, все еще не хотѣвшее подчиниться. «Да, — неслось въ головѣ Алеши, уже лежавшей на подушкѣ, — да, коль Смердяковъ умеръ, то показанію Ивана никто уже не повѣритъ; но онъ пойдетъ и покажетъ!» Алеша тихо улыбнулся: «Богъ побѣдитъ!» подумалъ онъ. «Или возстанетъ въ свѣтѣ правды, или . . . погибнетъ въ ненависти, мстя себѣ и всѣмъ за то, что послужилъ тому, во что не вѣритъ», горько прибавилъ Алеша и опять помолился за Ивана.

Книга двѣнадцатая.

Судебная ошибка.

I.

Роковой день.

На другой день послѣ описанныхъ мною событій, въ десять часовъ утра, открылось засѣданіе нашего окружнаго суда, и начался судъ надъ Дмитріемъ Карамазовымъ.

Скажу впередъ и скажу съ настойчивостью: я далеко не считаю себя въ силахъ передать все то, что произошло на судѣ, и не только въ надлежащей полнотѣ, но даже и въ надлежащемъ порядкѣ. Мнѣ все кажется, что если бы все припомнить и все какъ слѣдуетъ разъяснить, то потребуется цѣлая книга и даже пребольшая. А потому пусть не посѣтуютъ на меня, что я передамъ лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнилъ. Я могъ принять второстепенное за главнѣйшее, даже совсѣмъ упустить самыя рѣзкія необходимѣйшія черты . . . А, впрочемъ, вижу, что лучше не извиняться. Сдѣлаю, какъ умѣю, и читатели сами поймутъ, что я сдѣлалъ лишь, какъ умѣлъ.

И, во-первыхъ, прежде, чѣмъ мы войдемъ въ

залу суда, упомяну о томъ, что меня въ этотъ день особенно удивило. Впрочемъ, удивило не одного меня, а, какъ оказалось впослѣдствіи, и всѣхъ. Именно: всѣ знали, что дѣло это заинтересовало слишкомъ многихъ, что всѣ сгорали отъ нетерпѣнія, когда начнется судъ, что въ обществѣ нашемъ много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже цѣлые два мѣсяца. Всѣ знали тоже, что дѣло это получило всероссійскую огласку, но, все-таки, не представляли себѣ, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всѣхъ и каждаго, да и не у насъ только, а повсемѣстно, какъ оказалось это на самомъ судѣ въ этотъ день. Къ этому дню къ намъ съѣхались гости не только изъ нашего губернскаго города, но и изъ нѣкоторыхъ другихъ городовъ Россіи, а, наконецъ, изъ Москвы и изъ Петербурга. Пріѣхали юристы, пріѣхало даже нѣсколько знатныхъ лицъ, а также и дамы. Всѣ билеты были расхватаны. Для особенно почетныхъ и знатныхъ посѣтителей изъ мужчинъ отведены были даже совсѣмъ уже необыкновенныя мѣста сзади стола, за которымъ помѣщался судъ; тамъ появился цѣлый рядъ занятыхъ разными особами креселъ, чего никогда у насъ прежде не допускалось. Особенно много оказалось дамъ, — нашихъ и пріѣзжихъ, я думаю, даже не менѣе половины всей публики. Однихъ только съѣхавшихся отовсюду юристовъ оказалось такъ много, что даже не знали ужъ, гдѣ ихъ и помѣстить, такъ какъ всѣ билеты давно были уже розданы, выпрошены и вымолены. Я видѣлъ самъ, какъ въ концѣ залы, за эстрадой, была временно и наскоро устроена особая загородка, въ которую впустили всѣхъ этихъ съѣхавшихся юристовъ, и они

почли себя даже счастливыми, что могли тутъ хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать мѣсто, были изъ этой загородки совсѣмъ вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла все «дѣло», густо сомкнувшеюся кучей, плечомъ къ плечу. Нѣкоторыя изъ дамъ, особенно изъ пріѣзжихъ, явились на хорахъ залы чрезвычайно разряженныя, но большинство дамъ даже и о нарядахъ забыло. На ихъ лицахъ читалось истерическое, жадное, болѣзненное почти любопытство. Одна изъ характернѣйшихъ особенностей всего этого собравшагося въ залѣ общества, и которую необходимо отмѣтить, состояла въ томъ, что, какъ и оправдалось потомъ по многимъ наблюденіямъ, почти всѣ дамы, по крайней мѣрѣ огромнѣйшее большинство ихъ, стояли за Митю и за оправданіе его. Можетъ быть, главное, потому, что о немъ составилось представленіе, какъ о покорителѣ женскихъ сердецъ. Знали, что явятся двѣ женщины-соперницы. Одна изъ нихъ, то есть Катерина Ивановна, особенно всѣхъ интересовала; про нее разсказывалось чрезвычайно много необыкновеннаго, про ея страсть къ Митѣ, несмотря даже на его преступленіе, разсказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось объ ея гордости (она почти никому въ нашемъ городѣ не сдѣлала визитовъ), объ «аристократическихъ связяхъ». Говорили, что она намѣрена просить правительство, чтобъ ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвѣнчаться съ нимъ гдѣ-нибудь въ рудникахъ подъ землей. Съ неменьшимъ волненіемъ ожидали появленія на судѣ и Грушеньки, какъ соперницы Катерины Ивановны. Съ мучительнымъ любопытствомъ ожидали встрѣчи предъ судомъ двухъ соперницъ — аристократиче-

ской гордой дѣвушки и «гетеры»; Грушенька, впрочемъ, была извѣстнѣе нашимъ дамамъ, чѣмъ Катерина Ивановна. Ее, «погубительницу Ѳедора Павловича и несчастнаго сына его», видали наши дамы и прежде, и всѣ, почти до единой, удивлялись, какъ въ такую «самую обыкновенную, совсѣмъ даже некрасивую собой русскую мѣщанку» могли до такой степени влюбиться отецъ и сынъ. Словомъ, толковъ было много. Мнѣ положительно извѣстно, что собственно въ нашемъ городѣ произошло даже нѣсколько серьезныхъ семейныхъ ссоръ изъ-за Мити. Многія дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядовъ на все это ужасное дѣло, и естественно послѣ того, что всѣ мужья этихъ дамъ явились въ залу суда уже не только нерасположенными къ подсудимому, но даже озлобленными противъ него. И вообще положительно можно было сказать, что въ противоположность дамскому, весь мужской элементъ былъ настроенъ противъ подсудимаго. Виднѣлись строгія, нахмуренныя лица, другія даже совсѣмъ злобныя, и это во множествѣ. Правда и то, что Митя многихъ изъ нихъ сумѣлъ оскорбить лично во время своего у насъ пребыванія. Конечно, иные изъ посѣтителей были почти даже веселы и весьма безучастны собственно къ судьбѣ Мити, но все же опять-таки не къ разсматривавшемуся дѣлу; всѣ были заняты исходомъ его, и большинство мужчинъ рѣшительно желало кары преступнику, кромѣ развѣ юристовъ, которымъ дорога была не нравственная сторона дѣла, а лишь, такъ сказать, современно-юридическая. Всѣхъ волновалъ пріѣздъ знаменитаго Ѳетюковича. Талантъ его былъ извѣстенъ повсемѣстно, и это уже не въ первый разъ, что онъ являлся въ провинціи защи-

щать громкія уголовныя дѣла. И послѣ его защиты таковыя дѣла всегда становились знаменитыми на всю Россію и надолго памятными. Ходило нѣсколько анекдотовъ и о нашемъ прокурорѣ и о предсѣдателѣ суда. Разсказывалось, что нашъ прокуроръ трепеталъ встрѣчи съ Ѳетюковичемъ, что это были старинные враги еще съ Петербурга, еще съ начала ихъ карьеры, что самолюбивый нашъ Ипполитъ Кирилловичъ, считавшій себя постоянно кѣмъ-то обиженнымъ еще съ Петербурга, за то, что не были надлежаще оцѣнены его таланты, воскресъ было духомъ надъ дѣломъ Карамазовыхъ и мечталъ даже воскресить этимъ дѣломъ свое увядшее поприще, но что пугалъ его лишь Ѳетюковичъ. Но насчетъ трепета предъ Ѳетюковичемъ сужденія были не совсѣмъ справедливы. Прокуроръ нашъ былъ не изъ такихъ характеровъ, которые падаютъ духомъ предъ опасностью, а, напротивъ, изъ тѣхъ, чье самолюбіе вырастаетъ и окрыляется именно по мѣрѣ возрастанія опасности. Вообще же надо замѣтить, что прокуроръ нашъ былъ слишкомъ горячъ и болѣзненно воспріимчивъ. Въ иное дѣло онъ клалъ всю свою душу и велъ его такъ, какъ бы отъ рѣшенія его зависѣла вся его судьба и все его достояніе. Въ юридическомъ мірѣ надъ этимъ нѣсколько смѣялись, ибо нашъ прокуроръ именно этимъ качествомъ своимъ заслужилъ даже нѣкоторую извѣстность, если далеко не повсемѣстно, то гораздо бо̀льшую, чѣмъ можно было предположить въ виду его скромнаго мѣста въ нашемъ судѣ. Особенно смѣялись надъ его страстью къ психологіи. По-моему, всѣ ошибались: нашъ прокуроръ, какъ человѣкъ и характеръ, кажется мнѣ, былъ гораздо серьезнѣе, чѣмъ многіе о немъ думали. Но ужъ

такъ не умѣлъ поставить себя этотъ болѣзненный человѣкъ съ самыхъ первыхъ своихъ шаговъ еще въ началѣ поприща, а затѣмъ и во всю свою жизнь.

Что же до предсѣдателя нашего суда, то о немъ можно сказать лишь то, что это былъ человѣкъ образованный, гуманный, практически знающій дѣло и самыхъ современныхъ идей. Былъ онъ довольно самолюбивъ, но о карьерѣ своей не очень заботился. Главная цѣль его жизни заключалась въ томъ, чтобы быть передовымъ человѣкомъ. При томъ имѣлъ связи и состояніе. На дѣло Карамазовыхъ, какъ оказалось потомъ, онъ смотрѣлъ довольно горячо, но лишь въ общемъ смыслѣ. Его занимало явленіе, классификація его, взглядъ на него, какъ на продуктъ нашихъ соціальныхъ основъ, какъ на характеристику русскаго элемента, и проч., и проч. Къ личному же характеру дѣла, къ трагедіи его, равно какъ и къ личностямъ участвующихъ лицъ, начиная съ подсудимаго, онъ относился довольно безразлично и отвлеченно, какъ, впрочемъ, можетъ быть, и слѣдовало.

Задолго до появленія суда зала была набита уже биткомъ. У насъ зала суда лучшая въ городѣ, обширная, высокая, звучная. Направо отъ членовъ суда, помѣщавшихся на нѣкоторомъ возвышеніи, былъ приготовленъ столъ и два ряда креселъ для присяжныхъ засѣдателей. Налѣво было мѣсто подсудимаго и его защитника. На серединѣ залы, близъ помѣщенія суда стоялъ столъ съ «вещественными доказательствами». На немъ лежали окровавленный шелковый бѣлый халатъ Ѳедора Павловича, роковой мѣдный пестикъ, коимъ было совершено предполагаемое убійство, рубашка Мити съ запачканнымъ кровью рукавомъ, его сюртукъ весь

въ кровяныхъ пятнахъ сзади на мѣстѣ кармана, въ который онъ сунулъ тогда свой, весь мокрый отъ крови платокъ, самый платокъ, весь заскорузлый отъ крови, теперь уже совсѣмъ пожелтѣвшій, пистолетъ, заряженный для самоубійства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько въ Мокромъ Трифономъ Борисовичемъ, конвертъ съ надписью, въ которомъ были приготовлены для Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая ленточка, которою онъ былъ обвязанъ, и прочіе многіе предметы, которыхъ и не упомню. На нѣкоторомъ разстояніи дальше, въ глубь залы, начинались мѣста для публики, но еще передъ баллюстрадой стояло нѣсколько креселъ для тѣхъ свидѣтелей, уже давшихъ свое показаніе, которые будутъ оставлены въ залѣ. Въ десять часовъ появился судъ въ составѣ предсѣдателя, одного члена и одного почетнаго мирового судьи. Разумѣется, тотчасъ же появился и прокуроръ. Предсѣдатель былъ плотный, коренастый человѣкъ, ниже средняго роста, съ геморoидальнымъ лицомъ, лѣтъ пятидесяти, съ темными съ просѣдью волосами, коротко обстриженными, и въ красной лентѣ — не помню ужъ какого ордена. Прокуроръ же показался мнѣ, — да и не мнѣ, а всѣмъ, очень ужъ какъ-то блѣднымъ, почти съ зеленымъ лицомъ, почему-то какъ бы внезапно похудѣвшимъ въ одну, можетъ быть, ночь, потому что я всего только третьяго дня видѣлъ его совсѣмъ еще въ своемъ видѣ. Предсѣдатель началъ съ вопроса судебному приставу: «всѣ ли явились присяжные засѣдатели?»... Вижу, однако, что такъ болѣе продолжать не могу, уже потому даже, что многаго не разслышалъ, въ другое пропустилъ вникнуть, третье забылъ упомнить, а, главное, по-

тому, что какъ уже и сказалъ я выше, если все припоминать, что̀ было сказано и что̀ произошло, то буквально не достанетъ у меня ни времени, ни мѣста. Знаю только, что присяжныхъ засѣдателей, тою и другою стороной, то есть защитникомъ и прокуроромъ, отведено было не очень много. Составъ же двѣнадцати присяжныхъ запомнилъ: четыре нашихъ чиновника, два купца и шесть крестьянъ и мѣщанъ нашего города. У насъ въ обществѣ, я помню, еще задолго до суда, съ нѣкоторымъ удивленіемъ спрашивали, особенно дамы: «неужели такое тонкое, сложное и психологическое дѣло будетъ отдано на роковое рѣшеніе какимъ-то чиновникамъ и, наконецъ, мужикамъ, и «что̀-де пойметъ тутъ какой-нибудь чиновникъ, тѣмъ болѣе мужикъ»? Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти четыре чиновника, попавшіе въ составъ присяжныхъ, были люди мелкіе, малочиновные, сѣдые, — одинъ только изъ нихъ былъ нѣсколько помоложе, — въ обществѣ нашемъ малоизвѣстные, прозябавшіе на мелкомъ жалованьѣ, имѣвшіе, должно быть, старыхъ женъ, которыхъ никуда нельзя показать, и по кучѣ дѣтей, можетъ быть, даже босоногихъ, много-много что развлекавшіе свой досугъ гдѣ-нибудь картишками и, ужъ разумѣется, никогда не прочитавшіе ни одной книги. Два же купца имѣли хоть и степенный видъ, но были какъ-то странно молчаливы и неподвижны; одинъ изъ нихъ брилъ бороду и былъ одѣтъ по-нѣмецки; другой, съ сѣденькой бородкой, имѣлъ на шеѣ, на красной лентѣ, какую-то медаль. Про мѣщанъ и крестьянъ и говорить нечего. Наши скотопригоньевскіе мѣщане почти тѣ же крестьяне, даже пашутъ. Двое изъ нихъ были тоже въ нѣмецкомъ платьѣ и оттого-то, можетъ

быть, грязнѣе и непригляднѣе на видъ, чѣмъ остальные четверо. Такъ что, дѣйствительно, могла зайти мысль, какъ зашла и мнѣ, напримѣръ, только что я ихъ разсмотрѣлъ: «что̀ могутъ такіе постичь въ такомъ дѣлѣ?» Тѣмъ не менѣе лица ихъ производили какое-то странное, внушительное и почти грозящее впечатлѣніе, были строги и нахмурены.

Наконецъ, предсѣдатель объявилъ къ слушанію дѣло объ убійствѣ отставного титулярнаго совѣтника Ѳедора Павловича Карамазова, — не помню вполнѣ, какъ онъ тогда выразился. Судебному приставу велѣно было ввести подсудимаго, и вотъ появился Митя. Все затихло въ залѣ, муху можно было услышать. Не знаю какъ на другихъ, но видъ Мити произвелъ на меня самое непріятное впечатлѣніе. Главное, онъ явился ужаснымъ франтомъ, въ новомъ съ иголочки сюртукѣ. Я узналъ потомъ, что онъ нарочно заказалъ къ этому дню себѣ сюртукъ въ Москвѣ, прежнему портному, у котораго сохранилась его мѣрка. Былъ онъ въ новенькихъ черныхъ лайковыхъ перчаткахъ и въ щегольскомъ бѣльѣ. Онъ прошелъ своими длинными аршинными шагами, прямо, до неподвижности, смотря передъ собою, и сѣлъ на свое мѣсто съ самымъ безтрепетнымъ видомъ. Тутъ же, сейчасъ же явился и защитникъ, знаменитый Ѳетюковичъ, и какъ бы какой-то подавленный гулъ пронесся въ залѣ. Это былъ длинный, сухой человѣкъ, съ длинными, тонкими ногами, съ чрезвычайно длинными, бѣлыми, тонкими пальцами, съ обритымъ лицомъ, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, тонкими изрѣдка кривившимися, не то насмѣшкой, не то улыбкой, губами. На видъ ему было лѣтъ сорокъ. Лицо его было бы и пріятнымъ, если бы не

глаза его, сами по себѣ небольшіе и невыразительные, но до рѣдкости близко одинъ отъ другого поставленные, такъ что ихъ раздѣляла всего только одна тонкая косточка его продолговатаго тонкаго носа. Словомъ, физіономія эта имѣла въ себѣ что-то рѣзко птичье, что̀ поражало. Онъ былъ во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Помню первый опросъ Мити предсѣдателемъ, то есть объ имени, званіи и проч. Митя отвѣтилъ рѣзко, но какъ-то неожиданно громко, такъ что предсѣдатель встряхнулъ даже головой и почти съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него. Затѣмъ былъ прочитанъ списокъ лицъ, вызванныхъ къ судебному слѣдствію, то есть свидѣтелей и экспертовъ. Списокъ былъ длинный; четверо изъ свидѣтелей не явились: Міусовъ, бывшій въ настоящее время уже въ Парижѣ, но показаніе котораго имѣлось еще въ предварительномъ слѣдствіи, г-жа Хохлакова и помѣщикъ Максимовъ по болѣзни и Смердяковъ за внезапною смертью, при чемъ было представлено свидѣтельство отъ полиціи. Извѣстіе о Смердяковѣ вызвало сильное шевеленіе и шепотъ въ залѣ. Конечно, въ публикѣ многіе еще вовсе не знали объ этомъ внезапномъ эпизодѣ самоубійства. Но что̀ особенно поразило, это внезапная выходка Мити: только что донесли о Смердяковѣ, какъ вдругъ онъ со своего мѣста воскликнулъ на всю залу

— Собакѣ собачья смерть!

Помню, какъ бросился къ нему его защитникъ и какъ предсѣдатель обратился къ нему съ угрозой принять строгія мѣры, если еще разъ повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но какъ будто совсѣмъ не раскаиваясь, нѣсколько разъ повторилъ вполголоса защитнику:

— Не буду, не буду! Сорвалось! Больше не буду!

И, ужъ конечно, этотъ коротенькій эпизодъ послужилъ не въ его пользу во мнѣніи присяжныхъ и публики. Объявлялся характеръ и рекомендовалъ себя самъ. Подъ этимъ-то впечатлѣніемъ былъ прочитанъ секретаремъ суда обвинительный актъ.

Онъ былъ довольно кратокъ, но обстоятеленъ. Излагались лишь главнѣйшія причины, почему привлеченъ такой-то, почему его должно было предать суду, и такъ далѣе. Тѣмъ не менѣе онъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Секретарь прочелъ четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедія какъ бы вновь появилась предъ всѣми выпукло, концентрично, освѣщенная роковымъ неумолимымъ свѣтомъ. Помню, какъ сейчасъ же по прочтеніи предсѣдатель громко и внушительно спросилъ Митю:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновнымъ?

Митя вдругъ всталъ съ мѣста:

— Признаю себя виновнымъ въ пьянствѣ и развратѣ, — воскликнулъ онъ какимъ-то опять-таки неожиданнымъ, почти изступленнымъ голосомъ, — въ лѣни и дебоширствѣ. Хотѣлъ стать навѣки честнымъ человѣкомъ именно въ ту секунду, когда подсѣкла судьба! Но въ смерти старика, врага моего и отца — не виновенъ! Но въ ограбленіи его — нѣтъ, нѣтъ, не виновенъ, да и не могу быть виновнымъ: Дмитрій Карамазовъ подлецъ, но не воръ!

Прокричавъ это, онъ сѣлъ на мѣсто, видимо весь дрожа. Предсѣдатель снова обратился къ нему съ краткимъ, но назидательнымъ увѣщаніемъ отвѣчать лишь на вопросы, а не вдаваться въ постороннія и изступленныя восклицанія. Затѣмъ ве-

лѣлъ приступить къ судебному слѣдствію. Ввели всѣхъ свидѣтелей для присяги. Тутъ я увидѣлъ ихъ всѣхъ разомъ. Впрочемъ, братья подсудимаго были допущены къ свидѣтельству безъ присяги. Послѣ увѣщанія священника и предсѣдателя, свидѣтелей увели и разсадили по возможности порознь. Затѣмъ стали вызывать ихъ по одному.

II.

Опасные свидѣтели.

Не знаю, были ли свидѣтели прокурорскіе и отъ защиты раздѣлены предсѣдателемъ какъ-нибудь на группы и въ какомъ именно порядкѣ предложено было вызывать ихъ. Должно быть, все это было. Знаю только, что первыми стали вызывать свидѣтелей прокурорскихъ. Повторяю, я не намѣренъ описывать всѣ допросы и шагъ за шагомъ. Къ тому же, мое описаніе вышло бы отчасти и лишнимъ, потому что въ рѣчахъ прокурора и защитника, когда приступили къ преніямъ, весь ходъ и смыслъ всѣхъ данныхъ и выслушанныхъ показаній были сведены какъ бы въ одну точку съ яркимъ и характернымъ освѣщеніемъ, а эти двѣ замѣчательныя рѣчи я, по крайней мѣрѣ мѣстами, записалъ въ полнотѣ и передамъ въ свое время, равно какъ и одинъ чрезвычайный и совсѣмъ неожиданный эпизодъ процесса, разыгравшійся внезапно еще до судебныхъ преній и несомнѣнно повліявшій на грозный и роковой исходъ его. Замѣчу только, что съ самыхъ первыхъ минутъ суда выступила ярко нѣкоторая особая характерность этого «дѣла», всѣми замѣченная, именно: необыкновенная

сила обвиненія сравнительно со средствами, какія имѣла защита. Это всѣ поняли въ первый мигъ, когда въ этой грозной залѣ суда начали, концентрируясь, группироваться факты и стали постепенно выступать весь этотъ ужасъ и вся эта кровь наружу. Всѣмъ, можетъ быть, стало понятно еще съ самыхъ первыхъ шаговъ, что это совсѣмъ даже и не спорное дѣло, что тутъ нѣтъ сомнѣній, что въ сущности никакихъ бы и преній не надо, что пренія будутъ лишь только для формы, а что преступникъ виновенъ, виновенъ явно, виновенъ окончательно. Я думаю даже, что и всѣ дамы, всѣ до единой, съ такимъ нетерпѣніемъ жаждавшія оправданія интереснаго подсудимаго, были въ то же время совершенно увѣрены въ полной его виновности. Мало того, мнѣ кажется, онѣ бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, ибо тогда не было бы такого эффекта въ развязкѣ, когда оправдаютъ преступника. А что его оправдаютъ — въ этомъ, странное дѣло, всѣ дамы были окончательно убѣждены почти до самой послѣдней минуты: «виновенъ, но оправдаютъ изъ гуманности, изъ новыхъ идей, изъ новыхъ чувствъ, которыя теперь пошли», и проч., и проч. Для того-то онѣ и сбѣжались сюда съ такимъ нетерпѣніемъ. Мужчины же наиболѣе интересовались борьбой прокурора и славнаго Ѳетюковича. Всѣ удивлялись и спрашивали себя: что̀ можетъ сдѣлать изъ такого потеряннаго дѣла, изъ такого выѣденнаго яйца даже и такой талантъ, какъ Ѳетюковичъ? а потому съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили шагъ за шагомъ за его подвигами. Но Ѳетюковичъ до самаго конца, до самой рѣчи своей остался для всѣхъ загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него

есть система, что у него уже нѣчто составилось, что впереди у него есть цѣль, но какая она — угадать было почти невозможно. Его увѣренность и самонадѣянность бросались, однакоже, въ глаза. Кромѣ того, всѣ съ удовольствіемъ сейчасъ же замѣтили, что онъ, въ такое краткое пребываніе у насъ, всего въ какіе-нибудь три дня, можетъ быть, сумѣлъ удивительно ознакомиться съ дѣломъ и «до тонкости изучилъ его». Съ наслажденіемъ разсказывали, напримѣръ, потомъ, какъ онъ всѣхъ прокурорскихъ свидѣтелей сумѣлъ во-время «подвести» и по возможности сбить, а, главное, подмарать ихъ нравственную репутацію, а, стало быть, само собой подмарать и ихъ показанія. Полагали, впрочемъ, что онъ дѣлаетъ это много-много что для игры, такъ сказать, для нѣкотораго юридическаго блеска, чтобъ ужъ ничего не было забыто изъ принятыхъ адвокатскихъ пріемовъ: ибо всѣ были убѣждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы онъ всѣми этими «подмарываніями» не могъ достичь, и, вѣроятно, это самъ лучше всѣхъ понимаетъ, имѣя какую-то свою идею въ запасѣ, какое-то еще пока припрятанное оружіе защиты, которое вдругъ и обнаружитъ, когда придетъ срокъ. Но пока все-таки, сознавая свою силу, онъ какъ бы игралъ и рѣзвился. Такъ, напримѣръ, когда опрашивали Григорія Васильевича, бывшаго камердинера Ѳедора Павловича, дававшаго самое капитальное показаніе объ «отворенной въ садъ двери», защитникъ такъ и вцѣпился въ него, когда ему, въ свою очередь, пришлось предлагать вопросы. Надо замѣтить, что Григорій Васильевичъ предсталъ въ залу не смутившись ни мало ни величіемъ суда, ни присутствіемъ огромной слушавшей его

публики, съ видомъ спокойнымъ и чуть не величавымъ. Онъ давалъ свои показанія съ такою увѣренностью, какъ если бы бесѣдовалъ наединѣ со своею Марѳой Игнатьевной, только развѣ почтительнѣе. Сбить его было невозможно. Его сначала долго разспрашивалъ прокуроръ о всѣхъ подробностяхъ семейства Карамазовыхъ. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось, видѣлось, что свидѣтель былъ простодушенъ и безпристрастенъ. При всей глубочайшей почтительности къ памяти своего бывшаго барина, онъ все-таки, напримѣръ, заявилъ, что тотъ былъ къ Митѣ несправедливъ и «не такъ воспиталъ дѣтей. Его, малаго мальчика, безъ меня вши бы заѣли», прибавилъ онъ, повѣствуя о дѣтскихъ годахъ Мити. «Тоже не годилось отцу сына въ имѣніи его материнскомъ, родовомъ, обижать». На вопросъ же прокурора о томъ, какія у него основанія утверждать, что Ѳедоръ Павловичъ обидѣлъ въ разсчетѣ сына, Григорій Васильевичъ, къ удивленію всѣхъ, основательныхъ данныхъ совсѣмъ никакихъ не представилъ, но все-таки стоялъ на томъ, что разсчетъ съ сыномъ былъ «неправильный», и что это точно ему «нѣсколько тысячъ слѣдовало доплатить». Замѣчу кстати, что этотъ вопросъ — дѣйствительно ли Ѳедоръ Павловичъ не доплатилъ чего Митѣ, прокуроръ съ особенною настойчивостью предлагалъ потомъ и всѣмъ тѣмъ свидѣтелямъ, которымъ могъ его предложить, не исключая ни Алеши, ни Ивана Ѳедоровича, но ни отъ кого изъ свидѣтелей не получилъ никакого точнаго свѣдѣнія; всѣ утверждали фактъ, и никто не могъ представить хоть сколько-нибудь яснаго доказательства. Послѣ того, какъ Григорій описалъ сцену за сто-

ломъ, когда ворвался Дмитрій Ѳедоровичъ и избилъ отца, угрожая воротиться убить его, — мрачное впечатлѣніе пронеслось по залѣ, тѣмъ болѣе, что старый слуга разсказывалъ спокойно, безъ лишнихъ словъ, своеобразнымъ языкомъ, а вышло страшно краснорѣчиво. За обиду свою Митей, ударившимъ его тогда по лицу и сбившимъ его съ ногъ, онъ замѣтилъ, что не сердится и давно простилъ. О покойномъ Смердяковѣ выразился, перекрестясь, что малый былъ со способностью, да глупъ и болѣзнью угнетенъ, а пуще безбожникъ, и что его безбожеству Ѳедоръ Павловичъ и старшій сынъ учили. Но о честности Смердякова подтвердилъ почти съ жаромъ и тутъ же передалъ, какъ Смердяковъ во время оно, найдя оброненныя барскія деньги, не утаилъ ихъ, а принесъ барину, и тотъ ему за это «золотой подарилъ» и впредь во всемъ довѣрять началъ. Отворенную же дверь въ садъ подтвердилъ съ упорною настойчивостью. Впрочемъ, его такъ много разспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконецъ, опросы перешли къ защитнику, и тотъ первымъ дѣломъ началъ узнавать о пакетѣ, въ которомъ «будто бы» спрятаны были Ѳедоромъ Павловичемъ три тысячи рублей для «извѣстной особы». «Видѣли ли вы его сами — вы, столь многолѣтне-приближенный къ вашему барину человѣкъ?» Григорій отвѣтилъ, что не видѣлъ, да и не слыхалъ о такихъ деньгахъ вовсе ни отъ кого, «до самыхъ тѣхъ поръ, какъ вотъ зачали теперь всѣ говорить». Этотъ вопросъ о пакетѣ Ѳетюковичъ со своей стороны тоже предлагалъ всѣмъ, кого могъ объ этомъ спросить изъ свидѣтелей, съ такою же настойчивостью, какъ и прокуроръ свой вопросъ о раздѣлѣ имѣнія, и ото

всѣхъ тоже получалъ лишь одинъ отвѣтъ, что пакета никто не видалъ, хотя очень многіе о немъ слышали. Эту настойчивость защитника на этомъ вопросѣ всѣ съ самаго начала замѣтили.

— Теперь могу ли обратиться къ вамъ съ вопросомъ, если только позволите, — вдругъ и совсѣмъ неожиданно спросилъ Ѳетюковичъ, — изъ чего состоялъ тотъ бальзамъ, или такъ сказать та настойка, посредствомъ которой вы въ тотъ вечеръ, передъ сномъ, какъ извѣстно изъ предварительнаго слѣдствія, вытерли вашу страдающую поясницу, надѣясь тѣмъ излѣчиться?

Григорій тупо посмотрѣлъ на опросчика и, помолчавъ нѣсколько, пробормоталъ: «былъ шалфей положенъ».

— Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?

— Подорожникъ былъ тоже.

— И перецъ, можетъ быть? — любопытствовалъ Ѳетюковичъ.

— И перецъ былъ.

— И такъ далѣе. И все это на водочкѣ?

— На спирту.

Въ залѣ чуть-чуть пронесся смѣшокъ.

— Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы вѣдь остальное содержаніе бутылки, съ нѣкоею благочестивою молитвой, извѣстной лишь вашей супругѣ, изволили выпить, вѣдь такъ?

— Выпилъ.

— Много ли примѣрно выпили? Примѣрно? Рюмочку, другую?

— Со стаканъ будетъ.

— Даже и со стаканъ. Можетъ быть, и полтора стаканчика?

Григорій замолкъ. Онъ какъ бы что-то понялъ.

— Стаканчика полтора чистенькаго спирта — оно вѣдь очень недурно, какъ вы думаете? Можно и «райскія двери отверзты» увидѣть, не то что дверь въ садъ?

Григорій все молчалъ. Опять прошелъ смѣшокъ въ залѣ. Предсѣдатель пошевелился.

— Не знаете ли вы навѣрно,—впивался все болѣе и болѣе Ѳетюковичъ, — почивали вы или нѣтъ въ ту минуту, когда увидѣли отворенную въ садъ дверь?

— На ногахъ стоялъ.

— Это еще не доказательство, что не почивали (еще и еще смѣшокъ въ залѣ). Могли ли, напримѣръ, отвѣтить въ ту минуту, если бы васъ кто спросилъ о чемъ, — ну, напримѣръ, о томъ, который у насъ теперь годъ?

— Этого не знаю.

— А который у насъ теперь годъ, нашей эры, отъ Рождества Христова, не знаете ли?

Григорій стоялъ со сбитымъ видомъ, въ упоръ смотря на своего мучителя. Странно это, казалось, повидимому, что онъ, дѣйствительно, не знаетъ какой теперь годъ.

— Можетъ быть, знаете, однако, сколько у васъ на рукѣ пальцевъ?

— Я человѣкъ подневольный, — вдругъ громко и раздѣльно проговорилъ Григорій, — коли начальству угодно надо мною надсмѣхаться, такъ я снести долженъ.

Ѳетюковича какъ бы немножко осадило, но ввязался и предсѣдатель и назидательно напомнилъ защитнику, что слѣдуетъ задавать болѣе подходящіе вопросы. Ѳетюковичъ, выслушавъ, съ достоин-

ствомъ поклонился и объявилъ, что разспросы свои кончилъ. Конечно, и въ публикѣ, и у присяжныхъ могъ остаться маленькій червячекъ сомнѣнія въ показаніи человѣка, имѣвшаго возможность «видѣть райскія двери» въ извѣстномъ состояніи лѣченія и, кромѣ того, даже невѣдающаго какой нынче годъ отъ Рождества Христова; такъ что защитникъ своей цѣли все-таки достигъ. Но предъ уходомъ Григорія произошелъ еще эпизодъ. Предсѣдатель, обратившись къ подсудимому, спросилъ: не имѣетъ ли онъ чего замѣтить по поводу данныхъ показаній?

— Кромѣ двери, во всемъ правду сказалъ, — громко крикнулъ Митя. — Что вшей мнѣ вычесывалъ — благодарю, что побои мнѣ простилъ — благодарю; старикъ былъ честенъ всю жизнь и вѣренъ отцу, какъ семьсотъ пуделей.

— Подсудимый, выбирайте ваши слова, — строго проговорилъ предсѣдатель.

— Я не пудель, — проворчалъ и Григорій.

— Ну, такъ это я пудель, я! — крикнулъ Митя. — Коли обидно, то на себя принимаю, а у него прощенія прошу: былъ звѣрь и съ нимъ жестокъ! Съ Езопомъ тоже былъ жестокъ.

— Съ какимъ Езопомъ? — строго поднялъ опять предсѣдатель.

— Ну, съ Пьеро . . . съ отцомъ, съ Ѳедоромъ Павловичемъ.

Предсѣдатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердилъ Митѣ, чтобъ онъ осторожнѣе выбиралъ свои выраженія.

— Вы сами вредите себѣ тѣмъ во мнѣніи судей вашихъ.

Точно такъ же весьма ловко распорядился за-

щитникъ и при спросѣ свидѣтеля Ракитина. Замѣчу, что Ракитинъ былъ изъ самыхъ важныхъ свидѣтелей, и которымъ несомнѣнно дорожилъ прокуроръ. Оказалось, что онъ все зналъ, удивительно много зналъ, у всѣхъ-то онъ былъ, все-то видѣлъ, со всѣми-то говорилъ, подробнѣйшимъ образомъ зналъ біографію Ѳедора Павловича и всѣхъ Карамазовыхъ. Правда, про пакетъ съ тремя тысячами тоже слышалъ лишь отъ самого Мити. Зато подробно описалъ подвиги Мити въ трактирѣ «Столичный городъ», всѣ компрометирующія того слова и жесты и передалъ исторію о «мочалкѣ» штабсъ-капитана Снѣгирева. Насчетъ же того особаго пункта, остался ли что-нибудь долженъ Ѳедоръ Павловичъ Митѣ при разсчетѣ по имѣнію — даже самъ Ракитинъ не могъ ничего указать и отдѣлался лишь общими мѣстами презрительнаго характера: «кто, дескать, могъ бы разобрать изъ нихъ виноватаго и сосчитать кто кому остался долженъ при безтолковой Карамазовщинѣ, въ которой никто себя не могъ ни понять, ни опредѣлить?» Всю трагедію судимаго преступленія онъ изображалъ, какъ продуктъ застарѣлыхъ нравовъ крѣпостного права и погруженной въ безпорядокъ Россіи, страдающей безъ соотвѣтственныхъ учрежденій. Словомъ, ему дали кое-что высказать. Съ этого процесса господинъ Рикитинъ въ первый разъ заявилъ себя и сталъ замѣтенъ; прокуроръ зналъ, что свидѣтель готовитъ въ журналъ статью о настоящемъ преступленіи, и потомъ уже въ рѣчи своей (что̀ увидимъ ниже) цитовалъ нѣсколько мыслей изъ этой статьи, значитъ, ужъ былъ съ нею знакомъ. Картина, изображенная свидѣтелемъ, вышла мрачною и роковою и сильно подкрѣпила «обвиненіе». Вообще

же изложеніе Ракитина плѣнило публику независимостью мысли и необыкновеннымъ благородствомъ ея полета. Послышались даже два — три внезапно сорвавшіяся рукоплесканія, именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорилось о крѣпостномъ правѣ и о страдающей отъ безурядицы Россіи. Но Ракитинъ, все же какъ молодой человѣкъ, сдѣлалъ маленькій промахъ, которымъ тотчасъ же отмѣнно успѣлъ воспользоваться защитникъ. Отвѣчая на извѣстные вопросы насчетъ Грушеньки, онъ, увлеченный своимъ успѣхомъ, который, конечно, уже самъ сознавалъ, и тою высотой благородства, на которую воспарилъ, позволилъ себѣ выразиться объ Аграфенѣ Александровнѣ нѣсколько презрительно, какъ о «содержанкѣ купца Самсонова». Дорого далъ бы онъ потомъ, чтобы воротить свое словечко, ибо на немъ-то и поймалъ его тотчасъ же Ѳетюковичъ. И все потому, что Ракитинъ совсѣмъ не разсчитывалъ, что тотъ въ такой короткій срокъ могъ до такихъ интимныхъ подробностей ознакомиться съ дѣломъ.

— Позвольте узнать, — началъ защитникъ съ самою любезною и даже почтительною улыбкой, когда пришлось ему въ свою очередь задавать вопросы, — вы, конечно, тотъ самый и есть господинъ Ракитинъ, котораго брошюру, изданную епархіальнымъ начальствомъ, *Житіе въ Бозѣ почившаго старца отца Зосимы,* полную глубокихъ и религіозныхъ мыслей, съ превосходнымъ и благочестивымъ посвященіемъ преосвященному, я недавно прочелъ съ такимъ удовольствіемъ.

— Я написалъ не для печати... это потомъ напечатали, — пробормоталъ Ракитинъ, какъ бы вдругъ чѣмъ-то опѣшенный и почти со стыдомъ.

— О, это прекрасно! Мыслитель, какъ вы, можетъ и даже долженъ относиться весьма широко ко всякому общественному явленію. Покровительствомъ преосвященнаго ваша полезнѣйшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу... Но я вотъ о чемъ, главное, желалъ бы у васъ полюбопытствовать: вы только что заявили, что были весьма близко знакомы съ госпожей Свѣтловой? (Nota bene. Фамилія Грушеньки оказалась «Свѣтлова». Это я узналъ въ первый разъ только въ этотъ день, во время хода процесса).

— Я не могу отвѣчать за всѣ мои знакомства... Я молодой человѣкъ... и кто же можетъ отвѣчать за всѣхъ тѣхъ, кого встрѣчаетъ, — такъ и вспыхнулъ весь Ракитинъ.

— Понимаю, слишкомъ понимаю! — воскликнулъ Ѳетюковичъ какъ бы самъ сконфуженный и какъ бы стремительно спѣша извиниться, — вы, какъ и всякій другой, могли быть въ свою очередь заинтересованы знакомствомъ молодой и красивой женщины, охотно принимавшей къ себѣ цвѣтъ здѣшней молодежи, но... я хотѣлъ лишь освѣдомиться: намъ извѣстно, что Свѣтлова, мѣсяца два назадъ, чрезвычайно желала познакомиться съ младшимъ Карамазовымъ, Алексѣемъ Ѳедоровичемъ, и только за то, чтобы вы привели его къ ней, и именно въ его тогдашнемъ, монастырскомъ костюмѣ, она пообѣщала вамъ выдать двадцать пять рублей, только что вы его къ ней приведете. Это, какъ и извѣстно, состоялось именно въ вечеръ того дня, который закончился трагическою катастрофой, послужившей основаніемъ настоящему дѣлу. Вы привели Алексѣя Карамазова къ госпожѣ Свѣтловой — и получили вы тогда эти двадцать пять

рублей наградныхъ отъ Свѣтловой, вотъ что̀ я желалъ бы отъ васъ услышать?

— Это была шутка... Я не вижу, почему васъ это можетъ интересовать. Я взялъ для шутки... и чтобы потомъ отдать...

— Стало быть, взяли. Но вѣдь не отдали же и до сихъ поръ... или отдали?

— Это пустое... — бормоталъ Ракитинъ, — я не могу на этакіе вопросы отвѣчать... Я, конечно, отдамъ.

Вступился предсѣдатель, но защитникъ возвѣстилъ, что онъ свои вопросы господину Ракитину кончилъ. Господинъ Ракитинъ сошелъ со сцены нѣсколько подсаленный. Впечатлѣніе отъ высшаго благородства его рѣчи было-таки испорчено, и Ѳетюковичъ, провожая его глазами, какъ бы говорилъ, указывая публикѣ: «вотъ, дескать, каковы ваши благородные обвинители!» Помню, не прошло и тутъ безъ эпизода со стороны Мити: взбѣшенный тономъ, съ какимъ Ракитинъ выразился о Грушенькѣ, онъ вдругъ закричалъ со своего мѣста: «Бернаръ!» Когда же предсѣдатель, по окончаніи всего опроса Ракитина, обратился къ подсудимому: не желаетъ ли онъ чего замѣтить со своей стороны, то Митя зычно крикнулъ:

— Онъ у меня, уже у подсудимаго, деньги таскалъ взаймы! Бернаръ презрѣнный и карьеристъ, и въ Бога не вѣруетъ, преосвященнаго надулъ!

Митю, конечно, опять образумили за неистовство выраженій, но господинъ Ракитинъ былъ доконченъ. Не повезло и свидѣтельству штабсъ-капитана Снѣгирева, но уже совсѣмъ отъ другой причины. Онъ предсталъ весь изорванный, въ грязной

одеждѣ, въ грязныхъ сапогахъ, и несмотря на всѣ предосторожности и предварительную «экспертизу», вдругъ оказался совсѣмъ пьяненькимъ. На вопросы объ обидѣ, нанесенной ему Митей, вдругъ отказался отвѣчать.

— Богъ съ ними-съ. Илюшечка не велѣлъ. Мнѣ Богъ тамъ заплатитъ-съ.

— Кто вамъ не велѣлъ говорить? Про кого вы упоминаете?

— Илюшечка, сыночекъ мой: «папочка, папочка, какъ онъ тебя унизилъ!» У камушка произнесъ. Теперь помираетъ-съ...

Штабсъ-капитанъ вдругъ зарыдалъ и съ размаху бухнулся въ ноги предсѣдателю. Его поскорѣе вывели, при смѣхѣ публики. Подготовленное прокуроромъ впечатлѣніе не состоялось вовсе.

Защитникъ же продолжалъ пользоваться всѣми средствами и все болѣе и болѣе удивлялъ своимъ ознакомленіемъ съ дѣломъ до мельчайшихъ подробностей. Такъ, напримѣръ, показаніе Трифона Борисовича произвело было весьма сильное впечатлѣніе и ужъ, конечно, было чрезвычайно неблагопріятно для Мити. Онъ именно, чуть не по пальцамъ, высчиталъ, что Митя, въ первый пріѣздъ свой въ Мокрое, за мѣсяцъ почти предъ катастрофой, не могъ истратить менѣе трехъ тысячъ или «развѣ безъ самаго только малаго. На однѣхъ этихъ цыганокъ сколько раскидано! Нашимъ-то, нашимъ-то вшивымъ мужикамъ не то что «полтиною по улицѣ шибали», а по меньшей мѣрѣ двадцатипяти-рублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько у нихъ тогда просто украли-съ! Вѣдь кто укралъ, тотъ руки своей не оставилъ, гдѣ же его поймать, вора-то-съ, когда сами зря

разбрасывали! Вѣдь у насъ народъ разбойникъ, душу свою не хранятъ. А дѣвкамъ-то, дѣвкамъ-то нашимъ деревенскимъ что̀ пошло! Разбогатѣли у насъ съ той поры, вотъ что̀-съ, прежде бѣдность была». Словомъ, онъ припомнилъ всякую издержку, вывелъ все точно на счетахъ... Такимъ образомъ предположеніе о томъ, что истрачены были лишь полторы тысячи, а другія отложены въ ладонку, становилось немыслимымъ. «Самъ видѣлъ, въ рукахъ у нихъ видѣлъ три тысячи, какъ одну копеечку, глазами созерцалъ, ужъ намъ ли счету не понимать-съ!» восклицалъ Трифонъ Борисовичъ, изо всѣхъ силъ желая угодить «начальству». Но когда опросъ перешелъ къ защитнику, тотъ, почти и не пробуя опровергать показанія, вдругъ завелъ рѣчь о томъ, что ямщикъ Тимоѳей и другой мужикъ Акимъ подняли въ Мокромъ, въ этотъ первый кутежъ, еще за мѣсяцъ до ареста, сто рублей въ сѣняхъ на полу, оброненные Митей въ хмѣльномъ видѣ, и представили ихъ Трифону Борисовичу, а тотъ далъ имъ за это по рублю. «Ну, такъ возвратили вы тогда эти сто рублей господину Карамазову или нѣтъ?» Трифонъ Борисовичъ какъ ни вилялъ, но послѣ допроса мужиковъ въ найденной сторублевой сознался, прибавивъ только, что Дмитрію Ѳедоровичу тогда же свято все возвратилъ и вручилъ «по самой честности, и что вотъ только они сами будучи въ то время совсѣмъ пьяными-съ врядъ ли это могутъ припомнить». Но такъ какъ онъ все-таки до призыва свидѣтелей мужиковъ въ находкѣ ста рублей отрицался, то и показаніе его о возвратѣ суммы хмѣльному Митѣ естественно подверглось большому сомнѣнію. Такимъ образомъ одинъ изъ опаснѣйшихъ свидѣтелей, выставленныхъ прокура-

турой, ушелъ опять-таки заподозрѣннымъ и въ репутаціи своей сильно осаленнымъ. То же приключилось и съ поляками: тѣ явились гордо и независимо. Громко засвидѣтельствовали, что, во-первыхъ, оба «служили коронѣ» и что «панъ Митя» предлагалъ имъ три тысячи, чтобы купить ихъ честь, и что они сами видѣли большія деньги въ рукахъ его. Панъ Муссяловичъ вставлялъ страшно много польскихъ словъ въ свои фразы и видя, что это только возвышаетъ его въ глазахъ предсѣдателя и прокурора, возвысилъ, наконецъ, свой духъ окончательно и сталъ уже совсѣмъ говорить по-польски. Но Ѳетюковичъ поймалъ и ихъ въ свои тенета: какъ ни вилялъ позванный опять Трифонъ Борисовичъ, а все-таки долженъ былъ сознаться, что его колода картъ была подмѣнена паномъ Врублевскимъ своею, а что панъ Муссяловичъ, меча банкъ, передернулъ карту. Это уже подтвердилъ Калгановъ, давая въ свою очередь показаніе, и оба пана удалились съ нѣкоторымъ срамомъ, даже при смѣхѣ публики.

Затѣмъ точно такъ произошло почти со всѣми наиболѣе опаснѣйшими свидѣтелями. Каждаго то изъ нихъ сумѣлъ Ѳетюковичъ нравственно размарать и отпустить съ нѣкоторымъ носомъ. Любители и юристы только любовались и лишь недоумѣвали опять-таки, къ чему такому большому и окончательному все это могло бы послужить, ибо, повторяю, всѣ чувствовали неотразимость обвиненія, все болѣе и трагичнѣе наростающаго. Но по увѣренности «великаго мага» видѣли, что онъ былъ спокоенъ, и ждали: не даромъ же пріѣхалъ изъ Петербурга «таковъ человѣкъ», не таковъ и человѣкъ, чтобы ни съ чѣмъ назадъ воротиться.

III.

Медицинская экспертиза и одинъ фунтъ орѣховъ.

Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и самъ Ѳетюковичъ, кажется, не очень на нее расчитывалъ, что̀ и оказалось впослѣдствіи. Въ основаніи своемъ она произошла единственно по настоянію Катерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитаго доктора изъ Москвы. Защита, конечно, ничего не могла черезъ нее проиграть, а въ лучшемъ случаѣ могла что-нибудь и выиграть. Впрочемъ, отчасти вышло даже какъ бы нѣчто комическое, именно по нѣкоторому разногласію докторовъ. Экспертами явились — пріѣхавшій знаменитый докторъ, затѣмъ нашъ докторъ Герценштубе и, наконецъ, молодой врачъ Варвинскій. Оба послѣдніе фигурировали тоже и какъ просто свидѣтели, вызванные прокуроромъ. Первымъ спрошенъ былъ въ качествѣ эксперта докторъ Герценштубе. Это былъ семидесятилѣтній старикъ, сѣдой и плѣшивый, средняго роста, крѣпкаго сложенія. Его всѣ у насъ въ городѣ очень цѣнили и уважали. Былъ онъ врачъ добросовѣстный, человѣкъ прекрасный и благочестивый, какой то гернгутеръ или «Моравскій братъ» — ужъ не знаю навѣрно. Жилъ у насъ уже очень давно и держалъ себя съ чрезвычайнымъ достоинствомъ. Онъ былъ добръ и человѣколюбивъ, лѣчилъ бѣдныхъ больныхъ и крестьянъ даромъ, самъ ходилъ въ ихъ конуры и избы и оставлялъ деньги на лѣкарство, но при томъ былъ и упрямъ, какъ мулъ. Сбить его съ его идеи, если она засѣла у него въ головѣ, было невозможно. Кстати, уже всѣмъ почти было из-

вѣстно въ городѣ, что пріѣзжій знаменитый врачъ въ какіе-нибудь два-три дня своего у насъ пребыванія позволилъ себѣ нѣсколько чрезвычайно обидныхъ отзывовъ насчетъ дарованій доктора Герценштубе. Дѣло въ томъ, что хоть московскій врачъ и бралъ за визиты не менѣе двадцати пяти рублей, но все же нѣкоторые въ нашемъ городѣ обрадовались случаю его пріѣзда, не пожалѣли денегъ и кинулись къ нему за совѣтами. Всѣхъ этихъ больныхъ лѣчилъ до него, конечно, докторъ Герценштубе, и вотъ знаменитый врачъ съ чрезвычайною рѣзкостью окритиковалъ вездѣ его лѣченіе. Подъ конецъ даже, являясь къ больному, прямо спрашивалъ: «ну, кто васъ здѣсь пичкалъ, Герценштубе? Хе-хе!» Докторъ Герценштубе, конечно, все это узналъ. И вотъ всѣ три врача появились одинъ за другимъ для опроса. Докторъ Герценштубе прямо заявилъ, что «ненормальность умственныхъ способностей подсудимаго усматривается сама собой». Затѣмъ, представивъ свои соображенія, которыя я здѣсь опускаю, онъ прибавилъ, что ненормальность эта усматривается, главное, не только изъ прежнихъ многихъ поступковъ подсудимаго, но и теперь, въ сію даже минуту, и когда его попросили объяснить, въ чемъ же усматривается теперь, въ сію-то минуту, то старикъ-докторъ со всею прямотой своего простодушія указалъ на то, что подсудимый, войдя въ залу, «имѣлъ необыкновенный и чудный по обстоятельствамъ видъ, шагалъ впередъ, какъ солдатъ, и держалъ глаза впереди себя, упираясь, тогда какъ вѣрнѣе было ему смотрѣть налѣво, гдѣ въ публикѣ сидятъ дамы, ибо онъ былъ большой любитель прекраснаго пола и долженъ былъ очень много думать о томъ, что̀ теперь о немъ

скажутъ дамы», заключилъ старичекъ своимъ своеобразнымъ языкомъ. Надо прибавить, что онъ говорилъ по-русски много и охотно, но какъ-то у него каждая фраза выходила на нѣмецкій манеръ, что, впрочемъ, никогда не смущало его, ибо онъ всю жизнь имѣлъ слабость считать свою русскую рѣчь за образцовую, «за лучшую, чѣмъ даже у русскихъ», и даже очень любилъ прибѣгать къ русскимъ пословицамъ, увѣряя каждый разъ, что русскія пословицы лучшія и выразительнѣйшія изо всѣхъ пословицъ въ мірѣ. Замѣчу еще, что онъ, въ разговорѣ, отъ разсѣянности ли какой, часто забывалъ слова самыя обычныя, которыя отлично зналъ, но которыя вдругъ почему-то у него изъ ума выскакивали. То же самое, впрочемъ, бывало, когда онъ говорилъ по-нѣмецки, и при этомъ всегда махалъ рукой предъ лицомъ своимъ, какъ бы ища ухватить потерянное словечко, и ужъ никто не могъ бы принудить его продолжать начатую рѣчь, прежде чѣмъ онъ не отыщетъ пропавшаго слова. Замѣчаніе его насчетъ того, что подсудимый, войдя, долженъ былъ бы посмотрѣть на дамъ, вызвало игривый шепотъ въ публикѣ. Старичка нашего очень у насъ любили всѣ дамы, знали тоже, что онъ, холостой всю жизнь человѣкъ, благочестивый и цѣломудренный, на женщинъ смотрѣлъ какъ на высшія и идеальныя существа. А потому неожиданное замѣчаніе его всѣмъ показалось ужасно страннымъ.

Московскій докторъ, спрошенный въ свою очередь, рѣзко и настойчиво подтвердилъ, что считаетъ умственное состояніе подсудимаго за ненормальное, «даже въ высшей степени». Онъ много и умно говорилъ про «аффектъ» и «манію» и выво-

дилъ, что по всѣмъ собраннымъ даннымъ подсудимый предъ своимъ арестомъ, за нѣсколько еще дней, находился въ несомнѣнномъ болѣзненномъ аффектѣ, и если совершилъ преступленіе, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсѣмъ не имѣя силъ бороться съ болѣзненнымъ нравственнымъ влеченіемъ, имъ овладѣвшимъ. Но кромѣ аффекта, докторъ усматривалъ и манію, что̀ уже пророчило впереди, по его словамъ, прямую дорогу къ совершенному уже помѣшательству. (NB. Я передаю своими словами, докторъ же изъяснялся очень ученымъ и спеціальнымъ языкомъ). «Всѣ дѣйствія его наоборотъ здравому смыслу и логикѣ», продолжалъ онъ. — «Уже не говорю о томъ, чего не видалъ, то есть о самомъ преступленіи и всей этой катастрофѣ, но даже третьяго дня, во время разговора со мной, у него былъ необъяснимый неподвижный взглядъ. Неожиданный смѣхъ, когда вовсе его не надо. Непонятное постоянное раздраженіе, странныя слова: «Бернаръ, эѳика и другія, которыхъ не надо». Но особенно усматривалъ докторъ эту манію въ томъ, что подсудимый даже не можетъ и говорить о тѣхъ трехъ тысячахъ рублей, въ которыхъ считаетъ себя обманутымъ, безъ какого-то необычайнаго раздраженія, тогда какъ обо всѣхъ другихъ неудачахъ и обидахъ своихъ говоритъ и вспоминаетъ довольно легко. Наконецъ, по справкамъ, онъ точно такъ же и прежде, всякій разъ, когда касалось этихъ трехъ тысячъ, приходилъ въ какое-то почти изступленіе, а между тѣмъ свидѣтельствуютъ о немъ, что онъ безкорыстенъ и нестяжателенъ. «Насчетъ же мнѣнія ученаго собрата моего, — иронически присовокупилъ московскій докторъ, заканчивая свою рѣчь, — что

подсудимый, входя въ залу, долженъ былъ смотрѣть на дамъ, а не прямо предъ собою, скажу лишь то, что, кромѣ игривости подобнаго заключенія, оно сверхъ того и радикально ошибочно; ибо, хотя я вполнѣ соглашаюсь, что подсудимый, входя въ залу суда, въ которой рѣшается его участь, не долженъ былъ такъ неподвижно смотрѣть предъ собой и что это, дѣйствительно, могло бы считаться признакомъ его ненормальнаго душевнаго состоянія въ данную минуту, но въ то же время я утверждаю, что онъ долженъ былъ смотрѣть не налѣво на дамъ, а, напротивъ, именно направо, ища глазами своего защитника, въ помощи котораго вся его надежда и отъ защиты котораго зависитъ теперь вся его участь». Мнѣніе свое докторъ выразилъ рѣшительно и настоятельно. Но особенный комизмъ разногласію обоихъ ученыхъ экспертовъ придалъ неожиданный выводъ врача Варвинскаго, спрошеннаго послѣ всѣхъ. На его взглядъ, подсудимый, какъ теперь, такъ и прежде, находится въ совершенно нормальномъ состояніи, и хотя, дѣйствительно, онъ долженъ былъ предъ арестомъ находиться въ положеніи нервномъ и чрезвычайно возбужденномъ, но это могло происходить отъ многихъ самыхъ очевидныхъ причинъ: отъ ревности, гнѣва, безпрерывно пьянаго состоянія и проч. Но это нервное состояніе не могло заключать въ себѣ никакого особеннаго «аффекта», о которомъ сейчасъ говорилось. Что же до того, налѣво или направо долженъ былъ смотрѣть подсудимый, входя въ залу, то, «по его скромному мнѣнію», подсудимый именно долженъ былъ, входя въ залу, смотрѣть прямо предъ собой, какъ и смотрѣлъ въ самомъ дѣлѣ, ибо прямо предъ нимъ сидѣли предсѣдатель и члены суда, отъ

которыхъ зависитъ теперь вся его участь, «такъ что, смотря прямо предъ собой, онъ именно тѣмъ самымъ и доказалъ совершенно нормальное состояніе своего ума въ данную минуту», — съ нѣкоторымъ жаромъ заключилъ молодой врачъ свое «скромное» показаніе.

— Браво, лѣкарь! — крикнулъ Митя со своего мѣста, — именно такъ!

Митю, конечно, остановили, но мнѣніе молодого врача имѣло самое рѣшающее дѣйствіе какъ на судъ, такъ и на публику, ибо, какъ оказалось потомъ, всѣ съ нимъ согласились. Впрочемъ, докторъ Герценштубе, спрошенный уже какъ свидѣтель, совершенно неожиданно вдругъ послужилъ въ пользу Мити. Какъ старожилъ города, издавна знающій семейство Карамазовыхъ, онъ далъ нѣсколько показаній весьма интересныхъ для «обвиненія», и вдругъ, какъ бы что-то сообразивъ, присовокупилъ:

— И, однако, бѣдный молодой человѣкъ могъ получить безъ сравненія лучшую участь, ибо былъ хорошаго сердца и въ дѣтствѣ и послѣ дѣтства, ибо я знаю это. Но русская пословица говоритъ: «если есть у кого одинъ умъ, то это хорошо, а если придетъ въ гости еще умный человѣкъ, то будетъ еще лучше, ибо тогда будетъ два ума, а не одинъ только» . . .

— Умъ хорошо, а два — лучше, — въ нетерпѣніи подсказалъ прокуроръ, давно уже знавшій обычай старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимымъ впечатлѣніемъ и тѣмъ, что заставляетъ себя ждать, а, напротивъ, еще весьма цѣня свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное нѣмецкое остроуміе. Старичокъ же любилъ острить.

— О, д-да, и я то же говорю, — упрямо подхватилъ онъ, — одинъ умъ хорошо, а два гораздо лучше. Но къ нему другой съ умомъ не пришелъ, а онъ и свой пустилъ... Какъ это, куда онъ его пустилъ? Это слово — куда онъ пустилъ свой умъ, я забылъ, — продолжалъ онъ, вертя рукой предъ своими глазами, — ахъ да, шпаширенъ.

— Гулять?

— Ну да, гулять, и я то же говорю. Вотъ умъ его и пошелъ прогуливаться и пришелъ въ такое глубокое мѣсто, въ которомъ и потерялъ себя. А между тѣмъ, это былъ благодарный и чувствительный юноша, о, я очень помню его вотъ такимъ малюткой, брошеннымъ у отца въ задній дворъ, когда онъ бѣгалъ по землѣ безъ сапожекъ и съ панталончиками на одной пуговкѣ...

Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдругъ въ голосѣ честнаго старичка. Ѳетюковичъ такъ и вздрогнулъ, какъ бы что-то предчувствуя, и мигомъ привязался.

— О, да, я самъ былъ тогда еще молодой человѣкъ... Мнѣ... ну да, мнѣ было тогда сорокъ пять лѣтъ, а я только-что сюда пріѣхалъ. И мнѣ стало тогда жаль мальчика, и я спросилъ себя: почему я не могу купить ему одинъ фунтъ... Ну да, чего фунтъ? Я забылъ, какъ это называется... фунтъ того, что дѣти очень любятъ, какъ это, — ну, какъ это... — замахалъ опять докторъ руками, — это на деревѣ растетъ, и его собираютъ и всѣмъ дарятъ...

— Яблоки?

— О, н-нѣ-ѣ-ѣтъ! Фунтъ, фунтъ, яблоки десятокъ, а не фунтъ... нѣтъ, ихъ много и всѣ маленькіе, кладутъ въ ротъ и кр-р-рахъ!..

— Орѣхи?

— Ну да, орѣхи, и я то же говорю, — самымъ спокойнымъ образомъ, какъ бы вовсе и не искалъ слова, подтвердилъ докторъ, — и я принесъ ему одинъ фунтъ орѣховъ, ибо мальчику никогда и никто еще не приносилъ фунтъ орѣховъ, и я поднялъ мой палецъ и сказалъ ему: «мальчикъ! Gott der Vater», — онъ засмѣялся и говоритъ: «Gott der Vater». — «Gott der Sohn». Онъ еще засмѣялся и лепеталъ: «Gott der Sohn». — Gott der Heilige Geist». Тогда онъ еще засмѣялся и проговорилъ сколько могъ: «Gott der Heilige Geist». А я ушелъ. На третій день иду мимо, а онъ кричитъ мнѣ самъ: «дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn», и только забылъ Gott der Heilige Geist, но я ему вспомнилъ, и мнѣ опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я болѣе не видалъ его. И вотъ, прошло двадцать три года, я сижу въ одно утро въ моемъ кабинетѣ, уже съ бѣлою головой, и вдругъ входитъ цвѣтущій молодой человѣкъ, котораго я никакъ не могу узнать, но онъ поднялъ палецъ и смѣясь говоритъ: «Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist! Я сейчасъ пріѣхалъ и пришелъ васъ благодарить за фунтъ орѣховъ, ибо мнѣ никто никогда не покупалъ тогда фунтъ орѣховъ, а вы одинъ купили мнѣ фунтъ орѣховъ». И тогда я вспомнилъ мою счастливую молодость и бѣднаго мальчика на дворѣ безъ сапожекъ, и у меня повернулось сердце, и я сказалъ: вы благодарный молодой человѣкъ, ибо всю жизнь помнилъ тотъ фунтъ орѣховъ, который я тебѣ принесъ въ твоемъ дѣтствѣ. И я обнялъ его и благословилъ. И я заплакалъ. Онъ смѣялся, но онъ и плакалъ... ибо русскій весьма часто смѣется тамъ, гдѣ надо плакать.

Но онъ и плакалъ, я видѣлъ это. А теперь, увы!..

— И теперь плачу, нѣмецъ, и теперь плачу, Божій ты человѣчекъ! — крикнулъ вдругъ Митя со своего мѣста.

Какъ бы тамъ ни было, а анекдотикъ произвелъ въ публикѣ нѣкоторое благопріятное впечатлѣніе. Но главный эффектъ въ пользу Мити произведенъ былъ показаніемъ Катерины Ивановны, о которомъ сейчасъ скажу. Да и вообще, когда начались свидѣтели à de-charge, то есть вызванные защитникомъ, то судьба какъ бы вдругъ и даже серьезно улыбнулась Митѣ и, что всего замѣчательнѣе — неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошенъ былъ Алеша, который вдругъ припомнилъ одинъ фактъ, имѣвшій видъ даже какъ будто положительнаго уже свидѣтельства противъ одного важнѣйшаго пункта обвиненія.

IV.

Счастье улыбается Митѣ.

Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Онъ вызванъ былъ безъ присяги, и я помню, что къ нему всѣ стороны отнеслись съ самымъ первыхъ словъ допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алеша показывалъ скромно и сдержанно, но въ показаніяхъ его явно прорывалась горячая симпатія къ несчастному брату. Отвѣчая по одному вопросу, онъ очертилъ характеръ брата, какъ человѣка, можетъ быть, и неистоваго и увлеченнаго страстями, но тоже и благороднаго, гор-

даго и великодушнаго, готоваго даже на жертву, если бъ отъ него потребовали. Сознавался, впрочемъ, что братъ былъ въ послѣдніе дни, изъ-за страсти къ Грушенькѣ, изъ-за соперничества съ отцомъ, въ положеніи невыносимомъ. Но онъ съ негодованіемъ отвергъ даже предположеніе о томъ, что братъ могъ убить съ цѣлью грабежа, хотя и сознался, что эти три тысячи обратились въ умѣ Мити въ какую-то почти манію, что онъ считалъ ихъ за недоданное ему, обманомъ отца, наслѣдство, и что, будучи вовсе некорыстолюбивымъ, даже не могъ заговорить объ этихъ трехъ тысячахъ безъ изступленія и бѣшенства. Про соперничество же двухъ «особъ», какъ выразился прокуроръ, то есть Грушеньки и Кати, отвѣчалъ уклончиво и даже на одинъ или два вопроса совсѣмъ не пожелалъ отвѣчать.

— Говорилъ ли вамъ, по крайней мѣрѣ, братъ вашъ, что намѣренъ убить своего отца? — спросилъ прокуроръ. — Вы можете не отвѣчать, если найдете это нужнымъ, — прибавилъ онъ.

— Прямо не говорилъ, — отвѣтилъ Алеша.

— Какъ же? Косвенно?

— Онъ говорилъ мнѣ разъ о своей личной ненависти къ отцу и что боится, что . . . въ крайнюю минуту . . . въ минуту омерзенія . . . можетъ быть, и могъ бы убить его.

— И вы, услышавъ, повѣрили тому?

— Боюсь сказать, что повѣрилъ. Но я всегда былъ убѣжденъ, что нѣкоторое высшее чувство всегда спасетъ его въ роковую минуту, какъ и спасло въ самомъ дѣлѣ, потому что *не онъ убилъ* отца моего, — твердо закончилъ Алеша громкимъ голосомъ и на всю залу. Прокуроръ вздрогнулъ, какъ боевой конь, заслышавшій трубный сигналъ.

— Будьте увѣрены, что я совершенно вѣрю самой полной искренности убѣжденія вышего, не обусловливая и не ассимилируя его нисколько съ любовью къ вашему несчастному брату. Своеобразный взглядъ вашъ на весь трагическій эпизодъ, разыгравшійся въ вашемъ семействѣ, уже извѣстенъ намъ по предварительному слѣдствію. Не скрою отъ васъ, что онъ въ высшей степени особливъ и противорѣчитъ всѣмъ прочимъ показаніямъ, полученнымъ прокуратурою. А потому и нахожу нужнымъ спросить васъ уже съ настойчивостью: какія именно данныя руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убѣжденіе въ невиновности брата вашего, и, напротивъ, въ виновности другого лица, на котораго вы уже указали прямо на предварительномъ слѣдствіи?

— На предварительномъ слѣдствіи я отвѣчалъ лишь на вопросы, — тихо и спокойно проговорилъ Алеша, — а не шелъ самъ съ обвиненіемъ на Смердякова.

— И все же на него указали?

— Я указалъ со словъ брата Дмитрія. Мнѣ еще до допроса разсказали о томъ, что̀ произошло при арестѣ его и какъ онъ самъ показалъ тогда на Смердякова. Я вѣрю вполнѣ, что братъ невиновенъ. А если убилъ не онъ, то...

— То Смердяковъ? Почему же именно Смердяковъ? И почему именно вы такъ окончательно убѣдились въ невиновности вашего брата?

— Я не могъ не повѣрить брату. Я знаю, что онъ мнѣ не солжетъ. Я по лицу его видѣлъ, что онъ мнѣ не лжетъ.

— Только по лицу? Въ этомъ всѣ ваши доказательства?

— Болѣе не имѣю доказательствъ.

— И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малѣйшемъ иномъ доказательствѣ, кромѣ лишь словъ вашего брата и выраженія лица его?

— Да, не имѣю иного доказательства.

На этомъ прокуроръ прекратилъ разспросы. Отвѣты Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатлѣніе. О Смердяковѣ у насъ уже поговаривали еще до суда, кто-то что-то слышалъ, кто-то на что-то указывалъ, говорили про Алешу, что онъ накопилъ какія-то чрезвычайныя доказательства въ пользу брата и въ виновности лакея, и вотъ — ничего, никакихъ доказательствъ, кромѣ какихъ-то нравственныхъ убѣжденій, столь естественныхъ въ его качествѣ родного брата подсудимаго.

Но началъ спрашивать и Ѳетюковичъ. На вопросъ о томъ: когда именно подсудимый говорилъ ему, Алешѣ, о своей ненависти къ отцу и о томъ, что онъ могъ бы убить его, и что слышалъ ли онъ это отъ него, напримѣръ, при послѣднемъ свиданіи предъ катастрофой, Алеша, отвѣчая, вдругъ какъ бы вздрогнулъ, какъ бы нѣчто, только теперь, припомнивъ и сообразивъ:

— Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о которомъ я было совсѣмъ и самъ позабылъ, но тогда оно было мнѣ такъ неясно, а теперь...

И Алеша съ увлеченіемъ, видимо самъ только что теперь внезапно попавъ на идею, припомнилъ, какъ въ послѣднемъ свиданіи съ Митей, вечеромъ, у дерева, по дорогѣ къ монастырю, Митя, ударяя себя въ грудь, «въ верхнюю часть груди», нѣсколько разъ повторилъ ему, что у него есть средство

возстановить свою честь, что средство это здѣсь, вотъ тутъ, на его груди . . . «Я подумалъ тогда, что онъ, ударяя себя въ грудь, говорилъ о своемъ сердцѣ», продолжалъ Алеша, — «о томъ, что въ сердцѣ своемъ могъ бы отыскать силы, чтобы выйти изъ одного какого-то ужаснаго позора, который предстоялъ ему и о которомъ онъ даже мнѣ не смѣлъ признаться. Признаюсь, я именно подумалъ тогда, что онъ говоритъ объ отцѣ и что онъ содрогается, какъ отъ позора, при мысли пойти къ отцу и совершить съ нимъ какое-нибудь насиліе, а между тѣмъ онъ именно тогда какъ бы на что-то указывалъ на своей груди, такъ что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсѣмъ не въ той сторонѣ груди, а ниже, а онъ ударяетъ себя гораздо выше, вотъ тутъ, сейчасъ ниже шеи, и все указывалъ въ это мѣсто. Моя мысль мнѣ показалась тогда глупою, а онъ именно, можетъ быть, тогда указывалъ на эту ладонку, въ которой зашиты были эти полторы тысячи! . .»

— Именно! — крикнулъ вдругъ Митя съ мѣста. — Это такъ, Алеша, такъ, я тогда о нее стучалъ кулакомъ!

Ѳетюковичъ бросился къ нему впопыхахъ, умоляя успокоиться, и въ тотъ же мигъ такъ и вцѣпился въ Алешу. Алеша, самъ увлеченный своимъ воспоминаніемъ, горячо высказалъ свое предположеніе, что позоръ этотъ вѣроятнѣе всего состоялъ именно въ томъ, что, имѣя на себѣ эти тысячу пятьсотъ рублей, которые бы могъ возвратить Катеринѣ Ивановнѣ, какъ половину своего ей долга, онъ все-таки рѣшилъ не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть на увозъ Грушеньки, если бъ она согласилась . . .

— Это такъ, это именно такъ,—восклицалъ во внезапномъ возбужденіи Алеша, — братъ именно восклицалъ мнѣ тогда, что половину, половину позора (онъ нѣсколько разъ выговорилъ: *половину!*), онъ могъ бы сейчасъ снять съ себя, но что до того несчастенъ слабостью своего характера, что этого не сдѣлаетъ... знаетъ заранѣе, что этого не можетъ и не въ силахъ сдѣлать!

— И вы твердо, ясно помните, что онъ ударялъ себя именно въ это мѣсто груди? — жадно допрашивалъ Ѳетюковичъ.

— Ясно и твердо, потому что именно мнѣ подумалось тогда: зачѣмъ это онъ ударяетъ такъ высоко, когда сердце ниже, и мнѣ тогда же показалась моя мысль глупою... я это помню, что показалась глупою... это мелькнуло. Вотъ потому-то я сейчасъ теперь и вспомнилъ. И какъ я могъ позабыть это до самыхъ этихъ поръ! Именно онъ на эту ладонку указывалъ, какъ на то, что у него есть средства, но что онъ не отдастъ эти полторы тысячи! А при арестѣ, въ Мокромъ, онъ именно кричалъ, — я это знаю, мнѣ передавали, — что считаетъ самымъ позорнымъ дѣломъ всей своей жизни, что, имѣя средства отдать половину (именно половину!) долга Катеринѣ Ивановнѣ и стать предъ ней не воромъ, онъ все-таки не рѣшился отдать и лучше захотѣлъ остаться въ ея глазахъ воромъ, чѣмъ разстаться съ деньгами! А какъ онъ мучился этимъ долгомъ! — закончилъ, восклицая, Алеша.

Разумѣется, ввязался и прокуроръ. Онъ попросилъ Алешу еще разъ описать, какъ это все было, и нѣсколько разъ настаивалъ, спрашивая: точно ли подсудимый, бія себя въ грудь, какъ бы на что-то

указывалъ? Можетъ быть, просто билъ себя кулакомъ по груди?

— Да и не кулакомъ! — восклицалъ Алеша, — а именно указывалъ пальцами, и указывалъ сюда, очень высоко . . . Но какъ я могъ это такъ совсѣмъ забыть до самой этой минуты!

Предсѣдатель обратился къ Митѣ съ вопросомъ, что можетъ онъ сказать насчетъ даннаго показанія. Митя подтвердилъ, что именно все такъ и было, что онъ именно указывалъ на свои полторы тысячи, бывшія у него на груди, сейчасъ пониже шеи и, что, конечно, это былъ позоръ, — «позоръ, отъ котораго не отрекаюсь, позорнѣйшій актъ во всей моей жизни!» — вскричалъ Митя. «Я могъ отдать ихъ и не отдалъ. Захотѣлъ лучше остаться въ ея глазахъ воромъ, но не отдалъ, а самый главный позоръ былъ въ томъ, что и впередъ зналъ, что не отдамъ! Правъ, Алеша! Спасибо, Алеша!»

Тѣмъ кончился допросъ Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть одинъ лишь фактъ, хоть одно лишь, положимъ, самое мелкое доказательство, почти только намекъ на доказательство, но которое все же хоть капельку свидѣтельствовало, что дѣйствительно существовала эта ладонка, что были въ ней полторы тысячи, и что подсудимый не лгалъ на предварительномъ слѣдствіи, когда въ Мокромъ объявилъ, что эти полторы тысячи «были мои». Алеша былъ радъ, весь раскраснѣвшись, онъ прослѣдовалъ на указанное ему мѣсто. Онъ долго еще повторялъ про себя: «какъ это я забылъ? Какъ могъ я это забыть! И какъ это такъ вдругъ только теперь припомнилось!»

Начался допросъ Катерины Ивановны. Только

что она появилась, въ залѣ пронеслось нѣчто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали съ мѣстъ, чтобы лучше видѣть. Всѣ утверждали потомъ, что Митя вдругъ поблѣднѣлъ, «какъ платокъ», только что она вошла. Вся въ черномъ, скромно и почти робко приблизилась она къ указанному ей мѣсту. Нельзя было угадать по лицу ея, что она была взволнована, но рѣшимость сверкала въ ея темномъ, сумрачномъ взглядѣ. Надо замѣтить, потомъ весьма многіе утверждали, что она была удивительно хороша собой въ ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно на всю залу. Выражалась чрезвычайно спокойно или, по крайней мѣрѣ, усиливаясь быть спокойною. Предсѣдатель началъ вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, какъ бы боясь коснуться «иныхъ струнъ» и уважая великое несчастіе. Но Катерина Ивановна сама, съ самыхъ первыхъ словъ, твердо объявила на одинъ изъ предложенныхъ вопросовъ, что она была помолвленною невѣстой подсудимаго «до тѣхъ поръ, пока онъ самъ меня не оставилъ»... — тихо прибавила она. Когда ее спросили о трехъ тысячахъ, ввѣренныхъ Митѣ для отсылки на почту ея родственникамъ, она твердо проговорила: «я дала ему не прямо на почту: я тогда предчувствовала, что ему очень нужны деньги . . . въ ту минуту . . . Я дала ему эти три тысячи подъ условіемъ, чтобъ онъ отослалъ ихъ, если хочетъ, въ теченіе мѣсяца. Напрасно онъ такъ потомъ себя мучилъ изъ-за этого долга» . . .

Я не передаю всѣхъ вопросовъ и въ точности всѣхъ ея отвѣтовъ, я только передаю существенный смыслъ ея показаній

— Я твердо была увѣрена, что онъ всегда успѣетъ переслать эти три тысячи, только что получитъ отъ отца, — продолжала она, отвѣчая на вопросы. — Я всегда была увѣрена въ его безкорыстіи и въ его честности... высокой честности... въ денежныхъ дѣлахъ. Онъ твердо былъ увѣренъ, что получитъ отъ отца три тысячи рублей и нѣсколько разъ мнѣ говорилъ про это. Я знала, что у него съ отцомъ распря, и всегда была и до сихъ поръ тоже увѣрена, что онъ былъ обиженъ отцомъ. Я не помню никакихъ угрозъ отцу съ его стороны. При мнѣ, по крайней мѣрѣ, онъ ничего не говорилъ, никакихъ угрозъ. Если бъ онъ пришелъ тогда ко мнѣ, я тотчасъ успокоила бы его тревогу изъ-за должныхъ мнѣ имъ этихъ несчастныхъ трехъ тысячъ, но онъ не приходилъ ко мнѣ болѣе... а я сама... я была поставлена въ такое положеніе... что не могла его звать къ себѣ... Да я и никакого права не имѣла быть къ нему требовательною за этотъ долгъ, — прибавила она вдругъ, и что-то рѣшительное зазвенѣло въ ея голосѣ, — я сама однажды получила отъ него денежное одолженіе еще большее, чѣмъ въ три тысячи, и приняла его, несмотря на то, что и предвидѣть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь въ состояніи буду заплатить ему долгъ мой...

Въ тонѣ голоса ея какъ бы почувствовался какой-то вызовъ. Именно въ эту минуту вопросы перешли къ Ѳетюковичу.

— Это было еще не здѣсь, а въ началѣ вашего знакомства? — осторожно подходя, подхватилъ Ѳетюковичъ, въ мигъ запредчувствовавъ нѣчто благопріятное. (Замѣчу въ скобкахъ, что онъ, несмотря на то, что былъ вызванъ изъ Петербурга

отчасти и самою Катериною Ивановною, — все-таки не зналъ ничего объ эпизодѣ: о пяти тысячахъ данныхъ ей Митей еще въ томъ городѣ и о «земномъ поклонѣ». Она этого не сказала ему и скрыла! И это было удивительно. Можно съ увѣренностью предположить, что она сама, до самой послѣдней минуты, не знала: разскажетъ она этотъ эпизодъ на судѣ или нѣтъ, и ждала какого-то вдохновенія.)

Нѣтъ, никогда я не могу забыть этихъ минутъ! Она начала разсказывать, она *все* разсказала, весь этотъ эпизодъ, повѣданный Митей Алешѣ, и «земной поклонъ», и причины, и про отца своего, и появленіе свое у Мити, и ни словомъ, ни единымъ намекомъ не упомянула о томъ, что Митя чрезъ сестру ея, самъ предложилъ «прислать къ нему Катерину Ивановну за деньгами». Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она, она сама, прибѣжала тогда къ молодому офицеру, своимъ собственнымъ порывомъ, надѣясь на что-то . . . чтобы выпросить у него денегъ. Это было нѣчто потрясающее. Я холодѣлъ и дрожалъ, слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тутъ было что-то безпримѣрное, такъ что даже и отъ такой самовластной и презрительно-гордой дѣвушки, какъ она, почти невозможно было ожидать такого высоко-откровеннаго показанія, такой жертвы, такого самозакланія. И для чего, для кого? Чтобы спасти своего измѣнника и обидчика, чтобы послужить хоть чѣмъ-нибудь, хоть малымъ, къ спасенію его, произведя въ его пользу хорошее впечатлѣніе! И въ самомъ дѣлѣ, образъ офицера, отдающаго свои послѣднія пять тысячъ рублей, — все, что у него оставалось въ жизни, — и почти-

тельно преклонившагося предъ невинною дѣвушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно, но . . . у меня больно сжалось сердце! Я почувствовалъ, что можетъ выйти потомъ (да и вышла потомъ, вышла!) клевета! Съ злобнымъ смѣшкомъ говорили потомъ во всемъ городѣ, что разсказъ, можетъ быть, не совсѣмъ былъ точенъ, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ офицеръ отпустилъ отъ себя дѣвицу «будто бы только съ почтительнымъ поклономъ». Намекали, что тутъ нѣчто «пропущено». «Да если бъ и не было пропущено, если бъ и все правда была,—говорили даже самыя почтенныя наши дамы, — то и тогда еще неизвѣстно: очень ли благородно такъ поступить было дѣвушкѣ, даже хоть бы спасая отца?» И неужели Катерина Ивановна, съ ея умомъ, съ ея болѣзненною проницательностью, не предчувствовала заранѣе, что такъ заговорятъ? Непремѣнно предчувствовала, и вотъ рѣшилась же сказать все! Разумѣется, всѣ эти грязненькія сомнѣнія въ правдѣ разсказа начались лишь потомъ, а въ первую минуту все и всѣ были потрясены. Что же до членовъ суда, то Катерину Ивановну выслушали въ благоговѣйномъ, такъ сказать, даже стыдливомъ молчаніи. Прокуроръ не позволилъ себѣ ни единаго дальнѣйшаго вопроса на эту тему. Ѳетюковичъ глубоко поклонился ей. О, онъ почти торжествовалъ. Многое было пріобрѣтено: человѣкъ, отдающій, въ благородномъ порывѣ, послѣднія пять тысячъ, и потомъ тотъ же человѣкъ, убивающій отца ночью съ цѣлью ограбить его на три тысячи, — это было нѣчто отчасти и несвязуемо. По крайней мѣрѣ, хоть грабежъ-то могъ теперь устранить Ѳетюковичъ. «Дѣло» вдругъ облилось какимъ-то новымъ свѣтомъ. Что-то сим-

патичное пронеслось въ пользу Мити. Онъ же... про него разсказывали, что онъ разъ или два во время показанія Катерины Ивановны вскочилъ было съ мѣста, потомъ упалъ опять на скамью и закрылъ обѣими ладонями лицо. Но когда она кончила, онъ вдругъ рыдающимъ голосомъ воскликнулъ, простирая къ ней руки:

— Катя, зачѣмъ меня погубила!

И громко зарыдалъ было на всю залу. Впрочемъ, мигомъ сдержалъ себя и опять прокричалъ:

— Теперь я приговоренъ!

А затѣмъ какъ бы закоченѣлъ на мѣстѣ, стиснувъ зубы и сжавъ крестомъ на груди руки. Катерина Ивановна осталась въ залѣ и сѣла на указанный ей стулъ. Она была блѣдна и сидѣла потупившись. Разсказывали бывшіе близъ нея, что она долго вся дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Къ допросу явилась Грушенька.

Я подхожу близко къ той катастрофѣ, которая, разразившись внезапно, дѣйствительно, можетъ быть, погубила Митю. Ибо я увѣренъ, да и всѣ тоже, всѣ юристы послѣ такъ говорили, что не явись этого эпизода, преступнику, по крайней мѣрѣ, дали бы снисхожденіе. Но объ этомъ сейчасъ. Два слова лишь прежде о Грушенькѣ.

Она явилась въ залу тоже вся одѣтая въ черное, въ своей прекрасной черной шали на плечахъ. Плавно, своею неслышною походкой, съ маленькою раскачкой, какъ ходятъ иногда полныя женщины, приблизилась она къ балюстрадѣ, пристально смотря на предсѣдателя и ни разу не взглянувъ ни направо, ни налѣво. По-моему, она была очень хороша собой въ ту минуту и вовсе не блѣдна, какъ увѣряли потомъ дамы. Увѣряли тоже, что у ней

было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, что она была раздражена и тяжело чувствовала на себѣ презрительно-любопытные взгляды жадной къ скандалу нашей публики. Это былъ характеръ гордый, не выносящій презрѣнія, одинъ изъ такихъ, которые, чуть лишь заподозрятъ отъ кого презрѣніе — тотчасъ воспламеняются гнѣвомъ и жаждой отпора. При этомъ была, конечно, и робость, и внутренній стыдъ за эту робость, такъ что немудрено, что разговоръ ея былъ неровенъ, — то гнѣвливъ, то презрителенъ и усиленно грубъ, то вдругъ звучала искренняя сердечная нотка самоосужденія, самообвиненія. Иногда же говорила такъ, какъ будто летѣла въ какую-то пропасть: «все-де равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу» . . . Насчетъ знакомства своего съ Ѳедоромъ Павловичемъ она рѣзко замѣтила: «все пустяки, развѣ я виновата, что онъ ко мнѣ привязался?» А потомъ черезъ минуту прибавила: «я во всемъ виновата, я смѣялась надъ тѣмъ и другимъ,— и надъ старикомъ, и надъ этимъ, — и ихъ обоихъ до того довела. Изъ-за меня все произошло». Какъ-то коснулось дѣло до Самсонова: «какое кому дѣло, — съ какимъ-то наглымъ вызовомъ тотчасъ же огрызнулась она, — онъ былъ мой благодѣтель, онъ меня босоногую взялъ, когда меня родные изъ избы вышвырнули». Предсѣдатель, впрочемъ, весьма вѣжливо, напомнилъ ей, что надо отвѣчать прямо на вопросы, не вдаваясь въ излишнія подробности. Грушенька покраснѣла, и глаза ея сверкнули.

Пакета съ деньгами она не видала, а только слыхала отъ «злодѣя», что есть у Ѳедора Павловича какой-то пакетъ съ тремя тысячами. «Только

это все глупости, я смѣялась, и ни за что бы туда не пошла» . . .

— Про кого вы сейчасъ упомянули, какъ о «злодѣѣ»? — освѣдомился прокуроръ.

— А про лакея, про Смердякова, что барина своего убилъ, а вчера повѣсился.

Конечно, ее мигомъ спросили: какія же у ней основанія для такого рѣшительнаго обвиненія, но основаній не оказалось тоже и у ней никакихъ.

— Такъ Дмитрій Ѳедоровичъ мнѣ самъ говорилъ, ему и вѣрьте. Разлучница его погубила, вотъ что, всему одна она причиной, вотъ что, — вся, какъ будто содрогаясь отъ ненависти, прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенѣла въ ея голосѣ.

Освѣдомились, на кого она опять намекаетъ.

— А на барышню, на эту вотъ Катерину Ивановну. Къ себѣ меня тогда зазвала, шоколадомъ подчевала, прельстить хотѣла. Стыда въ ней мало истиннаго, вотъ что . . .

Тутъ предсѣдатель уже строго остановилъ ее, прося умѣрить свои выраженія. Но сердце ревнивой женщины уже разгорѣлось, она готова была полетѣть хоть въ бездну . . .

— При арестѣ въ селѣ Мокромъ, — припоминая, спросилъ прокуроръ, — всѣ видѣли и слышали, какъ вы, выбѣжавъ изъ другой комнаты, закричали: «я во всемъ виновата, вмѣстѣ въ каторгу пойдемъ!» Стало быть, была уже и у васъ въ ту минуту увѣренность, что онъ отцеубійца?

— Я чувствъ моихъ тогдашнихъ не помню, — отвѣтила Грушенька, — всѣ тогда закричали, что онъ отца убилъ, я и почувствовала, что это я виновата, и что изъ-за меня онъ убилъ. А какъ онъ

сказалъ, что невиновенъ, я ему тотчасъ повѣрила, и теперь вѣрю, и всегда буду вѣрить: не таковъ человѣкъ, чтобы солгалъ.

Вопросы перешли къ Ѳетюковичу. Между прочимъ, я помню, онъ спросилъ про Ракитина и про двадцать пять рублей «за то, что привелъ къ вамъ Алексѣя Ѳедоровича Карамазова».

— А что жъ удивительнаго, что онъ деньги взялъ, — съ презрительною злобой усмѣхнулась Грушенька, — онъ и все ко мнѣ приходилъ деньги канючить, рублей по тридцать, бывало, въ мѣсяцъ выберетъ, все больше на баловство: пить-ѣсть ему было на что и безъ моего.

— На какомъ же основаніи вы были такъ щедры къ г. Ракитину? — подхватилъ Ѳетюковичъ, несмотря на то, что предсѣдатель сильно шевелился.

— Да вѣдь онъ же мнѣ двоюродный братъ. Моя мать съ его матерью родныя сестры. Онъ только все молилъ меня никому про то здѣсь не сказывать, стыдился меня ужъ очень.

Этотъ новый фактъ оказался совершенною неожиданностью для всѣхъ, никто про него до сихъ поръ не зналъ во всемъ городѣ, даже въ монастырѣ, даже не зналъ Митя. Разсказывали, что Ракитинъ побагровѣлъ отъ стыда на своемъ стулѣ. Грушенька еще до входа въ залу какъ-то узнала, что онъ показалъ противъ Мити, а потому и озлилась. Вся давешняя рѣчь господина Ракитина, все благородство ея, всѣ выходки на крѣпостное право, на гражданское неустройство Россіи, — все это уже окончательно на этотъ разъ было похерено и уничтожено въ общемъ мнѣніи. Ѳетюковичъ былъ доволенъ: опять Богъ въ шапку послалъ. Вообще же

Грушеньку допрашивали не очень долго, да и не могла она, конечно, сообщить ничего особенно новаго. Оставила она въ публикѣ весьма непріятное впечатлѣніе. Сотни презрительныхъ взглядовъ устремились на нее, когда она, кончивъ показаніе, усѣлась въ залѣ довольно далеко отъ Катерины Ивановны. Все время, пока ее спрашивали, Митя молчалъ, какъ бы окаменѣвъ, опустивъ глаза въ землю.

Появился свидѣтелемъ Иванъ Ѳедоровичъ.

V.

Внезапная катастрофа.

Замѣчу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный приставъ доложилъ тогда предсѣдателю, что, по внезапному нездоровью или какому-то припадку, свидѣтель не можетъ явиться сейчасъ, но только что оправится, то когда угодно готовъ будетъ дать свое показаніе. Этого, впрочемъ, какъ-то никто не слыхалъ, и узнали уже впослѣдствіи. Появленіе его въ первую минуту было почти не замѣчено: главные свидѣтели, особенно двѣ соперницы, были уже допрошены; любопытство было пока удовлетворено. Въ публикѣ чувствовалось даже утомленіе. Предстояло еще выслушать нѣсколько свидѣтелей, которые, вѣроятно, ничего особеннаго не могли сообщить въ виду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иванъ Ѳедоровичъ приблизился какъ-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустивъ даже голову, точно о чемъ-то нахмуренно соображая. Одѣтъ онъ былъ безукоризненно, но лицо его, на меня по

крайней мѣрѣ, произвело болѣзненное впечатлѣніе: было въ этомъ лицѣ что-то какъ бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающаго человѣка. Глаза были мутны; онъ поднялъ ихъ и медленно обвелъ ими залу. Алеша вдругъ вскочилъ было со своего стула и простоналъ: ахъ! Я помню это. Но и это мало кто уловилъ.

Предсѣдатель началъ было съ того, что онъ свидѣтель безъ присяги, что онъ можетъ показывать или умолчать, но что, конечно, все показанное должно быть по совѣсти, и т. д., и т. д. Иванъ Ѳедоровичъ слушалъ и мутно глядѣлъ на него; но вдругъ лицо его стало медленно раздвигаться въ улыбку, и только что предсѣдатель, съ удивленіемъ на него смотрѣвшій, кончилъ говорить, онъ вдругъ разсмѣялся.

— Ну и что же еще? — громко спросилъ онъ.

Все затихло въ залѣ, что-то какъ бы почувствовалось. Предсѣдатель забезпокоился.

— Вы... можетъ быть, еще не такъ здоровы? — проговорилъ онъ было, ища глазами судебнаго пристава.

— Не безпокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоровъ и могу вамъ кое-что разсказать любопытное, — отвѣтилъ вдругъ совсѣмъ спокойно и почтительно Иванъ Ѳедоровичъ.

— Вы имѣете предъявить какое-нибудь особое сообщеніе? — все еще съ недовѣрчивостью продолжалъ предсѣдатель.

Иванъ Ѳедоровичъ потупился, помедлилъ нѣсколько секундъ и, поднявъ голову, отвѣтилъ какъ бы заикаясь:

— Нѣтъ... не имѣю. Не имѣю ничего особеннаго.

Ему стали предлагать вопросы. Онъ отвѣчалъ со-

всѣмъ какъ-то нехотя, какъ-то усиленно кратко, съ какимъ-то даже отвращеніемъ, все болѣе и болѣе нароставшимъ, хотя, впрочемъ, отвѣчалъ все-таки толково. На многое отговорился незнаніемъ. Про счеты отца съ Дмитріемъ Ѳедоровичемъ ничего не зналъ. «И не занимался этимъ», — произнесъ онъ. Объ угрозахъ убить отца слышалъ отъ подсудимаго. Про деньги въ пакетѣ слышалъ отъ Смердякова . . .

— Все одно и то же, — прервалъ вдругъ съ утомленнымъ видомъ, — я ничего не могу сообщить суду особеннаго.

— Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства . . . — началъ было предсѣдатель.

Онъ обратился къ сторонамъ, къ прокурору и защитнику, приглашая ихъ, если найдутъ нужнымъ предложить вопросы, какъ вдругъ Иванъ Ѳедоровичъ изнеможеннымъ голосомъ попросилъ:

— Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую себя очень нездоровымъ.

И съ этимъ словомъ, не дожидаясь позволенія, вдругъ самъ повернулся и пошелъ было изъ залы. Но, пройдя шага четыре, остановился, какъ бы что-то вдругъ обдумавъ, тихо усмѣхнулся и воротился опять на прежнее мѣсто.

— Я, ваше превосходительство, какъ та крестьянская дѣвка . . . знаете, какъ это: «захоцу — вскоцу, захоцу—нѐ вскоцу»; за ней ходятъ съ сарафаномъ, али съ панёвой, что ли, чтобъ она вскочила, чтобы завязать и вѣнчать везти, а она говоритъ: «захоцу — вскоцу, захоцу — нѐ вскоцу» . . . Это въ какой-то нашей народности . . .

— Что вы этимъ хотите сказать? — строго спросилъ предсѣдатель.

— А вотъ, — вынулъ вдругъ Иванъ Ѳедоровичъ пачку денегъ, — вотъ деньги . . . тѣ самыя, которыя лежали вотъ въ томъ пакетѣ (онъ кивнулъ на столъ съ вещественными доказательствами) и изъ-за которыхъ убили отца. Куда положить? Господинъ судебный приставъ, передайте.

Судебный приставъ взялъ всю пачку и передалъ предсѣдателю.

— Какимъ образомъ могли эти деньги очутиться у васъ . . . если это тѣ самыя деньги? — въ удивленіи проговорилъ предсѣдатель.

— Получилъ отъ Смердякова, отъ убійцы, вчера . . . Былъ у него передъ тѣмъ, какъ онъ повѣсился. Убилъ отца онъ, а не братъ. Онъ убилъ, а я его научилъ убить . . . Кто не желаетъ смерти отца? . . .

— Вы въ умѣ или нѣтъ? — вырвалось невольно у предсѣдателя.

— То-то и есть, что въ умѣ . . . и въ подломъ умѣ, въ такомъ же, какъ и вы, какъ и всѣ эти . . . р-рожи! — обернулся онъ вдругъ на публику. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежеталъ онъ съ яростнымъ презрѣніемъ. — Другъ предъ другомъ кривляются. Лгуны! всѣ желаютъ смерти отца. Одинъ гадъ съѣдаетъ другую гадину . . . Не будь отцеубійства — всѣ бы они разсердились и розошлись злые . . . Зрѣлищъ! «Хлѣба и зрѣлищъ!» Впрочемъ, вѣдь и я хорошъ! Есть у васъ вода или нѣтъ, дайте напиться, Христа ради!— схватилъ онъ вдругъ себя за голову.

Судебный приставъ тотчасъ къ нему приблизился. Алеша вдругъ вскочилъ и закричалъ: «онъ боленъ, не вѣрьте ему, онъ въ бѣлой горячкѣ!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего

стула и, неподвижная отъ ужаса, смотрѣла на Ивана Ѳедоровича. Митя поднялся и съ какою-то дикою искривленною улыбкой жадно смотрѣлъ и слушалъ брата.

— Успокойтесь, не помѣшанный, я только убійца! — началъ опять Иванъ. — Съ убійцы нельзя же спрашивать краснорѣчія . . . — прибавилъ онъ вдругъ для чего-то и искривленно засмѣялся.

Прокуроръ въ видимомъ смятеніи нагнулся къ предсѣдателю. Члены суда суетливо шептались между собою. Ѳетюковичъ весь навострилъ уши, прислушиваясь. Зала замерла въ ожиданіи. Предсѣдатель вдругъ какъ бы опомнился.

— Свидѣтель, ваши слова непонятны и здѣсь невозможны. Успокойтесь, если можете, и разскажите . . . если вправду имѣете что сказать. Чѣмъ вы можете подтвердить такое признаніе . . . если вы только не бредите?

— То-то и есть, что не имѣю свидѣтелей. Собака Смердяковъ не пришлетъ съ того свѣта вамъ показаніе . . . въ пакетѣ. Вамъ бы все пакетовъ, довольно и одного. Нѣтъ у меня свидѣтелей . . . Кромѣ только развѣ одного, — задумчиво усмѣхнулся онъ.

— Кто вашъ свидѣтель?

— Съ хвостомъ, ваше превосходительство, не по формѣ будетъ! Le diable n'existe point! Не обращайте вниманія, дрянной, мелкій чертъ, — прибавилъ онъ, вдругъ переставъ смѣяться и какъ бы конфиденціально, — онъ навѣрно здѣсь гдѣ-нибудь, вотъ подъ этимъ столомъ съ вещественными доказательствами, гдѣ жъ ему сидѣть какъ не тамъ? Видите, слушайте меня: я ему сказалъ: не хочу молчать, а онъ про геологическій переворотъ . . .

глупости! Ну, освободите же изверга . . . онъ гимнъ запѣлъ, это потому, что ему легко! Все равно, что пьяная каналья загорланитъ, какъ «поѣхалъ Ванька въ Питеръ», а я за двѣ секунды радости отдалъ бы квадрилліонъ квадрилліоновъ. Не знаете вы меня! О, какъ все это у васъ глупо! Ну, берите же меня вмѣсто него! Для чего же-нибудь я пришелъ... Отчего, отчего это все, что ни есть, такъ глупо? . .

И онъ опять сталъ медленно и какъ бы въ задумчивости оглядывать залу. Но уже все заволновалось. Алеша кинулся было къ нему со своего мѣста, но судебный приставъ уже схватилъ Ивана Ѳедоровича за руку.

— Это что еще такое?—вскричалъ тотъ, вглядываясь въ упоръ въ лицо пристава, и вдругъ, схвативъ его за плечи, яростно ударилъ о полъ. Но стража уже подоспѣла, его схватили, и тутъ онъ завопилъ неистовымъ воплемъ. И все время, пока его уносили, онъ вопилъ и выкрикивалъ что-то несвязное.

Поднялась суматоха. Я не упомню всего въ порядкѣ, самъ былъ взволнованъ и не могъ услѣдить. Знаю только, что потомъ, когда уже все успокоилось и всѣ поняли въ чемъ дѣло, судебному приставу таки досталось, хотя онъ и основательно объяснилъ начальству, что свидѣтель былъ все время здоровъ, что его видѣлъ докторъ, когда часъ предъ тѣмъ съ нимъ сдѣлалась легкая дурнота, но что до входа въ залу онъ все говорилъ связно, такъ что предвидѣть было ничего невозможно; что онъ самъ, напротивъ, настаивалъ и непремѣнно хотѣлъ дать показаніе. Но прежде чѣмъ хоть сколько-нибудь успокоились и пришли въ себя, сейчасъ же вслѣдъ за этою сценой разразилась и другая; съ

Катериной Ивановной сдѣлалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотѣла уйти, рвалась, молила, чтобъ ее не уводили и вдругъ закричала предсѣдателю:

— Я должна сообщить еще одно показаніе, немедленно . . . немедленно! . . Вотъ бумага, письмо ... возьмите, прочтите скорѣе, скорѣе! Это письмо этого изверга, вотъ этого, этого! — она указывала на Митю. — Это онъ убилъ отца, вы увидите сейчасъ, онъ мнѣ пишетъ, какъ онъ убьетъ отца! А тотъ больной, больной, тотъ въ бѣлой горячкѣ! Я уже три дня вижу, что онъ въ горячкѣ!

Такъ вскрикивала она внѣ себя. Судебный приставъ взялъ бумагу, которую она протягивала предсѣдателю, а она, упавъ на свой стулъ и закрывъ лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малѣйшій стонъ въ боязни, что ее вышлютъ изъ залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити изъ трактира «Столичный городъ», которое Иванъ Ѳедоровичъ называлъ «математической важности» документомъ. Увы, за нимъ именно признали эту математичность, и, не будь этого письма, можетъ быть, и не погибъ бы Митя, или, по крайней мѣрѣ, не погибъ бы такъ ужасно! Повторяю, трудно было услѣдить за подробностями. Мнѣ и теперь все это представляется въ такой суматохѣ. Должно быть, предсѣдатель тутъ же сообщилъ новый документъ суду, прокурору, защитнику, присяжнымъ. Я помню только, какъ свидѣтельницу начали спрашивать. На вопросъ: успокоилась ли она? мягко обращенный къ ней предсѣдателемъ, Катерина Ивановна стремительно воскликнула:

— Я готова, готова! Я совершенно въ состояніи

вамъ отвѣчать, — прибавила она, видимо все еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушаютъ. Ее попросили объяснить подробнѣе: какое это письмо, и при какихъ обстоятельствахъ она его получила?

— Я получила его наканунѣ самаго преступленія, а писалъ онъ его еще за день изъ трактира, стало быть, за два дня до своего преступленія, — посмотрите, оно написано на какомъ-то счетѣ! — прокричала она, задыхаясь. — Онъ меня тогда ненавидѣлъ, потому что самъ сдѣлалъ подлый поступокъ и пошелъ за этою тварью . . . и потому еще, что долженъ былъ мнѣ эти три тысячи . . . О, ему было обидно за эти три тысячи изъ-за своей же низости! Эти три тысячи вотъ какъ были, — я васъ прошу, я васъ умоляю меня выслушать: еще за три недѣли до того, какъ убилъ отца, онъ пришелъ ко мнѣ утромъ. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что̀, — вотъ, вотъ именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увезти съ собой. Я знала тогда, что ужъ онъ мнѣ измѣнилъ и хочетъ бросить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтобъ отослать моей сестрѣ въ Москву, — и когда отдавала, то посмотрѣла ему въ лицо и сказала, что онъ можетъ когда хочетъ послать, «хоть еще черезъ мѣсяцъ». Ну какъ же, какъ же бы онъ не понялъ, что я въ глаза ему прямо говорила: «тебѣ надо денегъ для измѣны мнѣ съ твоею тварью, такъ вотъ тебѣ эти деньги, я сама тебѣ ихъ даю, возьми, если ты такъ безчестенъ, что возьмешь!» . . . Я уличить его хотѣла, и что же? Онъ взялъ, онъ ихъ взялъ и унесъ, и истратилъ ихъ съ этою тварью тамъ, въ одну ночь . . . Но онъ понялъ, онъ

понялъ, что я все знаю, увѣряю васъ, что онъ тогда понялъ и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его: будетъ ли онъ такъ безчестенъ, что возьметъ отъ меня, или нѣтъ? Въ глаза ему глядѣла, и онъ мнѣ глядѣлъ въ глаза и все понималъ, все понималъ, и взялъ, и взялъ и унесъ мои деньги!

— Правда, Катя! — завопилъ вдругъ Митя, — въ глаза смотрѣлъ и понималъ, что безчестишь меня, и все-таки взялъ твои деньги! Презирайте подлеца, презирайте всѣ, заслужилъ!

— Подсудимый, — вскричалъ предсѣдатель, — еще слово — я васъ велю вывесть.

— Эти деньги его мучили, — продолжала, судорожно торопясь, Катя, — онъ хотѣлъ мнѣ ихъ отдать, онъ хотѣлъ, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вотъ онъ и убилъ отца, а денегъ все-таки мнѣ не отдалъ, а уѣхалъ съ ней въ ту деревню, гдѣ его схватили. Тамъ онъ опять прокутилъ эти деньги, которыя укралъ у убитаго имъ отца. А за день до того, какъ убилъ отца, и написалъ мнѣ это письмо, написалъ пьяный, я сейчасъ тогда увидѣла, написалъ изъ злобы и зная, навѣрно зная, что я никому не покажу этого письма, даже если бъ онъ и убилъ. А то бы онъ не написалъ. Онъ зналъ, что я не захочу ему мстить и его погубить! Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста, внимательнѣе и вы увидите, что онъ въ письмѣ все описалъ, все заранѣе: какъ убьетъ отца и гдѣ у того деньги лежатъ. Посмотрите, пожалуйста, не пропустите, тамъ есть одна фраза: «убью, только бы уѣхалъ Иванъ». Значитъ, онъ заранѣе ужъ обдумалъ, какъ онъ убьетъ, — злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости

вчиталась въ это роковое письмо и изучила въ немъ каждую черточку. — Не пьяный онъ бы мнѣ не написалъ, но посмотрите, тамъ все описано впередъ, все точь-въ-точь, какъ онъ потомъ убилъ, вся программа!

Такъ восклицала она внѣ себя и ужъ, конечно, презирая всѣ для себя послѣдствія, хотя, разумѣется, ихъ предвидѣла еще, можетъ, за мѣсяцъ тому, потому что и тогда еще, можетъ быть, содрогаясь отъ злобы, мечтала: «не прочесть ли это суду?» Теперь же какъ бы полетѣла съ горы. Помню, кажется, именно тутъ же письмо было прочитано вслухъ секретаремъ и произвело потрясающее впечатлѣніе. Обратились къ Митѣ съ вопросомъ: признаетъ ли отъ это письмо?

— Мое, мое! — воскликнулъ Митя. — Не пьяный бы не написалъ! . . За многое мы другъ друга ненавидѣли, Катя, но, клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любилъ, а ты меня — нѣтъ!

Онъ упалъ на свое мѣсто, ломая руки въ отчаяніи! Прокуроръ и защитникъ стали предлагать перекрестные вопросы, главное, въ томъ смыслѣ: «что̀, дескать, побудило васъ давеча утаить такой документъ и показывать прежде совершенно въ другомъ духѣ и тонѣ?

— Да, да, я давеча солгала, все лгала, противъ чести и совѣсти, но я хотѣла давеча спасти его, потому что онъ меня такъ ненавидѣлъ и такъ презиралъ, — какъ безумная воскликнула Катя. — О, онъ презиралъ меня ужасно, презиралъ всегда, и, знаете, знаете — онъ презиралъ меня съ самой той минуты, когда я ему тогда въ ноги за эти деньги поклонилась. Я увидала это . . . Я сейчасъ, тогда же это почувствовала, но я долго себѣ не вѣрила.

Сколько разъ я читала въ глазахъ его: «все-таки ты сама тогда ко мнѣ пришла». О, онъ не понялъ, онъ не понялъ ничего, зачѣмъ я тогда прибѣжала, онъ способенъ подозрѣвать только низость! Онъ мѣрилъ на себя, онъ думалъ, что и всѣ такіе, какъ онъ, — яростно проскрежетала Катя, совсѣмъ уже въ изступленіи. — А жениться онъ на мнѣ захотѣлъ потому только, что я получила наслѣдство, потому, потому! Я всегда подозрѣвала, что потому! О, это звѣрь! Онъ всю жизнь былъ увѣренъ, что я всю жизнь буду предъ нимъ трепетать отъ стыда за то, что тогда приходила, и что онъ можетъ вѣчно за это презирать меня, а потому первенствовать, — вотъ почему онъ на мнѣ захотѣлъ жениться! Это такъ, это все такъ! Я пробовала побѣдить его моею любовью, любовью безъ конца, даже измѣну его хотѣла снести, но онъ ничего, ничего не понялъ. Да развѣ онъ можетъ что-нибудь понять! Это извергъ! Это письмо я получила только на другой день вечеромъ, мнѣ изъ трактира принесли, а еще утромъ, еще утромъ въ тотъ день я хотѣла было все простить ему, все, даже его измѣну!

Конечно, предсѣдатель и прокуроръ ее успокаивали. Я увѣренъ, что имъ всѣмъ было даже, можетъ быть, самимъ стыдно такъ пользоваться ея изступленіемъ и выслушивать такія признанія. Я помню, я слышалъ, какъ они говорили ей: «мы понимаемъ, какъ вамъ тяжело, повѣрьте, мы способны чувствовать», и проч., и проч., — а показанія-то все-таки вытянули отъ обезумѣвшей женщины въ истерикѣ. Она, наконецъ, описала съ чрезвычайною ясностью, которая такъ часто, хотя и мгновенно, мелькаетъ даже въ минуты такого

напряженнаго состоянія, какъ Иванъ Ѳедоровичъ почти сходилъ съ ума во всѣ эти два мѣсяца на томъ, чтобы спасти «изверга и убійцу», своего брата.

— Онъ себя мучилъ, — восклицала она, — онъ все хотѣлъ уменьшить его вину, признаваясь мнѣ, что онъ и самъ не любилъ отца и, можетъ быть, самъ желалъ его смерти. О, это глубокая, глубокая совѣсть! Онъ замучилъ себя совѣстью! Онъ все мнѣ открывалъ, все, онъ приходилъ ко мнѣ и говорилъ со мной каждый день, какъ съ единственнымъ другомъ своимъ. Я имѣю честь быть его единственнымъ другомъ! — воскликнула она вдругъ, точно какъ бы съ какимъ вызовомъ, засверкавъ глазами. — Онъ ходилъ къ Смердякову два раза. Однажды онъ пришелъ ко мнѣ и говоритъ: если убилъ не братъ, а Смердяковъ (потому что эту басню пустили здѣсь всѣ, что убилъ Смердяковъ), то, можетъ быть, виновенъ и я, потому что Смердяковъ зналъ, что я не люблю отца и, можетъ быть, думалъ, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и онъ ужъ совсѣмъ убѣдился, что убилъ братъ, и это уже совсѣмъ сразило его. Онъ не могъ снести, что его родной братъ — отцеубійца! Еще недѣлю назадъ я видѣла, что онъ отъ этого боленъ. Въ послѣдніе дни онъ, сидя у меня, бредилъ. Я видѣла, что онъ мѣшается въ умѣ. Онъ ходилъ и бредилъ, его видѣли такъ по улицамъ. Пріѣзжій докторъ, по моей просьбѣ, его осматривалъ третьяго дня и сказалъ мнѣ, что онъ близокъ къ горячкѣ, — все чрезъ него, все чрезъ изверга! А вчера онъ узналъ, что Смердяковъ умеръ — это его такъ поразило, что онъ сошелъ съ ума . . . и все отъ изверга, все на томъ, чтобы спасти изверга!

О, разумѣется, такъ говорить и такъ признаваться можно только какой-нибудь разъ въ жизни, — въ предсмертную минуту, напримѣръ, всходя на эшафотъ. Но Катя именно была въ своемъ характерѣ и въ своей минутѣ. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда къ молодому развратнику, чтобы спасти отца: та же самая Катя, которая давеча, предъ всею этою публикой, гордая и цѣломудренная, принесла себя и дѣвичій стыдъ свой въ жертву, разсказавъ про «благородный поступокъ Мити», чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вотъ теперь точно такъ же она тоже принесла себя въ жертву, но уже за другого, и, можетъ быть, только лишь теперь, только въ эту минуту, впервые почувствовавъ и осмысливъ вполнѣ, какъ дорогъ ей этотъ другой человѣкъ! Она пожертвовала собою въ испугѣ за него, вдругъ вообразивъ, что онъ погубилъ себя своимъ показаніемъ, что это онъ убилъ, а не братъ, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацію! И, однако, промелькнула страшная вещь: лгала ли она на Митю, описывая бывшія свои къ нему отношенія, — вотъ вопросъ. Нѣтъ, нѣтъ, она не клеветала намѣренно, крича, что Митя презиралъ ее за земной поклонъ! Она сама вѣрила въ это, она была глубоко убѣждена, съ самаго, можетъ быть, этого поклона, что простодушный, обожавшій ее еще тогда Митя смѣется надъ ней и презираетъ ее. И только изъ гордости она сама привязалась къ нему тогда любовью, истерическою и надорванною, изъ уязвленной гордости, и эта любовь походила не на любовь, а на мщеніе. О, можетъ быть, эта надорванная любовь и выродилась бы въ настоящую, мо-

жетъ, Катя ничего и не желала, какъ этого, но Митя оскорбилъ ее измѣной до глубины души, и душа не простила. Минута же мщенія слетѣла неожиданно, и все такъ долго и больно скоплявшееся въ груди обиженной женщины разомъ, и опять-таки неожиданно, вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя! И, разумѣется, только что успѣла высказаться, напряженіе порвалось, и стыдъ подавилъ ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. Въ ту минуту, когда ее выносили, съ воплемъ бросилась къ Митѣ Грушенька со своего мѣста такъ, что ее и удержать не успѣли:

— Митя! — завопила она, — погубила тебя твоя змѣя! Вотъ она вамъ себя показала! — прокричала она, сотрясаясь отъ злобы, суду. По мановенію предсѣдателя ее схватили и стали выводить изъ залы. Она не давалась, билась и рвалась назадъ къ Митѣ. Митя завопилъ и тоже рванулся къ ней. Имъ овладѣли.

Да, полагаю, что наши зрительницы дамы остались довольны: зрѣлище было богатое. Затѣмъ, помню, какъ появился пріѣзжій московскій докторъ. Кажется, предсѣдатель еще и прежде того посылалъ пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Ѳедоровичу пособіе. Докторъ доложилъ суду, что больной въ опаснѣйшемъ припадкѣ горячки и что слѣдовало бы немедленно его увезти. На вопросы прокурора и защитника подтвердилъ, что паціентъ самъ приходилъ къ нему третьяго дня и что онъ предрекъ ему тогда же скорую горячку, но что лѣчиться онъ не захотѣлъ. «Былъ же онъ положительно не въ здравомъ состояніи ума, самъ мнѣ признавался, что наяву видитъ видѣнія, встрѣ-

чаетъ на улицѣ разныхъ лицъ, которыя уже померли, и что къ нему каждый вечеръ ходитъ въ гости сатана», — заключилъ докторъ. Давъ свое показаніе, знаменитый врачъ удалился. Представленное Катериной Ивановной письмо было присоединено къ вещественнымъ доказательствамъ. По совѣщаніи судъ постановилъ: продолжать судебное слѣдствіе, а оба неожиданныя показанія (Катерины Ивановны и Ивана Ѳедоровича) занести въ протоколъ.

Но уже не буду описывать дальнѣйшаго судебнаго слѣдствія. Да и показанія остальныхъ свидѣтелей были лишь повтореніемъ и подтвержденіемъ прежнихъ, хотя всѣ со своими характерными особенностями. Но повторяю, все сведется въ одну точку въ рѣчи прокурора, къ которой и перейду сейчасъ. Всѣ были въ возбужденіи, всѣ были наэлектризованы послѣднею катастрофой и со жгучимъ нетерпѣніемъ ждали поскорѣе лишь развязки, рѣчей сторонъ и приговора. Ѳетюковичъ былъ видимо потрясенъ показаніями Катерины Ивановны. Зато торжествовалъ прокуроръ. Когда кончилось судебное слѣдствіе, былъ объявленъ перерывъ засѣданія, продолжавшійся почти часъ. Наконецъ, предсѣдатель открылъ судебныя пренія. Кажется, было ровно восемь часовъ вечера, когда нашъ прокуроръ, Ипполитъ Кирилловичъ, началъ свою обвинительную рѣчь.

VI.

Рѣчь прокурора. Характеристика.

Началъ Ипполитъ Кирилловичъ свою обвинительную рѣчь, весь сотрясаясь нервною дрожью, съ

холоднымъ, болѣзненнымъ потомъ на лбу и вискахъ, чувствуя ознобъ и жаръ во всемъ тѣлѣ попеременно. Онъ самъ такъ потомъ разсказывалъ. Онъ считалъ эту рѣчь за свой chef d'oeuvre, за chef d'oeuvre всей своей жизни, за лебединую пѣснь свою. Правда, девять мѣсяцевъ спустя онъ и померъ отъ злой чахотки, такъ что, дѣйствительно, какъ оказалось, имѣлъ бы право сравнить себя съ лебедемъ, поющимъ свою послѣднюю пѣснь, если бы предчувствовалъ свой конецъ заранѣе. Въ эту рѣчь онъ вложилъ все свое сердце и все сколько было у него ума и неожиданно доказалъ, что въ немъ таились и гражданское чувство, и «проклятые» вопросы, по крайней мѣрѣ поскольку нашъ бѣдный Ипполитъ Кирилловичъ могъ ихъ вмѣстить въ себѣ. Главное, тѣмъ взяло его слово, что было искренно: онъ искренно вѣрилъ въ виновность подсудимаго; не на заказъ, не по должности только обвинялъ его, и, взывая къ «отмщенію», дѣйствительно сотрясался желаніемъ «спасти общество». Даже дамская наша публика, въ концѣ концовъ враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась, однако, въ чрезвычайномъ вынесенномъ впечатлѣніи. Началъ онъ надтреснутымъ, срывающимся голосомъ, но потомъ очень скоро голосъ его окрѣпъ и зазвенѣлъ на всю залу, и такъ до конца рѣчи. Но только что кончилъ ее, то чуть не упалъ въ обморокъ.

«Господа присяжные засѣдатели, — началъ обвинитель, — настоящее дѣло прогремѣло по всей Россіи. Но чему бы, кажется, удивляться, чего такъ особенно ужасаться? Намъ-то, намъ-то особенно? Вѣдь мы такіе привычные ко всему этому люди! Въ томъ и ужасъ нашъ, что такія мрачныя

дѣла почти перестали для насъ быть ужасными! Вотъ чему надо ужасаться, привычкѣ нашей, а не единичному злодѣянію того или другого индивидуума. Гдѣ же причины нашего равнодушія, нашего чуть тепленькаго отношенія къ такимъ дѣламъ, къ такимъ знаменіямъ времени, пророчествующимъ намъ незавидную будущность? Въ цинизмѣ ли нашемъ, въ раннемъ ли истощеніи ума и воображенія столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлѣвшаго? Въ расшатанныхъ ли до основанія нравственныхъ началахъ нашихъ, или въ томъ, наконецъ, что этихъ нравственныхъ началъ, можетъ быть, у насъ совсѣмъ даже и не имѣется. Не разрѣшаю эти вопросы, тѣмъ не менѣе они мучительны, и всякій гражданинъ не то что долженъ, а обязанъ страдать ими. Наша начинающаяся, робкая еще наша пресса, оказала уже, однако, обществу нѣкоторыя услуги, ибо никогда бы мы безъ нея не узнали, сколько-нибудь въ полнотѣ, про тѣ ужасы разнузданной воли и нравственнаго паденія, которые безпрерывно передаетъ она на своихъ страницахъ уже всѣмъ, не однимъ только посѣщающимъ залы новаго гласнаго суда, дарованнаго намъ въ настоящее царствованіе. И что же мы читаемъ почти повседневно? О, про такія вещи поминутно, предъ которыми даже теперешнее дѣло блѣднѣетъ и представляется почти чѣмъ-то уже обыкновеннымъ. Но важнѣе всего то, что множество нашихъ русскихъ, національныхъ нашихъ уголовныхъ дѣлъ, свидѣтельствуютъ именно о чемъ-то всеобщемъ, о какой-то общей бѣдѣ, прижившейся съ нами, и съ которой, какъ со всеобщимъ зломъ, уже трудно бороться. Вотъ тамъ молодой блестящій офицеръ высшаго общества,

едва начинающій свою жизнь и карьеру, подло, въ тиши, безо всякаго угрызенія совѣсти, зарѣзываетъ мелкаго чиновника, отчасти бывшаго своего благодѣтеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документъ, а вмѣстѣ и остальныя денежки чиновника: «пригодятся-де для великосвѣтскихъ моихъ удовольствій и для карьеры моей впереди». Зарѣзавъ обоихъ, уходитъ, подложивъ обоимъ мертвецамъ подъ головы подушки. Тамъ, молодой герой, обвѣшанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляетъ на большой дорогѣ мать своего вождя и благодѣтеля и, подговаривая своихъ товарищей, увѣряетъ, что «она любитъ его, какъ родного сына, и потому послѣдуетъ всѣмъ его совѣтамъ и не приметъ предосторожностей». Пусть это извергъ, но я теперь, въ наше время, не смѣю уже сказать, что это только единичный извергъ. Другой и не зарѣжетъ, но подумаетъ и почувствуетъ точно такъ же, какъ онъ, въ душѣ своей безчестенъ точно такъ же, какъ онъ. Въ тиши, наединѣ со своей совѣстью, можетъ быть, спрашиваетъ себя: «да что̀ такое честь и не предразсудокъ ли кровь?» Можетъ быть, крикнутъ противъ меня и скажутъ, что я человѣкъ болѣзненный, истерическій, клевещу чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, — и, Боже, какъ бы я былъ радъ тому первый! О, не вѣрьте мнѣ, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: вѣдь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля въ словахъ моихъ правда, — то вѣдь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, какъ у насъ застрѣливаются молодые люди: о, безъ малѣйшихъ гамлетовскихъ вопросовъ о томъ: «что̀ будетъ *тамъ?*» безъ признаковъ этихъ

вопросовъ, какъ будто эта статья о духѣ нашемъ и о всемъ, что ждетъ насъ за гробомъ, давно похерена въ ихъ природѣ, похоронена и пескомъ засыпана. Посмотрите, наконецъ, на нашъ развратъ, на нашихъ сладострастниковъ. Ѳедоръ Павловичъ, несчастная жертва текущаго процесса, есть предъ иными изъ нихъ почти невинный младенецъ. А вѣдь мы всѣ его знали, «онъ между нами жилъ» . . . Да, психологіей русскаго преступленія займутся, можетъ быть, когда-нибудь первенствующіе умы, и наши и европейскіе, ибо тема стòитъ того. Но это изученіе произойдетъ когда-нибудь послѣ, уже на досугѣ, и когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдетъ на болѣе отдаленный планъ, такъ что ее уже можно будетъ разсмотрѣть и умнѣе, и безпристрастнѣе чѣмъ, напримѣръ, люди какъ я могутъ сдѣлать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротивъ, смакуемъ зрѣлище, какъ любители ощущеній сильныхъ, эксцентрическихъ, шевелящихъ нашу цинически-лѣнивую праздность, или, наконецъ, какъ малыя дѣти, отмахиваемъ отъ себя руками страшные призраки и прячемъ голову въ подушку, пока пройдетъ страшное видѣніе съ тѣмъ, чтобы потомъ тотчасъ же забыть его въ веселіи и играхъ. Но когда-нибудь надо же и намъ начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, надо же и намъ бросить взглядъ на себя какъ на общество, надо же и намъ хоть что-нибудь въ нашемъ общественномъ дѣлѣ осмыслить или только хоть начать осмысленіе наше. Великій писатель предшествовавшей эпохи, въ финалѣ величайшаго изъ произведеній своихъ, олицетворяя всю Россію въ видѣ скачущей къ невѣдомой цѣли удалой русской трой-

ки, восклицаетъ: «Ахъ тройка, птица тройка, кто тебя выдумалъ!» — и въ гордомъ восторгѣ прибавляетъ, что предъ скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся всѣ народы. Такъ, господа, это—пусть, пусть сторонятся, почтительно или нѣтъ, но на мой грѣшный взглядъ геніальный художникъ закончилъ такъ или въ припадкѣ младенчески невиннаго прекрасномыслія, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо, если въ его тройку впрячь только его же геровъ, Собакевичей, Ноздревыхъ и Чичиковыхъ, то, кого бы ни посадить ямщикомъ, ни до чего путнаго на такихъ коняхъ не доѣдешь! А это только еще прежніе кони, которымъ далеко до теперешнихъ, у насъ почище» . . .

Здѣсь рѣчь Ипполита Кирилловича была прервана рукоплесканіями. Либерализмъ изображенія русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь два-три клака, такъ что предсѣдатель не нашелъ даже нужнымъ обратиться къ публикѣ съ угрозою «очистить залу» и лишь строго поглядѣлъ въ сторону клакеровъ. Но Ипполитъ Кирилловичъ былъ ободренъ: никогда-то ему до сихъ поръ не апплодировали! Человѣка столько лѣтъ не хотѣли слушать и вдругъ возможность на всю Россію высказаться!

«Въ самомъ дѣлѣ,—продолжалъ онъ,—что такое это семейство Карамазовыхъ, заслужившее вдругъ такую печальную извѣстность по всей даже Россіи? Можетъ быть, я слишкомъ преувеличиваю, но мнѣ кажется, что въ картинѣ этой семейки какъ бы мелькаютъ нѣкоторые общіе основные элементы нашего современнаго интеллигентнаго общества, — о, не всѣ элементы, да и мелькнуло лишь въ микроскопическомъ видѣ, «какъ солнце въ малой каплѣ водъ», но все же нѣчто отразилось,

все же нѣчто сказалось. Посмотрите на этого несчастнаго, разнузданнаго и развратнаго старика, этого «отца семейства», столь печально покончившаго свое существованіе. Родовой дворянинъ, начавшій карьеру бѣдненькимъ приживальщикомъ, чрезъ нечаянную и неожиданную женитьбу схватившій въ приданое небольшой капитальчикъ, вначалѣ мелкій плутъ и льстивый шутъ, съ зародышемъ умственныхъ способностей, довольно, впрочемъ, неслабыхъ, и прежде всего ростовщикъ. Съ годами, то есть съ наростаніемъ капитальчика, онъ ободряется. Приниженность и заискиваніе исчезаютъ, остается лишь насмѣшливый и злой циникъ и сладострастникъ. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что кромѣ сладострастныхъ наслажденій онъ ничего въ жизни и не видитъ, такъ учитъ и дѣтей своихъ. Отеческихъ духовныхъ какихъ-нибудь обязанностей — никакихъ. Онъ надъ ними смѣется, онъ воспитываетъ своихъ маленькихъ дѣтей на заднемъ дворѣ и радъ, что ихъ отъ него увозятъ. Забываетъ о нихъ даже вовсе. Всѣ нравственныя правила старика — après moi le déluge. Все, что есть обратнаго понятію о гражданинѣ, полнѣйшее, даже враждебное отъединеніе отъ общества: «гори хоть весь свѣтъ огнемъ, было бы одному мнѣ хорошо». И ему хорошо, онъ вполнѣ доволенъ, онъ жаждетъ прожить такъ еще двадцать — тридцать лѣтъ. Онъ обсчитываетъ родного сына, и на его же деньги, на наслѣдство матери его, которыя не хочетъ отдать ему, отбиваетъ у него, у сына же своего, любовницу. Нѣтъ, я не хочу уступать защиту подсудимаго высокоталантливому защитнику, прибывшему изъ Петер-

бурга. Я и самъ скажу правду, я и самъ понимаю ту сумму негодованія, которую онъ накопилъ въ сердцѣ своего сына. Но довольно, довольно объ этомъ несчастномъ старикѣ, онъ получилъ свою мзду. Вспомнимъ, однако, что это отецъ и одинъ изъ современныхъ отцовъ. Обижу ли я общество, сказавъ, что это одинъ даже изъ многихъ современныхъ отцовъ? Увы, столь многіе изъ современныхъ отцовъ лишь не высказываются столь цинически, какъ этотъ, ибо лучше воспитаны, лучше образованы, а въ сущности — почти такой же, какъ и онъ, философіи. Но пусть я пессимистъ, пусть. Мы ужъ условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранѣе: вы мнѣ не вѣрьте, не вѣрьте, я буду говорить, а вы не вѣрьте. Но все-таки дайте мнѣ высказаться, все-таки кое-что изъ моихъ словъ не забудьте. Но вотъ, однако, дѣти этого старика, этого отца семейства: одинъ предъ нами на скамьѣ подсудимыхъ, о немъ вся рѣчь впереди; про другихъ скажу лишь вскользь. Изъ этихъ другихъ, старшій — есть одинъ изъ современныхъ молодыхъ людей съ блестящимъ образованіемъ, съ умомъ довольно сильнымъ, уже ни во что, однако, не вѣрующимъ, слишкомъ уже многое въ жизни отвергшимъ и похерившимъ, точь-въ-точь какъ и родитель его. Мы всѣ его слышали, онъ въ нашемъ обществѣ былъ принятъ дружелюбно. Мнѣній своихъ онъ не скрывалъ, даже напротивъ, совсѣмъ напротивъ, что и даетъ мнѣ смѣлость говорить теперь о немъ нѣсколько откровенно, конечно, не какъ о частномъ лицѣ, а лишь какъ о членѣ семьи Карамазовыхъ. Здѣсь умеръ вчера, самоубійствомъ, на краю города, одинъ болѣзненный идіотъ, сильно привлеченный къ настоящему дѣлу, бывшій слуга и, можетъ

быть, побочный сынъ Ѳедора Павловича, Смердяковъ. Онъ съ истерическими слезами разсказывалъ мнѣ на предварительномъ слѣдствіи, какъ этотъ молодой Карамазовъ, Иванъ Ѳедоровичъ, ужаснулъ его своимъ духовнымъ безудержемъ: «все, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть въ мірѣ, и ничего впредь не должно быть запрещено, — вотъ они чему меня всѣ учили». Кажется, идіотъ на этомъ тезисѣ, которому обучили его, и сошелъ съ ума окончательно, хотя, конечно, повліяли на умственное разстройство его и падучая болѣзнь, и вся эта страшная, разразившаяся въ ихъ домѣ катастрофа. Но у этого идіота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замѣчаніе, сдѣлавшее бы честь и поумнѣе его наблюдателю, вотъ почему даже я объ этомъ и заговорилъ: «если есть, сказалъ онъ мнѣ, который изъ сыновей болѣе похожій на Ѳедора Павловича по характеру, такъ это онъ, Иванъ Ѳедоровичъ!» На этомъ замѣчаніи я прерываю начатую характеристику, не считая деликатнымъ продолжать далѣе. О, я не хочу выводить дальнѣйшихъ заключеній и какъ воронъ каркать молодой судьбѣ одну только гибель. Мы видѣли еще сегодня здѣсь, въ этой залѣ, что непосредственная сила правды еще живетъ въ его молодомъ сердцѣ, что еще чувства семейной привязанности не заглушены въ немъ безвѣріемъ и нравственнымъ цинизмомъ, пріобрѣтеннымъ больше по наслѣдству, чѣмъ истиннымъ страданіемъ мысли. Затѣмъ другой сынъ, о, это еще юноша, благочестивый и смиренный, въ противоположность мрачному растлѣвающему міровоззрѣнію его брата, ищущій прилѣпиться, такъ сказать, къ «народнымъ началамъ», или къ тому, что у насъ называютъ этимъ мудре-

нымъ словечкомъ въ иныхъ теоретическихъ углахъ мыслящей интеллигенціи нашей. Онъ, видите ли, прилѣпился къ монастырю; онъ чуть было самъ не постригся въ монахи. Въ немъ, кажется мнѣ, какъ бы безсознательно, и такъ рано, выразилось то робкое отчаяніе, съ которымъ столь многіе теперь въ нашемъ бѣдномъ обществѣ, убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая все зло европейскому просвѣщенію, бросаются, какъ говорятъ они, къ «родной почвѣ», такъ сказать, въ материнскія объятія родной земли, какъ дѣти, напуганныя призраками, и у изсохшей груди разслабленной матери жаждутъ хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видѣть ихъ пугающихъ ужасовъ. Съ моей стороны, я желаю доброму и даровитому юношѣ всего лучшаго, желаю, чтобъ его юное прекраснодушіе и стремленіе къ народнымъ началамъ не обратилось впослѣдствіи, какъ столь часто оно случается, со стороны нравственной въ мрачный мистицизмъ, а со стороны гражданской въ тупой шовинизмъ — два качества, грозящія, можетъ быть, еще большимъ зломъ націи, чѣмъ даже раннее растлѣніе отъ ложно понятаго и даромъ добытаго европейскаго просвѣщенія, какимъ страдаетъ старшій братъ его».

За шовинизмъ и мистицизмъ опять раздались было два-три клака. И ужъ, конечно, Ипполитъ Кирилловичъ увлекся, да и все это мало подходило къ настоящему дѣлу, не говоря уже о томъ, что вышло довольно неясно, но ужъ слишкомъ захотѣлось высказаться чахоточному и озлобленному человѣку хоть разъ въ своей жизни. У насъ потомъ говорили, что въ характеристикѣ Ивана Ѳедоровича онъ руководился чувствомъ даже неделикат-

нымъ, потому что тотъ разъ или два публично осадилъ его въ спорахъ, и Ипполитъ Кирилловичъ, помня это, захотѣлъ теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было такъ заключить. Во всякомъ случаѣ все это было только введеніемъ, затѣмъ рѣчь пошла прямѣе и ближе къ дѣлу.

«Но вотъ третій сынъ отца современнаго семейства, — продолжалъ Ипполитъ Кирилловичъ, — онъ на скамьѣ подсудимыхъ, онъ передъ нами. Передъ нами и его подвиги, его жизнь и дѣла его: пришелъ срокъ, и все развернулось, все обнаружилось. Въ противоположность «европеизму» и «народнымъ началамъ» братьевъ своихъ, онъ какъ бы изображаетъ собою Россію непосредственную, — о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! И, однакоже, тутъ она, наша Россеюшка, пахнетъ ею, слышится она, матушка. О, мы непосредственны, мы—зло и добро въ удивительнѣйшемъ смѣшеніи, мы любители просвѣщенія и Шиллера, и въ то же время мы бушуемъ по трактирамъ и вырываемъ у пьянчужекъ, собутыльниковъ нашихъ, бороденки. О, и мы бываемъ хороши и прекрасны, но только тогда, когда намъ самимъ хорошо и прекрасно. Напротивъ, мы даже обуреваемы, — именно, обуреваемы, — благороднѣйшими идеалами, но только съ тѣмъ условіемъ, чтобъ они достигались сами собою, упадали бы къ намъ на столъ съ неба и, главное, чтобы даромъ, даромъ, чтобы за нихъ ничего не платить. Платить мы ужасно не любимъ, зато получать очень любимъ, и это во всемъ. О, дайте, дайте намъ всевозможныя блага жизни (именно, всевозможныя, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни въ чемъ, и тогда и мы докажемъ, что можемъ быть хороши и пре-

красны. Мы не жадны, нѣтъ, но, однакоже, подавайте намъ денегъ, и вы увидите, какъ великодушно, съ какимъ презрѣніемъ къ презрѣнному металлу мы разбросаемъ ихъ въ одну ночь въ безудержномъ кутежѣ. А не дадутъ намъ денегъ, такъ мы покажемъ, какъ мы ихъ сумѣемъ достать, когда намъ очень того захочется. Но объ этомъ послѣ, будемъ слѣдить по порядку. Прежде всего предъ нами бѣдный заброшенный мальчикъ, «на заднемъ дворѣ безъ сапожекъ», какъ выразился давеча нашъ почтенный и уважаемый согражданинъ, увы, происхожденія иностраннаго! Еще разъ повторю, — никому не уступлю защиту подсудимаго! Я обвинитель, я и защитникъ. Да-съ, и мы люди, и мы человѣки, и мы сумѣемъ взвѣсить то, какъ могутъ повліять на характеръ первыя впечатлѣнія дѣтства и родного гнѣздышка. Но вотъ мальчикъ уже юноша, уже молодой человѣкъ, офицеръ; за буйные поступки и за вызовъ на поединокъ ссылаютъ его въ одинъ изъ отдаленнѣйшихъ пограничныхъ городковъ нашей благодатной Россіи. Тамъ онъ служитъ, тамъ и кутитъ, и, конечно — большому кораблю большое и плаваніе. Намъ надо средствъ-съ, средствъ прежде всего, и вотъ, послѣ долгихъ споровъ, порѣшено у него съ отцомъ на послѣднихъ шести тысячахъ рубляхъ, и ихъ ему высылаютъ. Замѣтьте, онъ выдалъ документъ, и существуетъ письмо его, въ которомъ онъ отъ остального почти отрекается и этими шестью тысячами препираніе съ отцомъ по наслѣдству оканчиваетъ. Тутъ происходитъ его встрѣча съ молодою, высокаго характера и развитія дѣвушкой. О, я не смѣю повторять подробностей, вы ихъ только что слышали: тутъ честь, тутъ самопожертвованіе, и я

умолкаю. Образъ молодого человѣка, легкомысленнаго и развратнаго, но склонившагося предъ истиннымъ благородствомъ, предъ высшей идеей, мелькнулъ предъ нами чрезвычайно симпатично. Но вдругъ послѣ того, въ этой же самой залѣ суда послѣдовала совсѣмъ неожиданно и оборотная сторона медали. Опять-таки не смѣю пускаться въ догадки и удержусь анализировать — почему такъ послѣдовало. Но, однако, были же причины — почему такъ послѣдовало. Эта же самая особа, вся въ слезахъ негодованія, долго таившагося, объявляетъ намъ, что онъ же, онъ же первый и презиралъ ее за ея неосторожный, безудержный, можетъ быть, порывъ, но все же возвышенный, все же великодушный. У него же, у жениха этой дѣвушки, и промелькнула прежде всѣхъ та насмѣшливая улыбка, которую она лишь отъ него одного не могла снести. Зная, что онъ уже измѣнилъ ей (измѣнилъ въ убѣжденіи, что она уже все должна впредь сносить отъ него, даже измѣну его), зная это, она нарочно предлагаетъ ему три тысячи рублей и ясно, слишкомъ ясно даетъ ему при этомъ понять, что предлагаетъ ему деньги на измѣну ей же: «что жъ, примешь или нѣтъ, будешь ли столь циниченъ», говоритъ она ему молча своимъ судящимъ и испытующимъ взглядомъ. Онъ глядитъ на нее, понимаетъ ея мысли совершенно (онъ вѣдь самъ сознался здѣсь при васъ, что онъ все понималъ) и безусловно присвояетъ себѣ эти три тысячи и прокучиваетъ ихъ въ два дня со свою новою возлюбленной! Чему же вѣрить? Первой ли легендѣ — порыву ли высокаго благородства, отдающаго послѣднія средства для жизни и преклоняющагося предъ добродѣтелью, или оборотной сторонѣ медали,

столь отвратительной? Обыкновенно въ жизни бываетъ такъ, что при двухъ противоположностяхъ правду надо искать посрединѣ; въ настоящемъ случаѣ это буквально не такъ. Вѣроятнѣе всего, что въ первомъ случаѣ онъ былъ искренно благороденъ, а во второмъ случаѣ такъ же искренно низокъ. Почему? А вотъ именно потому, что мы натуры широкія, Карамазовскія, — я вѣдь къ тому и веду, — способныя вмѣщать всевозможныя противоположности и разомъ созерцать обѣ бездны, бездну надъ нами, бездну высшихъ идеаловъ, и бездну подъ нами, бездну самаго низшаго и зловоннаго паденія. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодымъ наблюдателемъ, глубоко и близко созерцавшимъ всю семью Карамазовыхъ, господиномъ Ракитинымъ: «ощущеніе низости паденія такъ же необходимо этимъ разнузданнымъ, безудержнымъ натурамъ, какъ и ощущеніе высшаго благородства», — и это правда: именно имъ нужна эта неестественная смѣсь постоянно и безпрерывно. Двѣ бездны, двѣ бездны, господа, въ одинъ и тотъ же моментъ, — безъ того мы несчастны и неудовлетворены, существованіе наше неполно. Мы широки, широки, какъ вся наша матушка Россія, мы все вмѣстимъ и со всѣмъ уживемся! Кстати, господа присяжные засѣдатели, мы коснулись теперь этихъ трехъ тысячъ рублей, и я позволю себѣ нѣсколько забѣжать впередъ. Вообразите только, что онъ, этотъ характеръ, получивъ тогда эти деньги, да еще такимъ образомъ, чрезъ такой стыдъ, чрезъ такой позоръ, чрезъ послѣдней степени униженіе, — вообразите только, что онъ въ тотъ же день возмогъ будто бы отдѣлить изъ нихъ половину, зашить въ ладонку и цѣлый мѣсяцъ потомъ имѣть

твердость носить ихъ у себя на шеѣ, несмотря на всѣ соблазны и чрезвычайныя нужды! Ни въ пьяномъ кутежѣ по трактирамъ, ни тогда, когда ему пришлось летѣть изъ города доставать, Богъ знаетъ у кого, деньги, необходимѣйшія ему, чтобъ увезть свою возлюбленную отъ соблазновъ соперника, отца своего, — онъ не осмѣливается притронуться къ этой ладонкѣ. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, къ которому онъ такъ ревновалъ, онъ долженъ бы былъ распечатать свою ладонку и остаться дома неотступнымъ сторожемъ своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажетъ ему, наконецъ: «я твоя», чтобъ летѣть съ нею куда-нибудь подальше, изъ теперешней роковой обстановки. Но нѣтъ, онъ не касается своего талисмана и подъ какимъ же предлогомъ? Первоначальный предлогъ, мы сказали, былъ именно тотъ, что когда ему скажутъ: «я твоя, вези меня, куда хочешь», — то было бы на что увезти. Но этотъ первый предлогъ, по собственнымъ словамъ подсудимаго, поблѣднѣлъ передъ вторымъ. Поколь, дескать, я ношу на себѣ эти деньги — «я подлецъ, но не воръ», ибо всегда могу пойти къ оскорбленной мною невѣстѣ и, выложивъ предъ нею эту половину всей обманно присвоенной отъ нея суммы, всегда могу ей сказать: «видишь, я прокутилъ половину твоихъ денегъ и доказалъ тѣмъ, что я слабый и безнравственный человѣкъ и, если хочешь, подлецъ (я выражаюсь языкомъ самого подсудимаго), — но хоть и подлецъ, а не воръ, ибо если бы былъ воромъ, то не принесъ бы тебѣ этой половины оставшихся денегъ, а присвоилъ бы и ее, какъ и первую половину». Удивительное объясненіе фак-

та! Этотъ самый бѣшеный, но слабый человѣкъ, не могшій отказаться отъ соблазна принять три тысячи рублей при такомъ позорѣ, — этотъ самый человѣкъ ощущаетъ вдругъ въ себѣ такую стоическую твердость и носитъ на своей шеѣ тысячи рублей, не смѣя до нихъ дотронуться! Сообразно ли это хоть сколько-нибудь съ разбираемымъ нами характеромъ? Нѣтъ, и я позволю себѣ вамъ разсказать, какъ бы поступилъ въ такомъ случаѣ настоящій Дмитрій Карамазовъ, если бы даже и въ самомъ дѣлѣ рѣшился зашить свои деньги въ ладонку. При первомъ же соблазнѣ, — ну хоть чтобъ опять чѣмъ потѣшить ту же новую возлюбленную, съ которой уже прокутилъ первую половину этихъ же денегъ, онъ бы расшилъ свою ладонку и отдѣлилъ отъ нея, — ну, положимъ, на первый случай хоть только сто рублей, — ибо къ чему-де непремѣнно относить половину, то есть полторы тысячи, довольно и тысячи четырехсотъ рублей; — вѣдь все то же выйдетъ: «подлецъ, дескать, а не воръ, потому, что все же хоть тысячу четыреста рублей, да принесъ назадъ, а воръ бы всѣ взялъ и ничего не принесъ». Затѣмъ еще черезъ нѣсколько времени опять расшилъ бы ладонку и опять вынулъ уже вторую сотню, затѣмъ третью, затѣмъ четвертую, и не далѣе какъ къ концу мѣсяца вынулъ бы, наконецъ, предпослѣднюю сотню: дескать, и одну сотню принесу назадъ все то же вѣдь выйдетъ: «подлецъ, а не воръ. Двадцать девять сотенъ прокутилъ, а все же одну возвратилъ, воръ бы и ту не возвратилъ». И, наконецъ, уже прокутивъ эту предпослѣднюю сотню, посмотрѣлъ бы на послѣднюю и сказалъ бы себѣ: «а вѣдь и впрямь не стòитъ относить одну сотню, — давай и

ту прокучу!» Вотъ какъ бы поступилъ настоящій Дмитрій Карамазовъ, какого мы знаемъ! Легенда же о ладонкѣ — это такое противорѣчіе съ дѣйствительностью, какого болѣе и представить нельзя. Можно предположить все, а не это. Но мы къ этому еще вернемся».

Обозначивъ въ порядкѣ все, что извѣстно было судебному слѣдствію объ имущественныхъ спорахъ и семейныхъ отношеніяхъ отца съ сыномъ и еще, и еще разъ выведя заключеніе, что, по извѣстнымъ даннымъ, нѣтъ ни малѣйшей возможности опредѣлить въ этомъ вопросѣ о дѣлежѣ наслѣдства, кто кого обсчиталъ или кто на кого насчиталъ, Ипполитъ Кирилловичъ по поводу этихъ трехъ тысячъ рублей, засѣвшихъ въ умѣ Мити, какъ неподвижная идея, упомянулъ о медицинской экспертизѣ.

VII.

Обзоръ историческій.

«Экспертиза медиковъ стремилась доказать намъ, что подсудимый не въ своемъ умѣ и маньякъ. Я утверждаю, что онъ именно въ своемъ умѣ, но что это-то и всего хуже: былъ бы не въ своемъ, то оказался бы, можетъ быть, гораздо умнѣе. Что же до того, что онъ маньякъ, то съ этимъ я бы и согласился, но именно въ одномъ только пунктѣ, — въ томъ самомъ, на который и экспертиза указывала, именно во взглядѣ подсудимаго на эти три тысячи, будто бы недоплаченныя ему отцомъ. Тѣмъ не менѣе, можетъ быть, можно найти несравненно ближайшую точку зрѣнія, чтобъ объяснить это всегдашнее изступленіе подсудимаго по поводу

этихъ денегъ, чѣмъ наклонность его къ помѣшательству. Съ своей стороны, я вполнѣ согласенъ съ мнѣніемъ молодого врача, находившаго, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а былъ лишь раздраженъ и озлобленъ. Вотъ въ этомъ и дѣло: не въ трехъ тысячахъ, не въ суммѣ собственно заключался предметъ постояннаго и изступленнаго озлобленія подсудимаго, а въ томъ, что была тутъ особая причина, возбуждавшая его гнѣвъ. Причина эта — ревность!»

Здѣсь Ипполитъ Кирилловичъ пространно развернулъ всю картину роковой страсти подсудимаго къ Грушенькѣ. Началъ онъ съ самаго того момента, когда подсудимый отправился къ «молодой особѣ», чтобъ «избить ее», — выражаясь его собственными словами, пояснилъ Ипполитъ Кирилловичъ, — «но вмѣсто того, чтобъ избить, остался у ногъ ея,— вотъ начало этой любви. Въ то же время бросаетъ взглядъ на ту же особу и старикъ, отецъ подсудимаго, — совпаденіе удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдругъ, въ одно время, хотя прежде тотъ и другой знали же и встрѣчали эту особу, — и зажглись эти оба сердца самою безудержною, самою Карамазовскою страстью. Тутъ мы имѣемъ ея собственное признаніе: «я, говоритъ она, смѣялась надъ тѣмъ и другимъ». Да, ей захотѣлось вдругъ посмѣяться надъ тѣмъ и другимъ; прежде не хотѣлось, а тутъ вдругъ влетѣло ей въ умъ это намѣреніе, — и кончилось тѣмъ, что оба пали передъ ней побѣжденные. Старикъ, поклонявшійся деньгамъ, какъ Богу, тотчасъ же приготовилъ три тысячи рублей лишь за то только, чтобъ она посѣтила его обитель, но вскорѣ доведенъ былъ

и до того, что за счастье почелъ бы положить къ ногамъ ея свое имя и все свое состояніе, лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы имѣемъ свидѣтельства твердыя. Что же до подсудимаго, то трагедія его очевидна, она предъ нами. Но такова была «игра» молодой особы. Несчастному молодому человѣку обольстительница не подавала даже и надежды, ибо надежда, настоящая надежда была ему подана лишь только въ самый послѣдній моментъ, когда онъ, стоя передъ свою мучительницей на колѣняхъ, простиралъ къ ней уже обагренныя кровью своего отца и соперника руки: въ этомъ именно положеніи онъ и былъ арестованъ. «Меня, меня вмѣстѣ съ нимъ въ каторгу пошлите, я его до того довела, я больше всѣхъ виновата!» восклицала эта женщина сама, уже въ искреннемъ раскаяніи, въ минуту его ареста. Талантливый молодой человѣкъ, взявшій на себя описать настоящее дѣло, — все тотъ же господинъ Ракитинъ, о которомъ я уже упоминалъ, — въ нѣсколькихъ сжатыхъ и характерныхъ фразахъ опредѣляетъ характеръ этой героини: «раннее разочарованіе, ранній обманъ и паденіе, измѣна обольстителя жениха, ее бросившаго, затѣмъ бѣдность, проклятіе честной семьи и, наконецъ, покровительство одного богатаго старика, котораго она, впрочемъ, сама считаетъ и теперь своимъ благодѣтелемъ. Въ молодомъ сердцѣ, можетъ быть, заключавшемъ въ себѣ много хорошаго, затаился гнѣвъ еще слишкомъ съ ранней поры. Образовался характеръ разсчетливый, копящій капиталъ. Образовалась насмѣшливость и мстительность обществу». Послѣ этой характеристики понятно, что она могла смѣяться надъ тѣмъ и другимъ единственно для игры, для злобной игры. И

вотъ въ этотъ мѣсяцъ безнадежной любви, нравственныхъ паденій, измѣны своей невѣстѣ, присвоенія чужихъ денегъ, ввѣренныхъ его чести, — подсудимый кромѣ того доходитъ почти до изступленія, до бѣшенства, отъ безпрерывной ревности, и къ кому же, къ своему отцу! И главное, безумный старикъ сманиваетъ и прельщаетъ предметъ его страсти — этими же самыми тремя тысячами, которыя сынъ его считаетъ своими родовыми, наслѣдствомъ матери, въ которыхъ укоряетъ отца. Да, я согласенъ, это было тяжело перенести! Тутъ могла явиться даже и манія. Не въ деньгахъ было дѣло, а въ томъ, что этими же деньгами съ такимъ омерзительнымъ цинизмомъ разбивалось счастье его!»

Затѣмъ Ипполитъ Кирилловичъ перешелъ къ тому, какъ постепенно зарождалась въ подсудимомъ мысль отцеубійства, и прослѣдилъ его по фактамъ.

«Сначала мы только кричимъ по трактирамъ, — весь этотъ мѣсяцъ кричимъ. О, мы любимъ жить на людяхъ и тотчасъ же сообщать этимъ людямъ всѣ, даже самыя инфернальныя и опасныя наши идеи, мы любимъ дѣлиться съ людьми, и, неизвѣстно почему, тутъ же, сейчасъ же и требуемъ, чтобъ эти люди тотчасъ же отвѣчали намъ полнѣйшею симпатіей, входили во всѣ наши заботы и тревоги, намъ поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесемъ весь трактиръ. (Слѣдовалъ анекдотъ о штабсъ-капитанѣ Снѣгиревѣ.) Видѣвшіе и слышавшіе подсудимаго въ этотъ мѣсяцъ почувствовали, наконецъ, что тутъ уже могутъ быть не одни крики и угрозы отцу, но что при такомъ изступленіи угрозы, пожалуй, пе-

рейдутъ и въ дѣло. (Тутъ прокуроръ описалъ семейную встрѣчу въ монастырѣ, разговоры съ Алешей и безобразную сцену насилія въ домѣ отца, когда подсудимый ворвался къ нему послѣ обѣда.) Не думаю настойчиво утверждать, — продолжалъ Ипполитъ Кирилловичъ, — что до этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамѣренно положилъ покончить съ отцомъ своимъ убійствомъ его. Тѣмъ не менѣе идея эта уже нѣсколько разъ предстояла ему, и онъ обдуманно созерцалъ ее — на это мы имѣемъ факты, свидѣтелей и собственное сознаніе его. Признаюсь, господа присяжные засѣдатели, — присовокупилъ Ипполитъ Кирилловичъ, — я даже до сегодня колебался оставить за подсудимымъ полное и сознательное преднамѣреніе напрашивавшагося къ нему преступленія. Я твердо былъ убѣжденъ, что душа его уже многократно созерцала роковой моментъ впереди, но лишь созерцала, представляла его себѣ лишь въ возможности, но еще не опредѣляла ни срока исполненія, ни обстоятельствъ. Но я колебался лишь до сегодня, до этого рокового документа, представленнаго сегодня суду госпожею Верховцевой. Вы сами слышали, господа, ея восклицаніе: «это планъ, это программа убійства!» вотъ какъ опредѣляла она несчастное «пьяное» письмо несчастнаго подсудимаго. И, дѣйствительно, за письмомъ этимъ все значеніе программы и преднамѣренія. Оно написано за двое сутокъ до преступленія, — и, такимъ образомъ, намъ твердо теперь извѣстно, что за двое сутокъ до исполненія своего страшнаго замысла подсудимый съ клятвою объявилъ, что если не достанетъ завтра денегъ, то убьетъ отца, съ тѣмъ, чтобы взять у него деньги изъ-подъ подушки «въ пакетѣ

съ красною ленточкой, только бы уѣхалъ Иванъ». Слышите: «только бы уѣхалъ Иванъ», — тутъ, стало быть, уже все обдумано, обстоятельства взвѣшены, — и что же: все потомъ и исполнено, какъ по писанному! Преднамѣренность и обдуманность несомнѣнны, преступленіе должно было совершиться съ цѣлью грабежа, это прямо объявлено, это написано и подписано. Подсудимый отъ своей подписи не отрицается. Скажутъ: это писалъ пьяный. Но это ничего не уменьшаетъ и тѣмъ важнѣе: въ пьяномъ видѣ написалъ то, что задумалъ въ трезвомъ. Не было бы задумано въ трезвомъ, не написалось бы въ пьяномъ. Скажутъ, пожалуй: къ чему же онъ кричалъ о своемъ намѣреніи по трактирамъ? Кто на такое дѣло рѣшается *преднамѣренно,* тотъ молчитъ и таитъ про себя. Правда, но кричалъ онъ тогда, когда еще не было плановъ и преднамѣренія, а лишь стояло одно желаніе, созрѣвало лишь стремленіе. Потомъ онъ объ этомъ уже меньше кричитъ. Въ тотъ вечеръ, когда было написано это письмо, напившись въ трактирѣ «Столичный городъ», онъ, противъ обыкновенія, былъ молчаливъ, не игралъ на билліардѣ, сидѣлъ въ сторонѣ, ни съ кѣмъ не говорилъ и лишь согналъ съ мѣста одного здѣшняго купеческаго приказчика, но это уже почти безсознательно, по привычкѣ къ ссорѣ, безъ которой, войдя въ трактиръ, онъ уже не могъ обойтись. Правда, вмѣстѣ съ окончательнымъ рѣшеніемъ, подсудимому должно же было придти въ голову опасеніе, что онъ слишкомъ много накричалъ по городу предварительно и что это можетъ весьма послужить къ его уличенію и его обвиненію, когда онъ исполнитъ задуманное. Но ужъ что же дѣлать, фактъ огласки былъ совершенъ, его

не воротишь, и, наконецъ, вывозила же прежде кривая, вывезетъ и теперь. Мы на звѣзду свою надѣялись, господа! Я долженъ къ тому же признаться, что онъ много сдѣлалъ, чтобъ обойти роковую минуту, что онъ употребилъ весьма много усилій, чтобъ избѣжать кроваваго исхода. «Буду завтра просить три тысячи у всѣхъ людей, какъ пишетъ онъ своимъ своеобразнымъ языкомъ, а не дадутъ люди, то прольется кровь». Опять-таки въ пьяномъ видѣ написано и опять-таки въ трезвомъ видѣ какъ по писанному исполнено!»

Тутъ Ипполитъ Кирилловичъ приступилъ къ подробному описанію всѣхъ стараній Мити добыть себѣ деньги, чтобъ избѣжать преступленія. Онъ описалъ его похожденія у Самсонова, путешествіе къ Лягавому — все по документамъ. «Измученный, осмѣянный, голодный, продавшій часы на это путешествіе (имѣя, однако, на себѣ полторы тысячи рублей — и будто, о, будто!), мучаясь ревностью по оставленному въ городѣ предмету любви, подозрѣвая, что она безъ него уйдетъ къ Ѳедору Павловичу, онъ возвращается, наконецъ, въ городъ. Слава Богу! Она у Ѳедора Павловича не была. Онъ же самъ ее и провожаетъ къ ея покровителю Самсонову. (Странное дѣло, къ Самсонову мы не ревнивы и это весьма характерная психологическая особенность въ этомъ дѣлѣ!) Затѣмъ стремится на наблюдательный постъ «на задахъ» и тамъ — и тамъ узнаетъ, что Смердяковъ въ падучей, что другой слуга боленъ — поле чисто, а «знаки» въ рукахъ его, какой соблазнъ! Тѣмъ не менѣе онъ все-таки сопротивляется; онъ идетъ къ высокоуважаемой всѣми нами, временной здѣшней жительницѣ г-жѣ Хохлаковой. Давно уже сострадающая

его судьбѣ, эта дама предлагаетъ ему благоразумнѣйшій изъ совѣтовъ: бросить весь этотъ кутежъ, эту безобразную любовь, эти праздношатанія по трактирамъ, безплодную трату молодыхъ силъ и отправиться въ Сибирь на золотые пріиски: «тамъ исходъ вашимъ бушующимъ силамъ, вашему романическому характеру, жаждущему приключеній». Описавъ исходъ бесѣды и тотъ моментъ, когда подсудимый вдругъ получилъ извѣстіе о томъ, что Грушенька совсѣмъ не была у Самсонова, описавъ мгновенно изступленіе несчастнаго, измученнаго нервами ревниваго человѣка при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, у Ѳедора Павловича, Ипполитъ Кирилловичъ заключилъ, обращая вниманіе на роковое значеніе случая: «Успѣй ему сказать служанка, что возлюбленная его въ Мокромъ, съ «прежнимъ» и «безспорнымъ» — ничего бы и не было. Но она опѣшила отъ страха, заклялась-забожилась, и, если подсудимый не убилъ ее тутъ же, то это потому, что сломя голову пустился за своей измѣнницей. Но замѣтьте: какъ ни былъ онъ внѣ себя, а захватилъ-таки съ собою мѣдный пестикъ. Зачѣмъ именно пестикъ, зачѣмъ не другое какое оружіе? Но, если мы уже цѣлый мѣсяцъ созерцали эту картину и къ ней приготовлялись, то чуть мелькнуло намъ что-то въ видѣ оружія, мы и схватываемъ его, какъ оружіе. А о томъ, что какой-нибудь предметъ въ этомъ родѣ можетъ послужить оружіемъ, — это мы уже цѣлый мѣсяцъ представляли себѣ. Потому-то такъ мгновенно и безспорно и признали его за оружіе! А потому все же не безсознательно, все же не невольно схватилъ онъ этотъ роковой пестикъ. И вотъ онъ въ отцовскомъ саду — поле чисто, сви-

дѣтелей нѣтъ, глубокая ночь, мракъ и ревность. Подозрѣніе, что она здѣсь, съ нимъ, съ соперникомъ его, въ его объятіяхъ, и, можетъ быть, смѣется надъ нимъ въ эту минуту — захватываетъ ему духъ. Да и не подозрѣніе только, — какія ужъ теперь подозрѣнія, обманъ явенъ, очевиденъ: она тутъ, вотъ въ этой комнатѣ, откуда свѣтъ, она у него тамъ, за ширмами, — и вотъ несчастный подкрадывается къ окну, почтительно въ него заглядываетъ, благонравно смиряется и благоразумно уходитъ, поскорѣе вонъ отъ бѣды, чтобы чего не произошло, опаснаго и безнравственнаго — и насъ въ этомъ хотятъ увѣрить, насъ, знающихъ характеръ подсудимаго, понимающихъ въ какомъ онъ былъ состояніи духа, въ состояніи намъ извѣстномъ по фактамъ, а, главное, обладая знаками, которыми тотчасъ же могъ отпереть домъ и войти!» Здѣсь, по поводу «знаковъ», Ипполитъ Кирилловичъ оставилъ на время свое обвиненіе и нашелъ необходимымъ распространиться о Смердяковѣ, съ тѣмъ, чтобы ужъ совершенно исчерпать весь этотъ вводный эпизодъ о подозрѣніи Смердякова въ убійствѣ и покончить съ этой мыслью разъ навсегда. Сдѣлалъ онъ это весьма обстоятельно, и всѣ поняли, что несмотря на все выказываемое имъ презрѣніе къ этому предположенію, онъ все-таки считалъ его весьма важнымъ.

VIII.

Трактатъ о Смердяковѣ.

«Во-первыхъ, откуда взялась возможность подобнаго подозрѣнія? — началъ съ этого вопроса Ипполитъ Кирилловичъ.—Первый, крикнувшій, что

убилъ Смердяковъ, былъ самъ подсудимый въ минуту своего ареста и, однако, не представившій съ самаго перваго крика своего и до самой сей минуты суда ни единаго факта въ подтвержденіе своего обвиненія, — и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразнаго съ человѣческимъ смысломъ намека на какой-нибудь фактъ. Затѣмъ подтверждаютъ обвиненіе это только три лица: оба брата подсудимаго и г-жа Свѣтлова. Но старшій братъ подсудимаго объявилъ свое подозрѣніе только сегодня, въ болѣзни, въ припадкѣ безспорнаго умоизступленія и горячки, а прежде, во всѣ два мѣсяца, какъ намъ положительно это извѣстно, совершенно раздѣлялъ убѣжденіе о виновности своего брата, даже не искалъ возражать противъ этой идеи. Но мы этимъ займемся особенно еще потомъ. Затѣмъ младшій братъ подсудимаго намъ объявляетъ давеча самъ, что фактовъ въ подтвержденіе своей мысли о виновности Смердякова не имѣетъ никакихъ, ни малѣйшихъ, а заключаетъ такъ лишь со словъ самого подсудимаго и «по выраженію его лица» — да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братомъ. Г-жа же Свѣтлова выразилась даже, можетъ быть, и еще колоссальнѣе: «что подсудимый вамъ скажетъ, тому и вѣрьте, не таковъ человѣкъ, чтобы солгалъ». Вотъ всѣ фактическія доказательства на Смердякова отъ этихъ трехъ лицъ, слишкомъ заинтересованныхъ въ судьбѣ подсудимаго. И, между тѣмъ, обвиненіе на Смердякова ходило и держалось, и держится, — можно этому повѣрить, можно это представить?»

Тутъ Ипполитъ Кирилловичъ нашелъ нужнымъ слегка очертить характеръ покойнаго Смердякова,

«прекратившаго жизнь свою въ припадкѣ болѣзненнаго умоизступленія и помѣшательства». Онъ представилъ его человѣкомъ слабоумнымъ съ зачаткомъ нѣкотораго смутнаго образованія, сбитаго съ толку философскими идеями не подъ силу его уму и испугавшагося иныхъ современныхъ ученій о долгѣ и обязанности, широко преподанныхъ ему — практически-безшабашною жизнью покойнаго его барина, а, можетъ быть, и отца — Ѳедора Павловича, а теоретически — разными странными философскими разговорами съ старшимъ сыномъ барина, Иваномъ Ѳедоровичемъ, охотно позволявшимъ себѣ это развлеченіе, — вѣроятно, отъ скуки, или отъ потребности насмѣшки, не нашедшей лучшаго примѣненія. Онъ мнѣ самъ разсказывалъ о своемъ душевномъ состояніи въ послѣдніе дни своего пребыванія въ домѣ своего барина, — пояснилъ Ипполитъ Кирилловичъ, — но свидѣтельствуютъ о томъ же и другіе: самъ подсудимый, братъ его и даже слуга Григорій, т. е. всѣ тѣ, которые должны были знать его весьма близко. Кромѣ того, удрученный падучею болѣзнью, Смердяковъ былъ «трусливъ, какъ курица». «Онъ падалъ мнѣ въ ноги и цѣловалъ мои ноги», сообщалъ намъ самъ подсудимый въ ту минуту, когда еще не сознавалъ нѣкоторой для себя невыгоды въ такомъ сообщеніи, — «это курица въ падучей болѣзни», выразился онъ про него своимъ характернымъ языкомъ. И вотъ его-то подсудимый (о чемъ и самъ свидѣтельствуетъ) выбираетъ въ свои довѣренные и запугиваетъ настолько, что тотъ соглашается, наконецъ, служить ему шпіономъ и переносчикомъ. Въ этомъ качествѣ домашняго соглядатая онъ измѣняетъ своему барину, сообщаетъ подсудимому и о

существованіи пакета съ деньгами, и про знаки, по которымъ можно проникнуть къ барину, — да и какъ бы онъ могъ не сообщить! «Убьютъ-съ, видѣлъ прямо, что убьютъ меня-съ», говорилъ онъ на слѣдствіи, трясясь и трепеща даже передъ нами, несмотря на то, что запугавшій его мучитель былъ уже самъ тогда подъ арестомъ и не могъ уже придти наказать его. «Подозрѣвали меня всякую минуту-съ, самъ въ страхѣ и трепетѣ, чтобы только ихъ гнѣвъ утолить, спѣшилъ сообщать имъ всякую тайну-съ, чтобы тѣмъ самымъ невинность мою передъ ними видѣть могли-съ и живого на покаяніе отпустили-съ». Вотъ собственныя слова его, я ихъ записалъ и запомнилъ: «какъ закричитъ, бывало, на меня, я такъ на колѣнки передъ ними и паду». Будучи высокочестнымъ отъ природы своей молодымъ человѣкомъ и войдя тѣмъ въ довѣренность своего барина, отличившаго въ немъ эту честность, когда тотъ возвратилъ ему потерянныя имъ деньги, несчастный Смердяковъ, надо думать, страшно мучился раскаяніемъ въ измѣнѣ своему барину, котораго любилъ, какъ своего благодѣтеля. Сильно страдающіе отъ падучей болѣзни, по свидѣтельству глубочайшихъ психіатровъ, всегда наклонны къ безпрерывному и, конечно, болѣзненному самообвиненію. Они мучаются отъ своей «виновности» въ чемъ-то и передъ кѣмъ-то, мучаются угрызеніями совѣсти, часто даже безо всякаго основанія, преувеличиваютъ и даже сами выдумываютъ на себя разныя вины и преступленія. И вотъ подобный-то субъектъ становится, дѣйствительно, виновнымъ и преступнымъ отъ страху и отъ запугиванія. Кромѣ того, онъ сильно предчувствовалъ, что изъ слагающихся на глазахъ его обстоятельствъ можетъ вый-

ти нѣчто недоброе. Когда старшій сынъ Ѳедора Павловича, Иванъ Ѳедоровичъ, передъ самою катастрофою уѣзжалъ въ Москву, Смердяковъ умолялъ его остаться, не смѣя, однакоже, по трусливому обычаю своему, высказать ему всѣ опасенія свои въ видѣ ясномъ и категорическомъ. Онъ лишь удовольствовался намеками, но намековъ не поняли. Надо замѣтить, что въ Иванѣ Ѳедоровичѣ онъ видѣлъ какъ бы свою защиту, какъ бы гарантію въ томъ, что пока тотъ дома, то не случится бѣды. Вспомните выраженіе въ «пьяномъ» письмѣ Дмитрія Карамазова: «убью старика, если только уѣдетъ Иванъ», стало быть, присутствіе Ивана Ѳедоровича казалось всѣмъ какъ бы гарантіей тишины и порядка въ домѣ. И вотъ онъ-то и уѣзжаетъ, а Смердяковъ тотчасъ же, почти черезъ часъ по отъѣздѣ молодого барина, упадаетъ въ падучей болѣзни. Но это совершенно понятно. Здѣсь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаяніемъ, Смердяковъ, въ послѣдніе дни особенно, ощущалъ въ себѣ возможность приближенія припадковъ падучей, которая и прежде всегда случалась съ нимъ въ минуты нравственнаго напряженія и потрясенія. День и часъ этихъ припадковъ угадать, конечно, нельзя, но расположеніе къ припадку каждый эпилептикъ ощутить въ себѣ можетъ заранѣе. Такъ говоритъ медицина. И вотъ, только что съѣзжаетъ со двора Иванъ Ѳедоровичъ, какъ Смердяковъ, подъ впечатлѣніемъ своего, такъ сказать, сиротства и своей беззащитности, идетъ за домашнимъ дѣломъ въ погребъ, спускается внизъ по лѣстницѣ и думаетъ: «будетъ или не будетъ припадокъ, а что коль сейчасъ придетъ?» — И вотъ именно отъ этого настроенія, отъ этой мнительно-

сти, отъ этихъ вопросовъ и схватываетъ его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и онъ летитъ стремглавъ, безъ сознанія, на дно погреба. И вотъ, въ этой самой естественной случайности ухищряются видѣть какое-то подозрѣніе, какое-то указаніе, какой-то намекъ на то, что онъ *нарочно* притворился больнымъ! Но если нарочно, то является тотчасъ вопросъ: для чего же? Изъ какого расчета, съ какою же цѣлью? Я уже не говорю про медицину; наука, дескать, лжетъ, наука ошибается, доктора не сумѣли отличить истины отъ притворства, — пусть, пусть, но отвѣтьте же мнѣ, однако, на вопросъ: для чего ему было притворяться? Не для того ли, чтобы, замысливъ убійство, обратить на себя случившимся припадкомъ заранѣе и поскорѣе вниманіе въ домѣ? Видители, господа присяжные засѣдатели, въ домѣ Ѳедора Павловича въ ночь преступленія было и перебывало пять человѣкъ: во-первыхъ, самъ Ѳедоръ Павловичъ, — но вѣдь не онъ же убилъ себя, это ясно, во-вторыхъ, слуга его Григорій, но вѣдь того самого чуть не убили, — въ-третьихъ, жена Григорія служанка Марѳа Игнатьевна, но представить ее убійцей своего барина просто стыдно. Остаются, стало быть, на виду два человѣка: подсудимый и Смердяковъ. Но такъ какъ подсудимый увѣряетъ, что убилъ не онъ, то, стало быть, долженъ былъ убить Смердяковъ, другого выхода нѣтъ, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убійцы не подберешь. Вотъ, вотъ, стало быть, откуда произошло это «хитрое» и колоссальное обвиненіе на несчастнаго, вчера покончившаго съ собой, идіота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тѣнь, хоть подозрѣніе на кого

другого, на какое-нибудь шестое лицо, то, я убѣжденъ, что даже самъ подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, показалъ бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова въ этомъ убійствѣ есть совершенный абсурдъ.

«Господа, оставимъ психологію, оставимъ медицину, оставимъ даже самую логику, обратимся лишь къ фактамъ, къ однимъ только фактамъ и посмотримъ, что скажутъ намъ факты. Убилъ Смердяковъ, но какъ? Одинъ или въ сообществѣ съ подсудимымъ? Разсмотримъ сперва первый случай, то есть, что Смердяковъ убиваетъ одинъ. Конечно, если убилъ, то для чего же-нибудь, изъ какой-нибудь выгоды. Но, не имѣя ни тѣни мотивовъ къ убійству изъ такихъ, какіе имѣлъ подсудимый, то есть ненависти, ревности и проч., и проч., Смердяковъ, безъ сомнѣнія, могъ убить только лишь изъ-за денегъ, чтобы присвоить себѣ именно эти три тысячи, которыя самъ же видѣлъ, какъ баринъ его укладывалъ въ пакетъ. И вотъ, замысливъ убійство, онъ заранѣе сообщаетъ другому лицу, — именно подсудимому, — всѣ обстоятельства о деньгахъ и знакахъ: гдѣ лежитъ пакетъ, что именно на пакетѣ написано, чѣмъ онъ обернутъ, а, главное, главное сообщаетъ про эти «знаки», которыми къ барину можно пройти. Что жъ, онъ прямо, чтобы выдать себя, это дѣлаетъ? Или чтобы найти себѣ соперника, который, пожалуй, и самъ пожелаетъ войти и пріобрѣсть пакетъ? Да, скажутъ мнѣ, но вѣдь онъ сообщилъ отъ страху. Но какъ же это? Человѣкъ, не смигнувшій задумать такое безстрашное и звѣрское дѣло и потомъ исполнить его, — сообщаетъ такія извѣстія, которыя знаетъ только онъ въ цѣломъ мірѣ, и о которыхъ, если бы только

онъ о нихъ умолчалъ, никто и не догадался бы никогда въ цѣломъ мірѣ. Нѣтъ, ужъ какъ бы ни былъ трусливъ человѣкъ, а ужъ если такое дѣло задумалъ, то ни за что бы не сказалъ никому, по крайней мѣрѣ, про пакетъ и про знаки, ибо это значило бы впередъ всего себя выдать. Что-нибудь выдумалъ бы нарочно, что-нибудь налгалъ бы другое, если ужъ отъ него непремѣнно требовали извѣстій, а ужъ объ этомъ бы умолчалъ! Напротивъ, повторяю это, если бъ онъ промолчалъ хоть только о деньгахъ, а потомъ убилъ и присвоилъ эти деньги себѣ, то никто бы никогда въ цѣломъ мірѣ не могъ обвинить его, по крайней мѣрѣ, въ убійствѣ для грабежа, ибо денегъ этихъ вѣдь никто, кромѣ него, не видалъ, никто не зналъ, что онѣ существуютъ въ домѣ. Если бы даже и обвинили его, то непремѣнно сочли бы, что онъ изъ другого какого-нибудь мотива убилъ. Но такъ какъ мотивовъ этихъ за нимъ никто предварительно не примѣтилъ, а всѣ видѣли, напротивъ, что онъ бариномъ любимъ, почтенъ бариновою довѣренностью, то, конечно бы, его послѣдняго и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имѣлъ эти мотивы, кто самъ кричалъ, что имѣетъ эти мотивы, кто ихъ не скрывалъ, передъ всѣми обнаруживалъ, однимъ словомъ, заподозрили бы сына убитаго, Дмитрія Ѳедоровича. Смердяковъ бы убилъ и ограбилъ, а сына бы обвинили, — вѣдь Смердякову, убійцѣ, ужъ конечно, было бы это выгодно? Ну, такъ вотъ этому-то сыну Дмитрію, Смердяковъ, замысливъ убійство, и сообщаетъ впередъ про деньги, про пакетъ и про знаки, — какъ это логично, какъ это ясно!

«Приходитъ день замышленнаго Смердяковымъ

убійства, и вотъ онъ летитъ съ ногъ, *притворившись,* въ припадкѣ падучей болѣзни, для чего? Ужъ, конечно, для того, чтобы, во-первыхъ, слуга Григорій, замыслившій свое лѣченіе и, видя, что совершенно некому стеречь домъ, можетъ быть, отложилъ бы свое лѣченіе и сѣлъ караулить. Во-вторыхъ, конечно, для того, чтобы самъ баринъ, видя, что его никто не караулитъ и страшно опасаясь прихода сына, чего не скрывалъ, усугубилъ свою недовѣрчивость и свою осторожность. Наконецъ, и главное, конечно, для того, чтобъ его, Смердякова, разбитаго припадкомъ, тотчасъ же перенесли изъ кухни, гдѣ онъ всегда отдѣльно ото всѣхъ ночевалъ и гдѣ имѣлъ свой особенный входъ и выходъ, въ другой конецъ флигеля, въ комнату Григорія, къ нимъ обоимъ за перегородку, въ трехъ шагахъ отъ ихъ собственной постели, какъ всегда это бывало, съ поконъ вѣка, чуть только его разбивала падучая, по распоряженіямъ барина и сердобольной Марѳы Игнатьевны. Тамъ, лежа за перегородкой, онъ вѣроятнѣе всего, чтобъ вѣрнѣе изобразиться больнымъ, начнетъ, конечно, стонать, то есть будить ихъ всю ночь — (какъ и было по показанію Григорія и жены его), — и все это, все это для того, чтобъ тѣмъ удобнѣе вдругъ встать и потомъ убить барина!

«Но, скажутъ мнѣ, можетъ быть, онъ именно притворился, чтобы на него, какъ на больного, не подумали, а подсудимому сообщилъ про деньги и про знаки именно для того, чтобъ тотъ соблазнился и самъ пришелъ, и убилъ, и когда, видите ли, тотъ, убивъ, уйдетъ и унесетъ деньги, и при этомъ, пожалуй, нашумитъ, нагремитъ, разбудитъ свидѣтелей, то тогда, видите ли, встанетъ и Смердяковъ, и пойдетъ, — ну, что же дѣлать пойдетъ? А вотъ

именно пойдетъ въ другой разъ убить барина и въ другой разъ унести уже унесенныя деньги. Господа, вы смѣетесь? Мнѣ самому стыдно дѣлать такія предположенія, а между тѣмъ, представьте себѣ это, именно вѣдь подсудимый это самое и утверждаетъ: послѣ меня, дескать, когда я уже вышелъ изъ дому, поваливъ Григорія и надѣлавъ тревоги, онъ всталъ, пошелъ, убилъ и ограбилъ. Ужъ я и не говорю про то, какъ бы могъ Смердяковъ расчитать все заранѣе и все предузнать, какъ по пальцамъ, то есть, что раздраженный и бѣшеный сынъ придетъ единственно для того только, чтобы почтительно заглянуть въ окно, и, обладая знаками, отретироваться, оставивъ ему, Смердякову, всю добычу! Господа, я серьезно ставлю вопросъ: гдѣ тотъ моментъ, когда Смердяковъ совершилъ свое преступленіе? Укажите этотъ моментъ, ибо безъ этого нельзя обвинять.

«А, можетъ быть, падучая была настоящая. Больной вдругъ очнулся, услыхалъ крикъ, вышелъ, — ну, и что же? Посмотрѣлъ, да и сказалъ себѣ: дай пойду убью барина? А почему онъ узналъ, что̀ тутъ было, что̀ тутъ происходило, вѣдь онъ до сихъ поръ лежалъ въ безпамятствѣ? А, впрочемъ, господа, есть предѣлъ и фантазіямъ.

«Такъ-съ, скажутъ тонкіе люди, а ну какъ оба были въ согласіи, а ну какъ это они оба вмѣстѣ убили и денежки подѣлили, ну тогда какъ же?

«Да, дѣйствительно, подозрѣніе важное, и во-первыхъ — тотчасъ же колоссальныя улики, его подтверждающія: одинъ убиваетъ и беретъ всѣ труды на себя, а другой, сообщникъ, лежитъ на боку, притворившись въ падучей, — именно для того, чтобы предварительно возбудить во всѣхъ подозрѣ-

ніе, тревогу въ баринѣ, тревогу въ Григоріи. Любопытно, изъ какихъ мотивовъ оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедшій планъ? Но, можетъ быть, это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а, такъ сказать, пассивное и страдальческое: можетъ быть, запуганный Смердяковъ согласился лишь не сопротивляться убійству и, предчувствуя, что его же вѣдь обвинятъ, что онъ далъ убить барина, не кричалъ, не сопротивлялся, — заранѣе выговорилъ себѣ у Дмитрія Карамазова позволеніе пролежать это время какъ бы въ падучей, «а ты тамъ убивай себѣ, какъ угодно, моя изба съ краю». Но если и такъ, то, такъ какъ и опять-таки эта падучая должна была произвести въ домѣ переполохъ, предвидя это, Дмитрій Карамазовъ ужъ никакъ не могъ бы согласиться на такой уговоръ. Но я уступаю, пусть онъ согласился; такъ вѣдь, все-таки, вышло бы тогда, что Дмитрій Карамазовъ — убійца, прямой убійца и зачинщикъ, а Смердяковъ лишь пассивный участникъ, да и не участникъ даже, а лишь попуститель отъ страха и противъ воли, вѣдь судъ-то это бы уже непремѣнно могъ различить, и вотъ что̀ же мы видимъ? Только что арестовали подсудимаго, какъ онъ мигомъ сваливаетъ все на одного Смердякова и его *одного* обвиняетъ. Не въ сообщничествѣ съ собой обвиняетъ, а его одного: одинъ, дескать, онъ это сдѣлалъ, онъ убилъ и ограбилъ, его рукъ дѣло! Ну что̀ это за сообщники, которые тотчасъ же начинаютъ говоритъ одинъ на другого, — да этого никогда не бываетъ. И, замѣтьте, какой рискъ для Карамазова: онъ главный убійца, а тотъ неглавный, тотъ только попуститель и пролежалъ за перегородкой, и вотъ онъ сваливаетъ на лежачаго. Такъ

вѣдь тотъ, лежачій-то могъ разсердиться, и изъ-за одного только самосохраненія поскорѣе объявить правду истинную: оба, дескать, участвовали, только я не убивалъ, а лишь дозволилъ и попустилъ, отъ страху. Вѣдь онъ же, Смердяковъ, могъ понять, что судъ тотчасъ бы различилъ степень его виновности, а, стало быть, могъ и расчитать, что если его и накажутъ, то несравненно ничтожнѣе, чѣмъ того, главнаго убійцу, желающаго все свалить на него. Но тогда, стало быть, ужъ поневолѣ сдѣлалъ бы признаніе. Этого мы, однакоже, не видали. Смердяковъ и не заикнулся о сообщничествѣ, несмотря на то, что убійца твердо обвинялъ его и все время указывалъ на него, какъ на убійцу, единственнаго. Мало того: Смердяковъ же и открылъ слѣдствію, что о пакетѣ съ деньгами и о знакахъ сообщилъ подсудимому *онъ самъ*, и что безъ него тотъ и не узналъ бы ничего. Если бъ онъ былъ, дѣйствительно, въ сообщничествѣ и виновенъ, сообщилъ ли бы онъ такъ легко объ этомъ слѣдствію, то есть, что это онъ все самъ сообщилъ подсудимому? Напротивъ, сталъ бы запираться и ужъ непремѣнно искажать факты и уменьшать ихъ. Но онъ не искажалъ и не уменьшалъ. Такъ можетъ дѣлать только невинный, не боящійся, что его обвинятъ въ сообщничествѣ. И вотъ онъ, въ припадкѣ болѣзненной меланхоліи отъ своей падучей и отъ всей этой разразившейся катастрофы, вчера повѣсился. Повѣсившись, оставилъ записку, писанную своеобразнымъ слогомъ: «истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить». Ну, что бъ ему прибавить въ запискѣ: убійца я, а не Карамазовъ. Но этого онъ не прибавилъ: на одно совѣсти хватило, а на другое нѣтъ?

«И что̀ же: давеча сюда, въ судъ, приносятъ деньги, три тысячи рублей, — «тѣ самыя, дескать, которыя лежали вотъ въ этомъ самомъ пакетѣ, что̀ на столѣ съ вещественными доказательствами, получилъ, дескать, вчера отъ Смердякова». Но вы, господа присяжные засѣдатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не возобновлю подробностей, однакоже, позволю себѣ сдѣлать лишь два-три соображенія, выбирая изъ самыхъ незначительнѣйшихъ, — именно потому, что они незначительны, а, стало быть, не всякому придутъ въ голову и забудутся. Во-первыхъ, и опять-таки: отъ угрызенія совѣсти Смердяковъ вчера отдалъ деньги и самъ повѣсился. (Ибо безъ угрызеній совѣсти онъ бы денегъ не отдалъ). И ужъ, конечно, только вчера вечеромъ въ первый разъ признался Ивану Карамазову въ своемъ преступленіи, какъ объявилъ и самъ Иванъ Карамазовъ, иначе зачѣмъ бы онъ молчалъ до сихъ поръ? Итакъ, онъ признался, почему же, опять повторяю это, въ предсмертной запискѣ не объявилъ намъ всей правды, зная, что завтра же для безвиннаго подсудимаго страшный судъ? Однѣ деньги вѣдь не доказательство. Мнѣ, напримѣръ, и еще двумъ лицамъ въ этой залѣ совершенно случайно сталъ извѣстенъ, еще недѣлю назадъ, одинъ фактъ, именно, что Иванъ Ѳедоровичъ Карамазовъ посылалъ въ губернскій городъ для размѣна два пятипроцентные билета по пяти тысячъ каждый, всего, стало быть, на десять тысячъ. Я только къ тому, что деньги у всѣхъ могутъ случиться къ данному сроку и что, принеся три тысячи, нельзя доказать непремѣнно, что это вотъ тѣ самыя деньги, вотъ именно изъ того самаго ящика или пакета. Наконецъ, Иванъ Карамазовъ, полу-

чивъ вчера такое важное сообщеніе отъ настоящаго убійцы, пребываетъ въ покоѣ. Но почему бы ему не заявить объ этомъ тотчасъ же? Почему онъ отложилъ все до утра? Полагаю, что имѣю право догадываться почему: уже недѣлю, какъ разстроенный въ своемъ здоровьѣ, самъ признававшійся доктору и близкимъ своимъ, что видитъ видѣнія, что встрѣчаетъ уже умершихъ людей, наканунѣ бѣлой горячки, которая сегодня именно и поразила его, онъ, внезапно узнавъ о кончинѣ Смердякова, вдругъ составляетъ себѣ слѣдующее разсужденіе: «человѣкъ мертвъ, на него сказать можно, а брата спасу. Деньги же есть у меня: возьму пачку и скажу, что Смердяковъ предъ смертью мнѣ отдалъ». Вы скажете—это нечестно, хоть на мертваго, но нечестно же лгать, даже и для спасенія брата? Такъ, ну, а что̀ если онъ солгалъ безсознательно, если онъ самъ вообразилъ, что такъ и было, именно скончательно пораженный въ разсудкѣ своемъ извѣстіемъ объ этой внезапной смерти лакея? Вы вѣдь видѣли давешнюю сцену, видѣли, въ какомъ положеніи былъ этотъ человѣкъ. Онъ стоялъ на ногахъ и говорилъ, но гдѣ былъ умъ его? За давешнимъ показаніемъ горячешнаго послѣдовалъ документъ, письмо подсудимаго къ г-жѣ Верховцевой, писанное имъ за два дня до совершенія преступленія, съ подробною программой преступленія впередъ. Ну, такъ чего же мы ищемъ программу и ея составителей? Точь-въ-точь по этой программѣ и совершилось, и совершилось не кѣмъ другимъ, какъ ея составителемъ. Да, господа присяжные засѣдатели, «совершилось, какъ по писаному!» И вовсе, вовсе мы не бѣжали почтительно и боязливо отъ отцова окошка, да еще въ твердой увѣренно-

сти, что у того теперь наша возлюбленная. Нѣтъ, это нелѣпо и неправдоподобно. Онъ вошелъ и — покончилъ дѣло. Вѣроятно, онъ убилъ въ раздраженіи, разгорѣвшись злобой, только что взглянулъ на своего ненавистника и соперника, но убивъ, что̀ сдѣлалъ, можетъ быть, однимъ разомъ, однимъ взмахомъ руки, вооруженной мѣднымъ пестомъ, и убѣдившись затѣмъ уже послѣ подробнаго обыска, что ея тутъ нѣтъ, онъ, однакоже, не забылъ сунуть руку подъ подушку, достать конвертъ съ деньгами, разорванная обложка котораго лежитъ теперь здѣсь на столѣ съ вещественными доказательствами. Я говорю къ тому, чтобы вы замѣтили одно обстоятельство, по-моему, прехарактерное. Будь это опытный убійца и именно убійца съ цѣлью одного грабежа, — ну, оставилъ ли бы онъ обложку конверта на полу, въ томъ видѣ, какъ нашли ее подлѣ трупа? Ну, будь это, напримѣръ, Смердяковъ, убивающій для грабежа, — да онъ бы просто унесъ весь пакетъ съ собой, вовсе не трудясь распечатывать надъ трупомъ жертвы своей; такъ какъ зналъ навѣрно, что въ пакетѣ есть деньги, — вѣдь при немъ же ихъ вкладывали и запечатывали, — а вѣдь унеси онъ пакетъ совсѣмъ и тогда становится неизвѣстнымъ, существовало ли ограбленіе? Я васъ спрашиваю, господа присяжные, поступилъ ли бы такъ Смердяковъ, оставилъ ли бы онъ конвертъ на полу? Нѣтъ, именно такъ долженъ былъ поступить убійца изступленный, уже плохо разсуждающій, убійца не воръ и никогда ничего до тѣхъ поръ не укравшій, да и теперь-то вырвавшій изъ-подъ постели деньги не какъ воръ укравшій, а какъ свою же вещь у вора укравшаго унесшій, — ибо таковы именно были идеи Дмитрія Карамазова объ

этихъ трехъ тысячахъ, дошедшія въ немъ до маніи. И вотъ, захвативъ пакетъ, котораго онъ прежде никогда не видалъ, онъ и рветъ обложку, чтобы удостовѣриться, есть ли деньги, затѣмъ бѣжитъ съ деньгами въ карманѣ, даже и подумать забывъ, что оставляетъ на полу колоссальнѣйшее на себя обвиненіе въ видѣ разорванной обложки. Все потому, что Карамазовъ, а не Смердяковъ, не подумалъ, не сообразилъ, да и гдѣ ему! Онъ убѣгаетъ, онъ слышитъ вопль настигающаго его слуги, слуга хватаетъ его, останавливаетъ и падаетъ, пораженный мѣднымъ пестомъ. Подсудимый соскакиваетъ къ нему внизъ изъ жалости. Представьте, онъ вдругъ увѣряетъ насъ, что онъ соскочилъ тогда къ нему внизъ изъ жалости, изъ состраданія, чтобы посмотрѣть, не можетъ ли ему чѣмъ помочь. Ну, такова ли эта минута, чтобы выказать подобное состраданіе? Нѣтъ, онъ соскочилъ именно для того, чтобъ убѣдиться: живъ ли единственный свидѣтель его злодѣянія? Всякое другое чувство, всякій другой мотивъ были бы неестественны! Замѣтьте, онъ надъ Григоріемъ трудится, обтираетъ ему платкомъ голову и, убѣдясь, что онъ мертвъ, какъ потерянный, весь въ крови, прибѣгаетъ опять туда, въ домъ своей возлюбленной, — какъ же не подумалъ онъ, что онъ весь въ крови и что его тотчасъ изобличатъ? Но подсудимый самъ увѣряетъ насъ, что онъ даже и вниманія не обратилъ, что весь въ крови; это допустить можно, это очень возможно, это всегда бываетъ въ такія минуты съ преступниками. На одно — адскій расчетъ, а на другое не хватаетъ соображенія. Но онъ думалъ въ ту минуту лишь о томъ, гдѣ *она*. Ему надо было поскорѣе узнать гдѣ она, и вотъ онъ прибѣгаетъ въ ея

квартиру и узнаетъ неожиданное и колоссальнѣйшее для себя извѣстіе: она уѣхала въ Мокрое со своимъ «прежнимъ», «безспорнымъ»!»

IX.

Психологія на всѣхъ парахъ. Скачущая тройка. Финалъ рѣчи прокурора.

Дойдя до этого момента въ своей рѣчи, Ипполитъ Кирилловичъ, очевидно, избравшій строго историческій методъ изложенія, къ которому очень любятъ прибѣгать всѣ нервные ораторы, ищущіе нарочно строго поставленныхъ рамокъ, чтобы сдерживать собственное нетерпѣливое увлеченіе, — Ипполитъ Кирилловичъ особенно распространился о «прежнемъ» и «безспорномъ» и высказалъ на эту тему нѣсколько въ своемъ родѣ занимательныхъ мыслей. «Карамазовъ, ревновавшій ко всѣмъ до бѣшенства, вдругъ и разомъ какъ бы падаетъ и исчезаетъ передъ «прежнимъ» и «безспорнымъ». И тѣмъ болѣе это странно, что прежде онъ совсѣмъ почти и не обращалъ вниманія на эту новую для себя опасность, грядущую въ лицѣ неожиданнаго для него соперника. Но онъ все представлялъ себѣ, что это еще такъ далеко, а Карамазовъ всегда живетъ лишь настоящею минутой. Вѣроятно, онъ считалъ его даже фикціей. Но мигомъ понявъ больнымъ сердцемъ своимъ, что можетъ быть, потому-то эта женщина и скрывала этого новаго соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этотъ, вновь прилетѣвшій соперникъ, былъ слишкомъ для нея не фантазіей и не фикціей, а составлялъ для нея все, все ея упованіе въ жизни, — мигомъ понявъ это,

онъ смирился. Что же, господа присяжные, я не могу обойти умолчаніемъ эту внезапную черту въ душѣ подсудимаго, который бы, казалось, ни за что̀ не способенъ былъ проявить ее, высказалась вдругъ неумолимая потребность правды, уваженія къ женщинѣ, признанія правъ ея сердца и когда же — въ тотъ моментъ, когда изъ-за нея онъ обагрилъ свои руки кровью отца своего! Правда и то, что и пролитая кровь уже закричала въ эту минуту объ отмщеніи, ибо онъ, погубившій душу свою и всю земную судьбу свою, онъ невольно долженъ былъ почувствовать и спросить себя въ то мгновеніе: «что̀ значитъ онъ и что̀ можетъ онъ значить *теперь* для нея, для этого любимаго имъ больше души своей существа, въ сравненіи съ этимъ «прежнимъ» и «безспорнымъ», покаявшимся и воротившимся къ этой, когда-то погубленной имъ женщинѣ, съ новой любовью, съ предложеніями честными, съ обѣтомъ возрожденной и уже счастливой жизни. А онъ, несчастный, что̀ дастъ онъ ей *теперь,* что̀ ей предложитъ?» Карамазовъ все это понялъ, понялъ, что преступленіе его заперло ему всѣ дороги и что онъ лишь приговоренный къ казни преступникъ, а не человѣкъ, которому жить! Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вотъ онъ мгновенно останавливается на одномъ изступленномъ планѣ, который, при характерѣ Карамазова, не могъ не представиться ему, какъ единственнымъ и фатальнымъ исходомъ изъ страшнаго его положенія. Этотъ исходъ — самоубійство. Онъ бѣжитъ за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и въ то время дорогой, на бѣгу, выхватываетъ изъ кармана всѣ деньги, изъ-за которыхъ только что забрызгалъ руки свои отцовскою

кровью. О, деньги теперь ему нужнѣе всего: умираетъ Карамазовъ, застрѣливается Карамазовъ, и это будутъ помнить! Не даромъ же мы поэтъ, не даромъ же мы прожигали нашу жизнь, какъ свѣчку съ обоихъ концовъ. «Къ ней, къ ней, — и тамъ, о, тамъ я задаю пиръ на весь міръ, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго разсказывали. Среди дикихъ криковъ, безумныхъ цыганскихъ пѣсенъ и плясокъ, мы подымемъ заздравный бокалъ и поздравимъ обожаемую женщину съ ея новымъ счастьемъ, а затѣмъ — тутъ же, у ногъ ея, размозжимъ передъ нею нашъ черепъ и казнимъ нашу жизнь! Вспомнитъ когда-нибудь Митю Карамазова, увидитъ, какъ любилъ ее Митя, пожалѣетъ Митю!» Много картинности, романическаго изступленія, дикаго Карамазовскаго безудержу и чувствительности, — ну, и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что̀ кричитъ въ душѣ, стучитъ въ умѣ неустанно и отравляетъ его сердце до смерти, — это *что-то* — это совѣсть, господа присяжные, это судъ ея, это страшныя ея угрызенія! Но пистолетъ все помиритъ, пистолетъ единственный выходъ и нѣтъ другого, а тамъ — я не знаю, думалъ ли въ ту минуту Карамазовъ «*что будетъ тамъ*», и можетъ ли Карамазовъ по-Гамлетовски думать о томъ, что̀ тамъ будетъ? Нѣтъ, господа присяжные, у тѣхъ Гамлеты, а у насъ еще пока Карамазовы!»

Тутъ Ипполитъ Кирилловичъ развернулъ подробнѣйшую картину сборовъ Мити, сцену у Перхотина, въ лавкѣ, съ ямщиками. Онъ привелъ массу словъ, изреченій, жестовъ, все подтвержденныхъ свидѣтелями, — и картина страшно повліяла на убѣжденіе слушателей. Главное, повліяла совокуп-

ность фактовъ. Виновность этого, изступленно-мятущагося и уже не берегущаго себя, человѣка выставилась неотразимо. «Нечего уже ему было беречь себя,—говорилъ Ипполитъ Кирилловичъ,—два-три раза онъ чуть-чуть было не сознался вполнѣ, почти намекалъ и только развѣ не договаривалъ (здѣсь слѣдовали показанія свидѣтелей). Даже ямщику въ дорогѣ крикнулъ: «знаешь ли ты, что ты убійцу везешь!» Но договорить все-таки ему нельзя было: надо было попасть сперва въ село Мокрое и уже тамъ закончить поэму. Но что̀ же, однако, ожидаетъ несчастнаго? Дѣло въ томъ, что почти съ первыхъ же минутъ въ Мокромъ онъ видитъ и, наконецъ, постигаетъ совершенно, что «безспорный» соперникъ его вовсе, можетъ быть, ужъ не такъ безспоренъ и что поздравленій съ новымъ счастьемъ и заздравнаго бокала отъ него не хотятъ и не принимаютъ. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному слѣдствію. Торжество Карамазова надъ соперникомъ оказалось неоспоримымъ и тутъ — о, тутъ начался совсѣмъ уже новый фазисъ въ его душѣ, и даже самый страшный фазисъ изо всѣхъ, какіе пережила и еще переживетъ когда-либо эта душа! Положительно можно признать, господа присяжные,—воскликнулъ Ипполитъ Кирилловичъ,—что поруганная природа и преступное сердце—сами за себя мстители полнѣе всякаго земного правосудія! Мало того: правосудіе и земная казнь даже облегчаютъ казнь природы, даже необходимы душѣ преступника въ эти моменты, какъ спасеніе ея отъ отчаянія, ибо я и представить себѣ не могу того ужаса и тѣхъ нравственныхъ страданій Карамазова, когда онъ узналъ, что она его любитъ, что для него отвергаетъ своего «преж-

няго» и «безспорнаго», что его, его, «Митю», зоветъ съ собою въ обновленную жизнь, обѣщаетъ ему счастье и это когда же? Когда уже все для него покончено и когда уже ничего невозможно! Кстати, сдѣлаю вскользь одну весьма важную для насъ замѣтку для поясненія настоящей сущности тогдашняго положенія подсудимаго: эта женщина, эта любовь его до самой его послѣдней минуты, до самаго даже мига ареста, пребывала для него существомъ недоступнымъ, страстно желаемымъ, но недостижимымъ. Но почему, почему онъ не застрѣлился тогда же, почему оставилъ принятое намѣреніе и даже забылъ, гдѣ лежитъ его пистолетъ? А вотъ именно эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тутъ же утолить и удержали его. Въ чаду пира онъ приковался къ своей возлюбленной, тоже вмѣстѣ съ нимъ пирующей, прелестной и обольстительной для него болѣе, чѣмъ когда-либо, — онъ не отходитъ отъ нея, любуется ею, исчезаетъ предъ нею. Эта страстная жажда даже могла на мигъ подавить не только страхъ ареста, но и самыя угрызенія совѣсти! На мигъ, о, только на мигъ! Я представляю себѣ тогдашнее состояніе души преступника въ безспорномъ рабскомъ подчиненіи тремъ элементамъ, подавившимъ ее совершенно: во-первыхъ, пьяное состояніе, чадъ и гамъ, топотъ, пляски, визгъ пѣсенъ, и она, она, раскраснѣвшаяся отъ вина, поющая и пляшущая, пьяная и смѣющаяся ему! Во-вторыхъ, ободряющая отдаленная мечта о томъ, что роковая развязка еще далеко, по крайней мѣрѣ, не близко, — развѣ на другой только день, лишь на утро, придутъ и возьмутъ его. Стало быть, нѣсколько часовъ, это много, ужасно много! Въ нѣсколько часовъ можно

много придумать. Я представляю себѣ, что съ нимъ было нѣчто похожее на то, когда преступника везутъ на смертную казнь, на висѣлицу: еще надо проѣхать длинную-длинную улицу, да еще шагомъ, мимо тысячъ народа, затѣмъ будетъ поворотъ въ другую улицу и въ концѣ только этой другой улицы страшная площадь! Мнѣ именно кажется, что въ началѣ шествія осужденный, сидя на позорной своей колесницѣ, долженъ именно чувствовать, что предъ нимъ еще безконечная жизнь. Но вотъ, однакоже, уходятъ дома, колесница все подвигается, — о, это ничего, до поворота во вторую улицу еще такъ далеко, и вотъ онъ все еще бодро смотритъ направо и налѣво и на эти тысячи безучастно любопытныхъ людей, приковавшихся къ нему взглядами, и ему все еще мерещится, что онъ такой же, какъ и они, человѣкъ. Но вотъ уже и поворотъ въ другую улицу, о! это ничего, ничего, еще цѣлая улица. И сколько бы ни уходило домовъ, онъ все будетъ думать: «еще осталось много домовъ». И такъ до самаго конца, до самой площади. Такъ, представляю себѣ, было тогда и съ Карамазовымъ. «Еще тамъ не успѣли, думалъ онъ, еще можно что-нибудь подыскать, о, еще будетъ время сочинить планъ защиты, сообразить отпоръ, а теперь, теперь, — теперь она такъ прелестна!» Смутно и страшно въ душѣ его, но онъ успѣваетъ, однакоже, отложить отъ своихъ денегъ половину и гдѣ-то ихъ спрятать, — иначе я не могу объяснить себѣ, куда могла исчезнуть цѣлая половина этихъ трехъ тысячъ, только что взятыхъ имъ у отца изъ-подъ подушки. Онъ въ Мокромъ уже не разъ, онъ тамъ уже кутилъ двое сутокъ. Этотъ старый, большой деревянный домъ ему извѣстенъ со всѣми сараями

галлереями. Я именно предполагаю, что часть денегъ скрылась тогда же, и именно въ этомъ домѣ, незадолго предъ арестомъ, въ какую-нибудь щель, въ расщелину, подъ какую-нибудь половицу, гдѣ-нибудь въ углу, подъ кровлей — для чего? Какъ для чего? Катастрофа можетъ совершиться сейчасъ, конечно, мы еще не обдумали, какъ ее встрѣтить, да и некогда намъ, да и стучитъ у насъ въ головѣ, да и къ *ней-то* тянетъ, ну, а деньги, — деньги во всякомъ положеніи необходимы! Человѣкъ съ деньгами вездѣ человѣкъ. Можетъ быть, такая разсчетливость въ такую минуту вамъ покажется неестественною? Но вѣдь увѣряетъ же онъ самъ, что еще за мѣсяцъ предъ тѣмъ, въ одинъ тоже самый тревожный и роковой для него моментъ, онъ отдѣлилъ отъ трехъ тысячъ половину и зашилъ себѣ въ ладонку, и если, конечно, это неправда, что̀ и докажемъ сейчасъ, то все же эта идея Карамазову знакомая, онъ ее созерцалъ. Мало того, когда онъ увѣрялъ потомъ слѣдователя, что отдѣлилъ полторы тысячи въ ладонку (которой никогда не бывало), то, можетъ быть, и выдумалъ эту ладонку тутъ же мгновенно именно потому, что два часа предъ тѣмъ отдѣлилъ половину денегъ и спряталъ куда-нибудь тавъ въ Мокромъ, на всякій случай, до утра, только чтобы не хранить на себѣ, по внезапно представившемуся вдохновенію. Двѣ бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазовъ можетъ созерцать двѣ бездны, и обѣ разомъ! Въ томъ домѣ мы искали, но не нашли. Можетъ, эти деньги и теперь еще тамъ, а, можетъ, и на другой день исчезли, и теперь у подсудимаго. Во всякомъ случаѣ, арестовали его подлѣ нея, передъ ней на колѣняхъ, она лежала на кровати, онъ простиралъ къ ней

руки и до того забылъ все въ ту минуту, что не разслышалъ и приближенія арестующихъ. Онъ ничего еще не успѣлъ приготовить въ умѣ своемъ для отвѣта. И онъ, и умъ его были взяты врасплохъ.

«И вотъ онъ предъ своими судьями, предъ рѣшителями судьбы своей. Господа присяжные засѣдатели, бываютъ моменты, когда, при нашей обязанности, намъ самимъ становится почти страшно предъ человѣкомъ, страшно и за человѣка! Это минуты созерцанія, того животнаго ужаса, когда преступникъ уже видитъ, что все пропало, но все еще борется, все еще намѣренъ бороться съ вами. Это минуты, когда всѣ инстинкты самосохраненія возстаютъ въ немъ разомъ, и онъ, спасая себя, глядитъ на васъ пронизывающимъ взглядомъ, вопрошающимъ и страдающимъ, ловитъ и изучаетъ васъ, ваше лицо, ваши мысли, ждетъ, съ котораго боку вы ударите, и создаетъ мгновенно въ сотрясающемся умѣ своемъ тысячи плановъ, но все-таки боится говорить, боится проговориться! Эти унизительные моменты души человѣческой, это хожденіе ея по мытарствамъ, эта животная жажда самоспасенія — ужасны и вызываютъ иногда содраганіе и состраданіе къ преступнику даже въ слѣдователѣ! И вотъ мы этому всему были тогда свидѣтелями. Сначала онъ былъ ошеломленъ, и въ ужасѣ у него вырвалось нѣсколько словъ, его сильно компрометирующихъ: «кровь! Заслужилъ!» Но онъ быстро сдержалъ себя. Что̀ сказать, какъ отвѣтить, — все это пока еще у него не готово, но готово лишь одно голословное отрицаніе: «въ смерти отца не виновенъ!» Вотъ пока нашъ заборъ, а тамъ, за заборомъ, мы, можетъ быть, еще что̀ и устроимъ, какую-нибудь

баррикаду. Компрометирующія первыя восклицанія свои онъ спѣшитъ, предупреждая вопросы наши, объяснить тѣмъ, что считаетъ себя виновнымъ лишь въ смерти слуги Григорія. «Въ этой крови виновенъ, но кто же убилъ отца, господа, кто убилъ? Кто же могъ убить его, *если не я?*» Слышите это: спрашиваетъ онъ насъ же, насъ же, пришедшихъ къ нему самому съ этимъ самымъ вопросомъ! Слышите вы это, забѣгающее впередъ, словечко: «если не я!», эту животную хитрость, эту наивность и эту карамазовскую нетерпѣливость? Не я убилъ и думать не моги что я: «хотѣлъ убить, господа, хотѣлъ убить», признается онъ поскорѣе (спѣшитъ, о, спѣшитъ ужасно, «но все же неповиненъ, не я убилъ!» Онъ уступаетъ намъ, что хотѣлъ убить: видите, дескать, сами, какъ я искрененъ, ну такъ тѣмъ скорѣе повѣрьте, что не я убилъ. О, въ этихъ случаяхъ преступникъ становится иногда неимовѣрно легкомысленъ и легковѣренъ. И вотъ тутъ, совсѣмъ какъ бы нечаянно, слѣдствіе вдругъ задало ему самый простодушный вопросъ: «да не Смердяковъ ли убилъ?» Такъ и случилось, чего мы ожидали: онъ страшно разсердился за то, что предупредили его и поймали врасплохъ, когда онъ еще не успѣлъ приготовить, выбрать и ухватить тотъ моментъ, когда вывести Смердякова будетъ всего вѣроятнѣе. По натурѣ своей онъ тотчасъ же бросился въ крайность и самъ началъ насъ изо всѣхъ силъ увѣрять, что Смердяковъ не могъ убить, не способенъ убить. Но не вѣрьте ему, это лишь его хитрость: онъ вовсе, вовсе еще не отказывается отъ Смердякова, напротивъ, онъ еще его выставитъ, потому что кого же ему выставить, какъ не его, но онъ сдѣлаетъ это въ другую минуту, потому

что теперь это дѣло пока испорчено. Онъ выставитъ его только, можетъ быть, завтра или даже черезъ нѣсколько дней, пріискавъ моментъ, въ который самъ же крикнетъ намъ: «видите, я самъ отрицалъ Смердякова больше, чѣмъ вы, вы сами это помните, но теперь и я убѣдился: это онъ убилъ, и какъ же не онъ!» А пока онъ впадаетъ съ нами въ мрачное и раздражительное отрицаніе, нетерпѣніе и гнѣвъ подсказываютъ ему, однако, самое неумѣлое и неправдоподобное объясненіе о томъ, какъ онъ глядѣлъ къ отцу въ окно и какъ онъ почтительно отошелъ отъ окна. Главное, онъ еще не знаетъ обстоятельствъ, степени показаній очнувшагося Григорія. Мы приступаемъ къ осмотру и обыску. Осмотръ гнѣвитъ его, но и ободряетъ: всѣхъ трехъ тысячъ не разыскали, разысканы только полторы. И, ужъ конечно, лишь въ этотъ моментъ гнѣвливаго молчанія и отрицанія, вскакиваетъ ему въ голову въ первый разъ въ жизни идея о ладонкѣ. Безъ сомнѣнія, онъ чувствуетъ самъ всю невѣрность выдумки и мучается, страшно мучается, какъ бы сдѣлать ее вѣроятнѣе, такъ сочинить, чтобъ ужъ вышелъ цѣлый правдоподобный романъ. Въ этихъ случаяхъ самое первое дѣло, самая главная задача слѣдствія — не дать приготовиться, накрыть неожиданно, чтобы преступникъ высказалъ завѣтныя идеи свои во всемъ выдающемъ ихъ простодушіи, неправдоподобности и противорѣчіи. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапнымъ и какъ бы нечаяннымъ сообщеніемъ ему какого-нибудь новаго факта, какого-нибудь обстоятельства дѣла, которое по значенію своему колоссально, но котораго онъ до сихъ поръ ни за что̀ не предполагалъ и никакъ не могъ усмотрѣть. Этотъ фактъ

былъ у насъ наготовѣ, о, уже давно наготовѣ: это показаніе очнувшагося слуги Григорія объ отворенной двери, изъ которой выбѣжалъ подсудимый. Про эту дверь онъ совсѣмъ забылъ, а что Григорій могъ ее видѣть, и не предполагалъ. Эффектъ вышелъ колоссальный. Онъ вскочилъ и вдругъ закричалъ намъ: «это Смердяковъ убилъ, Смердяковъ!» и вотъ выдалъ свою завѣтную, свою основную мысль, въ самой неправдоподобной формѣ ея, ибо Смердяковъ могъ убить лишь послѣ того, какъ онъ повергъ Григорія и убѣжалъ. Когда же мы ему сообщили, что Григорій видѣлъ отпертую дверь раньше своего паденія, а, выходя изъ своей спальни, слышалъ стонущаго за перегородкой Смердякова— Карамазовъ былъ воистину раздавленъ. Сотрудникъ мой, нашъ почтенный и остроумный Николай Парѳеновичъ, передавалъ мнѣ потомъ, что въ это мгновеніе ему стало его жалко до слезъ. И вотъ въ это-то мгновеніе, чтобъ поправить дѣло, онъ и спѣшитъ намъ сообщить объ этой пресловутой ладонкѣ: такъ и быть, дескать, услышьте эту повѣсть! Господа присяжные, я уже выразилъ вамъ мои мысли, почему считаю всю эту выдумку, о зашитыхъ за мѣсяцъ передъ тѣмъ деньгахъ въ ладонку, не только нелѣпицей, но и самымъ неправдоподобнымъ измышленіемъ, которое только можно было пріискать въ данномъ случаѣ. Если бъ даже искать на пари: что̀ можно сказать и представить неправдоподобнѣе, — то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого. Тутъ главное можно осадить и въ прахъ разбить торжествующаго романиста подробностями, тѣми самыми подробностями, которыми всегда такъ богата дѣйствительность и которыя всегда, какъ совершенно будто бы незначущая и

ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходятъ имъ въ голову. О, имъ въ ту минуту не до того, ихъ умъ создаетъ лишь грандіозное цѣлое, — и вотъ смѣютъ имъ предлагать этакую мелочь! Но на этомъ-то ихъ и ловятъ! Задаютъ подсудимому вопросъ: «ну, а гдѣ вы изволили взять матеріалъ для вашей ладонки, кто вамъ сшилъ ее?» — «Самъ зашилъ». — «А полотно гдѣ изволили взять?» Подсудимый уже обижается, онъ считаетъ это почти обидною для себя мелочью, и, вѣрите ли, искренно, искренно! Но таковы всѣ они. «Я отъ рубашки моей оторвалъ». —«Прекрасно-съ. Стало быть, въ вашемъ бѣльѣ мы завтра же отыщемъ эту рубашку съ вырваннымъ изъ нея клочкомъ». И сообразите, господа присяжные, вѣдь если бы только мы нашли въ самомъ дѣлѣ эту рубашку (а какъ бы ее не найти въ его чемоданѣ или комодѣ, если бы такая рубашка въ самомъ дѣлѣ существовала),—то вѣдь это ужъ фактъ, фактъ осязательный въ пользу справедливости его показаній! Но этого онъ не можетъ сообразить. — «Я не помню, можетъ, не отъ рубашки, я въ хозяйкинъ чепчикъ зашилъ».—«Въ какой такой чепчикъ?»—«Я у ней взялъ, у нея валялся, старая коленкоровая дрянь».— «И вы это твердо помните?»—«Нѣтъ, твердо не помню» . . . И сердится, сердится, а между тѣмъ представьте: какъ бы это не помнить? Въ самыя страшныя минуты человѣческія, ну, на казнь ведутъ, вотъ именно эти-то мелочи и запоминаются. Онъ обо всемъ забудетъ, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дорогѣ, или галку на крестѣ— вотъ это онъ запомнитъ. Вѣдь онъ, зашивая ладонку свою, прятался отъ домашнихъ, онъ долженъ

былъ помнить, какъ унизительно страдалъ онъ отъ страху съ иглой въ рукахъ, чтобы къ нему не вошли и его не накрыли; какъ при первомъ стукѣ вскакивалъ и бѣжалъ за перегородку (въ его квартирѣ есть перегородка) . . . Но, господа присяжные, для чего я вамъ это все сообщаю, всѣ эти подробности, мелочи!—воскликнулъ вдругъ Ипполитъ Кирилловичъ. — А вотъ именно потому, что подсудимый стоитъ упорно на всей этой нелѣпицѣ до самой этой минуты! Во всѣ эти два мѣсяца, съ той самой роковой для него ночи, онъ ничего не разъяснилъ, ни одного объяснительнаго реальнаго обстоятельства къ прежнимъ фантастическимъ показаніямъ своимъ не прибавилъ; все это, дескать, мелочи, а вы вѣрьте на честь! О, мы рады вѣрить, мы жаждемъ вѣрить, хотя бы даже на честь! Что же мы, шакалы, жаждущіе крови человѣческой? Дайте, укажите намъ хоть одинъ фактъ въ пользу подсудимаго, и мы обрадуемся, — но фактъ осязательный, реальный, а не заключеніе по выраженію лица подсудимаго роднымъ его братомъ, или указаніе на то, что онъ, бія себя въ грудь, непремѣнно долженъ былъ на ладонку указывать, да еще въ темнотѣ. Мы обрадуемся новому факту, мы первые откажемся отъ нашего обвиненія, мы поспѣшимъ отказаться. Теперь же вопіетъ справедливость, и мы настаиваемъ, мы ни отъ чего отказаться не можемъ». Ипполитъ Кирилловичъ перешелъ тутъ къ финалу. Онъ былъ какъ въ лихорадкѣ, онъ вопіялъ за пролитую кровь, за кровь отца, убитаго сыномъ «съ низкою цѣлью ограбленія». Онъ твердо указывалъ на трагическую и вопіющую совокупность фактовъ. «И что̀ бы вы ни услышали отъ знаменитаго своимъ талантомъ защитника подсудимаго (не удержался

Ипполитъ Кирилловичъ), какія бы ни раздались здѣсь краснорѣчивыя и трогательныя слова, бьющія въ вашу чувствительность, — все же вспомните, что въ эту минуту вы въ святилищѣ нашего правосудія. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей Россіи, ея основъ, ея семьи, ея всего святого! Да, вы здѣсь представляете Россію въ данный моментъ, и не въ одной только этой залѣ раздастся вашъ приговоръ, а на всю Россію, и вся Россія выслушаетъ васъ, какъ защитниковъ и судей своихъ, и будетъ ободрена или удручена приговоромъ вашимъ. Не мучьте же Россію и ея ожиданія, роковая тройка наша несется стремглавъ и, можетъ, къ погибели. И давно уже въ цѣлой Россіи простираютъ руки и взываютъ остановить бѣшеную, безпардонную скачку. И если сторонятся пока еще другіе народы отъ скачущей, сломя голову, тройки, то, можетъ быть, вовсе не отъ почтенія къ ней, какъ хотѣлось поэту, а просто отъ ужаса — это замѣтьте. Отъ ужаса, а, можетъ, и отъ омерзенія къ ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмутъ да и перестанутъ сторониться и станутъ твердою стѣной передъ стремящимся видѣніемъ и сами остановятъ сумасшедшую скачку нашей разнузданности, въ видахъ спасенія себя, просвѣщенія и цивилизаціи! Эти тревожные голоса изъ Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинаютъ. Не соблазняйте же ихъ, не копите ихъ все нарастающей ненависти приговоромъ, оправдывающихъ убійство отца роднымъ сыномъ! . .»

Однимъ словомъ, Ипполитъ Кирилловичъ хоть и очень увлекся, но кончилъ-таки патетически — и, дѣйствительно, впечатлѣніе, произведенное имъ, бы-

ло чрезвычайное. Самъ онъ, окончивъ рѣчь свою, поспѣшно вышелъ и, повторяю, почти упалъ въ другой комнатѣ въ обморокъ. Зала не апплодировала, но серьезные люди были довольны. Не такъ довольны были только однѣ дамы, но все же и имъ понравилось краснорѣчіе, тѣмъ болѣе, что за послѣдствія онѣ совсѣмъ не боялись и ждали всего отъ Ѳетюковича; «наконецъ-то, онъ заговоритъ и ужъ, конечно, всѣхъ побѣдитъ!» Всѣ поглядывали на Митю; всю рѣчь прокурора онъ просидѣлъ молча, сжавъ руки, стиснувъ зубы, потупившись. Изрѣдка только подымалъ голову и прислушивался. Особенно, когда заговорили о Грушенькѣ. Когда прокуроръ передавалъ о ней мнѣніе Ракитина, въ лицѣ его выразилась презрительная и злобная улыбка, и онъ довольно слышно проговорилъ: «Бернары!» Когда же Ипполитъ Кирилловичъ сообщалъ о томъ, какъ онъ допрашивалъ и мучилъ его въ Мокромъ, Митя поднялъ голову и прислушивался со страшнымъ любопытствомъ. Въ одномъ мѣстѣ рѣчи, какъ будто, хотѣлъ даже вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилилъ себя и только презрительно вскинулъ плечами. Про этотъ финалъ рѣчи, именно про подвиги прокурора въ Мокромъ, при допросѣ преступника, потомъ у насъ въ обществѣ говорили и надъ Ипполитомъ Кирилловичемъ подсмѣивались: «не утерпѣлъ, дескать, человѣкъ, чтобы не похвастаться своими способностями». Засѣданіе было прервано, но на очень короткій срокъ, на четверть часа, много на двадцать минутъ. Въ публикѣ раздавались разговоры и восклицанія. Я иныя запомнилъ:

— Серьезная рѣчь! — нахмуренно замѣтилъ господинъ въ одной группѣ.

— Психологіи навертѣлъ ужъ много, — раздался другой голосъ.

— Да вѣдь все правда, неотразимая истина!

— Да, это онъ мастеръ.

— Итогъ подвелъ.

— И намъ, и намъ тоже итогъ подвелъ, — присоединился третій голосъ, — въ началѣ-то рѣчи, помните, что всѣ такіе же, какъ Ѳедоръ Павловичъ?

— И въ концѣ тоже. Только онъ это соврал ъ.

— Да и неясности были.

— Увлекся маленько.

— Несправедливо, несправедливо-съ.

— Ну нѣтъ, все-таки ловко. Долго ждалъ человѣкъ, а вотъ и сказалъ, хе-хе!

— Что̀-то защитникъ скажетъ?

Въ другой группѣ:

— А петербургскаго-то онъ напрасно сейчасъ задѣлъ: «біющихъ-то на чувствительность» помните?

— Да, это онъ неловко.

— Поспѣшилъ.

— Нервный человѣкъ-съ.

— Вотъ мы смѣемся, а каково подсудимому?

— Да-съ. Митенькѣ-то каково?

— А вотъ что-то защитникъ скажетъ?

Въ третьей группѣ:

— Это какая такая дама, съ лорнетомъ, толстая, съ краю сидитъ?

— Это генеральша одна, разводка, я ее знаю.

— То-то, съ лорнетомъ.

— Шушера.

— Ну нѣтъ, пикантненькая.

— Подлѣ нея черезъ два мѣста сидитъ блондиночка, та лучше.

— А ловко они его тогда въ Мокромъ накрыли, а?

— Ловко-то ловко. Опять разсказалъ. Вѣдь онъ про это здѣсь по домамъ ужъ сколько разсказывалъ.

— И теперь не утерпѣлъ. Самолюбіе.

— Обиженный человѣкъ, хе-хе!

— И обидчивый. Да и риторики много, фразы длинныя.

— Да и пугаетъ, замѣтьте, все пугаетъ. Про тройку-то помните? «Тамъ Гамлеты, а у насъ еще пока Карамазовы!» Это онъ ловко.

— Это онъ либерализму подкуривалъ. Боится!

— Да и адвоката боится.

— Да, что-то скажетъ господинъ Ѳетюковичъ?

— Ну, что бы ни сказалъ, а нашихъ мужичковъ не прошибетъ.

— Вы думаете?

Въ четвертой группѣ:

— А про тройку-то вѣдь у него хорошо, это гдѣ про народы-то.

— И вѣдь правда, помнишь, гдѣ онъ говорилъ, что народы не будутъ ждать.

— А что̀?

— Да въ англійскомъ парламентѣ ужъ одинъ членъ вставалъ на прошлой недѣлѣ, по поводу нигилистовъ, и спрашивалъ министерство: не пора ли ввязаться въ варварскую націю, чтобы насъ образовать. Ипполитъ это про него, я знаю что про него . Онъ на прошлой недѣлѣ объ этомъ говорилъ.

— Далеко куликамъ.

— Какимъ куликамъ? Почему далеко?

— А мы запремъ Кронштадтъ, да и не дадимъ имъ хлѣба. Гдѣ они возьмутъ?

— А въ Америкѣ? Теперь въ Америкѣ.

— Врешь.

Но зазвонилъ колокольчикъ, все бросилось на мѣста. Ѳетюковичъ взошелъ на каѳедру.

X.

Рѣчь защитника. Палка о двухъ концахъ.

Все затихло, когда раздались первыя слова оратора. Вся зала впилась въ него глазами. Началъ онъ чрезвычайно прямо, просто и убѣжденно, но безъ малѣйшей заносчивости. Ни малѣйшей попытки на краснорѣчіе, на патетическія нотки, на звенящія чувствомъ словечки. Это былъ человѣкъ, заговорившій въ интимномъ кругу сочувствующихъ людей. Голосъ у него былъ прекрасный, громкій и симпатичный, и даже въ самомъ голосѣ этомъ какъ будто заслышалось уже нѣчто искреннее и простодушное. Но всѣмъ тотчасъ же стало понятно, что ораторъ можетъ вдругъ подняться до истинно патетическаго, — и «ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой». Говорилъ онъ, можетъ быть, неправильнѣе Ипполита Кирилловича, но безъ длинныхъ фразъ и даже точнѣе. Одно не понравилось было дамамъ: онъ все какъ-то изгибался спиной, особенно въ началѣ рѣчи, не то что̀ кланялся, а какъ бы стремясь и летя къ своимъ слушателямъ, при чемъ нагибался именно какъ бы половиной своей длин-

ной спины, какъ будто въ серединѣ этой длинной и тонкой спины его былъ устроенъ такой шалнеръ, такъ что она могла сгибаться чуть не подъ прямымъ угломъ. Въ началѣ рѣчи говорилъ какъ-то раскидчиво, какъ будто безъ системы, схватывая факты на разбивъ, а въ концѣ концовъ вышло цѣлое. Рѣчь его можно было бы раздѣлить на двѣ половины: первая половина — это критика, это опроверженіе обвиненія, иногда злое и саркастическое. Но во второй половинѣ рѣчи какъ бы вдругъ измѣнилъ и тонъ, и даже пріемъ свой, и разомъ возвысился до патетическаго, а зала какъ будто ждала того и вся затрепетала отъ восторга. Онъ прямо подошелъ къ дѣлу и началъ съ того, что хотя поприще его и въ Петербургѣ, но онъ уже не первый разъ посѣщаетъ города Россіи для защиты подсудимыхъ, но такихъ, въ невинности которыхъ онъ или убѣжденъ, или предчувствуетъ ее заранѣе. «То же самое произошло со мной и въ настоящемъ случаѣ, объяснилъ онъ. Даже только изъ однѣхъ первоначальныхъ газетныхъ корреспонденцій мнѣ уже мелькнуло нѣчто, чрезвычайно меня поразившее въ пользу подсудимаго. Однимъ словомъ, меня прежде всего заинтересовалъ нѣкоторый юридическій фактъ, хотя и часто повторяющійся въ судебной практикѣ, но никогда, мнѣ кажется, въ такой полнотѣ и съ такими характерными особенностями, какъ въ настоящемъ дѣлѣ. Фактъ этотъ надо бы мнѣ формулировать лишь въ финалѣ моей рѣчи, когда я закончу мое слово, но, однако, я выскажу мою мысль и въ самомъ началѣ, ибо имѣю слабость приступать прямо къ предмету, не припрятывая эффектовъ и не экономизируя впечатлѣній. Это, можетъ быть, съ моей стороны нерасчетливо, но зато искренно.

Эта мысль моя, формула моя — слѣдующая: подавляющая совокупность фактовъ противъ подсудимаго и въ то же время ни одного факта, выдерживающаго критику, если разсматривать его единично, самого по себѣ! Слѣдя далѣе по слухамъ и по газетамъ, я утверждался въ моей мысли все болѣе и болѣе, и вдругъ я получилъ отъ родныхъ подсудимаго приглашеніе защищать его. Я тотчасъ же поспѣшилъ сюда и здѣсь уже окончательно убѣдился. Вотъ, чтобы разбить эту страшную совокупность фактовъ и выставить недоказанность и фантастичность каждаго обвиняющаго факта въ отдѣльности я и взялся защищать это дѣло».

Такъ началъ защитникъ и вдругъ возгласилъ:

«Господа присяжные засѣдатели, я здѣсь человѣкъ свѣжій. Всѣ впечатлѣнія легли на меня не предвзято. Подсудимый, буйный характеромъ и разнузданный, не обидѣлъ меня предварительно, какъ сотню, можетъ быть, лицъ въ этомъ городѣ, отчего многіе и предубѣждены противъ него заранѣе. Конечно, и я сознаюсь, что нравственное чувство здѣшняго общества возбуждено справедливо: подсудимый буенъ и необузданъ. Въ здѣшнемъ обществѣ его, однакоже, принимали, даже въ семействѣ высокоталантливаго обвинителя онъ былъ обласканъ. (Nota bene. При этихъ словахъ въ публикѣ раздались два-три смѣшка, хотя и быстро подавленные, но всѣми замѣченные. Всѣмъ у насъ было извѣстно, что прокуроръ допускалъ къ себѣ Митю противъ воли, потому единственно, что его, почему-то, находила любопытнымъ прокурорша, — дама въ высшей степени добродѣтельная и почтенная, но фантастическая и своенравная и любившая въ нѣкоторыхъ случаяхъ, преимущественно въ ме

лочахъ, оппонировать своему супругу. Митя, впрочемъ, посѣщалъ ихъ домъ довольно рѣдко.) Тѣмъ не менѣе я осмѣлюсь допустить, — продолжалъ защитникъ, — что даже и въ такомъ независимомъ умѣ и справедливомъ характерѣ, какъ у моего оппонента, могло составиться противъ моего несчастнаго кліента нѣкоторое ошибочное предубѣжденіе. О, это такъ натурально: несчастный слишкомъ заслужилъ, чтобы къ нему отнеслись даже съ предубѣжденіемъ. Оскорбленное же нравственное и, еще пуще того, эстетическое чувство иногда бываетъ неумолимо. Конечно, въ высокоталантливой обвинительной рѣчи мы услышали всѣ строгій анализъ характера и поступковъ подсудимаго, строгое критическое отношеніе къ дѣлу, а, главное, выставлены были такія психологическія глубины для объясненія намъ сути дѣла, что проникновеніе въ эти глубины не могло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намѣренно и злостно предубѣжденномъ отношеніи къ личности подсудимаго. Но вѣдь есть вещи, которыя даже хуже, даже гибельнѣе въ подобныхъ случаяхъ, чѣмъ самое злостное и преднамѣренное отношеніе къ дѣлу. Именно, если насъ, напримѣръ, обуяетъ нѣкоторая, такъ сказать, художественная игра, потребность художественнаго творчества, такъ сказать, созданія романа, особенно при богатствѣ психологическихъ даровъ, которыми Богъ одѣлилъ наши способности. Еще въ Петербургѣ, еще только собираясь сюда, я былъ предваренъ — да и самъ зналъ безо всякаго предваренія, что встрѣчу здѣсь оппонентомъ глубокаго и тончайшаго психолога, давно уже заслужившаго этимъ качествомъ своимъ нѣкоторую особливую славу въ нашемъ молодомъ еще юридическомъ мі-

рѣ. Но вѣдь психологія, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двухъ концахъ (смѣшокъ въ публикѣ). О, вы, конечно, простите мнѣ тривіальное сравненіе мое; я слишкомъ краснорѣчиво говорить не мастеръ. Но вотъ, однакоже, примѣръ — беру первый попавшійся изъ рѣчи обвинителя. Подсудимый, ночью, въ саду, убѣгая, перелѣзаетъ черезъ заборъ и повергаетъ мѣднымъ пестомъ вцѣпившагося въ его ногу лакея. Затѣмъ тотчасъ же соскакиваетъ обратно въ садъ и цѣлыхъ пять минутъ хлопочетъ надъ поверженнымъ, стараясь угадать, убилъ онъ его или нѣтъ? И вотъ обвинитель ни за что̀ не хочетъ повѣрить въ справедливость показанія подсудимаго, что соскочилъ онъ къ старику Григорію изъ жалости. «Нѣтъ, дескать, можетъ ли быть такая чувствительность въ такую минуту; это-де неестественно, а соскочилъ онъ именно для того, чтобъ убѣдиться: живъ или убитъ единственный свидѣтель его злодѣянія, а, стало быть, тѣмъ и засвидѣтельствовалъ, что онъ совершилъ это злодѣяніе, такъ какъ не могъ соскочить въ садъ по какому-нибудь другому поводу, влеченію или чувству». Вотъ психологія; но возьмемъ ту же самую психологію и приложимъ ее къ дѣлу, но только съ другого конца, и выйдетъ совсѣмъ не менѣе правдоподобно. Убійца соскакиваетъ внизъ изъ предосторожности, чтобъ убѣдиться живъ или нѣтъ свидѣтель, а между тѣмъ только что оставилъ въ кабинетѣ убитаго имъ отца своего, по свидѣтельству самого же обвинителя, колоссальную на себя улику въ видѣ разорваннаго пакета, на которомъ было написано, что въ немъ лежали три тысячи. «Вѣдь унеси онъ этотъ пакетъ съ собою, то никто бы и не узналъ въ цѣломъ мірѣ, что былъ и

существовалъ пакетъ, а въ немъ деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимымъ». Это изреченіе самого обвинителя. Ну, такъ на одно, видите ли, не хватило предосторожности, потерялся человѣкъ, испугался и убѣжалъ, оставивъ на полу улику, а какъ вотъ, минуты двѣ спустя, ударилъ и убилъ другого человѣка, то тутъ сейчасъ же является самое безсердечное и расчетливое чувство предосторожности къ нашимъ услугамъ. Но пусть, пусть это такъ и было: въ томъ-то-де и тонкость психологіи, что при такихъ обстоятельствахъ я сейчасъ же кровожаденъ и зорокъ, какъ кавказскій орелъ, а въ слѣдующую минуту слѣпъ и робокъ, какъ ничтожный кротъ. Но если ужъ я такъ кровожаденъ и жестоко расчетливъ, что, убивъ, соскочилъ лишь для того, чтобы посмотрѣть живъ ли на меня свидѣтель или нѣтъ, то къ чему бы, кажется, возиться надъ этою новою жертвою моей цѣлыхъ пять минутъ, да еще нажить, пожалуй, новыхъ свидѣтелей? Къ чему мочить платокъ, обтирая кровь съ головы поверженнаго, съ тѣмъ, чтобы платокъ этотъ послужилъ потомъ противъ меня же уликой? Нѣтъ, если ужъ мы такъ расчетливы и жестокосерды, то не лучше ли бы было, соскочивъ, просто огорошить поверженнаго слугу тѣмъ же самымъ пестомъ еще и еще разъ по головѣ, чтобъ ужъ убить его окончательно и, искоренивъ свидѣтеля, снять съ сердца всякую заботу? И, наконецъ, я соскакиваю, чтобы провѣрить, живъ или нѣтъ на меня свидѣтель, и тутъ же на дорожкѣ оставляю другого свидѣтеля, именно этотъ самый пестикъ, который я захватилъ у двухъ женщинъ, и которыя обѣ всегда могутъ признать потомъ этотъ пестикъ за свой и засвидѣтельствовать, что это я у нихъ его

захватилъ. И не то что забылъ его на дорожкѣ, обронилъ въ разсѣянности, въ потерянности: нѣтъ, мы именно отбросили наше оружіе, потому что нашли его шагахъ въ пятнадцати отъ того мѣста, гдѣ былъ поверженъ Григорій. Спрашивается, для чего же мы такъ сдѣлали? А вотъ именно потому и сдѣлали, что намъ горько стало, что мы человѣка убили, стараго слугу, а потому, въ досадѣ, съ проклятіемъ, и отбросили пестикъ, какъ оружіе убійства, иначе быть не могло, для чего же его было бросать съ такого размаху? Если же могли почувствовать боль или жалость, что человѣка убили, то, конечно, ужъ потому, что отца не убили. Убивъ отца, не соскочили бы къ другому поверженному изъ жалости, тогда уже было бы иное чувство, не до жалости бы было тогда, а до самоспасенія, и это, конечно, такъ. Напротивъ, повторяю, размозжили бы ему черепъ окончательно, а не возились бы съ нимъ пять минутъ. Явилось мѣсто жалости и доброму чувству именно потому, что была передъ тѣмъ чиста совѣсть. Вотъ, стало быть, другая ужъ психологія. Я вѣдь нарочно, господа присяжные, прибѣгнулъ теперь самъ къ психологіи, чтобы наглядно показать, что изъ нея можно вывесть, что угодно. Все дѣло, въ какихъ она рукахъ. Психологія подзываетъ на романъ даже самыхъ серьезныхъ людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологію, господа присяжные, про нѣкоторое злоупотребленіе ею».

Здѣсь опять послышались одобрительные смѣшки въ публикѣ и все по адресу прокурора. Не буду приводить всей рѣчи защитника въ подробности, возьму только нѣкоторыя изъ нея мѣста, нѣкоторые главнѣйшіе пункты.

XI.

Денегъ не было. Грабежа не было.

Былъ одинъ пунктъ, даже всѣхъ поразившій въ рѣчи защитника, — именно полное отрицаніе существованія этихъ роковыхъ трехъ тысячъ рублей, а, стало быть, и возможности ихъ грабежа.

«Господа присяжные засѣдатели, — приступилъ защитникъ,—въ настоящемъ дѣлѣ всякаго свѣжаго и непредубѣжденнаго человѣка, поражаетъ одна характернѣйшая особенность, а именно: обвиненіе въ грабежѣ и въ то же время совершенная невозможность фактически указать на то: что именно было ограблено? Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи, — а существовали ли онѣ въ самомъ дѣлѣ, — этого никто не знаетъ. Разсудите: во-первыхъ, какъ мы узнали, что были три тысячи и кто ихъ видѣлъ? Видѣлъ ихъ и указалъ на то, что онѣ были уложены въ пакетъ съ надписью, одинъ только слуга Смердяковъ. Онъ же сообщилъ о семъ свѣдѣніи еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Ѳедоровичу. Дано было тоже знать г-жѣ Свѣтловой. Но всѣ эти три лица сами этихъ денегъ, однако, не видали, видѣлъ опять-таки лишь Смердяковъ, но тутъ самъ собою вопросъ: если и правда, что онѣ были и что видѣлъ ихъ Смердяковъ, то когда онъ ихъ видѣлъ въ послѣдній разъ? А что если баринъ эти деньги изъ-подъ постели вынулъ и опять положилъ въ шкатулку, ему не сказавши? Замѣтьте, по словамъ Смердякова, деньги лежали подъ постелью, подъ тюфякомъ; подсудимый долженъ былъ ихъ вырвать изъ-подъ тюфяка, и, однакоже, постель была ничуть не по-

мята и объ этомъ старательно записано въ протоколъ. Какъ могъ подсудимый совсѣмъ-таки ничего не помять въ постели и вдобавокъ съ окровавленными еще руками не замарать свѣжѣйшаго, тонкаго постельнаго бѣлья, которое нарочно на этотъ разъ было постлано? Но, скажутъ намъ: а пакетъ-то на полу? Вотъ объ этомъ-то пакетѣ и стоитъ поговорить. Давеча я былъ даже нѣсколько удивленъ: высокоталантливый обвинитель, заговоривъ объ этомъ пакетѣ, вдругъ самъ, — слышите, господа, самъ, — заявилъ про него въ своей рѣчи, именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ указываетъ на нелѣпость предположенія, что убилъ Смердяковъ: «не было бы этого пакета, не останься онъ на полу, какъ улика, унеси его грабитель съ собою, то никто бы и не узналъ въ цѣломъ мірѣ, что былъ пакетъ, а въ немъ деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимымъ». Итакъ, единственно только этотъ разорванный клочекъ бумаги съ надписью, даже по признанію самого обвинителя, и послужилъ къ обвиненію подсудимаго въ грабежѣ, «иначе-де не узналъ бы никто, что былъ грабежъ, а, можетъ быть, что были и деньги». Но неужели одно то, что этотъ клочекъ валялся на полу, есть доказательство, что въ немъ были деньги и что деньги эти ограблены? «Но, отвѣчаютъ, вѣдь видѣлъ ихъ въ пакетѣ Смердяковъ», но когда, когда онъ ихъ видѣлъ въ послѣдній разъ, вотъ о чемъ я спрашиваю? Я говорилъ со Смердяковымъ, и онъ мнѣ сказалъ, что видѣлъ ихъ за два дня предъ катастрофой! Но почему же я не могу предположить, напримѣръ, хоть такое обстоятельство, что старикъ Ѳедоръ Павловичъ, запершись дома, въ нетерпѣливомъ истерическомъ ожиданіи своей возлюбленной, вдругъ

вздумалъ бы, отъ нечего дѣлать, вынуть пакетъ и его распечатать: «Что, дескать, пакетъ, еще, пожалуй, и не повѣритъ, а какъ тридцать-то радужныхъ въ одной пачкѣ ей покажу, небось сильнѣе подѣйствуетъ, потекутъ слюнки», — и вотъ онъ разрываетъ конвертъ, вынимаетъ деньги, а конвертъ бросаетъ на полъ властной рукой хозяина и, ужъ конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, есть ли что возможнѣе такого предположенія и такого факта? Почему это невозможно? Но вѣдь если хоть что-нибудь подобное могло имѣть мѣсто, то вѣдь тогда обвиненіе въ грабежѣ само собой уничтожается: не было денегъ, не было, стало быть, и грабежа. Если пакетъ лежалъ на полу, какъ улика, что въ немъ были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно, что пакетъ валялся на полу именно потому, что въ немъ уже не было денегъ, взятыхъ изъ него предварительно самимъ хозяиномъ? «Да, но куда жъ, въ такомъ случаѣ, дѣлись деньги, если ихъ выбралъ изъ пакета самъ Ѳедоръ Павловичъ, въ его домѣ при обыскѣ не нашли?» Во-первыхъ, въ шкатулкѣ у него часть денегъ нашли, а во-вторыхъ, онъ могъ вынуть ихъ еще утромъ, даже еще наканунѣ, распорядиться ими иначе, выдать ихъ, отослать, измѣнить, наконецъ, свою мысль, свой планъ дѣйствій въ самомъ основаніи и при этомъ совсѣмъ даже не найдя нужнымъ докладываться объ этомъ предварительно Смердякову? А вѣдь если существуетъ хотя бы даже только возможность такого предположенія, — то какъ же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимаго, что убійство совершено имъ для грабежа и что, дѣйствительно, существовалъ грабежъ? Вѣдь мы такимъ

образомъ вступаемъ въ область романовъ. Вѣдь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или, по крайней мѣрѣ, доказать непреложно, что она существовала. А ея даже никто и не видалъ. Недавно въ Петербургѣ одинъ молодой человѣкъ, почти мальчикъ, восемнадцати лѣтъ, мелкій приказчикъ съ лотка, вошелъ среди бѣла дня съ топоромъ въ мѣняльную лавку и съ необычайною, типическою дерзостью убилъ хозяина лавки и унесъ съ собою тысячу пятьсотъ рублей денегъ. Часовъ черезъ пять онъ былъ арестованъ, на немъ, кромѣ пятнадцати рублей, которые онъ уже успѣлъ истратить, нашли всѣ эти полторы тысячи. Кромѣ того, воротившійся послѣ убійства въ лавку, приказчикъ сообщилъ полиціи не только объ украденной суммѣ, но и изъ какихъ именно денегъ она состояла, то есть сколько было кредитокъ радужныхъ, сколько синихъ, сколько красныхъ, сколько золотыхъ монетъ и какихъ именно, и вотъ на арестованномъ убійцѣ именно такія же деньги и монеты и найдены. Вдобавокъ ко всему послѣдовало полное и чистосердечное признаніе убійцы въ томъ, что онъ убилъ и унесъ съ собою эти самыя деньги. Вотъ это, господа присяжные, я называю уликой! Вотъ тутъ ужъ я знаю, вижу, осязаю деньги и не могу сказать, что ихъ нѣтъ или не было. Такъ ли въ настоящемъ случаѣ? А между тѣмъ вѣдь дѣло идетъ о жизни и смерти, о судьбѣ человѣка. «Такъ, скажутъ, но вѣдь онъ въ ту же ночь кутилъ, сорилъ деньгами, у него обнаружено полторы тысячи рублей, — откуда же онъ взялъ ихъ?» Но вѣдь именно потому, что обнаружено было всего только полторы тысячи, а другой половины суммы ни за что̀ не могли отыскать и об-

наружить, именно тѣмъ и доказывается, что эти деньги могли быть совсѣмъ не тѣ, совсѣмъ никогда не бывшія ни въ какомъ пакетѣ. По расчету времени (и уже строжайшему) дознано и доказано предварительнымъ слѣдствіемъ, что подсудимый, выбѣжавъ отъ служанокъ къ чиновнику Перхотину, домой не заходилъ, да и никуда не заходилъ, а затѣмъ все время былъ на людяхъ, а, стало быть, не могъ отдѣлить отъ трехъ тысячъ половины и куда-нибудь спрятать въ городѣ. Вотъ именно это соображеніе и было причиною предположенію обвинителя, что деньги гдѣ-то спрятаны въ расщелинѣ въ селѣ Мокромъ. Да ужъ не въ подвалахъ ли Удольфскаго зàмка, господа? Ну, не фантастическое ли, не романическое ли это предположеніе? И, замѣтьте, вѣдь уничтожься только одно это предположеніе, то есть что спрятано въ Мокромъ — и все обвиненіе въ грабежѣ взлетаетъ на воздухъ, ибо гдѣ же, куда же дѣвались тогда эти полторы тысячи? Какимъ чудомъ онѣ могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходилъ? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человѣческую! Скажутъ: «все-таки онъ не умѣлъ объяснить, гдѣ взялъ эти полторы тысячи, которыя на немъ обнаружены, кромѣ того всѣ знали, что до этой ночи у него не было денегъ». А кто же это зналъ? Но подсудимый далъ ясное и твердое показаніе о томъ, откуда взялъ деньги, и если хотите, господа присяжные засѣдатели, если хотите — никогда ничего не могло и не можетъ быть вѣроятнѣе этого показанія и, кромѣ того, болѣе совмѣстнаго съ характеромъ и душой подсудимаго. Обвиненію понравился собственный романъ: человѣкъ съ слабою волей, рѣ-

шившійся взять три тысячи, столь позорно ему предложенныя невѣстой его, не могъ, дескать, отдѣлить половину и зашить ее въ ладонку, напротивъ, если бъ и зашилъ, то расшивалъ бы каждые два дня и отколупывалъ бы по сотнѣ и такимъ образомъ извелъ бы все въ одинъ мѣсяцъ. Вспомните, все это было изложено тономъ, не терпящимъ никакихъ возраженій. Ну, а что̀ если дѣло происходило вовсе не такъ, а ну какъ вы создали романъ, а въ немъ совсѣмъ другое лицо? Въ томъ-то и дѣло, что вы создали другое лицо! Возразятъ, пожалуй: «есть свидѣтели, что онъ прокутилъ въ селѣ Мокромъ всѣ эти три тысячи, взятыя у г-жи Верховцевой, за мѣсяцъ передъ катастрофой, разомъ, какъ одну копейку, стало быть, не могъ отдѣлить отъ нихъ половину». Но кто же эти свидѣтели? Степень достовѣрности этихъ свидѣтелей на судѣ уже обнаружилась. Кромѣ того, въ чужой рукѣ ломоть всегда больше кажется. Наконецъ, никто изъ этихъ свидѣтелей денегъ этихъ самъ не считалъ, а лишь судилъ на свой глазъ. Вѣдь показалъ же свидѣтель Максимовъ, что у подсудимаго было въ рукахъ двадцать тысячъ. Видите, господа присяжные, такъ какъ психологія о двухъ концахъ, то ужъ позвольте мнѣ и тутъ другой конецъ приложить, и посмотримъ, то ли выйдетъ.

«За мѣсяцъ до катастрофы подсудимому были ввѣрены для отсылки по почтѣ три тысячи рублей г-жею Верховцевой, но вопросъ: справедливо ли, что были ввѣрены съ такимъ позоромъ и съ такимъ униженіемъ, какъ провозглашено было давеча? Въ первомъ показаніи о томъ же предметѣ у г-жи Верховцевой выходило не такъ, совершенно не

такъ; во второмъ же показаніи мы слышали лишь крики озлобленія, отмщенія, крики долго таившейся ненависти. Но ужъ одно то, что свидѣтельница разъ въ первомъ показаніи своемъ показала невѣрно, даетъ право намъ заключить, что и второе показаніе могло быть невѣрно. Обвинитель не «хочетъ, не смѣетъ» (его слова) дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться, но, однако, позволю себѣ лишь замѣтить, что если чистая и высоконравственная особа, какова безспорно и есть высокоуважаемая г-жа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяетъ себѣ вдругъ, разомъ, на судѣ, измѣнить первое свое показаніе, съ прямою цѣлью погубить подсудимаго, то ясно и то, что это показаніе ея было сдѣлано не безпристрастно, не хладнокровно. Неужели же у насъ отнимутъ право заключить, что отмщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тотъ стыдъ и позоръ, съ которымъ были ею предложены деньги. Напротивъ, онѣ были предложены именно такъ,что ихъ еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человѣку, какъ нашъ подсудимый. Главное, онъ имѣлъ тогда въ виду скорое полученіе отъ отца этихъ должныхъ ему по расчету трехъ тысячъ. Это легкомысленно, но именно по легкомыслію своему онъ и былъ твердо увѣренъ, что тотъ ихъ выдастъ ему, что онъ получитъ и, стало быть, всегда можетъ отправить ввѣренныя ему г-жею Верховцевой деньги по почтѣ и расквитаться съ долгомъ. Но обвинитель ни за что не хочетъ допустить, что онъ могъ въ тотъ же день, въ день обвиненія, отдѣлить изъ полученныхъ денегъ половину и зашить въ ладонку: «не таковъ, дескать, это характеръ, не могъ имѣть такихъ

чувствъ». Но вѣдь сами же вы кричали, что широкъ Карамазовъ, сами же вы кричали про двѣ крайнія бездны, которыя можетъ созерцать Карамазовъ. Карамазовъ именно такая натура о двухъ сторонахъ, о двухъ безднахъ, что при самой безудержной потребности кутежа можетъ остановиться, если что-нибудь его поразитъ съ другой стороны. А вѣдь другая-то сторона, любовь,—именно вотъ эта новая загорѣвшаяся тогда, какъ порохъ, любовь, а на эту любовь нужны деньги и нужнѣе, о! гораздо нужнѣе, чѣмъ даже на кутежъ съ этою самою возлюбленною. Скажетъ она ему: «твоя, не хочу Ѳедора Павловича», и онъ схватитъ ее и увезетъ, — такъ было бы на что̀ увезти. Это вѣдь важнѣе кутежа. Карамазову ль этого не понять? Да онъ именно этимъ и боленъ былъ, этою заботой, — что жъ невѣроятнаго, что онъ отдѣлилъ эти деньги и припряталъ на всякій случай? Но вотъ, однако, время уходитъ, а Ѳедоръ Павловичъ трехъ тысячъ подсудимому не выдаетъ, напротивъ, слышно, что опредѣлилъ ихъ именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. «Если не отдастъ Ѳедоръ Павловичъ, думаетъ онъ, то вѣдь я передъ Катериной Ивановной выйду воромъ». И вотъ у него рождается мысль, что эти же полторы тысячи, которыя онъ продолжаетъ носить на себѣ въ этой ладонкѣ, онъ придетъ, положитъ предъ г-жею Верховцевой и скажетъ ей: «я подлецъ, но не воръ». И вотъ, стало быть, уже двойная причина хранить эти полторы тысячи, какъ зеницу ока, отнюдь не расшивать ладонку и не отколупывать по сту рублей. Отчего откажете вы подсудимому въ чувствѣ чести? Нѣтъ, чувство чести въ немъ есть, положимъ, неправильное, положимъ, весьма часто оши-

бочное, но оно есть, есть до страсти, и онъ доказалъ это. Но вотъ, однакоже, дѣло усложняется, мученія ревности достигаютъ высшей степени, и все тѣ же, все прежніе два вопроса обрисовываются все мучительнѣе и мучительнѣе въ воспаленномъ мозгу подсудимаго. «Отдамъ Катеринѣ Ивановнѣ: на какія же средства увезу я Грушеньку?» Если онъ безумствовалъ такъ, и напивался, и бушевалъ по трактирамъ во весь этотъ мѣсяцъ, то это именно, можетъ быть, потому, что самому было горько, не въ мочь переносить. Эти два вопроса до того, наконецъ, обострились, что довели его, наконецъ, до отчаянія. Онъ послалъ было своего младшаго брата къ отцу просить у него эти три тысячи въ послѣдній разъ, но, не дождавшись отвѣта, ворвался самъ и кончилъ тѣмъ, что избилъ старика при свидѣтеляхъ. Послѣ этого получить, значитъ, уже не у кого, избитый отецъ не дастъ. Въ тотъ же день вечеромъ онъ бьетъ себя по груди, именно по верхней части груди, гдѣ эта ладонка, и клянется брату, что у него есть средство не быть подлецомъ, но что все-таки онъ останется подлецомъ, ибо предвидитъ, что не воспользуется средствомъ, не хватитъ силы душевной, не хватитъ характера. Почему, почему обвиненіе не вѣритъ показанію Алексѣя Карамазова, данному такъ чисто, такъ искренно, неподготовленно и правдоподобно? Почему, напротивъ, заставляетъ меня вѣрить деньгамъ въ какой-то расщелинѣ, въ подвалахъ Удольфскаго зàмка? Въ тотъ же вечеръ, послѣ разговора съ братомъ, подсудимый пишетъ это роковое письмо, и вотъ это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное уличеніе подсудимаго въ грабежѣ! «Буду просить у всѣхъ людей, а не дадутъ люди, убью

отца и возьму у него подъ тюфякомъ, въ пакетѣ съ розовою ленточкой, только бы уѣхалъ Иванъ»— полная-де программа убійства, какъ же не онъ? «Совершилось по-написанному!» восклицаетъ обвиненіе. Но, во-первыхъ, письмо пьяное и написано въ страшномъ раздраженіи; во-вторыхъ, опять-таки о пакетѣ онъ пишетъ со словъ Смердякова, потому что самъ пакета не видалъ, а въ-третьихъ, написано-то оно написано, но совершилось ли по-написанному, это чѣмъ доказать? Досталъ ли подсудимый пакетъ подъ подушкой, нашелъ ли деньги, существовали ли онѣ даже? Да и за деньгами ли подсудимый побѣжалъ, припомните, припомните! Онъ побѣжалъ, сломя голову, не ограбить, а лишь узнать, гдѣ она, эта женщина, его сокрушившая,— не по программѣ, стало быть, не по-написанному, онъ побѣжалъ то есть не для обдуманнаго грабежа, а побѣжалъ внезапно, нечаянно, въ ревнивомъ бѣшенствѣ! «Да, скажутъ, но все-таки, прибѣжавъ и убивъ, захватилъ и деньги». Да, наконецъ, убилъ ли онъ еще или нѣтъ? Обвиненіе въ грабежѣ я отвергаю съ негодованіемъ: нельзя обвинять въ грабежѣ, если нельзя указать съ точностью, что̀ именно ограблено, это аксіома! Но убилъ ли еще онъ, безъ грабежа-то убилъ ли? Это-то доказано ли? Ужъ не романъ ли и это?»

XII.

Да и убійства не было.

«Позвольте, господа присяжные, тутъ жизнь человѣческая и надо быть осторожнѣе. Мы слышали, какъ обвиненіе само засвидѣтельствовало, что до

самаго послѣдняго дня, до сегодня, до дня суда, колебалось обвинить подсудимаго въ полной и совершенной преднамѣренности убійства, колебалось до самаго этого рокового «пьянаго» письма, представленнаго сегодня суду. «Совершилось, какъ по-писанному!» Но опять-таки повторяю: онъ побѣжалъ, къ ней, за ней, единственно только узнать, гдѣ она? Вѣдь это фактъ непреложный. Случись она дома, онъ никуда бы не побѣжалъ, а остался при ней и не сдержалъ бы того, что въ письмѣ обѣщалъ. Онъ побѣжалъ нечаянно и внезапно, а о «пьяномъ» письмѣ своемъ онъ, можетъ быть, вовсе тогда и не помнилъ. «Захватилъ, дескать, пестикъ» — и помните, какъ изъ этого одного пестика намъ вывели цѣлую психологію, почему-де онъ долженъ былъ принять этотъ пестикъ за оружіе, схватить его, какъ оружіе, и проч., и проч. Тутъ мнѣ приходитъ въ голову одна самая обыкновенная мысль: ну что̀ если бъ этотъ пестикъ лежалъ не на виду, не на полкѣ, съ которой схватилъ его подсудимый, а былъ прибранъ въ шкафъ, — вѣдь подсудимому не мелькнулъ бы онъ тогда въ глаза, и онъ бы убѣжалъ безъ оружія, съ пустыми руками, и вотъ, можетъ быть, никого бы тогда и не убилъ. Какимъ же образомъ я могу заключать о пестикѣ, какъ о доказательствѣ вооруженія и преднамѣренія? Да, но онъ кричалъ по трактирамъ, что убьетъ отца, а за два дня, въ тотъ вечеръ, когда написалъ свое пьяное письмо, былъ тихъ и поссорился въ трактирѣ лишь съ однимъ только купеческимъ приказчикомъ, «потому-де, что Карамазовъ не могъ не поссориться». А я отвѣчу на это, что ужъ если замыслилъ такое убійство, да еще по плану, по написанному, то ужъ навѣрно бы не поссорился и съ

приказчикомъ, да, можетъ быть, и въ трактиръ не зашелъ бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дѣло, ищетъ тишины и стушевки, ищетъ исчезновенія, чтобы не видали, чтобы не слыхали: «забудьте-де обо мнѣ, если можете», и это не по расчету только, а по инстинкту. Господа присяжные, психологія о двухъ концахъ, и мы тоже умѣемъ понимать психологію. Что же до всѣхъ этихъ трактирныхъ криковъ во весь этотъ мѣсяцъ, то мало ли разъ кричатъ дѣти, али пьяные гуляки, выходя изъ кабаковъ и ссорясь другъ съ другомъ: «я убью тебя», но вѣдь не убиваютъ же. Да и самое это роковое письмо, — ну, не пьяное ли оно раздраженіе тоже, не крикъ ли изъ кабака выходящаго: «убью, дескать, всѣхъ васъ убью!» Почему не такъ, почему не могло быть такъ? Почему это письмо роковое, почему, напротивъ, оно не смѣшное? А вотъ именно потому, что найденъ трупъ убитаго отца, потому, что свидѣтель видѣлъ подсудимаго въ саду, вооруженнаго и убѣгающаго, и самъ былъ поверженъ имъ, стало быть, и совершилось все по написанному, а потому и письмо не смѣшное, а роковое. Слава Богу, мы дошли до точки: «коли былъ въ саду, значитъ, онъ и убилъ». Этими двумя словечками: коли *былъ,* такъ ужъ непремѣнно и *значитъ,* все исчерпывается, все обвиненіе — «былъ, такъ и значитъ». А если не *значитъ,* хотя бы и былъ? О, я согласенъ, что совокупность фактовъ, совпаденіе фактовъ, дѣйствительно, довольно краснорѣчивы. Но разсмотрите, однако, всѣ эти факты отдѣльно, не внушаясь ихъ совокупностью: почему, напримѣръ, обвиненіе ни за что̀ не хочетъ допустить правдивости показанія подсудимаго, что онъ убѣжалъ отъ отцова окошка?

Вспомните даже сарказмы, въ которые пускается здѣсь обвиненіе насчетъ почтительности и «благочестивыхъ» чувствъ, вдругъ обуявшихъ убійцу. А что̀ если и въ самомъ дѣлѣ тутъ было нѣчто подобное, то есть хоть не почтительность чувствъ, но благочестивость чувствъ? «Должно быть, мать за меня замолила въ эту минуту», показываетъ на слѣдствіи подсудимый, и вотъ онъ убѣжалъ чуть лишь увѣрился, что Свѣтловой у отца въ домѣ нѣтъ. «Но онъ не могъ увѣриться чрезъ окно», возражаетъ намъ обвиненіе. А почему же не могъ? Вѣдь окно отворилось же на поданные подсудимымъ знаки. Тутъ могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Ѳедоромъ Павловичемъ, могъ вырваться какой-нибудь такой крикъ — и подсудимый могъ вдругъ удостовѣриться, что Свѣтловой тутъ нѣтъ. Почему непремѣнно предполагать такъ, какъ мы воображаемъ, какъ предположили воображать? Въ дѣйствительности можетъ мелькнуть тысяча вещей, ускользающихъ отъ наблюденія самаго тонкаго романиста. «Да, но Григорій видѣлъ дверь отворенною, а, стало быть, подсудимый былъ въ домѣ навѣрно, а, стало быть, и убилъ». Объ этой двери, господа присяжные... Видите ли, объ отворенной этой двери свидѣтельствуетъ лишь одно лицо, бывшее, однако, въ то время въ такомъ состояніи само, что... Но пусть, пусть была дверь отворена, пусть подсудимый отперся, солгалъ изъ чувства самозащиты, столь понятнаго въ его положеніи, пусть, пусть онъ проникъ въ домъ, былъ въ домѣ, — ну и что же, почему же непремѣнно коли былъ, то и убилъ? Онъ могъ ворваться, пробѣжать по комнатамъ, могъ оттолкнуть отца, могъ даже ударить отца, но, удо-

стовѣрившись, что Свѣтловой нѣтъ у него, убѣжалъ, радуясь, что ее нѣтъ и что убѣжалъ, отца не убивъ. Именно потому, можетъ быть, и соскочилъ черезъ минуту съ забора къ поверженному имъ въ азартѣ Григорію, что въ состояніи былъ ощущать чувство чистое, чувство состраданія и жалости, потому что убѣжалъ отъ искушенія убить отца, потому что ощущалъ въ себѣ сердце чистое и радость, что не убилъ отца. Краснорѣчиво до ужаса описываетъ намъ обвинитель страшное состояніе подсудимаго въ селѣ Мокромъ, когда любовь вновь открылась ему, зовя его въ новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади былъ окровавленный трупъ отца его, а за трупомъ казнь. И однакоже, обвинитель все-таки допустилъ любовь, которую и объяснилъ по своей психологіи: «пьяное, дескать, состояніе, преступника везутъ на казнь, еще долго ждать, и проч., и проч.» Но не другое ли вы создали лицо, господинъ обвинитель, опять-таки спрашиваю? Такъ ли, такъ ли грубъ и бездушенъ подсудимый, что могъ еще думать въ тотъ моментъ о любви и о виляніи предъ судомъ, если бы, дѣйствительно, на немъ была кровь отца? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Только что открылось, что она его любитъ, зоветъ съ собою, сулитъ ему новое счастье, — о, клянусь, онъ долженъ былъ тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя и убилъ бы себя непремѣнно, если бы сзади его лежалъ трупъ отца! О, нѣтъ, не забылъ бы, гдѣ лежатъ его пистолеты! Я знаю подсудимаго: дикая, деревянная безсердечность, взведенная на него обвиненіемъ, не совмѣстна съ его характеромъ. Онъ бы убилъ себя, это навѣрно; онъ не убилъ себя именно потому, что

«мать замолила о немъ», и сердце его было неповинно въ крови отца. Онъ мучился, онъ горевалъ въ ту ночь въ Мокромъ лишь о поверженномъ старикѣ Григоріи и молилъ про себя Бога, чтобы старикъ всталъ и очнулся, чтобъ ударъ его былъ несмертеленъ, и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкованіе событій? Какое мы имѣемъ твердое доказательство, что подсудимый намъ лжетъ? А вотъ трупъ-то отца, укажутъ намъ тотчасъ же снова: онъ выбѣжалъ, онъ не убилъ, ну такъ кто же убилъ старика?

«Повторяю, тутъ вся логика обвиненія: кто же убилъ, какъ не онъ? Некого, дескать, поставить вмѣсто него. Господа присяжные засѣдатели, такъ ли это? Впрямь ли, дѣйствительно ли, ужъ такъ-таки совсѣмъ некого поставить? Мы слышали, какъ обвиненіе перечло по пальцамъ всѣхъ бывшихъ и всѣхъ перебывавшихъ въ ту ночь въ этомъ домѣ. Нашлось пять человѣкъ. Трое изъ нихъ, я согласенъ, вполнѣ невмѣняемы: это самъ убитый, старикъ Григорій и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяковъ, и вотъ обвинитель съ паѳосомъ восклицаетъ, что подсудимый потому указываетъ на Смердякова, что не на кого больше ему указать, что будь тутъ кто-нибудь шестой, даже призракъ какого-либо шестого, то подсудимый самъ бы тотчасъ бросилъ обвинять Смердякова, устыдившись сего, а показалъ бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не могъ заключить совершенно обратно? Стоятъ двое: подсудимый и Смердяковъ, — почему же мнѣ не сказать, что вы обвиняете моего кліента единственно потому, что вамъ некого обвинить? А некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранѣе

исключили Смердякова изъ всякаго подозрѣнія. Да, правда, на Смердякова показываютъ лишь самъ подсудимый, два брата его, Свѣтлова и только. Но вѣдь есть же и еще кое-кто изъ показывающихъ: это нѣкоторое, хотя и неясное, броженіе въ обществѣ какого-то вопроса, какого-то подозрѣнія, слышенъ какой-то неясный слухъ, чувствуется, что существуетъ какое-то ожиданіе. Наконецъ, свидѣтельствуетъ и нѣкоторое сопоставленіе фактовъ весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопредѣленное: во-первыхъ, этотъ припадокъ падучей болѣзни именно въ день катастрофы, припадокъ, который такъ старательно принужденъ былъ почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затѣмъ это внезапное самоубійство Смердякова наканунѣ суда. Затѣмъ не менѣе внезапное показаніе старшаго брата подсудимаго, сегодня на судѣ, до сихъ поръ вѣрившаго въ виновность брата и вдругъ приносящаго деньги и тоже провозгласившаго опять-таки имя Смердякова, какъ убійцы! О, я вполнѣ убѣжденъ вмѣстѣ съ судомъ и съ прокуратурой, что Иванъ Карамазовъ — больной и въ горячкѣ, что показаніе его, дѣйствительно, могло быть отчаянною попыткой, замышленною при томъ же въ бреду, спасти брата, сваливъ на умершаго. Но, однакоже, все-таки произнесено имя Смердякова, опять-таки какъ будто слышится что-то загадочное. Что-то какъ будто тутъ не договорено, господа присяжные, и не покончено. И можетъ быть, еще договорится. Но объ этомъ пока оставимъ, это еще впереди. Судъ рѣшилъ давеча продолжать засѣданіе, но теперь, пока, въ ожиданіи, я бы могъ кое-что, однако, замѣтить, напримѣръ, по поводу характеристики покойнаго Смердякова, столь тон-

ко и столь талантливо очерченной обвинителемъ. Но, удивляясь таланту, не могу, однакоже, вполнѣ согласиться съ сущностью характеристики. Я былъ у Смердякова, я видѣлъ его и говорилъ съ нимъ, онъ произвелъ на меня впечатлѣніе совсѣмъ иное. Здоровьемъ онъ былъ слабъ, это правда, но характеромъ, но сердцемъ, — о, нѣтъ, это вовсе не столь слабый былъ человѣкъ, какъ заключило о немъ обвиненіе. Особенно не нашелъ я въ немъ робости, той робости, которую такъ характерно описывалъ намъ обвинитель. Простодушія же въ немъ не было вовсе, напротивъ, я нашелъ страшную недовѣрчивость, прячущуюся подъ наивностью, и умъ, способный весьма многое созерцать. О! обвиненіе слишкомъ простодушно почло его слабоумнымъ. На меня онъ произвелъ впечатлѣніе совершенно опредѣленное: я ушелъ съ убѣжденіемъ, что существо это рѣшительно злобное, непомѣрно-честолюбивое, мстительное и знойно-завистливое. Я собралъ кое-какія свѣдѣнія: онъ ненавидѣлъ происхожденіе свое, стыдился его и со скрежетомъ зубовъ припоминалъ, что «отъ Смердящей произошелъ». Къ слугѣ Григорію и къ женѣ его, бывшимъ благодѣтелямъ его дѣтства, онъ былъ непочтителенъ. Россію проклиналъ и надъ нею смѣялся. Онъ мечталъ уѣхать во Францію, съ тѣмъ чтобы передѣлаться во француза. Онъ много и часто толковалъ еще прежде, что на это не достаетъ ему средствъ. Мнѣ кажется, онъ никого не любилъ, кромѣ себя, уважалъ же себя до странности высоко. Просвѣщеніе видѣлъ въ хорошемъ платьѣ, въ чистыхъ манишкахъ и въ вычищенныхъ сапогахъ. Считая себя самъ (и на это есть факты) незаконнымъ сыномъ Ѳедора Павловича, онъ могъ ненави-

дѣть свое положеніе, сравнительно съ законными дѣтьми своего господина: имъ, дескать, все, а ему ничего, имъ всѣ права, имъ наслѣдство, а онъ только поваръ. Онъ повѣдалъ мнѣ, что самъ, вмѣстѣ съ Ѳедоромъ Павловичемъ, укладывалъ деньги въ пакетъ. Назначеніе этой суммы, — суммы, которая могла бы составить его карьеру, — было, конечно, ему ненавистно. Къ тому же онъ увидалъ три тысячи рублей, въ свѣтленькихъ радужныхъ кредиткахъ (я объ этомъ нарочно спросилъ его). О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человѣку большихъ денегъ разомъ, а онъ въ первый разъ увидалъ такую сумму въ одной рукѣ. Впечатлѣніе радужной пачки могло болѣзненно отразиться въ его воображеніи, на первый разъ пока безо всякихъ послѣдствій. Высокоталантливый обвинитель съ необыкновенною тонкостью очертилъ намъ всѣ pro и contra предположенія о возможности обвинить Смердякова въ убійствѣ и особенно спрашивалъ: для чего тому было притворяться въ падучей? Да, но вѣдь онъ могъ и не притворяться вовсе,, припадокъ могъ придти совсѣмъ натурально, и больной могъ очнуться. Положимъ, не вылѣчиться, но все же когда-нибудь придти въ себя и очнуться, какъ и бываетъ въ падучей. Обвиненіе спрашиваетъ: гдѣ моментъ совершенія Смердяковымъ убійства? Но указать этотъ моментъ чрезвычайно легко. Онъ могъ очнуться и встать отъ глубокаго сна (ибо онъ былъ только во снѣ: послѣ припадковъ падучей болѣзни всегда нападаетъ глубокій сонъ), именно въ то мгновеніе, когда старикъ Григорій, схвативъ за ногу на заборѣ убѣгающаго подсудимаго, завопилъ на всю окрестность: «отцеубивецъ!»

Крикъ-то этотъ необычайный, въ тиши и во мракѣ, и могъ разбудить Смердякова, сонъ котораго къ тому времени могъ быть и не очень крѣпокъ: онъ естественно могъ уже часъ тому какъ начать просыпаться. Вставъ съ постели, онъ отправляется почти безсознательно и безо всякаго намѣренія на крикъ посмотрѣть, что такое. Въ его головѣ болѣзненный чадъ, соображеніе еще дремлетъ, но вотъ онъ въ саду, подходитъ къ освѣщеннымъ окнамъ и слышитъ страшную вѣсть отъ барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображеніе разомъ загорается въ головѣ его. Отъ испуганнаго барина онъ узнаетъ всѣ подробности. И вотъ постепенно, въ разстроенномъ и больномъ мозгу его созидается мысль — страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять три тысячи денегъ и свалить все потомъ на барченка: на кого же и подумаютъ теперь, какъ не на барченка, кого же могутъ обвинить, какъ не барченка, всѣ улики, онъ тутъ былъ? Страшная жажда денегъ, добычи, могла захватить ему духъ, вмѣстѣ съ соображеніемъ о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы такъ часто приходятъ при случаѣ, и, главное, приходятъ внезапно такимъ убійцамъ, которые еще за минуту не знали, что захотятъ убить! И вотъ Смердяковъ могъ войти къ барину и исполнить свой планъ, чѣмъ, какимъ оружіемъ, — а первымъ камнемъ, который онъ поднялъ въ саду. Но для чего же, съ какою же цѣлью? А три-то тысячи, вѣдь это карьера. О! я не противорѣчу себѣ: деньги могли быть и существовать. И даже, можетъ быть, Смердяковъ-то одинъ и зналъ, гдѣ ихъ найти, гдѣ именно онѣ лежатъ у барина. «Ну, а обложка денегъ, а разорванный на полу па-

кетъ?» Давеча, когда обвинитель, говоря объ этомъ пакетѣ, изложилъ чрезвычайно тонкое соображеніе свое о томъ, что оставить его на полу могъ именно воръ непривычный, именно такой, какъ Карамазовъ, а совсѣмъ уже не Смердяковъ, который бы ни за что не оставилъ на себя такую улику — давеча, господа присяжные, я, слушая, вдругъ почувствовалъ, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И, представьте себѣ, именно это самое соображеніе, эту догадку о томъ, какъ бы могъ поступить Карамазовъ съ пакетомъ, я уже слышалъ ровно за два дня до того отъ самого Смердякова, мало того, онъ даже тѣмъ поразилъ меня: мнѣ именно показалось, что онъ фальшиво наивничаетъ, забѣгаетъ впередъ, навязываетъ эту мысль мнѣ, чтобъ я самъ вывелъ это самое соображеніе и мнѣ его какъ будто подсказываетъ. Не подсказалъ ли онъ это соображеніе и слѣдствію? Не навязалъ ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажутъ: а старуха жена Григорія? Вѣдь она же слышала, какъ больной подлѣ нея стоналъ во всю ночь. Такъ, слышала, но вѣдь соображеніе это чревычайно шаткое. Я зналъ одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворѣ шавка и не давала ей спать. И, однако, бѣдная собаченка, какъ извѣстно стало, тявкнула всего только раза два — три во всю ночь. И это естественно; человѣкъ спитъ и вдругъ слышитъ стонъ, онъ просыпается въ досадѣ, что его разбудили, но засыпаетъ мгновенно снова. Часа черезъ два опять стонъ, опять просыпается и опять засыпаетъ, наконецъ, еще разъ стонъ, и опять черезъ два часа, всего въ ночь раза три. На утро спящій встаетъ и жалуется, что кто-то всю ночь стоналъ и его без-

прерывно будилъ. Но непремѣнно такъ и должно ему показаться; промежутки сна, по два часа каждый, онъ проспалъ и не помнитъ, а запомнилъ лишь минуты своего пробужденія, вотъ ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему, почему, восклицаетъ обвиненіе, Смердяковъ не признался въ посмертной запискѣ? «На одно-де хватило совѣсти, а на другое нѣтъ». Но позвольте: совѣсть — это уже раскаяніе, но раскаянія могло и не быть у самоубійцы, а было лишь отчаяніе. Отчаяніе и раскаяніе — двѣ вещи совершенно различныя. Отчаяніе можетъ быть злобное и непримиримое, и самоубійца, накладывая на себя руки, въ этотъ моментъ могъ вдвойнѣ ненавидѣть тѣхъ, кому всю жизнь завидовалъ. Господа присяжные засѣдатели, поберегитесь судебной ошибки! Чѣмъ, чѣмъ неправдоподобно все то, что я вамъ сейчасъ представилъ и изобразилъ? Найдите ошибку въ моемъ изложеніи, найдите невозможность, абсурдъ? Но если есть хотя тѣнь возможности, хотя тѣнь правдоподобія въ моихъ предположеніяхъ — удержитесь отъ приговора. А тутъ развѣ тѣнь только? Клянусь всѣмъ священнымъ, я вполнѣ вѣрю въ мое, въ представленное вамъ сейчасъ, толкованіе объ убійствѣ. А, главное, главное, меня смущаетъ и выводитъ изъ себя все та же мысль, что изо всей массы фактовъ, нагроможденныхъ обвиненіемъ на подсудимаго, нѣтъ ни единаго хоть сколько-нибудь точнаго и неотразимаго, а что гибнетъ несчастный единственно по совокупности этихъ фактовъ. Да, эта совокупность ужасна: эта кровь, эта съ пальцевъ текущая кровь, бѣлье въ крови, эта темная ночь, оглашаемая воплемъ «отцеубивецъ!», и кричащій, падающій съ проломленною головой, а за-

тѣмъ эта масса изреченій, показаній, жестовъ, криковъ, — о, это такъ вліяетъ, такъ можетъ подкупить убѣжденіе, но ваше ли, господа присяжные засѣдатели, ваше ли убѣжденіе подкупить можетъ? Вспомните, вамъ дана необъятная власть, власть вязать и рѣшить. Но чѣмъ сильнѣе власть, тѣмъ страшнѣе ея приложеніе! Я ни на іоту не отступаю отъ сказаннаго мною сейчасъ, но ужъ пусть, такъ и быть, пусть на минуту и я соглашусь съ обвиненіемъ, что несчастный кліентъ мой обагрилъ свои руки въ крови отца. Это только предположеніе, повторяю, я ни на мигъ не сомнѣваюсь въ его невинности, но ужъ, такъ и быть, предположу, что мой подсудимый виновенъ въ отцеубійствѣ, но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустилъ такое предположеніе. У меня лежитъ на сердцѣ высказать вамъ еще нѣчто, ибо я предчувствую и въ вашихъ сердцахъ и умахъ большую борьбу... Простите мнѣ это слово, господа присяжные засѣдатели, о вашихъ сердцахъ и умахъ. Но я хочу быть правдивымъ и искреннимъ до конца. Будемъ же всѣ искренни!..»

Въ этомъ мѣстѣ защитника прервалъ довольно сильный апплодисментъ. Въ самомъ дѣлѣ, послѣднія слова свои онъ произнесъ съ такою искренне прозвучавшею нотой, что всѣ почувствовали, что, можетъ быть, дѣйствительно, ему есть что сказать и что то, что онъ скажетъ сейчасъ, есть и самое важное. Но предсѣдатель, заслышавъ апплодисментъ, громко пригрозилъ «очистить» залу суда, если еще разъ повторится «подобный случай». Все затихло, и Ѳетюковичъ началъ какимъ-то новымъ, проникновеннымъ голосомъ, совсѣмъ не тѣмъ, которымъ говорилъ до сихъ поръ.

XIII.

Прелюбодѣи мысли.

«Не совокупность только фактовъ губитъ моего кліента, господа присяжные засѣдатели, — возгласилъ онъ, — нѣтъ, моего кліента губитъ, по-настоящему, одинъ лишь фактъ: это — трупъ старика отца! Будь простое убійство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактовъ, если разсматривать каждый изъ нихъ въ отдѣльности, а не въ совокупности, — отвергли бы обвиненіе, по крайней мѣрѣ, усумнились бы губить судьбу человѣка по одному лишь предубѣжденію противъ него, которое, увы, онъ такъ заслужилъ! Но тутъ не простое убійство, а отцеубійство! Это импонируетъ, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющихъ фактовъ становится уже не столь ничтожною и не столь бездоказательною, и это въ самомъ непредубѣжденномъ даже умѣ. Ну какъ оправдать такого подсудимаго? А ну какъ онъ убилъ и уйдетъ ненаказаннымъ, — вотъ что чувствуетъ каждый въ сердцѣ своемъ почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца, — кровь родившаго, кровь любившаго, кровь жизни своей для меня не жалѣвшаго, съ дѣтскихъ лѣтъ моихъ моими болѣзнями болѣвшаго, всю жизнь за мое счастье страдавшаго, и лишь моими радостями, моими успѣхами жившаго! О, убить такого отца — да это невозможно и помыслить! Господа присяжные, что такое отецъ, настоящій отецъ, что это за слово такое великое, какая страшно великая идея въ наименованіи этомъ? Мы сейчасъ только указали отчасти, что̀ такое и чѣмъ

долженъ быть истинный отецъ. Въ настоящемъ же дѣлѣ, которымъ мы такъ всѣ теперь заняты, которымъ болятъ наши души, — въ настоящемъ дѣлѣ отецъ, покойный Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ, нисколько не подходилъ подъ понятіе объ отцѣ, которое сейчасъ сказалось нашему сердцу. Это бѣда. Да, дѣйствительно, иной отецъ похожъ на бѣду. Разсмотримъ же эту бѣду поближе, — вѣдь ничего не надо бояться, господа присяжные, въ виду важности предстоящаго рѣшенія. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, такъ сказать, отмахиваться отъ иной идеи, какъ дѣти или пугливыя женщины, по счастливому выраженію высокоталантливаго обвинителя. Но въ своей горячей рѣчи уважаемый мой противникъ (и противникъ еще прежде, чѣмъ я произнесъ мое первое слово), мой противникъ нѣсколько разъ воскликнулъ: «нѣтъ, я никому не дамъ защищать подсудимаго, я не уступлю его защиту защитнику, пріѣхавшему изъ Петербурга, — я обвинитель, я и защитникъ!» Вотъ что онъ нѣсколько разъ воскликнулъ и, однакоже, забылъ упомянуть, что если страшный подсудимый цѣлые двадцать три года столь благодаренъ былъ всего только за одинъ фунтъ орѣховъ, полученныхъ отъ единственнаго человѣка, приласкавшаго его ребенкомъ въ родительскомъ домѣ, то, обратно, не могъ же вѣдь такой человѣкъ и не помнить всѣ эти двадцать три года, какъ онъ бѣгалъ босой у отца «на заднемъ дворѣ, безъ сапожекъ, и въ панталончикахъ на одной пуговкѣ», по выраженію человѣколюбиваго доктора Герценштубе. О, господа присяжные, зачѣмъ намъ разсматривать ближе эту «бѣду», повторять то, что всѣ уже знаютъ! Что встрѣтилъ мой кліентъ, пріѣхавъ сюда къ отцу? И

зачѣмъ, зачѣмъ, изображать моего кліента безчувственнымъ, эгоистомъ, чудовищемъ? Онъ безудерженъ, онъ дикъ и буенъ, вотъ мы теперь его судимъ за это, а кто виноватъ въ судьбѣ его, кто виноватъ, что при хорошихъ наклонностяхъ, при благодарномъ чувствительномъ сердцѣ, онъ получилъ такое нелѣпое воспитаніе? Училъ ли его кто-нибудь уму-разуму, просвѣщенъ ли онъ въ наукахъ, любилъ ли кто его хоть сколько-нибудь въ его дѣтствѣ? Мой кліентъ росъ покровительствомъ Божіимъ, то есть какъ дикій звѣрь. Онъ, можетъ быть, жаждалъ увидѣть отца послѣ долголѣтней разлуки, онъ, можетъ быть, тысячу разъ передъ тѣмъ, вспоминая какъ сквозь сонъ свое дѣтство, отгонялъ отвратительные призраки, приснившіеся ему въ его дѣтствѣ, и всею душою жаждалъ оправдать и обнять отца своего! И что жъ? Его встрѣчаютъ однѣми циническими насмѣшками, подозрительностью и крючкотворствомъ изъ-за спорныхъ денегъ; онъ слышитъ лишь разговоры и житейскія правила, отъ которыхъ воротитъ сердце, ежедневно «за коньячкомъ», и, наконецъ, зритъ отца, отбивающаго у него, у сына, на его же сыновнія деньги, любовницу, — о, господа присяжные, это отвратительно и жестоко! И этотъ же старикъ всѣмъ жалуется на непочтительность и жестокость сына, мараетъ его въ обществѣ, вредитъ ему, клевещетъ на него, скупаетъ его долговыя расписки, чтобы посадить его въ тюрьму! Господа присяжные, эти души, эти на видъ жестокосердые, буйные и безудержные люди, какъ мой кліентъ, бываютъ, и это чаще всего, чрезвычайно нѣжны сердцемъ, только этого не выказываютъ. Не смѣйтесь, не смѣйтесь надъ моею идеей! Талантливый обвинитель смѣялся давеча

надъ моимъ кліентомъ безжалостно, выставляя, что онъ любитъ Шиллера, любитъ «прекрасное и высокое». Я бы не сталъ надъ этимъ смѣяться на его мѣстѣ, на мѣстѣ обвинителя! Да, эти сердца, — о, дайте мнѣ защитить эти сердца, столь рѣдко и столь несправедливо понимаемыя, — эти сердца весьма часто жаждутъ нѣжнаго, прекраснаго и справедливаго, и именно какъ бы въ контрастъ себѣ, своему буйству, своей жестокости, — жаждутъ безсознательно, и именно жаждутъ. Страстные и жестокіе снаружи, они до мученія способны полюбить, напримѣръ, женщину, и непремѣнно духовною и высшею любовью. Опять-таки не смѣйтесь надо мной: это именно такъ всего чаще бываетъ въ этихъ натурахъ! Онѣ только не могутъ скрыть свою страстность, подчасъ очень грубую, — вотъ это и поражаетъ, вотъ это и замѣчаютъ, а внутри человѣка не видятъ. Напротивъ, всѣ ихъ страсти утоляются быстро, но около благороднаго, прекраснаго существа, этотъ, повидимому, грубый и жестокій человѣкъ ищетъ обновленія, ищетъ возможности исправиться, стать лучшимъ, сдѣлаться высокимъ и честнымъ, — «высокимъ и прекраснымъ», какъ ни осмѣяно это слово! Давеча я сказалъ, что не позволю себѣ дотронуться до романа моего кліента съ г-жею Верховцевой. Но, однако, полслова-то можно сказать: мы слышали, давеча, не показаніе, а лишь крикъ изступленной и отмщающей женщины, и не ей, о, не ей укорять бы въ измѣнѣ, потому что она сама измѣнила! Если бъ имѣла хоть сколько-нибудь времени, чтобъ одуматься, не дала бы она такого свидѣтельства! О, не вѣрьте ей, нѣтъ, не «извергъ» кліентъ мой, какъ она его называла! Распятый Человѣколюбецъ, собираясь

на крестъ свой, говорилъ: «Азъ есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагаетъ душу свою за овцы, да ни одна не погибнетъ» . . . Не погубимъ и мы души человѣческой! Я спрашивалъ сейчасъ: что такое отецъ, и воскликнулъ, что это великое слово, драгоцѣнное наименованіе. Но со словомъ, господа присяжные, надо обращаться честно, и я не позволю назвать предметъ собственнымъ его словомъ, собственнымъ наименованіемъ. Такой отецъ, какъ убитый старикъ Карамазовъ, не можетъ и недостоинъ называться отцомъ. Любовь къ отцу, не оправданная отцомъ, есть нелѣпость, есть невозможность. Нельзя создать любовь изъ ничего, изъ ничего только Богъ творитъ. «Отцы, не огорчайте дѣтей своихъ», пишетъ, изъ пламенѣющаго любовью сердца своего, апостолъ. Не ради моего кліента привожу теперь эти святыя слова, а для всѣхъ отцовъ вспоминаю ихъ. Кто мнѣ далъ эту власть, чтобъ учить отцовъ? Никто. Но какъ человѣкъ и гражданинъ взываю — vivos voco! Мы на землѣ недолго, мы дѣлаемъ много дѣлъ дурныхъ и говоримъ словъ дурныхъ. А потому будемъ же всѣ ловить удобную минуту совмѣстнаго общенія нашего, чтобы сказать другъ другу и хорошее слово. Такъ и я: пока я на этомъ мѣстѣ, я пользуюсь моей минутой. Не даромъ эта трибуна дарована намъ высшею волей — съ нея слышитъ насъ вся Россія. Не для здѣшнихъ только отцовъ говорю, а ко всѣмъ отцамъ восклицаю: «отцы, не огорчайте дѣтей своихъ!» Да, исполнимъ прежде сами завѣтъ Христовъ и тогда только разрѣшимъ себѣ спрашивать и съ дѣтей нашихъ. Иначе мы не отцы, а враги дѣтямъ нашимъ, а они не дѣти наши, а враги намъ и мы сами себѣ сдѣлали

ихъ врагами! «Въ ню же мѣру мѣрите, возмѣрится и вамъ» — это не я уже говорю, это Евангеліе предписываетъ: мѣрить въ ту мѣру, въ которую и вамъ мѣряютъ. Какъ же винить дѣтей, если они намъ мѣряютъ въ нашу мѣру? Недавно въ Финляндіи одна дѣвица, служанка, была заподозрѣна, что она тайно родила ребенка. Стали слѣдить за нею и на чердакѣ дома, въ углу за кирпичами, нашли ея сундукъ, про который никто не зналъ, его отперли и вынули изъ него трупикъ новорожденнаго и убитаго ею младенца. Въ томъ же сундукѣ нашли два скелета уже рожденныхъ прежде ею младенцевъ и ею же убитыхъ въ минуту рожденія, въ чемъ она и повинилась. Господа присяжные, это ли мать дѣтей своихъ? Да, она ихъ родила, но мать ли она имъ? Осмѣлится ли кто изъ насъ произнести надъ ней священное имя матери? Будемъ смѣлы, господа присяжные, будемъ дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми въ настоящую минуту и не бояться иныхъ словъ и идей, подобно московскимъ купчихамъ, боящимся «металла» и «жупела». Нѣтъ, докажемъ, напротивъ, что прогрессъ послѣднихъ лѣтъ коснулся и нашего развитія и скажемъ прямо: родившій не есть еще отецъ, а отецъ есть — родившій и заслужившій. О, конечно, есть и другое значеніе, другое толкованіе слова отецъ, требующее, чтобы отецъ мой, хотя бы и извергъ, хотя бы и злодѣй своимъ дѣтямъ, оставался бы, все-таки, моимъ отцомъ, потому только, что онъ родилъ меня. Но это значеніе уже, такъ сказать, мистическое, которое я не понимаю умомъ, а могу принять лишь вѣрой, или, вѣрнѣе сказать, *на вѣру,* подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религія повелѣваетъ мнѣ, однакоже, вѣрить. Но

въ такомъ случаѣ это пусть и останется внѣ области дѣйствительной жизни. Въ области же дѣйствительной жизни, которая имѣетъ не только свои права, но и сама налагаетъ великія обязанности, — въ этой области мы, если хотимъ быть гуманными, христіанами, наконецъ, мы должны и обязаны проводить убѣжденія лишь оправданныя разсудкомъ и опытомъ, проведенныя чрезъ горнило анализа, словомъ, дѣйствовать разумно, и не безумно, какъ во снѣ и въ бреду, чтобы не нанести вреда человѣку, чтобы не измучить и не погубить человѣка. Вотъ, вотъ тогда это и будетъ настоящимъ христіанскимъ дѣломъ, не мистическимъ только, а разумнымъ и уже истинно человѣколюбивымъ дѣломъ» . . .

Въ этомъ мѣстѣ сорвались было сильныя рукоплесканія изъ многихъ концовъ залы, но Ѳетюковичъ даже замахалъ руками, какъ бы умоляя не прерывать, и чтобы дали ему договорить. Все тотчасъ затихло. Ораторъ продолжалъ:

«Думаете ли вы, господа присяжные, что такіе вопросы могутъ миновать дѣтей нашихъ, положимъ, уже юношей, положимъ, уже начинающихъ разсуждать? Нѣтъ, не могутъ, и не будемъ спрашивать отъ нихъ невозможнаго воздержанія! Видъ отца недостойнаго, особенно, сравнительно съ отцами другими, достойными, у другихъ дѣтей, его сверстниковъ, невольно подсказываетъ юношѣ вопросы мучительные. Ему по-казенному отвѣчаютъ на эти вопросы: «онъ родилъ тебя, и ты кровь его, а потому ты и долженъ любить его». Юноша невольно задумывается: «да развѣ онъ любилъ меня, когда рождалъ», спрашиваетъ онъ, удивляясь все болѣе и болѣе, «развѣ для меня онъ родилъ меня: онъ не зналъ ни меня, ни даже пола моего въ ту минуту,

въ минуту страсти, можетъ быть, разгоряченной виномъ, и только развѣ передалъ мнѣ склонность къ пьянству, — вотъ всѣ его благодѣянія... Зачѣмъ же я долженъ любить его, за то только, что онъ родилъ меня, а потомъ всю жизнь не любилъ меня?» О, вамъ, можетъ быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же отъ юнаго ума воздержанія невозможнаго: «гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно», — а главное, главное не будемъ бояться «металла» и «жупела» и рѣшимъ вопросъ такъ, какъ предписываетъ разумъ и человѣколюбіе, а не такъ, какъ предписываютъ мистическія понятія. Какъ же рѣшить его? А вотъ какъ: пусть сынъ станетъ предъ отцомъ своимъ и осмысленно спроситъ его самого: «отецъ, скажи мнѣ: для чего я долженъ любить тебя? Отецъ, докажи мнѣ, что я долженъ любить тебя?» — и если этотъ отецъ въ силахъ и въ состояніи будетъ отвѣтить и доказать ему, — то вотъ и настоящая нормальная семья, не на предразсудкѣ лишь мистическомъ утверждающаяся, а на основаніяхъ разумныхъ, самоотчетныхъ и строго гуманныхъ. Въ противномъ случаѣ, если не докажетъ отецъ — конецъ тотчасъ же этой семьѣ: онъ не отецъ ему, а сынъ получаетъ свободу и право впредь считать отца своего за чужого себѣ и даже врагомъ своимъ. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравыхъ понятій!»

Здѣсь ораторъ былъ прерванъ рукоплесканіями неудержимыми, почти изступленными. Конечно, апплодировала не вся зала, но половина-то залы все-таки апплодировала. Апплодировали отцы и матери. Сверху, гдѣ сидѣли дамы, слышались визги

и крики. Махали платками. Предсѣдатель изо всей силы началъ звонить въ колокольчикъ. Онъ былъ видимо раздраженъ поведеніемъ залы, но «очистить» залу, какъ угрожалъ недавно, рѣшительно не посмѣлъ: апплодировали и махали платками оратору даже сзади сидѣвшія на особыхъ стульяхъ сановныя лица, старички со звѣздами на фракахъ, такъ что, когда угомонился шумъ, предсѣдатель удовольствовался лишь прежнимъ строжайшимъ обѣщаніемъ «очистить» залу, а торжествующій и взволнованный Ѳетюковичъ сталъ опять продолжать свою рѣчь.

«Господа присяжные засѣдатели, вы помните ту страшную ночь, о которой такъ много еще сегодня говорили, когда сынъ, черезъ заборъ, проникъ въ домъ отца и сталъ, наконецъ, лицомъ къ лицу съ своимъ, родившимъ его, врагомъ и обидчикомъ. Изо всѣхъ силъ настаиваю — не за деньгами онъ прибѣжалъ въ ту минуту: обвиненіе въ грабежѣ есть нелѣпость, какъ я уже и изложилъ прежде. И не убить, о, нѣтъ, вломился онъ къ нему; если бъ имѣлъ преднамѣренно этотъ умыселъ, то озаботился бы, по крайней мѣрѣ, заранѣе хоть оружіемъ, а мѣдный пестъ онъ схватилъ инстинктивно, самъ не зная зачѣмъ. Пусть онъ обманулъ отца знаками, пусть онъ проникъ къ нему, — я сказалъ уже, что ни на одну минуту не вѣрю этой легендѣ, но пусть, такъ и быть, предположимъ ее на одну минуту! Господа присяжные, клянусь вамъ всѣмъ, что есть святого, будь это не отецъ ему, а посторонній обидчикъ, онъ, пробѣжавъ по комнатамъ и удостовѣрясь, что этой женщины нѣтъ въ этомъ домѣ, онъ убѣжалъ бы стремглавъ, не сдѣлавъ сопернику своему никакого вреда, ударилъ бы, толкнулъ его,

можетъ быть, но и только, ибо ему было не до того, ему было некогда, ему надо было знать, гдѣ она. Но отецъ, отецъ — о, все сдѣлалъ лишь видъ отца, его ненавистника съ дѣтства, его врага, его обидчика, а теперь — чудовищнаго соперника! Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, разсуждать нельзя было: все поднялось въ одну минуту! Это былъ аффектъ безумства и помѣшательства, но и аффектъ природы, мстящей за свои вѣчные законы безудержно и безсознательно, какъ и все въ природѣ. Но убійца и тутъ не убилъ, — я утверждаю это, я кричу про это, — нѣтъ, онъ лишь махнулъ пестомъ въ омерзительномъ негодованіи, не желая убить, не зная, что убьетъ. Не будь этого рокового песта въ рукахъ его, и онъ бы только избилъ отца, быть можетъ, но не убилъ бы его. Убѣжавъ, онъ не зналъ, убитъ ли поверженный имъ старикъ. Такое убійство не есть убійство. Такое убійство не есть и отцеубійство. Нѣтъ, убійство такого отца не можетъ быть названо отцеубійствомъ. Такое убійство можетъ быть причтено къ отцеубійству лишь по предразсудку! Но было ли, было ли это убійство въ самомъ дѣлѣ, взываю я къ вамъ снова и снова изъ глубины души моей! Господа присяжные, вотъ мы осудимъ его, и онъ скажетъ себѣ: «эти люди ничего не сдѣлали для судьбы моей, для воспитанія, для образованія моего, чтобы сдѣлать меня лучшимъ, чтобы сдѣлать меня человѣкомъ. Эти люди не накормили и не напоили меня, и въ темницѣ нагого не посѣтили, и вотъ они же сослали меня въ каторгу. Я сквитался, я ничего имъ теперь не долженъ и никому не долженъ вовѣки вѣковъ. Они злы, и я буду золъ. Они жестоки, и я буду жестокъ». Вотъ что онъ скажетъ,

господа присяжные! И клянусь: обвиненіемъ вашимъ вы только облегчите его, совѣсть его облегчите, онъ будетъ проклинать пролитую имъ кровь, а не сожалѣть о ней. Вмѣстѣ съ тѣмъ вы погубите въ немъ возможнаго еще человѣка, ибо онъ останется золъ и слѣпъ на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самымъ ужаснымъ наказаніемъ, какое только можно вообразить, но съ тѣмъ чтобы спасти и возродить его душу навѣки? Если такъ, то подавите его вашимъ милосердіемъ! Вы увидите, вы услышите, какъ вздрогнетъ и ужаснется душа его: мнѣ ли снести эту милость, мнѣ ли столько любви, я ли достоинъ ея, — вотъ что онъ воскликнетъ! О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится предъ вашимъ подвигомъ, оно жаждетъ великаго акта любви, оно загорится и воскреснетъ навѣки. Есть души, которыя въ ограниченности своей обвиняютъ весь свѣтъ. Но подавите эту душу милосердіемъ, окажите ей любовь, и она проклянетъ свое дѣло, ибо въ ней столько добрыхъ зачатковъ. Душа расширится и узритъ, какъ Богъ милосердъ, и какъ люди прекрасны и справедливы. Его ужаснетъ, его подавитъ раскаяніе и безчисленный долгъ, предстоящій ему отселѣ. И не скажетъ онъ тогда: «я сквитался», а скажетъ: «я виноватъ предъ всѣми людьми и всѣхъ людей недостойнѣе». Въ слезахъ раскаянія и жгучаго страдальческаго умиленія, онъ воскликнетъ: «люди лучше чѣмъ я, ибо захотѣли не погубить, а спасти меня!» О, вамъ такъ легко это сдѣлать, этотъ актъ милосердія, ибо при отсутствіи всякихъ чуть-чуть похожихъ на правду уликъ вамъ слишкомъ тяжело будетъ произнести: «да, вино-

венъ». Лучше отпустить десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго — слышите ли, слышите ли вы этотъ величавый голосъ изъ прошлаго столѣтія нашей славной исторіи? Мнѣ ли, ничтожному, напоминать вамъ, что русскій судъ есть не кара только, но и спасеніе человѣка погибшаго! Пусть у другихъ народовъ буква и кара, у насъ же духъ и смыслъ, спасеніе и возрожденіе погибшихъ. И если такъ, если, дѣйствительно, такова Россія и судъ ея, то — впередъ Россія, и не пугайте, о, не пугайте насъ вашими бѣшеными тройками, отъ которыхъ омерзительно сторонятся всѣ народы! Не бѣшеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудетъ къ цѣли. Въ вашихъ рукахъ судьба моего кліента, въ вашихъ рукахъ и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она въ хорошихъ рукахъ!»

XIV.

Мужички за себя постояли.

Такъ кончилъ Ѳетюковичъ, и разразившійся на этотъ разъ восторгъ слушателей былъ неудержимъ, какъ буря. Было уже и немыслимо сдержать его: женщины плакали, плакали и многіе изъ мужчинъ, даже два сановника пролили слезы. Предсѣдатель покорился и даже помедлилъ звонить въ колокольчикъ: «посягать на такой энтузіазмъ, значило бы посягать на святыню», какъ кричали потомъ у насъ дамы. Самъ ораторъ былъ искренно растроганъ. И вотъ въ такую-то минуту и поднялся еще разъ «обмѣняться возраженіями» нашъ Ипполитъ Ки-

рилловичъ. Его завидѣли съ ненавистью: «какъ? Что это? Это онъ-то смѣетъ еще возражать?» залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы цѣлаго міра, и въ ихъ главѣ сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать въ это мгновеніе. Онъ былъ блѣденъ, онъ сотрясался отъ волненія; первыя слова, первыя фразы, выговоренныя имъ, были даже и непонятны: онъ задыхался, плохо выговаривалъ, сбивался. Впрочемъ, скоро поправился. Но изъ этой второй рѣчи его я приведу лишь нѣсколько фразъ.

«...Насъ упрекаютъ, что мы насоздавали романовъ. А что же у защитника, какъ не романъ на романѣ? Не доставало только стиховъ. Ѳедоръ Павловичъ, въ ожиданіи любовницы, разрываетъ конвертъ и бросаетъ его на полъ. Приводится даже, что онъ говорилъ при этомъ удивительномъ случаѣ. Да развѣ это не поэма? И гдѣ доказательство, что онъ вынулъ деньги, кто слышалъ, что̀ онъ говорилъ? Слабоумный идіотъ Смердяковъ, преображенный въ какого-то байроновскаго героя, мстящаго обществу за свою незаконнорожденность, — развѣ это не поэма въ байроновскомъ вкусѣ? А сынъ, вломившійся къ отцу, убившій его, но въ то же время и не убившій, это ужъ даже и не романъ, не поэма, это сфинксъ, задающій загадки, которыя и самъ ужъ, конечно, не разрѣшитъ. Коль убилъ, такъ убилъ, а какъ же это, коли убилъ, такъ не убилъ — кто пойметъ это? Затѣмъ возвѣщаютъ намъ, что наша трибуна есть трибуна истины и здравыхъ понятій, и вотъ съ этой трибуны «здравыхъ понятій» раздается, съ клятвою, аксіома, что называть убійство отца отце-

убійствомъ есть только одинъ предразсудокъ, и если каждый ребенокъ будетъ допрашивать своего отца: «отецъ, зачѣмъ я долженъ любить тебя?» — то что станется съ нами, что станется съ основами общества, куда дѣнется семья? Отцеубійство, это, видите ли, только «жупелъ» московской купчихи. Самые драгоцѣнные, самые священные завѣты въ назначеніи и въ будущности русскаго суда представляются извращенно и легкомысленно, чтобы только добиться цѣли, добиться оправданія того, что нельзя оправдать. О, подавите его милосердіемъ, восклицаетъ защитникъ, — а преступнику только того и надо, и завтра же всѣ увидятъ, какъ онъ будетъ подавленъ! Да и не слишкомъ ли скроменъ защитникъ, требуя лишь оправданія подсудимаго? Отчего бы не потребовать учрежденія стипендіи имени отцеубійцы, для увѣковѣченія его подвига въ потомствѣ и въ молодомъ поколѣніи? Исправляются Евангеліе и религія: это, дескать, все мистика, а вотъ у насъ лишь настоящее христіанство, уже провѣренное анализомъ разсудка и здравыхъ понятій. И вотъ воздвигаютъ предъ нами лжеподобіе Христа! *Въ ню же мѣру возмѣрите, возмѣрится и вамъ,* восклицаетъ защитникъ и въ тотъ же мигъ выводитъ, что Христосъ заповѣдалъ мѣрить въ ту мѣру, въ которую и вамъ отмѣряютъ, — и это съ трибуны истины и здравыхъ понятій! Мы заглядываемъ въ Евангеліе лишь наканунѣ рѣчей нашихъ для того, чтобы блеснуть знакомствомъ все-таки съ довольно оригинальнымъ сочиненіемъ, которое можетъ пригодиться и послужить для нѣкотораго эффекта, по мѣрѣ надобности, все по размѣру надобности! А Христосъ именно велитъ не такъ дѣлать, беречься такъ дѣлать, потому что злобный

міръ такъ дѣлаетъ, мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не въ ту же мѣру отмѣривать, въ которую мѣрятъ намъ наши обидчики. Вотъ чему училъ насъ Богъ нашъ, а не тому, что запрещать дѣтямъ убивать отцовъ есть предразсудокъ. И не станемъ мы поправлять съ каѳедры истины и здравыхъ понятій Евангеліе Бога нашего, котораго защитникъ удостаиваетъ назвать лишь «распятымъ человѣколюбцемъ», въ противоположность всей нравственной Россіи, взывающей къ Нему: «Ты бо еси Богъ нашъ! . .»

Тутъ предсѣдатель вступился и осадилъ увлекшагося, попросивъ его не преувеличивать, оставаться въ должныхъ границахъ, и пр., и пр., какъ обыкновенно говорятъ въ такихъ случаяхъ предсѣдатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала въ негодованіи. Ѳетюковичъ даже и не возражалъ, онъ взошелъ только, чтобы, приложивъ руку къ сердцу, обиженнымъ голосомъ проговорить нѣсколько словъ, полныхъ достоинства. Онъ слегка только и насмѣшливо опять коснулся «романовъ» и «психологіи» и къ слову ввернулъ въ одномъ мѣстѣ: «Юпитеръ, ты сердишься, стало быть, ты не правъ», — чѣмъ вызвалъ одобрительный и многочисленный смѣшокъ въ публикѣ, ибо Ипполитъ Кирилловичъ уже совсѣмъ былъ не похожъ на Юпитера. Затѣмъ на обвиненіе, что будто онъ разрѣшаетъ молодому поколѣнію убивать отцовъ, Ѳетюковичъ съ глубокимъ достоинствомъ замѣтилъ, что и возражать не станетъ. Насчетъ же «Христова лжеподобія» и того, что онъ не удостоилъ назвать Христа Богомъ, а назвалъ лишь «распятымъ человѣколюбцемъ», что «противно-де православію и не могло быть высказано съ

трибуны истины и здравыхъ понятій» — Ѳетюковичъ намекнулъ на «инсинуацію» и на то, что, собираясь сюда, онъ, по крайней мѣрѣ, расчитывалъ, что здѣшняя трибуна обезпечена отъ обвиненій, «опасныхъ для моей личности, какъ гражданина и вѣрноподданнаго» . . . Но при этихъ словахъ предсѣдатель осадилъ и его, и Ѳетюковичъ, поклонясь, закончилъ свой отвѣтъ, провожаемый всеобщимъ одобрительнымъ говоромъ залы. Ипполитъ Кирилловичъ, по мнѣнію нашихъ дамъ, былъ «раздавленъ навѣки».

Затѣмъ предоставлено было слово самому подсудимому. Митя всталъ, но сказалъ немного. Онъ былъ страшно утомленъ и тѣлесно, и духовно. Видъ независимости и силы, съ которымъ онъ появился утромъ въ залу, почти исчезъ. Онъ какъ будто что-то пережилъ въ этотъ день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего онъ прежде не понималъ. Голосъ его ослабѣлъ, онъ уже не кричалъ, какъ давеча. Въ словахъ его послышалось что-то новое, смирившееся, побѣжденное и проникшее.

«Что мнѣ сказать, господа присяжные! Судъ мой пришелъ, слышу десницу Божію на себѣ. Конецъ безпутному человѣку! Но, какъ Богу исповѣдуясь, и вамъ говорю: «въ крови отца моего — нѣтъ, не виновенъ!» Въ послѣдній разъ повторяю: не я убилъ! Безпутенъ былъ, но добро любилъ. Каждый мигъ стремился исправиться, а жилъ дикому звѣрю подобенъ. Спасибо прокурору, многое мнѣ обо мнѣ сказалъ, чего и не зналъ я, но не правда, что я убилъ отца, ошибся прокуроръ! Спасибо и защитнику, плакалъ, его слушая, но не правда, что я убилъ отца, и предполагать не надо

было! А докторамъ не вѣрьте, я въ полномъ умѣ, только душѣ моей тяжело. Коли пощадите, коль отпустите — помолюсь за васъ. Лучшимъ стану, слово даю, передъ Богомъ его даю. А коль осудите — самъ сломаю надъ головой моей шпагу, а сломавъ, поцѣлую обломки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душѣ моей, господа . . . пощадите!»

Онъ почти упалъ на свое мѣсто, голосъ его пресѣкся, послѣднюю фразу онъ едва выговорилъ. Затѣмъ судъ приступилъ къ постановкѣ вопросовъ и началъ спрашивать у сторонъ заключеній. Но не описываю подробности. Наконецъ-то присяжные встали, чтобъ удалиться для совѣщаній. Предсѣдатель былъ очень утомленъ, а потому и сказалъ имъ очень слабое напутственное слово: «будьте-де безпристрастны, не внушайтесь краснорѣчивыми словами защиты, но, однакоже, взвѣсьте, вспомните, что на васъ лежитъ великая обязанность», и проч., и проч. Присяжные удалились, и наступилъ перерывъ засѣданія. Можно было встать, пройтись, обмѣняться накопившимися впечатлѣніями, закусить въ буфетѣ. Было очень поздно, уже около часу пополуночи, но никто не разъѣзжался. Всѣ были такъ напряжены и настроены, что было не до покоя. Всѣ ждали, замирая сердцемъ, хотя, впрочемъ, и не всѣ замирали сердцемъ. Дамы были лишь въ истерическомъ нетерпѣніи, но сердцами были спокойны: «оправданіе-де неминуемое». Всѣ онѣ готовились къ эффектной минутѣ общаго энтузіазма. Признаюсь, и въ мужской половинѣ залы было чрезвычайно много убѣжденныхъ въ неминуемомъ оправданіи. Иные радовались, другіе же хмурились, а иные такъ просто повѣсили носы: не хо-

тѣлось имъ оправданія! Самъ Ѳетюковичъ былъ твердо увѣренъ въ успѣхѣ. Онъ былъ окруженъ, принималъ поздравленія, передъ нимъ заискивали.

— Есть, — сказалъ онъ въ одной группѣ, какъ передавали потомъ, — есть эти невидимыя нити, связующія защитника съ присяжными. Онѣ завязываются и предчувствуются еще во время рѣчи. Я ощутилъ ихъ, онѣ существуютъ. Дѣло наше, будьте спокойны.

— А вотъ что-то наши мужички теперь скажутъ? — проговорилъ одинъ нахмуренный, толстый и рябой господинъ, подгородный помѣщикъ, подходя къ одной группѣ разговаривающихъ господъ.

— Да вѣдь не одни мужички. Тамъ четыре чиновника.

— Да, вотъ чиновники, — проговорилъ, подходя, членъ земской управы.

— А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете, вотъ этотъ купецъ-то съ медалью, присяжный-то?

— А что?

— Ума палата.

— Да онъ все молчитъ.

— Молчитъ-то молчитъ, да вѣдь тѣмъ и лучше. Не то что петербургскому его учить, самъ весь Петербургъ научитъ. Двѣнадцать человѣкъ дѣтей, подумайте!

— Да помилуйте, неужто не оправдаютъ? — кричалъ въ другой группѣ одинъ изъ молодыхъ чиновниковъ.

— Оправдаютъ навѣрно, — послышался рѣшительный голосъ.

— Стыдно, позорно было бы не оправдать! —

восклицалъ чиновникъ, — пусть онъ убилъ, но вѣдь отецъ и отецъ! И, наконецъ, онъ былъ въ такомъ изступленіи... Онъ, дѣйствительно, могъ только махнуть пестомъ и тотъ повалился. Плохо только, что лакея тутъ притянули. Это просто смѣшной эпизодъ. Я бы на мѣстѣ защитника такъ прямо и сказалъ: убилъ, но не виновенъ, вотъ и чертъ съ вами!

— Да онъ такъ и сдѣлалъ, только чертъ съ вами не сказалъ.

— Нѣтъ, Михаилъ Семенычъ, почти что сказалъ, — подхватилъ третій голосокъ.

— Помилуйте, господа, вѣдь оправдали же у насъ великимъ постомъ актрису, которая законной женѣ своего любовника горло перерѣзала.

— Да вѣдь не дорѣзала.

— Все равно, все равно, начала рѣзать!

— А про дѣтей-то какъ онъ? Великолѣпно!

— Великолѣпно.

— Ну, а про мистику-то, про мистику-то, а?

— Да полноте вы о мистикѣ, — вскричалъ еще кто-то, — вы вникните въ Ипполита-то, въ судьбу-то его отселева дня! Вѣдь ему завтрашній день его прокурорша за Митеньку глаза выцарапаетъ.

— А она здѣсь?

— Чего здѣсь? Была бы здѣсь, здѣсь бы и выцарапала. Дома сидитъ, зубы болятъ. Хе-хе-хе!

— Хе-хе-хе!

Въ третьей группѣ.

— А вѣдь Митеньку-то, пожалуй, и оправдаютъ.

— Чего добраго, завтра весь «Столичный городъ» разнесетъ, десять дней пьянствовать будетъ.

— Эхъ, вѣдь чертъ!

— Да чертъ-то чертъ, безъ черта не обошлось, гдѣ жъ ему и быть, какъ не тутъ.

— Господа, положимъ, краснорѣчіе. Но вѣдь нельзя же и отцамъ ломать головы безмѣнами. Иначе до чего же дойдемъ?

— Колесница-то, колесница-то, помните?

— Да, изъ телѣги, колесницу сдѣлалъ.

— А завтра изъ колесницы телѣгу, «по мѣрѣ надобности, все по мѣрѣ надобности».

— Ловкій народъ пошелъ. Правда-то есть у насъ на Руси, господа, али нѣтъ ея вовсе?

Но зазвонилъ колокольчикъ. Присяжные совѣщались ровно часъ, ни больше, ни меньше. Глубокое молчаніе воцарилось, только что усѣлась снова публика. Помню, какъ присяжные вступили въ залу. Наконецъ-то! Не привожу вопросовъ по пунктамъ, да я ихъ и забылъ. Я помню лишь отвѣтъ на первый и главный вопросъ предсѣдателя, то есть «убилъ ли съ цѣлью грабежа преднамѣренно?» (текста не помню). Все замерло. Старшина присяжныхъ, именно тотъ чиновникъ, который былъ всѣхъ моложе, громко и ясно, при мертвенной тишинѣ залы, провозгласилъ:

— Да, виновенъ!

И потомъ по всѣмъ пунктамъ пошло все то же: виновенъ, да, виновенъ, и это безъ малѣйшаго снисхожденія! Этого ужъ никто не ожидалъ, въ снисхожденіи-то, по крайней мѣрѣ, почти всѣ были увѣрены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально какъ бы всѣ окаменѣли — и жаждавшіе осужденія, и жаждавшіе оправданія. Но это только въ первыя минуты. Затѣмъ поднялся страшный хаосъ. Изъ мужской публики много оказалось очень довольныхъ. Иные такъ даже потирали ру-

ки, не скрывая своей радости. Недовольные были какъ бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но какъ будто все еще не сообразившись. Но, Боже мой, что̀ сталось съ нашими дамами! Я думалъ, что онѣ сдѣлаютъ бунтъ. Сначала онѣ какъ бы не вѣрили ушамъ своимъ. И вдругъ, на всю залу, послышались восклицанія: «да что̀ это такое? Это еще что̀ такое?» Онѣ повскакали съ мѣстъ своихъ. Имъ, вѣроятно, казалось, что все это сейчасъ же можно опять перемѣнить и передѣлать. Въ это мгновеніе вдругъ поднялся Митя и какимъ-то раздирающимъ воплемъ прокричалъ, простирая предъ собою руки:

— Клянусь Богомъ и страшнымъ судомъ Его, въ крови отца моего не виновенъ! Катя, прощаю тебѣ! Братья, други, пощадите другую!

Онъ не договорилъ и зарыдалъ на всю залу, въ голосъ, страшно, какимъ-то не своимъ, а новымъ, неожиданнымъ какимъ-то голосомъ, который Богъ знаетъ откуда вдругъ у него явился. На хорахъ, на верху, въ самомъ заднемъ углу раздался пронзительный женскій вопль: это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и ее вновь пропустили въ залу еще предъ началомъ судебныхъ преній. Митю увели. Произнесеніе приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась въ суматохѣ, но я уже не ждалъ и не слушалъ. Запомнилъ лишь нѣсколько восклицаній, уже на крыльцѣ, при выходѣ.

— Двадцать лѣтъ рудниковъ понюхаетъ.

— Не меньше.

— Да-съ, мужички наши за себя постояли.

— И покончили нашего Митеньку!

Эпилогъ.

I.

Проекты спасти Митю.

На пятый день послѣ суда надъ Митей, очень рано утромъ, еще въ девятомъ часу, пришелъ къ Катеринѣ Ивановнѣ Алеша, чтобъ сговориться окончательно о нѣкоторомъ важномъ для нихъ обоихъ дѣлѣ и имѣя, сверхъ того, къ ней порученіе. Она сидѣла и говорила съ нимъ въ той самой комнатѣ, въ которой принимала когда-то Грушеньку; рядомъ же, въ другой комнатѣ, лежалъ въ горячкѣ и въ безпамятствѣ Иванъ Ѳедоровичъ. Катерина Ивановна сейчасъ же, послѣ тогдашней сцены въ судѣ, велѣла перенести больного и потерявшаго сознаніе Ивана Ѳедоровича къ себѣ въ домъ, пренебрегая всякимъ будущимъ и неизбѣжнымъ говоромъ общества и его осужденіемъ. Одна изъ двухъ родственницъ ея, которыя съ ней проживали, уѣхала тотчасъ же послѣ сцены въ судѣ въ Москву, другая осталась. Но если бъ и обѣ уѣхали, Катерина Ивановна не измѣнила бы своего рѣшенія и осталась бы ухаживать за больнымъ и сидѣть надъ нимъ день и ночь. Лѣчили его Варвинскій и Герценшту-

бе; московскій же докторъ уѣхалъ обратно въ Москву, отказавшись предрѣчь свое мнѣніе насчетъ возможнаго исхода болѣзни. Оставшіеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходилъ къ больному брату по два раза въ день. Но въ этотъ разъ у него было особое, прехлопотливое дѣло, и онъ предчувствовалъ, какъ трудно ему будетъ заговорить о немъ, а между тѣмъ онъ очень торопился: было у него еще другое неотложное дѣло въ это же утро, въ другомъ мѣстѣ, и надо было спѣшить. Они уже съ четверть часа какъ разговаривали. Катерина Ивановна была блѣдна, сильно утомлена и въ то же время въ чрезвычайномъ болѣзненномъ возбужденіи: она предчувствовала, зачѣмъ между прочимъ пришелъ къ ней теперь Алеша.

— О его рѣшеніи не безпокойтесь, — проговорила она съ твердою настойчивостью Алешѣ. — Такъ или этакъ, а онъ все-таки придетъ къ этому выходу: онъ долженъ бѣжать! Этотъ несчастный, этотъ герой чести и совѣсти, — не тотъ, не Дмитрій Ѳедоровичъ, а тотъ, что за этой дверью лежитъ и что̀ собой за брата пожертвовалъ (съ сверкающими глазами прибавила Катя) — онъ давно уже мнѣ сообщилъ весь этотъ планъ побѣга. Знаете, онъ уже входилъ въ сношенія . . . Я вамъ уже кой-что сообщила . . . Видите, это произойдетъ, по всей вѣроятности, на третьемъ отсюда этапѣ, когда партію ссыльныхъ поведутъ въ Сибирь. О, до этого еще далеко. Иванъ Ѳедоровичъ уже ѣздилъ къ начальнику третьяго этапа. Вотъ только неизвѣстно, кто будетъ партіоннымъ начальникомъ, да и нельзя это такъ заранѣе узнать. Завтра, можетъ

быть, я вамъ покажу весь планъ въ подробности, который мнѣ оставилъ Иванъ Ѳедоровичъ наканунѣ суда, на случай чего-нибудь... Это было въ тотъ самый разъ, когда, помните, вы тогда вечеромъ застали насъ въ ссорѣ: онъ еще сходилъ съ лѣстницы, а я, увидя васъ, заставила его воротиться — помните? Вы знаете, изъ-за чего мы тогда поссорились?

— Нѣтъ, не знаю, — сказалъ Алеша.

— Конечно, онъ тогда отъ васъ скрылъ: вотъ именно изъ-за этого плана о побѣгѣ. Онъ мнѣ еще за три дня передъ тѣмъ открылъ все главное — вотъ тогда-то мы и начали ссориться и съ тѣхъ поръ всѣ три дня ссорились. Потому поссорились, что когда онъ объявилъ мнѣ, что въ случаѣ осужденія Дмитрій Ѳедоровичъ убѣжитъ за границу вмѣстѣ съ той тварью, то я вдругъ озлилась, — не скажу вамъ изъ-за чего, сама не знаю изъ-за чего... О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она тоже, вмѣстѣ съ Дмитріемъ, бѣжитъ за границу! — воскликнула вдругъ Катерина Ивановна, съ задрожавшими отъ гнѣва губами. — Иванъ Ѳедоровичъ какъ только увидѣлъ тогда, что я такъ озлилась за эту тварь, то мигомъ и подумалъ, что я къ ней ревную Дмитрія и что, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрія. Вотъ и вышла тогда первая ссора. Я объясненій дать не захотѣла, просить прощенія не могла; тяжело мнѣ было, что такой человѣкъ могъ заподозрить меня въ прежней любви къ этому... И это тогда, когда я сама, уже давно передъ тѣмъ, прямо сказала ему, что не люблю Дмитрія, а люблю только его одного! Я отъ злости только на эту тварь на него озлилась! Черезъ три дня, вотъ въ тотъ ве-

черъ, когда вы вошли, онъ принесъ ко мнѣ запечатанный конвертъ, чтобъ я распечатала тотчасъ, если съ нимъ что̀ случится. О, онъ предвидѣлъ свою болѣзнь! Онъ открылъ мнѣ, что въ конвертѣ подробности о побѣгѣ, и что въ случаѣ, если онъ умретъ или опасно заболѣетъ, то чтобъ я одна спасла Митю. Тутъ же оставилъ у меня деньги, почти десять тысячъ, — вотъ тѣ самыя, про которыя прокуроръ, узнавъ отъ кого-то, что онъ посылалъ ихъ мѣнять, упомянулъ въ своей рѣчи. Меня страшно вдругъ поразило, что Иванъ Ѳедоровичъ, все еще ревнуя меня и все еще убѣжденный, что я люблю Митю, не покинулъ, однако, мысли спасти брата и мнѣ же, мнѣ самой довѣряетъ это дѣло спасенія! О, это была жертва! Нѣтъ, вы такого самопожертвованія не поймете во всей полнотѣ, Алексѣй Ѳедоровичъ! Я хотѣла было упасть къ ногамъ его въ благоговѣніи, но какъ подумала вдругъ, что онъ сочтетъ это только лишь за радость мою, что спасаютъ Митю (а онъ бы непремѣнно это подумалъ!), то до того была раздражена лишь одною только возможностью такой несправедливой мысли съ его стороны, что опять раздражилась и вмѣсто того, чтобъ цѣловать его ноги, сдѣлала опять ему сцену! О, я несчастна! Таковъ мой характеръ — ужасный, несчастный характеръ! О, вы еще увидите: я сдѣлаю, я доведу-таки до того, что и онъ броситъ меня для другой, съ которой легче живется, какъ Дмитрій, но тогда . . . нѣтъ, тогда уже я не перенесу, я убью себя! А когда вы вошли тогда, и когда я васъ кликнула, а ему велѣла воротиться, то, какъ вошелъ онъ съ вами, меня до того захватилъ гнѣвъ за ненавистный, презрительный взглядъ, которымъ онъ вдругъ поглядѣлъ на

меня, что — помните — я вдругъ закричала вамъ, что это *онъ, онъ одинъ* увѣрилъ меня, что братъ его Дмитрій убійца! Я нарочно наклеветала, чтобъ еще разъ уязвить его, онъ же никогда, никогда не увѣрялъ меня, что братъ — убійца, напротивъ, въ этомъ я, я сама увѣряла его! О, всему, всему причиною мое бѣшенство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену въ судѣ! Онъ захотѣлъ доказать мнѣ, что онъ благороденъ, и что пусть я и люблю его брата, но онъ все-таки не погубитъ его изъ мести и ревности. Вотъ онъ и вышелъ въ судѣ . . . Я всему причиною, я одна виновата!

Еще никогда не дѣлала Катя такихъ признаній Алешѣ, и онъ почувствовалъ, что она теперь именно въ той степени невыносимаго страданія, когда самое гордое сердце съ болью крушитъ свою гордость и падаетъ, побѣжденное горемъ. О, Алеша зналъ и еще одну ужасную причину ея теперешней муки, какъ ни скрывала она ее отъ него во всѣ эти дни, послѣ осужденія Мити; но ему почему-то было бы слишкомъ больно, если бъ она до того рѣшилась пасть ницъ, что заговорила бы съ нимъ сама, теперь, сейчасъ, и объ этой причинѣ. Она страдала за свое «предательство» на судѣ, и Алеша предчувствовалъ, что совѣсть тянетъ ее повиниться, именно предъ нимъ, предъ Алешей, со слезами, со взвизгами, съ истерикой, съ битьемъ о полъ. Но онъ боялся этой минуты и желалъ пощадить страдающую. Тѣмъ труднѣе становилось порученіе, съ которымъ онъ пришелъ. Онъ опять заговорилъ о Митѣ.

— Ничего, ничего, за него не бойтесь! — упрямо и рѣзко начала опять Катя, — все это у него на минуту, я его знаю, я слишкомъ знаю это сердце.

Будьте увѣрены, что онъ согласится бѣжать. И, главное, это не сейчасъ, будетъ еще время ему рѣшиться. Иванъ Ѳедоровичъ къ тому времени выздоровѣетъ и самъ все поведетъ, такъ что мнѣ ничего не придется дѣлать. Не безпокойтесь, согласится бѣжать. Да онъ ужъ и согласенъ: развѣ можетъ онъ свою тварь оставить? А въ каторгу ее не пустятъ, такъ какъ же ему не бѣжать? Онъ, главное, васъ боится, боится, что вы не одобрите побѣга съ нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно *позволить,* если ужъ такъ необходима тутъ ваша санкція, — съ ядомъ прибавила Катя. Она помолчала и усмѣхнулась:

— Онъ тамъ толкуетъ, — принялась она опять, — про какіе-то гимны, про крестъ, который онъ долженъ понести, про долгъ какой-то, я помню, мнѣ объ этомъ Иванъ Ѳедоровичъ тогда передавалъ, и если бъ вы знали, какъ онъ говорилъ! — вдругъ съ неудержимымъ чувствомъ воскликнула Катя, — если бы вы знали, какъ онъ любилъ этого несчастнаго въ ту минуту, когда мнѣ передавалъ про него, и какъ ненавидѣлъ его, можетъ быть, въ ту же минуту! А я, о, я выслушала тогда его разсказъ и его слезы съ горделивою усмѣшкой! О, тварь! Это я тварь, я! Это я народила ему горячку! А тотъ, осужденный, — развѣ онъ готовъ на страданіе, — раздражительно закончила Катя, — да и такому ли страдать? Такіе, какъ онъ, никогда не страдаютъ.

Какое-то чувство уже ненависти и гадливаго презрѣнія прозвучало въ этихъ словахъ. А, между тѣмъ, она же его предала. «Что жъ, можетъ, потому, что такъ чувствуетъ себя предъ нимъ виноватой и ненавидитъ его минутами», подумалъ про

себя Алеша. Ему хотѣлось, чтобъ это было только «минутами». Въ послѣднихъ словахъ Кати онъ заслышалъ вызовъ, но не поднялъ его.

— Я для того васъ и призвала сегодня, чтобы вы обѣщались мнѣ сами его уговорить. Или, и по-вашему тоже, бѣжать будетъ нечестно, не доблестно, или какъ тамъ . . . не по-христіански, что ли?— еще съ пущимъ вызовомъ прибавила Катя.

— Нѣтъ, ничего. Я ему скажу все . . . — пробормоталъ Алеша. — Онъ васъ зоветъ сегодня къ себѣ, — вдругъ брякнулъ онъ, твердо смотря ей въ глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась отъ него на диванѣ.

— Меня . . . развѣ это возможно? — пролепетала она, поблѣднѣвъ.

— Это возможно и должно! — настойчиво и весь оживившись, началъ Алеша. — Ему вы очень нужны, именно теперь. Я не сталъ бы начинать объ этомъ и васъ преждевременно мучить, если бъ не необходимость. Онъ боленъ, онъ какъ помѣшанный, онъ все проситъ васъ. Онъ не мириться васъ къ себѣ проситъ, но пусть вы только придете и покажетесь на порогѣ. Съ нимъ многое совершилось съ того дня. Онъ понимаетъ, какъ неисчислимо передъ вами виновенъ. Не прощенія вашего хочетъ: «меня нельзя простить» — онъ самъ говоритъ, а только, чтобы вы на порогѣ показались . . .

— Вы меня вдругъ . . . — пролепетала Катя, — я всѣ дни предчувствовала, что вы съ этимъ придете . . . Я такъ и знала, что онъ меня позоветъ! . . Это невозможно!

— Пусть невозможно, но сдѣлайте. Вспомните, онъ въ первый разъ пораженъ тѣмъ, какъ васъ оскорбилъ, въ первый разъ въ жизни, никогда не

постигалъ этого въ такой полнотѣ! Онъ говоритъ: если она откажетъ придти, то я «во всю жизнь теперь буду несчастливъ». Слышите: каторжный на двадцать лѣтъ собирается еще быть счастливъ — развѣ это не жалко? Подумайте: вы безвинно погибшаго посѣтите, — съ вызовомъ вырвалось у Алеши, — его руки чисты, на нихъ крови нѣтъ! Ради безчисленнаго его страданія будущаго, посѣтите его теперь! Придите, проводите во тьму... станьте на порогѣ и только... Вѣдь вы должны, *должны* это сдѣлать! — заключилъ Алеша, съ неимовѣрною силой подчеркнувъ слово «должны».

— Должна, но... не могу, — какъ бы простонала Катя, — онъ на меня будетъ глядѣть... я не могу.

— Ваши глаза должны встрѣтиться. Какъ вы будете жить всю жизнь, если теперь не рѣшитесь?

— Лучше страдать во всю жизнь.

— Вы должны придти, вы *должны* придти, — опять неумолимо подчеркнулъ Алеша.

— Но почему сегодня, почему сейчасъ?.. Я не могу оставить больного...

— На минуту можете, это вѣдь минута. Если вы не придете, онъ къ ночи заболѣетъ горячкой. Не стану я говорить неправду, сжальтесь!

— Надо мной-то сжальтесь, — горько упрекнула Катя и заплакала.

— Стало быть, придете! — твердо проговорилъ Алеша, увидавъ ея слезы. — Я пойду скажу ему, что вы сейчасъ придете.

— Нѣтъ, ни за что не говорите! — испуганно вскрикнула Катя. — Я приду, но вы ему впередъ не говорите, потому что я приду, но, можетъ быть, не войду... Я еще не знаю...

Голосъ ея пресѣкся. Она дышала трудно. Алеша всталъ уходить.

— А если я съ кѣмъ-нибудь встрѣчусь? — вдругъ тихо проговорила она, вся опять поблѣднѣвъ.

— Для того и нужно сейчасъ, чтобы вы тамъ ни съ кѣмъ не встрѣтились. Никого не будетъ, вѣрно говорю. Мы будемъ ждать, — настойчиво заключилъ онъ и вышелъ изъ комнаты.

II.

На минутку ложь стала правдой.

Онъ поспѣшилъ въ больницу, гдѣ теперь лежалъ Митя. На второй день послѣ рѣшенія суда онъ заболѣлъ нервною лихорадкой и былъ отправленъ въ городскую нашу больницу, въ арестантское отдѣленіе. Но врачъ Варвинскій, по просьбѣ Алеши и многихъ другихъ (Хохлаковой, Лизы и проч.), помѣстилъ Митю не съ арестантами, а отдѣльно, въ той самой каморкѣ, въ которой прежде лежалъ Смердяковъ. Правда, въ концѣ корридора стоялъ часовой, а окно было рѣшетчатое, и Варвинскій могъ быть спокоенъ за свою поблажку, не совсѣмъ законную, но это былъ добрый и сострадательный молодой человѣкъ. Онъ понималъ, какъ тяжело такому, какъ Митя, прямо вдругъ перешагнуть въ сообщество убійцъ и мошенниковъ и что къ этому надо сперва привыкнуть. Посѣщенія же родныхъ и знакомыхъ были разрѣшены и докторомъ, и смотрителемъ, и даже исправникомъ, все подъ рукой. Но въ эти дни посѣтили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидѣться

съ нимъ Ракитинъ; но Митя настойчиво просилъ Варвинскаго не впускать того.

Алеша засталъ его сидящимъ на койкѣ, въ больничномъ халатѣ, немного въ жару, съ головою, обернутой полотенцемъ, смоченнымъ водою съ уксусомъ. Онъ неопредѣленнымъ взглядомъ посмотрѣлъ на вошедшаго Алешу, но во взглядѣ все-таки промелькнулъ какъ бы какой-то испугъ.

Вообще, съ самаго суда, онъ сталъ страшно задумчивъ. Иногда по получасу молчалъ, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующаго. Если же выходилъ изъ задумчивости и начиналъ говорить, то заговаривалъ всегда какъ-то внезапно и непремѣнно не о томъ, что, дѣйствительно, ему надо было сказать. Иногда со страданіемъ смотрѣлъ на брата. Съ Грушенькой ему было какъ будто легче, чѣмъ съ Алешей. Правда, онъ съ нею почти и не говорилъ, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью. Алеша сѣлъ молча подлѣ него на койкѣ. Въ этотъ разъ онъ тревожно ждалъ Алешу, но не посмѣлъ ничего спросить. Онъ считалъ согласіе Кати придти немыслимымъ, и въ то же время чувствовалъ, что если она не придетъ, то будетъ что-то совсѣмъ невозможное. Алеша понималъ его чувства.

— Трифонъ-то, — заговорилъ суетливо Митя, — Борисычъ-то, говорятъ, весь свой постоялый дворъ разорилъ: половицы подымаетъ, доски отдираетъ, всю «галдарею», говорятъ, въ щепки разнесъ — все клада ищетъ, вотъ тѣхъ самыхъ денегъ, полторы тысячи, про которыя прокуроръ сказалъ, что я ихъ тамъ спряталъ. Какъ пріѣхалъ, такъ, говоритъ, тотчасъ и пошелъ куралесить. Подѣломъ

мошеннику! Сторожъ мнѣ здѣшній вчера разсказалъ; онъ оттудова.

— Слушай, — проговорилъ Алеша, — она придетъ, но не знаю когда, можетъ, сегодня, можетъ, на-дняхъ, этого не знаю, но придетъ, придетъ, это навѣрно. — Митя вздрогнулъ, хотѣлъ было что-то вымолвить, но промолчалъ. Извѣстіе страшно на него подѣйствовало. Видно было, что ему мучительно хотѣлось бы узнать подробности разговора, но что онъ опять боится сейчасъ спросить: что-нибудь жестокое и презрительное отъ Кати было бы ему какъ ударъ ножомъ въ ту минуту.

— Вотъ что̀ она, между прочимъ, сказала: чтобъ я непремѣнно успокоилъ твою совѣсть насчетъ побѣга. Если и не выздоровѣетъ къ тому времени Иванъ, то она сама возьмется за это.

— Ты ужъ объ этомъ мнѣ говорилъ, — раздумчиво замѣтилъ Митя.

— А ты уже Грушѣ пересказалъ, — замѣтилъ Алеша.

— Да, — сознался Митя. — Она сегодня утромъ не придетъ,—робко посмотрѣлъ онъ на брата.—Она придетъ только вечеромъ. Какъ только я ей вчера сказалъ, что Катя орудуетъ, смолчала, а губы скривились. Прошептала только «пусть ее!» Поняла, что важное. Я не посмѣлъ пытать дальше. Понимаетъ вѣдь ужъ, кажется, теперь, что та любитъ не меня, а Ивана?

— Такъ ли? — вырвалось у Алеши.

— Пожалуй, и не такъ. Только она утромъ теперь не придетъ, — поспѣшилъ еще разъ обозначить Митя, — я ей одно порученіе далъ... Слушай, братъ Иванъ всѣхъ превзойдетъ. Ему жить, а не намъ. Онъ выздоровѣетъ.

— Представь себѣ, Катя хоть и трепещетъ за него, но почти не сомнѣвается, что онъ выздоровѣетъ, — сказалъ Алеша.

— Значитъ, убѣждена, что онъ умретъ. Это она отъ страху увѣрена, что выздоровѣетъ.

— Братъ сложенія сильнаго. И я тоже очень надѣюсь, что онъ выздоровѣетъ, — тревожно замѣтилъ Алеша.

— Да, онъ выздоровѣетъ. Но та увѣрена, что умретъ. Много у ней горя... — Наступило молчаніе. Митю мучило что-то очень важное.

— Алеша, я Грушу люблю ужасно, — дрожащимъ, полнымъ слезъ голосомъ вдругъ проговорилъ онъ.

— Ее къ тебѣ *туда* не пустятъ, — тотчасъ подхватилъ Алеша.

— И вотъ что̀ еще хотѣлъ тебѣ сказать, — продолжалъ какимъ-то зазвенѣвшимъ вдругъ голосомъ Митя, — если бить станутъ дорогой, аль *тамъ,* то я не дамся, а убью, и меня разстрѣляютъ. И это двадцать вѣдь лѣтъ! Здѣсь ужъ *ты* начинаютъ говорить. Сторожа мнѣ *ты* говорятъ. Я лежалъ и сегодня всю ночь судилъ себя: не готовъ! Не въ силахъ принять! Хотѣлъ «гимнъ» запѣть, а сторожевскаго тыканья не могу осилить! За Грушу бы все перенесъ, все... кромѣ, впрочемъ, побой. Но ее *туда* не пустятъ.

Алеша тихо улыбнулся.

— Слушай, братъ, разъ навсегда, — сказалъ онъ, — вотъ тебѣ мои мысли на этотъ счетъ. И вѣдь ты знаешь, что я не солгу тебѣ. Слушай же: ты не готовъ и не для тебя такой крестъ. Мало того: и не нуженъ тебѣ, не готовому, такой великомученическій крестъ. Если бы ты убилъ отца,

я бы сожалѣлъ, что ты отвергаешь свой крестъ. Но ты невиненъ и такого креста слишкомъ для тебя много. Ты хотѣлъ мукой возродить въ себѣ другого человѣка; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убѣжалъ, объ этомъ другомъ человѣкѣ — и вотъ съ тебя довольно. То, что ты не принялъ большой крестной муки, послужитъ только къ тому, что ты ощутишь въ себѣ еще бо̀льшій долгъ и этимъ безпрерывнымъ ощущеніемъ впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрожденію, можетъ быть, болѣе, чѣмъ если бъ пошелъ *туда*. Потому что тамъ ты не перенесешь и возропщешь и, можетъ быть, впрямь, наконецъ, скажешь: «я сквитался». Адвокатъ въ этомъ случаѣ правду сказалъ. Не всѣмъ бремена тяжкія, для иныхъ они невозможны . . . Вотъ мои мысли, если снѣ такъ тебѣ нужны. Если бы за побѣгъ твой остались въ отвѣтѣ другіе: офицеры, солдаты, то я бы тебѣ «не позволилъ» бѣжать, — улыбнулся Алеша. — Но говорятъ и увѣряютъ (самъ этотъ этапный Ивану говорилъ), что большого взыску, при умѣніи, можетъ и не быть и что отдѣлаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и въ этакомъ случаѣ, но тутъ уже я судить ни за что̀ не возьмусь, потому собственно, что если бы мнѣ, напримѣръ, Иванъ и Катя поручили въ этомъ дѣлѣ для тебя орудовать, то я, знаю это, пошелъ бы и подкупилъ; это я долженъ тебѣ всю правду сказать. А потому я тебѣ не судья въ томъ, какъ ты самъ поступишь. Но знай, что и я тебя не осужу никогда. Да и странно какъ бы могъ я быть въ этомъ дѣлѣ твоимъ судьей? Ну, теперь я, кажется, все разсмотрѣлъ.

— Но зато я себя осужу! — воскликнулъ Ми-

тя. — Я убѣгу, это и безъ тебя рѣшено было: Митька Карамазовъ развѣ можетъ не убѣжать? Но зато себя осужу и тамъ буду замаливать грѣхъ вовѣки! Вѣдь этакъ іезуиты говорятъ, этакъ? Вотъ какъ мы теперь съ тобой, а?

— Этакъ, — тихо улыбнулся Алеша.

— Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цѣльную правду скажешь и ничего не утаишь! — радостно смѣясь, воскликнулъ Митя, — значитъ, я Алешку моего іезуитомъ поймалъ! Расцѣловать тебя всего надо за это, вотъ что̀! Ну, слушай же теперь и остальное, разверну тебѣ и остальную половину души моей. Вотъ что̀ я выдумалъ и рѣшилъ: если я и убѣгу, даже съ деньгами и паспортомъ, и даже въ Америку, то меня еще ободряетъ та мысль, что не на радость убѣгу, не на счастье, а воистину на другую каторгу не хуже, можетъ быть, этой! Не хуже, Алексѣй, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, чертъ ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будетъ со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной землѣ затоскуетъ, и я буду видѣть каждый часъ, что это она для меня тоскуетъ, для меня такой крестъ взяла, а чѣмъ она виновата? А я-то развѣ вынесу тамошнихъ смердовъ, хоть они, можетъ быть, всѣ до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку ужъ теперь! И хоть будь они тамъ всѣ до единаго машинисты необъятные какіе, али что̀ — чертъ съ ними, не мои они люди, не моей души! Россію люблю, Алексѣй, русскаго Бога люблю, хоть я самъ и подлецъ! Да я тамъ издохну! — воскликнулъ онъ, вдругъ засверкавъ глазами. Голосъ его задрожалъ отъ слезъ.

— Ну, такъ вотъ какъ я рѣшилъ, Алексѣй, слушай! — началъ онъ опять, подавивъ волненіе,— съ Грушей туда пріѣдемъ — и тамъ тотчасъ пахать, работать, съ дикими медвѣдями, въ уединеніи, гдѣ-нибудь подальше. Вѣдь и тамъ же найдется какое-нибудь мѣсто подальше! Тамъ, говорятъ, есть еще краснокожіе, гдѣ-то тамъ у нихъ на краю горизонта, ну, такъ вотъ въ тотъ край, къ послѣднимъ Могиканамъ. Ну, и тотчасъ за грамматику, я и Груша. Работа и грамматика, и такъ, чтобы года три. Въ эти три года аглицкому языку научимся какъ самые что ни на есть англичане. И только что выучимся — конецъ Америкѣ! Бѣжимъ сюда, въ Россію, американскими гражданами. Не безпокойся, сюда въ городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на сѣверъ, али на югъ. Я къ тому времени измѣнюсь, она тоже, тамъ, въ Америкѣ, мнѣ докторъ какую-нибудь бородавку поддѣлаетъ, не даромъ же они механики. А нѣтъ, такъ я себѣ одинъ глазъ проколю, бороду отпущу въ аршинъ, сѣдую (по Россіи-то посѣдѣю) — авось не узнаютъ. А узнаютъ, пусть ссылаютъ, все равно, значитъ, не судьба! Здѣсь тоже будемъ гдѣ-нибудь въ глуши землю пахать, а я всю жизнь американца изъ себя представлять буду. Зато помремъ на родной землѣ. Вотъ мой планъ, и сіе непреложно. Одобряешь?

— Одобряю, — сказалъ Алеша, не желая ему противорѣчить.

Митя на минуту смолкъ и вдругъ проговорилъ:

— А какъ они въ судѣ-то подвели? Вѣдь какъ подвели!

— Если бъ и не подвели, все равно тебя бъ осудили, — проговорилъ, вздохнувъ, Алеша.

— Да, надоѣлъ здѣшней публикѣ! Богъ съ ними, а тяжело! — со страданіемъ простоналъ Митя. Опять на минуту смолкли.

— Алеша, зарѣжь меня сейчасъ! — воскликнулъ онъ вдругъ, — придетъ она сейчасъ или нѣтъ, говори! Что̀ сказала? Какъ сказала?

— Сказала, что придетъ, но не знаю сегодня ли. Трудно вѣдь ей! — робко посмотрѣлъ на брата Алеша.

— Ну, еще бы же нѣтъ, еще бы не трудно! Алеша, я на этомъ съ ума сойду. Груша на меня все смотритъ. Понимаетъ. Боже, Господи, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего требую? Безудержъ Карамазовскій нечестивый! Нѣтъ, къ страданію я не способенъ! Подлецъ, и все сказано!

— Вотъ она! — воскликнулъ Алеша.

Въ этотъ мигъ на порогѣ вдругъ появилась Катя. На мгновеніе она пріостановилась, какимъ-то потеряннымъ взглядомъ озирая Митю. Тотъ стремительно вскочилъ на ноги, лицо его выразило испугъ, онъ поблѣднѣлъ, но тотчасъ же робкая, просящая улыбка замелькала на его губахъ, и онъ вдругъ, неудержимо, протянулъ къ Катѣ обѣ руки. Завидѣвъ это, та стремительно къ нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама сѣла подлѣ, и, все не выпуская рукъ его, крѣпко, судорожно сжимала ихъ. Нѣсколько разъ оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, какъ бы приковавшись, съ странною улыбкой смотрѣли другъ на друга; такъ прошло минуты двѣ.

— Простила иль нѣтъ? — пролепеталъ, наконецъ, Митя и въ тотъ же мигъ, повернувшись къ

Алешѣ, съ искаженнымъ отъ радости лицомъ, прокричалъ ему:

— Слышишь, что̀ спрашиваю, слышишь!

— За то и любила тебя, что ты сердцемъ великодушенъ! — вырвалось вдругъ у Кати. — Да и не надо тебѣ мое прощеніе, а мнѣ твое; все равно, простишь аль нѣтъ — на всю жизнь въ моей душѣ язвой останешься, а я въ твоей — такъ и надо... она остановилась перевести духъ.

— Я для чего пришла? — изступленно и торопливо начала она опять, — ноги твои обнять, руки сжать, вотъ такъ, до боли, помнишь, какъ въ Москвѣ тебѣ сжимала, — опять сказать себѣ, что ты богъ мой, радость моя, сказать тебѣ, что безумно люблю тебя, — какъ бы простонала она въ мукѣ и вдругъ жадно приникла устами къ рукѣ его. Слезы хлынули изъ ея глазъ. Алеша стоялъ безмолвный и смущенный; онъ никакъ не ожидалъ того, что̀ увидѣлъ.

— Любовь прошла, Митя! — начала опять Катя, — но дорого до боли мнѣ то, что̀ прошло. Это узнай навѣкъ. Но теперь, на одну минутку, пусть будетъ то, что̀ могло быть, — съ искривленною улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему въ глаза. — И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вѣчно буду любить, а ты меня, зналъ ли ты это? Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби! — воскликнула она съ какимъ-то почти угрожающимъ дрожаніемъ въ голосѣ.

— Буду любить и... знаешь, Катя, — переводя духъ на каждомъ словѣ, заговорилъ и Митя,— знаешь, я тебя, пять дней тому, въ тотъ вечеръ любилъ... Когда ты упала, и тебя понесли... Всю жизнь! Такъ и будетъ, такъ вѣчно будетъ...

Такъ оба они лепетали другъ другу рѣчи почти безсмысленныя и изступленныя, можетъ быть, даже и неправдивыя, но въ эту-то минуту все было правдой, и сами они вѣрили себѣ беззавѣтно.

— Катя,—воскликнулъ вдругъ Митя,—вѣришь, что я убилъ? Знаю, что теперь не вѣришь, но тогда . . . когда показывала . . . Неужто, неужто вѣрила!

— И тогда не вѣрила! Никогда не вѣрила! Ненавидѣла тебя и вдругъ себя увѣрила, вотъ на тотъ мигъ . . . Когда показывала . . . увѣрила и вѣрила . . . а когда кончила показывать, тотчасъ опять перестала вѣрить. Знай это все. Я забыла, что я себя казнить пришла — съ какимъ-то вдругъ совсѣмъ новымъ выраженіемъ проговорила она, совсѣмъ непохожимъ на недавній, сейчашній любовный лепетъ.

— Тяжело тебѣ, женщина! — какъ-то совсѣмъ безудержно вырвалось вдругъ у Мити.

— Пусти меня, — прошептала она, — я еще приду, теперь тяжело! . .

Она поднялась было съ мѣста, но вдругъ громко вскрикнула и отшатнулась назадъ. Въ комнату внезапно, хотя и совсѣмъ тихо, вошла Грушенька. Никто ея не ожидалъ. Катя стремительно шагнула къ дверямъ, но, поравнявшись съ Грушенькой, вдругъ остановилась, вся побѣлѣла, какъ мѣлъ, и тихо, почти шепотомъ, простонала ей:

— Простите меня!

Та посмотрѣла на нее въ упоръ и, переждавъ мгновеніе, ядовитымъ, отравленнымъ злобой голосомъ отвѣтила:

— Злы мы, мать, съ тобой! Обѣ злы! Гдѣ ужъ намъ простить, тебѣ да мнѣ? Вотъ спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду.

— А простить не хочешь! — прокричалъ Митя Грушенькѣ, съ безумнымъ упрекомъ.

— Будь покойна, спасу его тебѣ! — быстро прошептала Катя и выбѣжала изъ комнаты.

— И ты могла не простить ей, послѣ того какъ она сама же сказала тебѣ: «прости»? — горько воскликнулъ опять Митя.

— Митя, не смѣй ее упрекать, права не имѣешь! — горячо крикнулъ на брата Алеша.

— Уста ея говорили гордыя, а не сердце, — съ какимъ-то омерзеніемъ произнесла Грушенька. — Избавитъ тебя — все прощу . . .

Она замолкла, какъ бы что̀ задавивъ въ душѣ. Она еще не могла опомниться. Вошла она, какъ сказалось потомъ, совсѣмъ нечаянно, вовсе ничего не подозрѣвая и не ожидая встрѣтить, что̀ встрѣтитила.

— Алеша, бѣги за ней! — стремительно обратился къ брату Митя, скажи ей . . . не знаю что . . . не дай ей такъ уйти!

— Приду къ тебѣ передъ вечеромъ! — крикнулъ Алеша и побѣжалъ за Катей. Онъ нагналъ ее уже внѣ больничной ограды. Она шла скоро, спѣшила, но какъ только нагналъ ее Алеша, быстро проговорила ему:

— Нѣтъ, передъ этой не могу казнить себя! Я сказала ей: «прости меня» потому, что хотѣла казнить себя до конца. Она не простила . . . Люблю ее за это! — искаженнымъ голосомъ прибавила Катя, и глаза ея сверкнули дикою злобой.

— Братъ совсѣмъ не ожидалъ, — пробормоталъ было Алеша, — онъ былъ увѣренъ, что она не придетъ . . .

— Безъ сомнѣнія. Оставимъ это, — отрѣзала

она. — Слушайте: я съ вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала имъ на гробикъ цвѣтовъ. Деньги еще есть у нихъ, кажется. Если надо будетъ, скажите, что въ будущемъ я никогда ихъ не оставлю... Ну, теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы ужъ туда опоздали, къ поздней обѣднѣ звонятъ... Оставьте меня, пожалуйста!

III.

Похороны Илюшечки. Рѣчь у камня.

Дѣйствительно, онъ опоздалъ. Его ждали и даже уже рѣшились безъ него нести хорошенькій, разубранный цвѣтами гробикъ въ церковь. Это былъ гробъ Илюшечки, бѣднаго мальчика. Онъ скончался два дня спустя послѣ приговора Мити. Алеша еще у воротъ дома былъ встрѣченъ криками мальчиковъ, товарищей Илюшиныхъ. Они всѣ съ нетерпѣніемъ ждали его и обрадовались, что онъ, наконецъ, пришелъ. Всѣхъ ихъ собралось человѣкъ двѣнадцать, всѣ пришли со своими ранчиками и сумочками черезъ плечо. «Папа плакать будетъ, будьте съ папой», — завѣщалъ имъ Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главѣ ихъ былъ Коля Красоткинъ.

— Какъ я радъ, что вы пришли, Карамазовъ!— воскликнулъ онъ, протягивая Алешѣ руку. — Здѣсь ужасно. Право, тяжело смотрѣть. Снѣгиревъ не пьянъ, мы знаемъ навѣрно, что онъ ничего сегодня не пилъ, а какъ будто пьянъ... Я твердъ всегда, но это ужасно. Карамазовъ, если не задержу васъ, одинъ бы только еще вопросъ, прежде чѣмъ вы войдете?

— Что̀ такое, Коля? — пріостановился Алеша.

— Невиненъ вашъ братъ или виновенъ? Онъ отца убилъ или лакей? Какъ скажете, такъ и будетъ. Я четыре ночи не спалъ отъ этой идеи.

— Убилъ лакей, а братъ невиненъ, — отвѣтилъ Алеша.

— И я то же говорю! — прокричалъ вдругъ мальчикъ Смуровъ.

— Итакъ, онъ погибъ невинною жертвой за правду! — воскликнулъ Коля. — Онъ счастливъ! Хоть онъ и погибъ, но онъ счастливъ! Я готовъ ему завидовать!

— Что̀ вы это, какъ это можно, и зачѣмъ? — воскликнулъ удивленный Алеша.

— О, если бъ и я могъ хоть когда-нибудь принести себя въ жертву за правду, — съ энтузіазмомъ проговорилъ Коля.

— Но не въ такомъ же дѣлѣ, не съ такимъ же позоромъ, не съ такимъ же ужасомъ! — сказалъ Алеша.

— Конечно... я желалъ бы умереть за все человѣчество, а что̀ до позора, то все равно: да погибнутъ наши имена. Вашего брата я уважаю!

— И я тоже! — вдругъ и уже совсѣмъ неожиданно выкрикнулъ изъ толпы тотъ самый мальчикъ, который когда-то объявилъ, что знаетъ, кто основалъ Трою, и, крикнувъ, точно такъ же, какъ и тогда, весь покраснѣлъ до ушей, какъ піонъ.

Алеша вошелъ въ комнату. Въ голубомъ, убранномъ бѣлымъ рюшемъ гробѣ лежалъ, сложивъ ручки и закрывъ глаза, Илюша. Черты исхудалаго лица его совсѣмъ почти не измѣнились, и, странно, отъ трупа почти не было запаху. Выраженіе лица было серьезное и какъ бы задумчивое. Особенно хо-

роши были ручки, сложенныя накрестъ, точно вырѣзанныя изъ мрамора. Въ руки ему вложили цвѣтовъ, да и весь гробъ былъ уже убранъ снаружи и снутри цвѣтами, присланными чѣмъ свѣтъ отъ Лизы Хохлаковой. Но прибыли и еще цвѣты отъ Катерины Ивановны, и когда Алеша отворилъ дверь, штабсъ-капитанъ, съ пучкомъ цвѣтовъ въ дрожащихъ рукахъ своихъ, обсыпалъ ими снова своего дорогого мальчика. Онъ едва взглянулъ на вошедшаго Алешу, да и ни на кого не хотѣлъ глядѣть, даже на плачущую, помѣшанную жену свою, свою «мамочку», которая все старалась приподняться на свои больныя ноги и заглянуть поближе на своего мертваго мальчика. Ниночку же дѣти приподняли съ ея стуломъ и придвинули вплоть къ гробу. Она сидѣла прижавшись къ нему своею головой и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снѣгирева имѣло видъ оживленный, но какъ бы растерянный, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ожесточенный. Въ жестахъ его, въ вырывавшихся словахъ его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» восклицалъ онъ поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша былъ въ живыхъ, говорить ему ласкаючи: «батюшка, милый батюшка!»

— Папочка, дай и мнѣ цвѣточковъ, возьми изъ его ручки, вотъ этотъ бѣленькій, и дай! — всхлипывая, попросила помѣшанная «мамочка». Или ужъ ей такъ понравилась маленькая бѣленькая роза, бывшая въ рукахъ Илюши или то, что она изъ его рукъ захотѣла взять цвѣтокъ на память, но она вся такъ и заметалась, протягивая за цвѣткомъ руки.

— Никому не дамъ, ничего не дамъ! — жестокосердно воскликнулъ Снѣгиревъ. — Его цвѣточки, а не твои. Все его, ничего твоего!

— Папа, дайте мамѣ цвѣтокъ!—подняла вдругъ свое смоченное слезами лицо Ниночка.

— Ничего не дамъ, а ей пуще не дамъ! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а онъ ей подарилъ, — вдругъ въ голосъ прорыдалъ штабсъ-капитанъ при воспоминаніи о томъ, какъ Илюша уступилъ тогда свою пушечку мамѣ. Бѣдная помѣшанная такъ и залилась вся тихимъ плачемъ, закрывъ лицо руками. Мальчики, видя, наконецъ, что отецъ не выпускаетъ гробъ отъ себя, а между тѣмъ пора нести, вдругъ обступили гробъ тѣсною кучкой и стали его подымать.

— Не хочу въ оградѣ хоронить! — возопилъ вдругъ Снѣгиревъ, — у камня похороню, у нашего камушка! Такъ Илюша велѣлъ. Не дамъ нести!

Онъ и прежде, всѣ три дня говорилъ, что похоронитъ у камня; но вступились Алеша, Красоткинъ, квартирная хозяйка, сестра ея, всѣ мальчики.

— Вишь что выдумалъ, у камня поганаго хоронить, точно бы удавленника, — строго проговорила старуха-хозяйка. — Тамъ въ оградѣ земля со крестомъ. Тамъ по немъ молиться будутъ. Изъ церкви пѣніе слышно, а дьяконъ такъ чисторѣчиво и словесно читаетъ, что все до него каждый разъ долетитъ, точно бы надъ могилкой его читали.

Штабсъ-капитанъ замахалъ, наконецъ, руками: «несите, дескать, куда хотите!» Дѣти подняли гробъ, но, пронося мимо матери, остановились предъ ней на минутку и опустили его, чтобъ она могла съ Илюшей проститься. Но увидавъ вдругъ это дорогое личико вблизи, на которое всѣ три дня смотрѣла лишь съ нѣкотораго разстоянія, она вдругъ вся затряслась и начала истерически дергать надъ гробомъ своею сѣдою головой взадъ и впередъ.

— Мама, окрести его, благослови его, поцѣлуй его, — прокричала ей Ниночка. Но та, какъ автоматъ, все дергала своею головой и безмолвно, съ искривленнымъ отъ жгучаго горя лицомъ, вдругъ стала бить себя кулакомъ въ грудь. Гробъ понесли дальше. Ниночка въ послѣдній разъ прильнула губами къ устамъ покойнаго брата, когда проносили мимо нея. Алеша, выходя изъ дому, обратился было къ квартирной хозяйкѣ съ просьбой присмотрѣть за оставшимися, но та и договорить не дала:

— Знамо дѣло, при нихъ буду, христіане и мы тоже. — Старуха, говоря это, плакала. Нести до церкви было недалеко, шаговъ триста, не болѣе. День сталъ ясный, тихій; морозило, но немного. Благовѣстный звонъ еще раздавался. Снѣгиревъ суетливо и растерянно бѣжалъ за гробомъ въ своемъ старенькомъ, коротенькомъ, почти лѣтнемъ пальтишкѣ, съ непокрытою головой и со старою, широкополою, мягкою шляпой въ рукахъ. Онъ былъ въ какой-то неразрѣшимой заботѣ, то вдругъ протягивалъ руку, чтобъ поддержать изголовье гроба и только мѣшалъ несущимъ, то забѣгалъ сбоку и искалъ, гдѣ бы хоть тутъ пристроиться. Упалъ одинъ цвѣтокъ на снѣгъ, и онъ такъ и бросился подымать его, какъ будто отъ потери этого цвѣтка Богъ знаетъ что̀ зависѣло.

— А корочку-то, корочку-то забыли, — вдругъ воскликнулъ онъ въ страшномъ испугѣ. Но мальчики тотчасъ напомнили ему, что корочку хлѣбца онъ уже захватилъ еще давеча и что она у него въ карманѣ. Онъ мигомъ выдернулъ ее изъ кармана и, удостовѣрившись, успокоился.

— Илюшечка велѣлъ, Илюшечка, — пояснилъ онъ тотчасъ Алешѣ, — лежалъ онъ ночью, а я

подлѣ сидѣлъ, и вдругъ приказалъ: «папочка, когда засыплютъ мою могилку, покроши на ней корочку хлѣбца, чтобъ воробушки прилетали, я услышу, что они прилетѣли, и мнѣ весело будетъ, что я не одинъ лежу».

— Это очень хорошо, — сказалъ Алеша, — надо чаще носить.

— Каждый день, каждый день! — залепеталъ штабсъ-капитанъ, какъ бы весь оживившись.

Прибыли, наконецъ, въ церковь и поставили посреди ея гробъ. Всѣ мальчики обступили его кругомъ и чинно простояли такъ всю службу. Церковь была древняя и довольно бѣдная, много иконъ стояло совсѣмъ безъ окладовъ, но въ такихъ церквахъ какъ-то лучше молишься. За обѣдней Снѣгиревъ какъ бы нѣсколько попритихъ, хотя временами все-таки прорывалась въ немъ та же безсознательная и какъ бы сбитая съ толку озабоченность: то онъ подходилъ къ гробу оправлять покровъ, вѣнчикъ; то когда упала одна свѣчка изъ подсвѣчника, вдругъ бросился вставлять ее и ужасно долго съ ней провозился. Затѣмъ уже успокоился и сталъ смирно у изголовья съ тупо-озабоченнымъ лицомъ. Послѣ апостола онъ вдругъ шепнулъ стоявшему подлѣ него Алешѣ, что апостола *не такъ* прочитали, но мысли своей, однако, не разъяснилъ. За херувимской принялся было подпѣвать, но не докончилъ и, опустившись на колѣни, прильнулъ лбомъ къ каменному церковному полу и пролежалъ такъ довольно долго. Наконецъ, приступили къ отпѣванію, роздали свѣчи. Обезумѣвшій отецъ засуетился было опять, но умилительное, потрясающее надгробное пѣніе пробудило и сотрясло его душу. Онъ какъ-то вдругъ весь съежился и началъ часто,

укороченно рыдать, сначала тая голосъ, а подъ конецъ громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гробъ, онъ обхватилъ его руками, какъ бы не давая накрыть Илюшечку, и началъ часто, жадно, не отрываясь, цѣловать въ уста своего мертваго мальчика. Его, наконецъ, уговорили и уже свели было со ступеньки, но онъ вдругъ стремительно протянулъ руку и захватилъ изъ гробика нѣсколько цвѣтковъ. Онъ смотрѣлъ на нихъ и какъ бы новая какая идея осѣнила его, такъ что о главномъ онъ словно забылъ на минуту. Мало-по-малу онъ какъ бы впалъ въ задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гробъ къ могилкѣ. Она была недалеко, въ оградѣ, у самой церкви, дорогая; заплатила за нее Катерина Ивановна. Послѣ обычнаго обряда могильщики гробъ опустили. Снѣгиревъ до того нагнулся, съ своими цвѣточками въ рукахъ, надъ открытою могилой, что мальчики, въ испугѣ, уцѣпились за его пальто и стали тянуть его назадъ. Но онъ какъ бы уже не понималъ хорошо, что̀ совершается. Когда стали засыпать могилу, онъ вдругъ озабоченно сталъ указывать на валившуюся землю и начиналъ даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не могъ, да и онъ самъ вдругъ утихъ. Тутъ напомнили ему, что надо покрошить корочку, и онъ ужасно заволновался, выхватилъ корку и началъ щипать ее, разбрасывая по могилкѣ кусочки: «Вотъ и прилетайте, птички, вотъ и прилетайте, воробушки!» — бормоталъ онъ озабоченно. Кто-то изъ мальчиковъ замѣтилъ было ему, что съ цвѣтами въ рукахъ ему неловко щипать и чтобъ онъ на время далъ ихъ кому подержать. Но онъ не далъ, даже вдругъ испугался за свои цвѣты, точно

ихъ хотѣли у него совсѣмъ отнять, и, поглядѣвъ на могилку и какъ бы удостовѣрившись, что все уже сдѣлано, кусочки покрошены, вдругъ неожиданно и совсѣмъ даже спокойно повернулся и побрелъ домой. Шагъ его, однако, становился все чаще и уторопленнѣе, онъ спѣшилъ, чуть не бѣжалъ. Мальчики и Алеша отъ него не отставали.

— Мамочкѣ цвѣточковъ, мамочкѣ цвѣточковъ! Обидѣли мамочку! — началъ онъ вдругъ восклицать. Кто-то крикнулъ ему, чтобъ онъ надѣлъ шляпу, а то теперь холодно, но, услышавъ, онъ какъ бы въ злобѣ шваркнулъ шляпу на снѣгъ и сталъ приговаривать: «не хочу шляпу, не хочу шляпу!» Мальчикъ Смуровъ поднялъ ее и понесъ за нимъ. Всѣ мальчики до единаго плакали, а пуще всѣхъ Коля и мальчикъ, открывшій Трою, и хоть Смуровъ, съ капитанскою шляпой въ рукахъ, тоже ужасно какъ плакалъ, но успѣлъ-таки, чуть не на бѣгу, захватить обломокъ кирпича, краснѣвшій на снѣгу дорожки, чтобъ метнутъ имъ въ быстро пролетѣвшую стаю воробушковъ. Конечно, не попалъ и продолжалъ бѣжать, плача. На половинѣ дороги Снѣгиревъ внезапно остановился, постоялъ съ полминуты какъ бы чѣмъ-то пораженный и вдругъ, поворотивъ назадъ къ церкви, пустился бѣгомъ къ оставленной могилкѣ. Но мальчики мигомъ догнали его и уцѣпились за него со всѣхъ сторонъ. Тутъ онъ, какъ въ безсиліи, какъ сраженный, палъ на снѣгъ и біясь, вопія и рыдая, началъ выкрикивать: «батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.

— Капитанъ, полноте, мужественный человѣкъ обязанъ переносить, — бормоталъ Коля.

— Цвѣты-то вы испортите, — проговорилъ и Алеша, а «мамочка» ждетъ ихъ, она сидитъ — плачетъ, что вы давеча ей не дали цвѣтовъ отъ Илюшечки. Тамъ постелька Илюшина еще лежитъ...

— Да, да, къ мамочкѣ, — вспомнилъ вдругъ опять Снѣгиревъ, — постельку уберутъ, уберутъ!— прибавилъ какъ бы въ испугѣ, что и въ самомъ дѣлѣ уберутъ, вскочилъ и опять побѣжалъ домой. Но было уже недалеко, и всѣ прибѣжали вмѣстѣ. Снѣгиревъ стремительно отворилъ дверь и завопилъ женѣ, съ которою давеча такъ жестокосердно поссорился:

— Мамочка, дорогая, Илюшечка цвѣточковъ тебѣ прислалъ, ножки твои больныя! — прокричалъ онъ, протягивая ей пучечекъ цвѣтовъ, померзшихъ и поломанныхъ, когда онъ бился сейчасъ о снѣгъ. Но въ это самое мгновеніе увидѣлъ онъ передъ постелькой Илюши, въ уголкѣ, Илюшины сапожки, стоявшіе оба рядышкомъ, только что прибранные хозяйкой квартиры, — старенькіе, порыжѣвшіе, закорузлые сапожки, съ заплатками. Увидавъ ихъ, онъ поднялъ руки и такъ и бросился къ нимъ, палъ на колѣни, схватилъ онъ сапожокъ и, прильнувъ къ нему губами, началъ жадно цѣловать его, выкрикивая: «батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои гдѣ?»

— Куда ты его унесъ? Куда ты его? — раздирающимъ голосомъ завопила помѣшанная. Тутъ ужъ зарыдала и Ниночка. Коля выбѣжалъ изъ комнаты, за нимъ стали выходить и мальчики. Вышелъ, наконецъ, за ними и Алеша: «пусть переплачутъ,—сказалъ онъ Колѣ,—тутъ ужъ, конечно, нельзя утѣшить. Переждемъ минутку и воротимся».

— Да, нельзя, это ужасно, — подтвердилъ Коля. — Знаете, Карамазовъ, — понизилъ онъ вдругъ голосъ, чтобъ никто не услышалъ: мнѣ очень грустно и если бъ только можно было его воскресить, то я бы отдалъ все на свѣтѣ!

— Ахъ, и я тоже, — сказалъ Алеша.

— Какъ вы думаете, Карамазовъ, приходить намъ сюда сегодня вечеромъ? Вѣдь онъ напьется.

— Можетъ быть, и напьется. Придемъ мы съ вами только вдвоемъ, вотъ и довольно, чтобъ посидѣть съ ними часокъ, съ матерью и съ Ниночкой, а если всѣ придемъ разомъ, то имъ опять все напомнимъ, — посовѣтовалъ Алеша.

— Тамъ у нихъ теперь хозяйка столъ накрываетъ, — это поминки, что ли, будутъ, попъ придетъ; возвращаться намъ сейчасъ туда, Карамазовъ, иль нѣтъ?

— Непремѣнно, — сказалъ Алеша.

— Странно все это, Карамазовъ, такое горе и вдругъ какіе-то блины, какъ это все нестественно по нашей религіи!

— У нихъ тамъ и семга будетъ, — громко замѣтилъ вдругъ мальчикъ, открывшій Трою.

— Я васъ серьезно прошу, Карташовъ, не вмѣшиваться болѣе съ вашими глупостями, особенно когда съ вами не говорятъ и не хотятъ даже знать, есть ли вы на свѣтѣ, — раздражительно отрѣзалъ въ его сторону Коля. Мальчикъ такъ и вспыхнулъ, но отвѣтить ничего не осмѣлился. Между тѣмъ всѣ тихонько брели по тропинкѣ, и вдругъ Смуровъ воскликнулъ:

— Вотъ Илюшинъ камень, подъ которымъ его хотѣли похоронить!

Всѣ молча остановились у большого камня.

Алеша посмотрѣлъ, и цѣлая картина того, что Снѣгиревъ разсказывалъ когда-то объ Илюшечкѣ, какъ тотъ, плача и обнимая отца, восклицалъ: «папочка, папочка, какъ онъ унизилъ тебя!» — разомъ представилась его воспоминанію. Что-то какъ бы сотряслось въ его душѣ. Онъ съ серьезнымъ и важнымъ видомъ обвелъ глазами всѣ эти милыя свѣтлыя лица школьниковъ, Илюшиныхъ товарищей, и вдругъ сказалъ имъ:

— Господа, мнѣ хотѣлось бы вамъ сказать здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчасъ устремили на него пристальные, ожидающіе взгляды.

— Господа, мы скоро разстанемся. Я теперь пока нѣсколько времени съ двумя братьями, изъ которыхъ одинъ пойдетъ въ ссылку, а другой лежитъ при смерти. Но скоро я здѣшній городъ покину, можетъ быть, очень надолго. Вотъ мы и разстанемся, господа. Согласимся же здѣсь, у Илюшина камушка, что не будемъ никогда забывать — во-первыхъ, Илюшечку, а во-вторыхъ, другъ о другѣ. И что бы тамъ ни случилось съ нами потомъ въ жизни, хотя бы мы и двадцать лѣтъ потомъ не встрѣчались, — все-таки будемъ помнить о томъ, какъ мы хоронили бѣднаго мальчика, въ котораго прежде бросали камни, помните, тамъ, у мостика-то? — а потомъ такъ всѣ его полюбили. Онъ былъ славный мальчикъ, добрый и храбрый мальчикъ, чувствовалъ честь и горькую обиду отцовскую, за которую и возсталъ. Итакъ, во-первыхъ, будемъ помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными дѣлами, достигли почестей или впали бы въ какое великое несчастье, — все равно, не забывай-

те никогда, какъ намъ было разъ здѣсь хорошо, всѣмъ сообща, соединеннымъ такимъ хорошимъ и добрымъ чувствомъ, которое и насъ сдѣлало на это время любви нашей къ бѣдному мальчику, можетъ быть, лучшими, чѣмъ мы есть въ самомъ дѣлѣ. Голубчики мои, — дайте я васъ такъ назову — голубчиками, потому что вы всѣ очень похожи на нихъ, на этихъ хорошенькихъ сизыхъ птичекъ, теперь въ эту минуту, какъ я смотрю на ваши добрыя, милыя лица, — милыя мои дѣточки, можетъ быть, вы не поймете, что я вамъ скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потомъ когда-нибудь согласитесь съ моими словами. Знайте же, что ничего нѣтъ выше, и сильнѣе, и здоровѣе, и полезнѣе впредь для жизни, какъ хорошее какое-нибудь воспоминаніе и особенно вынесенное еще изъ дѣтства, изъ родительскаго дома. Вамъ много говорятъ про воспитаніе ваше, а вотъ какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминаніе, сохраненное съ дѣтства, можетъ быть, самое лучшее воспитаніе и есть. Если много набрать такихъ воспоминаній съ собою въ жизнь, то спасенъ человѣкъ на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминаніе при насъ останется въ нашемъ сердцѣ, то и то можетъ послужить когда-нибудь намъ во спасеніе. Можетъ быть, мы станемъ даже злыми потомъ, даже предъ дурнымъ поступкомъ устоять будемъ не въ силахъ, надъ слезами человѣческими будемъ смѣяться, и надъ тѣми людьми, которые говорятъ, вотъ какъ давеча Коля воскликнулъ: «хочу пострадать за всѣхъ людей», — и надъ этими людьми, можетъ быть, злобно издѣваться будемъ. А все-таки какъ ни будемъ мы злы, чего не дай Богъ, но какъ вспо-

мнимъ про то, какъ мы хоронили Илюшу, какъ мы любили его въ послѣдніе дни, и какъ вотъ сейчасъ говорили такъ дружно и такъ вмѣстѣ у этого камня, то самый жестокій изъ насъ человѣкъ и самый насмѣшливый, если мы такими сдѣлаемся, все-таки не посмѣетъ внутри себя посмѣяться надъ тѣмъ, какъ онъ былъ добръ и хорошъ въ эту теперешнюю минуту! Мало того, можетъ быть, именно это воспоминаніе одно его отъ великаго зла удержитъ, и онъ одумается и скажетъ: «да, я былъ тогда добръ, смѣлъ и честенъ». Пусть усмѣхнется про себя, это ничего, человѣкъ часто смѣется надъ добрымъ и хорошимъ; это лишь отъ легкомыслія; но увѣряю васъ, господа, что какъ усмѣхнется, такъ тотчасъ же въ сердцѣ скажетъ: «нѣтъ, это я дурно сдѣлалъ, что усмѣхнулся, потому что надъ этимъ нельзя смѣяться!»

— Это непремѣнно такъ будетъ, Карамазовъ, я васъ понимаю, Карамазовъ! — воскликнулъ, сверкнувъ глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотѣли что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тотъ страхъ, что мы дурными сдѣлаемся, — продолжалъ Алеша, — но зачѣмъ намъ и дѣлаться дурными, не правда ли, господа? Будемъ, во-первыхъ и прежде всего, добры, потомъ честны, а потомъ — не будемъ никогда забывать другъ о другѣ. Это я опять-таки повторяю. Я слово вамъ даю отъ себя, господа, что я ни одного изъ васъ не забуду, каждое лицо, которое на меня теперь, сейчасъ, смотритъ, припомню, хоть бы и чрезъ тридцать лѣтъ. Давеча вотъ Коля сказалъ Карташову, что мы будто бы не хотимъ знать «есть онъ или нѣтъ на свѣтѣ?» Да развѣ я могу забыть,

что Карташовъ есть на свѣтѣ и что вотъ онъ не краснѣетъ ужъ теперь, какъ тогда, когда Трою открылъ, а смотритъ на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будемъ всѣ великодушны и смѣлы, какъ Илюшечка, умны, смѣлы и великодушны, какъ Коля (но который будетъ гораздо умнѣе, когда подрастетъ), и будемъ такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, какъ Карташовъ. Да чего я говорю про нихъ обоихъ! Всѣ вы, господа, милы мнѣ отнынѣ, всѣхъ васъ заключу въ мое сердце, а васъ прошу заключить и меня въ ваше сердце! Ну, а кто насъ соединилъ въ этомъ добромъ хорошемъ чувствѣ, о которомъ мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будемъ и вспоминать намѣрены, кто какъ не Илюшечка, добрый мальчикъ, милый мальчикъ, дорогой для насъ мальчикъ навѣки вѣковъ! Не забудемъ же его никогда, вѣчная ему и хорошая память въ нашихъ сердцахъ, отнынѣ и вовѣки вѣковъ!

— Такъ, такъ, вѣчная, вѣчная, — прокричали всѣ мальчики, своими звонкими голосами, съ умиленными лицами.

— Будемъ помнить и лицо его, и платье его, и бѣдненькіе сапожки его, и гробикъ его, и несчастнаго грѣшнаго отца его, и о томъ, какъ онъ смѣло одинъ возсталъ на весь классъ за него!

— Будемъ, будемъ помнить! — прокричали опять мальчики, — онъ былъ храбрый, онъ былъ добрый!

— Ахъ, какъ я любилъ его! — воскликнулъ Коля.

— Ахъ, дѣточки, ахъ, милые друзья, не бойтесь жизни! Какъ хороша жизнь, когда что-нибудь сдѣлаешь хорошее и правдивое.

— Да, да, — восторженно повторили мальчики.

— Карамазовъ, мы васъ любимъ! — воскликнулъ неудержимо одинъ голосъ, кажется, Карташова.

— Мы васъ любимъ, мы васъ любимъ, — подхватили и всѣ. У многихъ сверкали на глазахъ слезинки.

—Ура, Карамазову! — восторженно провозгласилъ Коля.

— И вѣчная память мертвому мальчику! — съ чувствомъ прибавилъ опять Алеша.

— Вѣчная память! — подхватили снова мальчики.

— Карамазовъ! — крикнулъ Коля, — неужели и взаправду религія говоритъ, что мы всѣ встанемъ изъ мертвыхъ и оживемъ и увидимъ опять другъ друга, и всѣхъ, и Илюшечку?

— Непремѣнно возстанемъ, непремѣнно увидимъ и весело, радостно разскажемъ другъ другу все, что было, — полусмѣясь, полу въ восторгѣ отвѣтилъ Алеша.

— Ахъ, какъ это будетъ хорошо, — вырвалось у Коли.

— Ну, а теперь кончимъ рѣчи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будемъ ѣсть. Это вѣдь старинное, вѣчное, и тутъ есть хорошее, — засмѣялся Алеша. — Ну, пойдемте же! Вотъ мы теперь и идемъ рука въ руку.

— И вѣчно такъ, всю жизнь рука въ руку! Ура, Карамазову! — еще разъ восторженно прокричалъ Коля, и еще разъ всѣ мальчики подхватили его восклицаніе.

Конецъ.

PG
3325
A1
1911
t.18

Dostoevskiĭ, Fedor Mikhaĭlovich
Polnoe sobranie sochineniĭ

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY